

ХРУСТАЛЬНАЯ МЕДУЗА

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФАНТАСТИКА
ПУТЕШЕСТВИЯ

ХРУСТАЛЬНАЯ МЕДУЗА

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ



РИГА · ЛИЕСМА · 1985

Составитель В. Семенова

Художник Г. Захарычев

Рецензент А. Балабуха

Х $\frac{4702010200\text{-}13}{М801(11)\text{-}85}$ 188-85

«СТРЕМЛЕНИЕ К НОВОМУ...»

Эссе в изречениях

1

Говорят фантасты

(Несколько мыслей, высказанных в беседе за Круглым столом; встреча состоялась в Риге 28 мая 1982 года по поводу выхода в свет первого сборника фантастических произведений рижских писателей; кроме местных авторов в беседе участвовали гости из Москвы и Ленинграда.)

А. Шалимов: «Происходит несомненное смыкание науки и фантастики...

Проблема контакта уже не чисто фантастическая, это проблема научная».

А. Балабуха: «В некоторых высших учебных заведениях вводится курс фантастики».

В. Михайлов: «Фантастика существует потому, что человек больше не может без нее обходиться».

А. Левкин: «...Это хорошая школа писать о том, чего не знаешь».

В. Кавский: «Фантастика готовит людей к грядущему. Проблемы ее не столько технические, сколько нравственно-этические».

Л. Алферова: «К фантастике литератор обращается для того, чтобы поставить своего героя в необычные обстоятельства, показать полнее его или происходящие явления, или — то и другое вместе. Но это не значит, что фантастика целиком сосредоточивается на ситуациях, оторванных от того, что происходит с нами: она старается (и позволяет нам!) высветить то, что в повседневности бывает скрыто, затерто, обезличено привычностью нашей, нашим бытом...»

Д. Трускиновская: «В центре фантастики, как и всякого другого литературного жанра,— человековедение, создание экстремальных ситуаций для наиболее яркого выявления главных свойств человеческого характера».

И. Тыщенко: «Обращаешь основное внимание на то, что мы сейчас не можем ни увидеть, ни осуществить».

П. Зайканов: «Современный уровень науки таков, что вчерашние ярые спорщики и противники — завтра, возможно, пожмут друг другу руки...

...Фантастика учит людей быть более счастливыми».

В. Сычеников: *«Фантастика — удивительное по силе и глубине средство поиска, проникновения в явления, пока не объясненные наукой. Но взгляд в будущее не обязательно должен быть сосредоточен на космических полетах и инопланетных цивилизациях. Само таинство мироздания, жизни, тем более — разумной, сознание во всех его (порой парадоксальных, в нашем понимании) проявлениях — вот предмет исследования. Короче: фантастика — возможность воплощения преднаучной гипотезы».*

В. Бааль: *«Попытки вычленить фантастику из общей литературы, представить ее автономной областью изящной словесности не имеют перспективы.*

Фантастика — это расширение диапазона художественных средств, профессиональной и творческой оснащенности автора; это новые варианты возможностей показа объектов литературного исследования, это новая образность, новое звучание».

В. Михайлов: *«Использование фантастических элементов характерно для самой современной ветви сегодняшней мировой литературы. Это не только и не просто мода: литература расширяет свои возможности, ищет и находит новые приемы и средства изображения (как в свое время сделали это импрессионисты в живописи)».*

В. Морочко: *«Фантастика — это попытка ответить на вопросы, которые еще не успели, не решились задать, но которые уже носятся в воздухе и без ответов на которые скоро немыслимо станет человеческое счастье.*

Она успешно избавляется от вспомогательной роли популяризатора научно-технических достижений. У нее своя цель. Тех, кто этого не понимает, становится все меньше. Но есть ценители, которые ведут себя в мире фантастики, как служащие бюро патентов. Они получают удовлетворение, когда могут сказать: «Нет, это уже где-то было. Идея неоригинальна. А поэтому не стоило пачкать бумагу!»

...Но способность находить неожиданные альтернативные решения уже известных идей — одна из самых таинственных, прекрасных и нужных человеку способностей. Она немыслима без синтеза разума с горячим сердцем, без поэзии как детонатора для взрыва идей, без жгучей правды, которая только кажется выдумкой. На мой взгляд, именно неожиданная альтернатива и поэзия составляют суть новой фантастической литературы: если отсутствует неожиданная альтернатива — это не научная фантастика, если нет поэзии — это не литература».

2

«Серебряная нить фантазии»

На первый взгляд, мнения наших фантастов разноречивы. Но только — на первый. При более пристальном рассмотрении возникает целостная картина отношения к фантастике как к литературному жанру и — взаимоотношений науки и фантастики.

Настоящая, большая наука одухотворена фантазией.

Настоящая, большая фантастика питается наукой, воспринятой через призму горячего человеческого воображения. Не зря же и среди отечественных, и среди зарубежных фантастов немало ученых! Палеонтолог, доктор биологических наук И. Ефремов, геолог академик В. Об-

ручев, руководитель одного из крупнейших научно-исследовательских институтов А. Казанцев, инженер-конструктор И. Варшавский, кандидат химических наук Е. Парнов, кандидат геолого-минералогических наук А. Шалимов, биохимик А. Азимов, член Королевского астрономического общества А. Кларк, выпускник медицинского факультета Краковского университета, много времени и сил отдавший занятиям теорией и историей науки С. Лем... Список этот, конечно, можно было бы продолжить... Но к фантастике обращаются не только ученые и не только профессиональные литераторы. Благодаря тяге к фантастике приходят в литературу люди самых разных профессий и специальностей — от инженера-электроника до рабочего-путейца. Достаточно перелистать последние страницы нашего сборника, где даны сведения об авторах... И хотя этот сборник — явление локальное, в нем, как в маленьком осколке зеркала, отражаются явления большого мира, а значит — явления, характерные для фантастики вообще...

Да, но мы говорили об ученых, обратившихся к фантастике. Что подвигло их на это? Не потому ли фантастика стала для них необходимостью, что, как писал Л. Пастер: «*Культ наук в самом высоком смысле слова, возможно, еще более необходим для нравственного, чем для материального процветания нации... Наука повышает пытливость и моральный уровень; наука способствует распространению и торжеству великих идей*». Однако это вовсе не значит, что в своих фантастических произведениях ученые выступают апологетами тех или иных научных идей или их популяризаторами. Это они с успехом делают в своих научных и научно-популярных трудах. Когда же они обращаются к литературе художественной... Конечно, ученый не исчезает бесследно, и идеи его не улетучиваются, но на первое место все-таки выступает художник, который смотрит на мир оком художника — этим ни на что не похожим, всевидящим и всепроницающим оптическим прибором,— и, значит, изображает увиденное, как это свойственно писателю. А в центре внимания любого настоящего писателя-фантаста остается человек; его нравственный облик, его способности к самосовершенствованию, к выявлению скрытых в нем возможностей и овладению ими, к преодолению неблагоприятных или враждебных ему обстоятельств. Да, конечно, полноправным персонажем фантастических произведений была и остается научно-техническая идея, но она включается в повествование не только как провозвестница будущих достижений и воплощенной мечты человечества о нашем могуществе и вселенской свободе, но и как носительница неких морально-этических категорий (потому что, перефразируя древних, меняется мир — меняемся и мы), как компонент той или иной модели грядущего, спроецированного, как правило, на настоящее.

И как бы далеко в будущее не углублялись фантасты, герой их произведений остается, если не как две капли воды, то очень во многом похожим на человека современного, и говорит он так же, как и мы, потому что, хотя мы и в состоянии вообразить то, чего не знаем, но это «то» не только будет обусловлено силами наших интеллекта и фантазии, но и ограничено пределами наших научных, эмоциональных и эстетических представлений, какими бы развитыми в каждый данный момент они ни были.

Поэтому, как бы далеко ни простирались наши фантазии, какими захватывающими ни были бы наши выдумки,— единственное, что мы можем, это, исходя из своих нравственно-этических и эстетических посылок, сконструировать и воплотить в образе литературного героя человека более совершенного, чем сами, освобожденного от многих

наших недостатков, наделить его всеми мыслимыми прекрасными качествами. Но опять же — только мыслимыми.

Попытки изобразить наших сверхотдаленных потомков вне современных представлений предпринимались неоднократно. Например, в повести В. Михайлова «Исток», в повести П. Андерсона «Патруль времени», в рассказе К. Боруня «Токката», в романе К. Саймака «Все живое». И тогда вставали перед нами некие смутные, туманные или испускающие мощное сияние существа, но в любом случае — ни сквозь туман, ни сквозь сияние невозможно было ни разглядеть их, ни постичь, ни оценить: в силу (опять же!) нашего ограниченного представления о сверхдалеком будущем этого не могут сделать ни сами авторы, ни читатели.

Ничуть не проще и с техническими достижениями грядущего. Скажем, науке еще не известны способы межзвездных путешествий, а на страницах наших книг запросто перемещаются в пространстве, да еще с завидной быстротой. И это не только потому, что авторам необходимо во что бы то ни стало доставить своего героя на другую планету: хочется хотя бы на бумаге увидеть уже воплощенной давнюю мечту человечества, его стремление к просторам вселенной, к неоткрытым мирам. Но только... особенно не вдаваясь в чисто технические подробности, а то ведь и впросак попасть недолго — и в свете современных знаний, и уж тем более — грядущих. Но, к счастью, существует на свете такое понятие, как условность жанра. Оно-то и выручает всех нас — и мечтающих, и жаждущих. Поэтому так сравнительно редко возникает на страницах фантастических рассказов о межзвездных путешествиях вопрос, скажем, о нехватке горючего. Если уж зашла речь об этой нехватке, значит, скорей всего, на ней будет основываться драматическая коллизия. А так... Так самое главное, что нам уже доступны дальние галактики!

Возвращаясь к словам В. Морочко о дотошном читателе, который с известной долей удовольствия может упрекнуть писателя в том, что его идея не нова, вспомним, что литература уже сколько веков и даже тысячелетий обращается к пресловутому «классическому треугольнику» и все-таки ей никак не удается наскучить тому же самому читателю.

Что же касается не совсем новых идей... По сравнению с «треугольником», они все-таки достаточно новы. И дело даже не в том. Когда-то Р. Шуман сказал: «*Да вьется всегда вокруг правил серебряная нить фантазии*». Так вот когда «серебряная нить фантазии» дает идее новую жизнь, тогда идея, уже однажды или многажды использованная, опять становится предметом литературы.

Теперь коснемся вкратце тех проблем и идей, которые волнуют авторов нашего сборника.

3

«Во всякой сказке...»

Таинственные шорохи чащи; коряга причудливой формы, мелькнувшая в тумане; натужный жалобный стон мертвого дерева...

И вот по лесу бродит леший...

Ритмичный, как шаги, скрип половиц, потрескивание рассыхающихся бревен сруба; поколебленное нечаянным сквозняком пламя лучины — и живая тень, метнувшаяся из мрачного угла...

И вот где-то в избе ютится домовой...

Порожденные страхом перед неведомым, перед непонятными явлениями природы, порожденные желанием объяснить неизвестное или — желанием украсить быт,— лешие, ведьмы, русалки, злые и добрые духи населили леса, поля и воды, воцарились в сознании людей.

Сколько продолжалось их владычество? Десятки? Сотни? — Нет! Тысячи лет!.. И тут XIX век поколебал основы человеческих представлений. Появились первый паровоз, первый телеграфный аппарат, электроосветительные устройства, первые планеры, первые автомобили, кинематограф. А XX век прямо грянул взрывами новшеств! Аэропланы, рентгеновские лучи, ядерная энергия, теория относительности, телевидение, электронные устройства, лазеры — открытия и изобретения можно перечислять еще долго. И даже если написав — полеты в космос, мы захотим поставить точку, то это будет неправдой, потому что сколько еще всего было открыто после запусков первых спутников и кораблей! Конечно, ученый мир давно шел и к этим открытиям, и к этим изобретениям, но для далеких от науки людей они действительно были взрывами, сперва граничившими с чудом, а затем породившими жажду еще более невероятных чудес. Людям стали доступны в той или иной мере научные знания, получили материалистическое истолкование многие явления природы — и скончалась вся бедная, обездоленная нежить естественной смертью, оставив по себе только сказки.

Но... свято место не бывает пусто. Появляются на свет иные полумистические герои, и народ опять творит мифы...

Однако уже на другой, более современной основе. А поводы для создания находятся. Наиболее часто встречающиеся природные явления объяснены. Но кроме них бывают и редкие, на которые теперь автоматически переключилось внимание людей. Более того. Наука наша и техника, развиваясь, воздействуют на природу, вторгаются в ее естественные процессы, влияют на них и вызывают тем самым возникновение новых феноменов.

И вот якобы появляются энлонавты на летающих тарелках... Возникает даже соответствующая наука — уфология. Тысячи тысяч людей видят НЛО и сообщают об этом ученым.

Люди видят огненные шары, видят диски, летающие с ускорением или парящие в воздухе, а то даже — испускающие лучи, под воздействием которых перестают двигаться автомобили.

Мне самой довелось однажды наблюдать высоко в бледном вечернем небе серебристо-белые тетраэдры. Впечатление было, конечно, потрясающим. Тетраэдры даже засняли на кинопленку. Но впоследствии оказалось, что это были всего лишь метеорологические зонды. В отличие от наших, шарообразных, во Франции запускают зонды, имеющие форму тетраэдров; иногда, при определенных атмосферных условиях, они залетают к нам.

Вполне четко объясняют ученые и появление дисков, и НЛО других форм. Доктор химических наук М. Т. Дмитриев утверждает, например, что НЛО есть не что иное, как зоны сильно ионизированного воздуха. *«Концентрация ионов и электронов в зонах хемилюминисценции возрастает по сравнению с обычным воздухом в тысячи, миллионы раз,—* говорит М.Дмитриев в беседе с М. Шпагиным. — *Резко повышается электрическая проводимость. Может возникнуть собственное излучение в миллиметровом, сантиметровом и дециметровом диапазонах... Зона хемилюминисценции может нарушить связь, работу электронного и радиолокационного оборудования».*

Впрочем убедительные доводы ученых далеко не всегда и не всех убеждают. Но стоит ли порицать людей за это? Ведь в мифотворчестве

проявляется извечная тяга народа к поэтизации жизни, его стремление к необычному, к овеянному тайной — такому манящему, такому влекущему. Эта тяга имеет и еще одно положительное свойство — она толкает к познанию, а следовательно — и к развитию науки.

Особенно если учесть, что от пяти до десяти процентов (по разным данным) «странных» явлений природы еще остаются неотождественными, и это дает богатую пищу современным мифотворцам. Вспомним, кстати, слова В. И. Ленина: *«Во всякой сказке есть элемент действительности...»*

4

«Можно сломать шпагу...»

Т. Гексли писал: *«Судьба новой истины такова: в начале своего существования она всегда кажется ересью»*. С великим трудом скинула с себя свивальник лженауки кибернетика, с еще большим трудом выпросталась из него генетика; на развалинах древней как мир хиромантии (слово, ставшее едва ли не бранным) на грани XIX и XX веков родилось научное направление дерматоглифика; первыми воспользовались ее достижениями криминалисты, теперь к ней обратились врачи, ученые генетики, которые используют метод дерматоглифики для медико-генетического прогнозирования. Парапсихология тоже освободилась, наконец, от позорной клички «лженаука». Вот например, что говорит о ней «Психологический словарь» (М.: Педагогика, 1983): *«Парапсихология — направление в психологии, изучающее экстрасенсорные способы приема информации, формы воздействия живого существа на физические явления, происходящие вне организма, без посредства мышечных усилий»*. Столь же серьезно пишут о проблемах экстрасенсорного восприятия «Большая советская энциклопедия» и «Советский энциклопедический словарь» 1983 года издания.

В нашей стране немалое внимание уделяется исследованиям парапсихологических явлений. Еще в двадцатых годах в Ленинграде ими занимался ученик В. М. Бехтерева Л. Л. Васильев, позже к ним обратились солидные научные учреждения Москвы и других городов. Однако пока что трудно добиться чистоты и методической корректности экспериментов, связанных с экстрасенсорным восприятием, поскольку еще не установлена точно физическая природа так называемого биополя и каналы его передачи. Правда, теперь, когда исследования парапсихологических явлений заинтересовали инженеров и физиков, и вместе с ними в лаборатории по изучению энергетических потенциалов человека пришла современная электронная техника, можно надеяться на более реальные, чем прежде, результаты и более веские доказательства.

Любой новой идее, не имеющей достаточного экспериментального подтверждения, зачастую отказывают в доверии. Более того — она может быть легко скомпрометирована. А уж скомпрометировать парапсихологию и вовсе просто. Хотя бы потому, что, как говорил Войска Донского отставной урядник из дворян Василий Семи-Булатов в известном чеховском рассказе «Письмо к ученому соседу», *«этого не может быть, потому что этого не может быть никогда»*. И тут не виноват ни любимый всеми нами Антон Павлович, ни даже Василий Семи-Булатов: мне доводилось слышать эту фразу, произносимую вполне серьезно и по отношению к явлениям, весьма убедительно доказанным наукою.

Что ж тогда сетовать о парапсихологии?

Конечно, под маркой этой достаточно новой области научных исследований действует изрядное количество самых настоящих шарлатанов, играющих на суевериях.

Пользуются ее прикрытием и люди, вполне искренне верящие в свои феноменальные экстрасенсорные способности, и вероятно, имеющие их, но не обладающие ни основательными знаниями, ни достаточным опытом.

Возможно, это служит одной из причин того, что некоторые авторитетные ученые являются стойкими противниками парапсихологии как таковой и отказывают ей в праве на существование, отдавая ее, таким образом, на откуп шарлатанам.

Профессор Л. Л. Васильев писал по этому поводу в своей книге «Таинственные явления человеческой психики»: «*Материалистам не следует игнорировать или отрицать априорно все, относящееся к парапсихологическим явлениям, хотя оно и плохо вяжется с тем, что в науке на сей день считается общепризнанным. Отказаться от терпеливой экспериментальной проверки этих явлений — значит отдать их на вооружение идеалистам и тем самым способствовать укоренению суеверий*».

Сторонниками исследований в области парапсихологии выступили французкий биолог Реми Шовен, профессор, доктор технических наук И. М. Коган, академик А. Н. Колмогоров и другие общепризнанные авторитеты.

Уже сейчас некоторые методы парапсихологии используются при лечении мысленным внушением, берут их на вооружение некоторые психотерапевты, они находят применение в психофизиологии и экспериментальной психологии.

И все-таки... все-таки... Иные ученые, пользующиеся этими методами и исследующие соответствующие явления, избегают употреблять такие «компрометирующие» термины, как парапсихология и экстрасенсорное восприятие...

Итак, ученые продолжают ломать шпаги — в открытую, тайно ли, но... вспомним, что говорил В. Гюго: «*Можно сломать шпагу, но нельзя истребить идею*».

Не показательно ли в этом смысле, что один из самых давних и пылких противников парапсихологии, прекрасный ритор и стилист, доктор физико-математических наук А. И. Китайгородский совсем недавно сказал так: «*...есть явления, пока что не вполне поддающиеся объяснению, такие как внушение, психотерапия, психофизиологическая саморегуляция, психофизическая тренировка... Когда-нибудь будет открыт сложный механизм этих явлений. Важно, что эти феномены никогда не придут в противоречие с теми законами природы, которые лежат в основе современной науки*».

Хочется, однако, внести маленькую, но, на мой взгляд, существенную поправку: э т и ф е н о м е н ы н и к о г д а н е п р и д у т в п р о т и в о р е ч и е с м а т е р и а л и с т и ч е с к и м п о н и м а н и е м м и р а. Что же касается законов природы, «которые лежат в основе современной науки»...

То, во-первых, ссылаясь на того же В. Гюго: «*Продвигаясь вперед, наука непрестанно перечеркивает сама себя*». А во-вторых и в-третьих,— еще две ссылки.

«*Настоящие ученые никогда не рассматривают процесс познания как*

задачу, имеющую конечное решение. Познание вечно, непрерывно и бесконечно, как сама природа».

Д. И. Щербаков

«Когда-то приказывали верить, что земля не движется вокруг солнца. Был ли Галилей опровергнут этим?»

К. Маркс

5

«Я направил изыскания к небу...»[1]

Кто впервые высказал мысль о множественности миров? Доминиканский монах, философ и поэт Джордано Бруно? О нет! Это были Фалес из Милета (VII в. до н.э.), его ученик Анаксимандр, философ Ксенофон из Колофона, создатель атомистической теории Демокрит. Можно было бы перечислять и дальше. Но, во-первых, за каждым именем стоит интересная теория, почти за каждой личностью — драматическая история,— простое перечисление оскорбит и науку и память человеческую. А во-вторых, в наши задачи не входит изложение (даже наикратчайшее) истории астрономии и связанных с нею философских проблем. Просто хочется лишний раз напомнить, что взоры людей давно и не бесстрастно и не бесплодно обращались ко Вселенной.

Приведем только одно высказывание — слова китайского ученого Тенг Му (династия Сун): *«Пустое пространство подобно королевству, и земля и небо — не более, чем отдельные индивидуумы в этом королевстве. На дереве много плодов, и в королевстве много людей. Как неблагоразумно предполагать, что кроме земли и неба, которые мы можем видеть, нет других небес и других земель».*

А теперь вернемся в наше время.

Еще совсем недавно — всего лет тридцать назад — ученые вполне серьезно размышляли, есть ли жизнь на ближайших к нам планетах — Луне, Марсе, Венере. Разумная, или в зачаточном состоянии, или, хотя бы, следы исчезнувших цивилизаций. С развитием космонавтики на этот вопрос был получен вполне определенный ответ. Что ж! *«Бывает, что наука довольно бесцеремонно обращается с Мечтой,*— говорит писатель В. Губарев.— *Проведут ученые один-два эксперимента, и подчас рушатся представления многих поколений. Факт уничтожает иллюзию, и как бы наше сознание ни противилось, приходится смириться».*

Но, к счастью, на этот раз умерла Мечта, так сказать, ближнего прицела, а дальнего...

В 1959 году в авторитетном научном английском журнале «Нейче» была опубликована статья известных английских ученых Дж. Коккони и Ф. Моррисона «Поиск межзвездных сигналов». Принято считать, что так было положено начало исследованиям, связанным с проблемой поиска внеземных цивилизаций — ВЦ.

И вот Земля напрягла слух, и уши ее — гигантские чаши радиотелескопов чутко улавливают многочисленные, нестройные шумы Вселенной, а ученые ждут того момента, когда в нестройном этом шуме прозвучат регулярные сигналы, посланные Разумом. Но... проходит год

[1] Слова Галилео Галилея.

за годом, десятилетие за десятилетием, а результатов все нет. Безгранично велика Вселенная, а наши знания еще так ничтожны... Все-таки интерес к проблеме поиска ВЦ не иссякает. Быть может, в известной мере потому, что потерять к ней интерес, значит утратить какую-то частичку себя, потому что, как говорил В. Гюго: *«Больше всего походят на нас наши фантазии»*. И поиск продолжается. Созываются конференции и симпозиумы, и лучшие умы планеты занимаются изысканием новых возможностей улавливания сигналов ВЦ, новых подходов к решению проблемы.

Параллельно с поиском ВЦ обсуждается и другой вопрос — о межзвездных полетах. Но пока что он так же не разрешим и в силу тех же причин — в силу ограниченности наших возможностей.

Но это — сегодня. А что будет завтра? Буквально каждый день нас подстерегают новые открытия. Одна за другой рождаются блистательные гипотезы члена-корреспондента АН СССР Н. Кардашева, нашла подтверждение теория академика Я. [illegible], согласно которой мир состоит из пустот с расположенными по [illegible] галактиками...

«...позавчера мы ничего не знали [illegible],— писал Анри де Бройль, один из основателей новой [illegible],— *вчера мы ничего не знали об атомном ядре; о чем [illegible] сегодня?»*

О чем мы узнаем завтра?

Может быть, будут, наконец, [illegible] гравитации? Уже сейчас для поиска гравитационных [illegible] антенны, чувствительность которых [illegible] в криостат — установку для глубокого [illegible]. И кто знает, возможно уже в обозримом будущем [illegible] природу гравитации, создать стройную [illegible]... Но здесь лучше остановимся, [illegible]: *«Предсказывать сегодня будущее [illegible]. Темпы завоевания космоса настолько [illegible] прогноз на завтра может мгновенно [illegible] к событиям вчерашнего дня»*. Поэтому лучше [illegible] слов, а надеяться, что, как сказал А. Кларк, человек когда-нибудь [illegible] все задуманное. Хотя, вероятно, не лишне [illegible] замечание У Фолкнера: *«...стоит только подождать [illegible]».*

6

«Пытливости нашей нет конца...»

День был совершенно обычный — обычный осенний день. В меру прохладный, в меру пасмурный. Но для меня это был День Дней — я впервые села за дисплей ЭВМ. Включили машину, и она тут же выдала зелеными буквами на экране: «Добрый день! Начинаем работу!» Конечно, мне было заранее известно, что это не машина обращается ко мне, что приветствие введено программистами в ее электронную память. И все-таки я была взволнована. Взволнована настолько, что потом, отработав и возвращаясь домой тихой лесной дорогой, я думала о рассказе — научно-фантастическом, в котором машина вступает в контакт с редактором, ведет с ним разговоры, вовсе не относящиеся к делу, сочувствует ему и даже иногда позволяет себе давать советы. Рассказ казался заманчивым, соблазнительным и очень трогательным.

Но прошло какое-то время. И вот я читаю в «Литературной газете» статью Ф. Бурлацкого «Сегодня и завтра», где он (Обозреватель) бесе-

дует с неким усредненным японцем, которого называет Японец-сан. Привожу небольшой отрывок из этой беседы.

«*Японец-сан. ...Но то, что будет завтра, точнее, через 10-20 лет, превосходит любую научную фантастику.*

Мы производим сейчас компьютеры пятого поколения. Среди них так называемые суперкомпьютеры, способные выполнять несколько операций в секунду. Двадцать четыре японских проекта создания компьютеров пятого поколения уделяют главное внимание искусственному интеллекту. По-видимому, здесь кроется сердцевина того, что вы называете новой компьютерной революцией.

Обозреватель. Декарт когда-то бросил фразу, которая стала исторической: «Я мыслю, значит, я существую». Это стало наиболее признанным определением особенностей homo sapiens, т.е. человека, в отличие от любого другого существа. Можно ли считать, что сейчас, когда создан и совершенствуется искусственный интеллект, эта формула устаревает? Что машины начинают мыслить?

Японец-сан. Я думаю, что в определенной степени это уже свершившийся факт. А завтра — это уже станет просто обыденным явлением. Что может сейчас делать искусственный интеллект?

Компьютеры диагностируют болезни, причем с такой точностью, что в восьмидесяти процентах случаев врачи полагаются на их результаты. Компьютеры используются и в геологии и эффективно помогают в поисках нефти и других полезных ископаемых...»

А еще Японец-сан сказал (так просто, между делом), что компьютеры и роботы вступают в общение с операторами.

Вот вам и научно-фантастический рассказ! Нет [illegible] фантастики. Она стала реальностью.

Ну что ж, рассказа не будет. Зато открылся еще один горизонт. Следующий горизонт, и это прекрасно. Ибо, как сказал А.Кларк: «*Единственный путь установить границы возможного — миновать их и углубиться в невозможное!*»

Итак, мы остановились еще на одной идее. [illegible] она не последняя. Идеи носятся в воздухе. И это не только метафора. Это факт.

«*Цивилизованное человечество,*— по словам английского физика Джорджа Томсона,— *сейчас чем-то напоминает ребенка, получившего ко дню своего рождения слишком много игрушек*».

Можно, конечно, перечислить если не все многочисленные «игрушки», то хотя бы часть. Но в том ли дело? Да, идей витает уйма, и занимаются ими все — ученые, фантасты. Просвещенные и не очень просвещенные люди. Все размышляют над ними. Таково наше богатое проблемами время. Однако, как и в случае с «классическим треугольником» в литературе, у каждого (или у каждого десятого, пятнадцатого) имеется — в меру его знаний и интеллекта — свой подход к идее. Ведь даже самый старый сюжет можно обработать по-новому. Посмотреть на него — или на идею — в ином ракурсе. Дать другое истолкование. А как же иначе? Не зря ведь сказал Мишель Монтень: «*Пытливости нашей нет конца,— удовлетворенность ума — признак его ограниченности или усталости*».

Но, к счастью, человечество еще не вышло из юношеского возраста и не только не устало, но не имеет даже представления об усталости. Оно может — и находит — новые решения, оно ищет и находит решения совершенно загадочных проблем. И то, что вчера казалось абракадаброй, то, что вчера представлялось антинаучным бредом — сегодня может выстроиться во вполне доказательную теорию, от которой мы начинаем плясать дальше, как от печки. Ибо, по словам советского

ученого В. А. Комарова: *«В процессе бесконечного развития наука освещает новым светом старые теории, и они возрождаются на новой основе, в новой форме, с обновленным содержанием, но с явной связью между старым и новым».*

Я хочу повториться еще раз: идей уйма, они витают в воздухе. И конечно же, когда к ним обращаются фантасты, можно без конца твердить: «Это уже было! Было!» А что было? Разговор о контактах? Речь о бессмертии? О нереализованных пока способностях человеческого организма? О роботах? О да, [illegible] было. И повторялось так часто, что в фантастической литературе [illegible] даже имена таких неканонизированных святых, как «Святой [illegible]», «Святой Карел», «Святой Станислав»...

Да, все было...

Потому что в наш век стрессов, в наш [illegible] век, в наш век следующих друг за другом [illegible] и немыслимых открытий, люди [illegible] об одном и том же: им очень важно [illegible] прогрессе. Ибо существует и [illegible] человек устанавливает его границы и [illegible].

Разговор этот не праздный. [illegible]. Он жизненно важен для человека. Именно [illegible] фантастов — фантастов всех поколений. [illegible] не будем говорить: «Это уже было. Об этом уже [illegible]. [illegible] уже обо всем. Но как? Был ли именно [illegible]?

Попробуем разобраться...

«Нелегок путь от земли к звездам»[1]

Старой, чуть ли не как мир, теме контакта, посвящают свои рассказы целый ряд авторов настоящего сборника. Но... каждый решает тему по-своему. Вот рассказ В. Морочко «[illegible]». Не первый раз уже фантасты останавливались на вопросе о том, что наше существование — это не единственная форма бытия. Могут иметь место и совершенно другие соотношения бытия и [illegible], скажем, когда некто успевает прожить в течение нашей секунды почти целую жизнь. Да, эта идея не нова. И не только в фантастическом аспекте. Те, кто хоть сколько-то знаком с биологией, знают, что есть виды, жизненный цикл которых измеряется ничтожно малыми долями нашего, человеческого, века. Эфемерные существа...

Но если где-то во Вселенной обитают такие же эфемерные, но подобные нам создания? И если они, эти гуманоиды, обладающие, однако, совершенно иным, по сравнению с нашим, биоритмом, постигли некоторые законы природы, которые для нас и по сю пору остаются за семью печатями, и овладели бессмертием, покончив, таким образом, со своей эфемерностью, в наследство от которой им остались только многократно увеличенные, по сравнению с нашими, скорости протекания биологических процессов и соответственно — всех остальных проявлений жизнедеятельности? И если мы вдруг встретимся с ними? Что

[1] Слова Сенеки Младшего.

тогда? Сможем ли, сумеем ли мы понять друг друга? И поймем ли? И как сложатся наши отношения? Вот на этот вопрос и пытается ответить В. Морочко.

Другой разговор заводит В. Гудков в своем рассказе «Дорога». Каких высот может достичь Разум? Во что он может воплотиться? Какими могут быть его проявления? Да, тема опять не нова, но В. Гудков находит редкостное по размаху, светлое, оптимистическое решение.

Все мы — и простые читатели, и ученые — размышляем о Высших Цивилизациях, которые уже постигли то, к чему мы только стремимся, что еще пытаемся постичь (или даже просто нащупать?) своим не слишком-то пока развитым разумом. И вот В. Гудков отдает дань Высшему Разуму, рассказывает о его творениях. И хотя нам такие деяния еще не доступны, невольно веришь автору, — так убедительно он говорит о свершениях существ, превосходящих нас в своем развитии.

•

С. Лем сказал однажды: *«Разум, который мы когда-нибудь откроем, может настолько отличаться от наших представлений, что мы не захотим называть его Разумом».*

Попытки представить иной Разум делают в своих произведениях Н. Гуданец («Ковчег»), И. Тыщенко («Закон естественного отбора»), П. Зайканов («Взаимно продетые кольца»). Но в этих произведениях речь идет не о Высшем Разуме, а только о некоторых возможных, с точки зрения авторов, проявлениях разума как такового.

В чем-то смыкаются С. Иванов в рассказе «Вторжение» и В. Морочко в своей «Непокоренной». Авторы размышляют о том, как может иная планета воспринять чужое и чуждое, а то и враждебно настроенное существо. У того и другого писателя подходы разные, но вывод — один. И вывод гуманистический: природа никогда не станет вредить человеческому существу, как бы враждебно оно ни было настроено. Да. Природа есть природа. Ей не нужны объяснения, почему и зачем человек поступает так, а не иначе. Но человек — одно из самых прекрасных ее созданий — непременно должен постичь, понять ее и — соединиться с ней в своем стремлении к совершенству.

В этом плане предостережением звучит рассказ В. Гудкова «Смотритель». Автор развивает достаточно острый трагический сюжет и не наставляет нас прямо. Но в подтексте звучит: существуйте в мире с природой, не троньте чужой мир, не разоряйте, не грабьте его, не нарушайте его законы, относитесь к нему бережно, разве знаете вы, чем и как он живет?! Впрочем, все это можно отнести не только к мирам иным, но и к собственной нашей планете. Достаточно только вспомнить, что сейчас происходит на родном земном шаре, вспомнить глобальные экологические проблемы и локальные, но не менее страшные от этого, войны, уродующие и жизнь людей, и лик Земли...

8

«Замысел человеческого разума...»

Эту главку хотелось бы начать с двух высказываний «Святого Айзека»— американского писателя Айзека Азимова, так много писавшего о роботах и даже сформулировавшего «Три закона робототехники».

Вот — первое: *«Только ли человеческое тело делает существо человеком? Или это ум? Если машина думает, как человек, важно ли внешнее сходство?»*

И второе (слова профессора Нинхеймера из рассказа А. Азимова «Раб корректуры»): *«Сегодня робот корректирует гранки. Завтра он или другие роботы начнут писать сами текст, искать источники, проверять и перепроверять абзацы, может быть, даже делать заключения и выводы. Что же останется ученому? Только одно — бесплодные размышления на тему, что бы еще такое приказать роботу!»*

И, наконец, слова «Святого Карела» Карела Чапека: *«Замысел человеческого разума вырвался в конце концов из-под власти человеческих рук, начал жить по своим законам»*.

В этих высказываниях содержится [illegible] о наиболее важных — и противоречивых проблемах, которые занимают тех, кто пишет о роботах. Скорее всего, эти [illegible] и создателей роботов. Во всяком случае, и [illegible] и инженеры-электроники, обслуживающие ЭВМ, уже [illegible] точной мере [illegible] чили своих подопечных, и дело [illegible] теперь привычно говорим: машина пятого или [illegible] поколения. Дело в бережном отношении к ним, в [illegible] к другу, к помощнику, к очень [illegible] и к ребенку — любимому и не по возрасту [illegible]

Чем отплатят нам эти [illegible] будут совершенствовать их [illegible], эти искусственные создания, начнут [illegible] сами. К чему придут они? И к чему придем мы? К [illegible] мы вместе с ними?

Ведь если допустить, что электр[illegible] со временем саморазвивающимися, можно ли с [illegible], в каком именно направлении пойдет их развитие?

Наши фантасты, в том числе и авторы [illegible] сборника, рассматривают этот вопрос с точки зрения исторического оптимизма.

Электронные создания, призванные служить человечеству и прогрессу, предстают на страницах их произведений как [illegible] помощники и друзья, способные выполнять многое [illegible] не может человек в силу своих биологических особенностей. Но каждый из художников, обращающихся к этой теме, вносит в ее раскрытие некий особый нюанс. Так, Дз. Шулце предполагает, что в роботе, общающемся с человеком, могут пробудиться эмоции, сходные с человеческими. В одном случае они могут быть чисто лирического свойства, в другом — пер[illegible] в желание обладать неограниченной свободой. Об этом же размышляет и В. Бааль. Однако оба автора, хотя и разными путями, приходят к одному выводу: какого бы высокого развития ни достигла автономная электронная система, какой бы совершенной она ни была, человек, за каждым из которых стоит многотысячелетняя история его вида, наполненная поисками истины, страданиями, разочарованиями и победами, человек, чья эмоциональная сфера глубока настолько же, насколько глубока его история, этот человек все-таки и всегда останется Автором, Создателем, существом старшим по Разуму и Эмоциям.

Несколько по-иному говорит о развитии робототехники Н. Гуданец. В его рассказе «Мажордом» заботами попечительного робота жизнь человека превращается в некий, если так можно выразиться, райский ад. Но автор довольно прозрачно намекает, что виноват в том не столько робот, сколько люди, руководящие им и стремящиеся к собственной выгоде.

Здесь уместно привести слова Ф. Жолио-Кюри: «*...ученые не должны быть сообщниками тех, кому несовершенное социальное устройство дает возможность использовать результаты научных работ в эгоистических и злонамеренных целях*».

Как эхо этих слов звучит рассказ В. Сыченикова «Постоялец», где показаны мрачные перспективы развития робототехники в мире наживы. Но чтобы не снижать читательского интереса, я не стану останавливаться на подробном анализе этого произведения, замечу только, что в «Постояльце» проблема, о которой мы сейчас говорим, связывается еще с одной, не менее важной и серьезной (ее мы затронули в предыдущей и еще вернемся к ней в следующей главке)— на что способен высокоорганизованный разум, к чему он более тяготеет (с нашей точки зрения)— к Добру или Злу. Ответ здесь видится однозначным: возросшее на ядовитой почве растение так или иначе будет поражено бактериями зла.

А Высший Разум?

Вряд ли он может расцвести на нездоровой основе. Тогда — каков он? Добр? Нейтрален? Сам устремлен на себя?

9

«Все сначала должны научиться быть людьми»[1]

Конечно, мы хотим видеть Высший Разум источником и поборником Добра. Но знать, каков он, нам пока не дано.

Можно, конечно, с известной долей юмора избежать прямого ответа, как поступил П. Зайканов в рассказе «Взаимно продетые кольца».

Можно показать результат его деятельности — что и осуществлено в самом крупном призведении, помещенном в сборнике — в повести В. Михайлова «Все начинается с молчания..», где из-за каких-то серьезных и, очевидно, очень важных причин Некто, а скорее какая-то группа Неких совершает грандиозный переворот в природе — и время начинает идти вспять. Разумеется, для каждого отдельного человека жизнь в полностью детерминированном мире, где все заранее известно и предопределено, где невозможно повлиять на ход событий,— отнюдь не райская. Но это — для каждого. А что — для всех, для всего человечества? Ведь если время и впредь будет идти вспять, цивилизация в конце концов придет к точке своего возникновения и исчезнет, а затем исчезнет и человечество. И автор, и герои повести, сознающие это, ни в коей мере не пытаются винить Тех, Кто Сделал, так как у Них наверняка были более чем веские основания: возможно, планете грозила гибель в космическом катаклизме или другая страшная, неотвратимая беда. Потому-то Те, чтобы уберечь цивилизацию, и повернули время вспять. Не исключено, что Они уповали на то, что в ходе обратной истории пусть не Высший, но Добрый Разум, опять отыщет путь к спасению. И вот теперь (по времени повести) настала пора побеспокоиться о том, чтобы сохранить цивилизацию.

Так встает перед нами одна из важнейших проблем человечества — ответственность ученого за свое открытие и ответственность каждого перед людьми, перед человечеством и перед природой, которая дала

[1] Слова Н.И.Пирогова.

нам жизнь и с которой мы связаны теснейшими узами родства и благодарности.

Эта же проблема, хотя и в несколько ином аспекте, решается и в «Хрустальной медузе» Л. Алферовой, и в «Агаве Супсова» В. Юфрякова, и в крошечном цикле И. Винник «Сказки Серого Века».

Велики возможности, данные нам природой. Пусть мы знаем лишь мизерную частицу их, но уже то, что мы способны познавать мир — разве это не Великий Дар? И разве не еще Более Великий Дар — неутомимо стремиться познать пока не познанное?

С давних времен человек мечтает об умении управлять процессами, происходящими в его организме, об увеличении продолжительности жизни и — наконец — о бессмертии. Отдают дань этим темам и авторы нашего сборника: Д. Трускиновская, В. Кавский, Н. Гуданец. Но опираясь на достижения тех современных парапсихологов, которые твердо стоят на материалистических позициях, разрабатывают системы авторегуляции, изучают энергетический потенциал человека и воздействие его биополя на окружающее, они, тем не менее [illegible] свое внимание сосредоточивают на эмоциональном [illegible] человека, на его высоком нравственном потенциале. Вот [illegible] этих писателей «врачевателем» оказывается не [illegible] а человек, озаренный любовью ко всему [illegible] человеку в отдельности, любовью ко всему [illegible] к доброму и прекрасному. Такой человек спос[illegible] ко кратковременной своей жизнью, но и [illegible] вернуть здоровье и радость бытия друг[illegible] его существу.

Именно такая Любовь движет [illegible] героями рассказа В. Морочко [illegible] другие пытаются спасти представител[illegible] Движет маленькой дикаркой из [illegible], когда она помогает разглядеть истину [illegible] нежность и тоску в электронном [illegible] Гуданца. Она же служит доказательством превосходства [illegible] разумом в повести В. Бабая; Она вдохновляет [illegible] ва на сопротивление измененным [illegible] рассказа Н. Гуданца «Забудь, прошу» [illegible] ради спасения человека.

И, наконец, любовь к Прекрасному, тяга к [illegible] нанная тоска по чему-то, возможно [illegible] приобретенному — заставляет героев некоторых авторов [illegible] ника летать, других — перемещаться во времени, третьих [illegible] с собственными антиподами или с красавицей в радужн[illegible] знать, может быть, это была Урания, муза астрономии.

В рассказе «Хрустальная медуза» Л. Алферова пишет: «[illegible] *дям дан дар любить друг друга и мир, в котором они [illegible] В любви — истина, спасение и вечность человечества. Без любви мир станет мертв и понесется холодным комком среди звездных пут[illegible]*». Это утверждение звучит не только гимном человеку, но и предупреждением ему, наставлением беречь бесценный дар, хранить его в душе своей, чтобы не утратить способностей к созиданию и со[illegible]вованию, к познанию и творчеству, чтобы не обездолить родную землю.

Как видно из всего, сказанного выше, авторы сборника отдают дань серьезным проблемам, волнующим умы наших современников, увлеченно и глубоко размышляют о Добре и Зле.

Но, как говорит Е. Парнов, *«Для фантастики характерна игра компо-*

нентами мира, она постоянно варьирует эти компоненты, а потом с любопытством смотрит, что из всего этого получится».

И авторы настоящего сборника иногда позволяют себе порезвиться, пошутить. Возможно, даже слишком смело порезвиться и слишком бойко пошутить.

Что ж, в принципе, это никому не запрещено.

Только вот кто скажет, сколько тяжести скрывается за этой резвостью и сколько глубокой грусти — за беспечной с виду шуткой?

Хотя, возможно, именно в ответе на этот вопрос содержится Самая Главная Истина: наши фантасты неизменно стоят на высоких гражданских и гуманистических позициях, и их пытливые, смелые взгляды направлены в грядущее, которое видится (или страстно желается) им светлым и мирным, потому что только тогда возможно будет осуществить самые смелые свершения, воплотить самые пылкие мечтания... Замыслить, воплотить и — идти дальше!

10

«Мы дети твои...»

Замыслить, воплотить и — идти дальше. Вослед за мечтой. Вдогонку за фантазией.

Кто не согласен с этим?

Согласны все.

Однако многие (даже — как ни странно! — некоторые фантасты) недовольны тем, что [illegible] фантастических произведений являются звездолеты, [illegible] во Вселенной, чужие (обжитые или только что открытые) [illegible]. Нет, говорят они, все это ложь, ненужная выдумка, [illegible]! Все это ни к чему, потому что уводит нас от наших насущных проблем. А ведь и у нас, на нашей старушке Земле, есть множество нерешенных еще вопросов. Более того: она хранит тайны, которые вряд ли скоро разгадаем. Хотя надо бы. И в первую очередь! А раз так — зачем нам пока что космос? Займемся домашними делами. Ограничимся домашней фантастикой. Еще ведь не известно, что мы сумеем открыть, не выходя из дома!

Что сказать на это? Конечно, наш дом — прежде всего. Но ограничиться только им? Жить в четырех стенах и не пытаться узнать, что за ними?

Что это? Леность ума? Нежелание усложнять жизнь? Или реальный взгляд на вещи?

Однако в действительности каждый из нас, становясь из ребенка взрослым, высовывает нос из дома, хочет он того или нет, — так положено, так предначертано, этого не избежать. Высовывает и — оглядывается с интересом. И принюхивается. А чем это там пахнет с севера? или с юга?

И не знаем мы еще к тому времени, что спрятано в бабушкиных сундуках, в отцовском письменном столе, в ящичках материнского туалетного столика. А ведь, возможно, кроме неинтересных (для нас!) писем, безделушек и какого-то ветхого тряпья, там хранятся сокровища ума, искусства, добродетели.

Нет, мы этого не знаем. Но... до поры, до времени.

Вылезши в свет, оглядевшись вокруг, кое-что поняв и осознав, мы, уже более зрелыми, опытными и чуткими возвратимся к родительскому очагу. И тогда откроется перед нами многое из того, о чем мы

и подозревать не могли, и любовь наша к отчему дому вспыхнет с новой силой...

И не важно — что такое наш дом: здание за номером таким-то на улице такой-то или планета, вселенского имени которой мы не знаем, но привычно называем — Земля. Ибо те сокровища и тайны, которые хранит наш дом, которые хранит наша планета, неразрывно связаны с сокровищами и тайнами Большого Мира, теряющегося в бесконечности. И только понятие этой глубинной изначальной связи и общности всего сущего может дать нам и величие духа, и возможность максимального проникновения в смысл бытия. Мы не имеем права забывать о своем родстве со всей Вселенной, так как мы — ее порождение.

Да, поэт сказал: «*Мы дети Галактики, но самое главное — мы дети твои, дорогая Земля!*»

Только очень важно, как это понимать — Земля!

Быть может, лишь тогда, когда мы по-настоящему ощущаем себя детьми нашей родной Земли — малой крупицы мироздания, для нас особый смысл приобретают слова: задумать, осуществить и — идти дальше!

11

Говорят мыслители

К. Саймак: «*Вся история человечества — погоня за невозможным*».

Плиний Старший: «*Как много дел считались невозможными, пока они не были осуществлены*».

Гораций: «*Нет ничего невозможного для людей*».

К. Э. Циолковский: «*Невозможное сегодня станет возможным завтра*».

К. А. Тимирязев: «*Никто так не ошибается в своих предсказаниях, как пророки ограниченности человеческого знания*».

Дж. К. Кендрю: «*Развитие науки — революционный, диалектический процесс*».

Д. И. Менделеев: «*Границ научному познанию и предсказанию предвидеть невозможно*».

М. Фарадей: «*Наука выигрывает, когда ее крылья раскованы фантазией*».

М. Горький: «*Нет фантазии, которую воля и разум людей не могли бы превратить в действительность*».

В. И. Ленин: «*Фантазия есть качество величайшей ценности...*»

«*...нелепо отрицать роль фантазии и в самой строгой науке*».

«*Без мечты человек превращается в животное. Мечты двигают прогресс*».

12

«...первая потребность человеческого воображения»

Итак, представляем на суд читателей новый сборник произведений фантастов Латвии. В первом сборнике участвовало девять авторов: в нынешнем — девятнадцать. Есть среди них и опытные писатели, есть и дебютанты. Сколько авторов дадут свои произведения для третьей

книги, которая постепенно уже складывается? Конечно, количество — не самый главный показатель.

Качество — да! Но о качестве судить читателям.

И тем не менее — количество...

Это — показатель спроса.

Это — показатель интереса.

Это, наконец, показатель любви, пристрастия писателей и читателей к вызывавшему — и вызывающему до сих пор!— многочисленные споры жанру.

Это — показатель неиссякаемого желания утолить жажду необычного, таинственного, сказочного, о чем тоскует человек в наш сугубо технический век.

Это — показатель тяги к фантастике как провозвестнице нового. А *«Стремление к новому,— как сказал Стендаль,— есть первая потребность человеческого воображения»*.

В. Семенова

ВСТРЕЧА



Вопрос об участи Земли приводит нас к убеждению, что человеческая деятельность не должна ограничиваться пределами земной планеты.

Н.Ф.Федоров

Мы были узники на шаре скромном,
И сколько раз, в бессчетной смене лет,
Упорный взор земли в просторе темном
Следил с тоской движения планет!

В.Брюсов

Когда стоишь ты в звездном свете,
Смотря на небо, не забудь,
Что эти звезды, блестки эти
И те, что слиты в Млечный Путь —

Все это солнца огневые,
Как наше солнце, и кругом
Плывут шары земель — такие,
Как шар земной, где мы живем.

В просторном океане неба,
Как в жизни нашей,— тот же круг;
Там тот же бодрый труд для хлеба,
Та ж радость песен и наук.

В.Брюсов

КАМНИ И МОЛНИИ

1

После нас никому так [illegible] было выйти из гиперпространства в том уд[illegible] закоулке Вселенной. Валерий — единственн[illegible]тель — столь сейчас далеко, что в ближайшие [illegible]летия мы не увидимся... Многие уже сомн[illegible] было действительно так, что это — не [illegible] мыслей, не следствие чудовищных пере[illegible].

Прошло столько лет, а [illegible]ную память, храню твои звездные доспехи. О, [illegible]телось бы верить, что будет день, когда в разво[illegible]ранства я снова увижу тебя...

Наш грузовоз шел к Зем[illegible], полными тиранилина — ценного и оче[illegible]опасного груза.

Это было в те времена, когда несущая корабли материя — концентратор пространства — у физиков с[illegible]ками вычурно прозывалась «каприз», а на флоте у нас — романтическим древним словом «керосин».

Так вот, когда мы пошли к Земле, «керосина» на борту корабля было ровно столько, чтобы сняться с базы, уйти в гиперпространство, одним махом проколоть расстояние в тысячи световых лет и, выйдя около нашей системы, опуститься на Землю.

Порядок этот был отработан и считался надежным... насколько могло считаться надежным любое дело в такой сюрпризообильной стихии, как космос... Если изредка все же случалось, что корабли выходили не там, где было намечено, и оказывались вне обитаемой зоны, их уже никогда больше не видели.

Я вглядывался в искрящуюся черноту. Мне казалось — она была холоднее обычного, разряженнее и враждебнее.

Рядом, за штурманским пультом сидел Валерий. Я повернул голову и поймал его растерянный взгляд. Совсем молод,— год как из астрошколы. Наверно думает, ошибка в расчетах. Я встал с кресла. Сказал:

— Никто тут не виноват. Споткнулись о какую-то кочку. Разве все предусмотришь? Ну-ка, дай нахождение.

— Какой теперь смысл?!— удивился Валерий.

— Еще какой!— я отвернулся к экрану. Сейчас имело смысл все, что могло занять этого мальчика. Пока жизнь не войдет в колею, у него не должно оставаться времени для раздумий.

Он серьезно принялся за расчеты. Мне показалось,— даже слишком серьезно. Я подумал: уж не морочит ли он мне голову своей скрупулезностью?

— Готово!— сказал Валерий.— [illegible] здесь!— Он совместил указатель космонавигатора [illegible] с [illegible] искрой на объемном планшете. [illegible] возле одной из периферийных систем Галактики. Этот район был известен только на звездном уровне.

— Доложить координаты в [illegible]?— спросил Валерий. Собственно говоря, он [illegible] это сделать, не спрашивая разрешения. Но теперь, когда мы оба точно знали, что от Земли нас отделяют [illegible] световых лет, выполнение этой формальности выглядело бы неуместной шуткой.

— Не трудись,— сказал я,— давай оглядимся.

Валерий включил обзор. Торопиться было некуда. Я разглядывал небо. Вернее, делал вид, что разглядываю. Я думал о парне. Я знал, что он во всем полагается на меня... и сейчас ждет моего решения. Я должен был ему сказать, что он никогда больше не увидит Земли и Солнца. Любое мое решение будет как приговор. Поэтому я ничего не решил. Но спросил:

— Что будем делать?

Кажется, он был удивлен, что придется взять на себя часть ответственности. Но я-то знал, это — полезная тяжесть, способная приглушить самые мрачные мысли. Лицо его вытянулось, заострилось: человек думал — пусть подумает.

Сам я поудобнее уселся в кресле и улыбнулся звездам.

Они больше не были для меня просто ориентирами. Звезды собирались вокруг, будто устраивались на трибунах гигантской арены. В ближайшее время им предстояло стать свидетелями нашего финиша. Не часто конец бывает так отчетливо предрешен. Быть может, для звезд эти маленькие трагикомические спектакли — единственная отдушина в безмолвном мире, для которого смерть и жизнь — два состояния, отличающиеся лишь разностью температур.

Я включил свою любимую музыку. Звуки старинного инструмента наполнили рубку торжественным колокольным звоном. Я всегда чувствовал себя в них, словно в ванне с циркулирующей горячей [illegible]. Сказать, что мне было тепло и приятно [illegible], ничего не сказать.

Мне хотелось того, о чем [illegible] ничкой. Хотелось найти тот единственный [illegible], в который еще никто не заглядывал, [illegible] красоты, чтобы мир был устроен [illegible] он с моей помощью как-нибудь [illegible]. Хотелось жить всегда, по крайней [illegible] сколько будет жить эта музыка... Но [illegible] за спиной, впереди — только самая [illegible]

— Капустин,— позвал [illegible]» хватит до ближайшей звезды. У [illegible] планет.

— Планеты?!— я [illegible] знаешь, космическая робинзонада — [illegible]! [illegible] ность встретить небесное тело, пригодное для таких, как мы, капризных созданий, ничтожно мала!

— Все равно,— сказал Вале[illegible],— я хочу знать, что там.

— Ладно! Раз поступило предложение — будем выполнять. Но только никаких иллюзий! Единственное, на что можно рассчитывать — в последний раз почувствовать под ногами твердую почву.

Валерий вернулся к иллюминатору.

— Ну, что приуныл?— сказал я.— Поехали!

Итак, для оставшегося «керосина» было найдено применение. Погоня за информацией — болезнь человечества. Любознательность — это какая-то прорва. Совсем не то, что требуется нашей внутренней машине жизнеобеспечения. Скорее, наоборот — человек сам вечно вставляет этой машине палки в колеса, путает ее карты. Он ее враг. Не по злому умыслу. Просто человек хочет жить. Но обмен веществ — только малая часть этой жизни. А ос-

тальное — мечты. Мечты о еще не виданном, невообразимом чуде...

Мы назвали звезду Солнцем не только из-за сходства ее с родным светилом — просто хотелось, чтобы последние наши дни протекали под Солнцем.

Приблизившись, мы обнаружили не восемь, а целых двенадцать планет. Теперь, чтобы быть последовательным, оставалось найти среди них свою «Землю». Путешествие внутри планетной системы имеет свое очарование. Если открытый космос можно сравнить с океаном, то система планет — это архипелаг, каждый из островов которого живет своей тайной. Стоит только «приблизиться к берегу», и ты увидишь такое, что заставит бешено колотиться сердце.

В неярком сиянии планет было что-то трогательное. Они несли чужой свет, скромно пряча свой собственный в таинственных недрах. Каждая жила своей жизнью и, как знать, возможно, лелеяла где-то вершину вершин — неведомый Ищущий Разум.

Мы предоставили выбирать нашу «Землю» биоанализатору. Несколько беспристрастных кристаллических плат быстро сделали выбор. Прибор сказал свое слово и отключился. Планета мерцала в перекрестьи визира крошечной искоркой. Но мы не знали еще, что нас ждет до встречи с нею.

2

Еще секунду назад на тысячи километров вокруг было пусто. И вдруг... заголосил зуммер: локатор обнаружил вблизи корабля скопление неизвестных тел. На черном холсте ночи, будто из лучей Солнца, выкристаллизовывались серебристые скалы. Мы подошли вплотную. Астероид-призрак! Только что не было — и вот он здесь, а через минуту, возможно, исчезнет.

— Валерий, схожу-ка я, погляжу. Остаешься за командира. Следи, чтобы корабль не подходил ближе пятидесяти метров.

От шлюзовой камеры до астероида было рукой подать. Вперед ушел робот-дубль — бдительный робот. Он лучше меня разбирался в том, что мне можно, чего — нельзя. Когда я подлетал, это вездесущее чудо уже сидело верхом на одном из камней и возвещало, что неведомые тела

особой опасности для драгоценной человеческой жизни не представляют. Я поблагодарил его, зная, что иначе он не угомонится.

Сверкая на солнце, в мертвом пространстве плыл рой ощетинившихся острыми выступами камней. Глыбы медленно поворачивались, сходились, разлетались в стороны или застревали в гуще более мелких осколков. Меня тянуло к центру, где находились камни побольше. Взбираясь по глыбам, а может быть, опускаясь, прыгая с одной на другую, как с льдины на льдину, я испытывал неясное беспокойство. Камни покачивались, как затонувшие корабли. Мой робот [illegible] не отставал. [illegible] разные движения [illegible]

Некоторое время я кружил [illegible] глыбы. Она занимала [illegible] ядром, вокруг которого [illegible] ния странствующих [illegible] ную грушу величиной [illegible] к надкусу. А вдруг там [illegible] Почему бы [illegible] го корабля, [illegible] обнаружу за [illegible] «груши», где меня [illegible]...

Наконец, я [illegible] нечто вроде неглубокой [illegible] ленной ямки [illegible] на ледяные сосульки. [illegible] и ничего не нашел. Был [illegible] обломок среди обломков [illegible] лений бороздит пустоту! [illegible] вительных, чем это, причудливых, [illegible] на сказочные замки... Космос умеет [illegible] не отнимешь. Но и мы притерпелись к его [illegible].

Эти глыбы были добродушны и [illegible] рукой выступы-сосульки, я словно здоровался за протянутую лапу с космическим мастодонтом. Бродил [illegible] до тех пор, пока не решился, наконец, сказать себе, что вылазка не дала ничего интересного и пора возвращаться. Но на прощанье не выдержал, и прижался шлемом к гладкой поверхности «груши». И услышал звуки, напоминающие удары маленьких молоточков. Временами «груша» вздрагивала, и тогда раздавался неясный гул. Я ползал по глыбе, обнимая ее руками, выслеживая источники звуков. И вдруг, догадавшись, покраснел под шлемом, вспомнив,

что наказал Валерию не спускать с меня глаз. О «грушу» ударялись другие глыбы и камушки, и она отвечала на удары колебаниями своей массы. Это был мой последний выход в космос,— что ему стоило под занавес преподнести мне хоть какой-нибудь пустяковый сюрприз!

Я встал у самого края и, оттолкнувшись, прыгнул на соседнюю глыбу. Мой прыжок заставил ее вращаться. Глыба точно ожила. Крутясь и раскачиваясь из стороны в сторону, она задевала соседние обломки. Это явление известно как астероидная лавина. Скопление тел, казалось бы, стабильное, под влиянием незначительной внешней силы приходило в движение. Начиналось перемешивание, перераспределение масс. Обломки вращались, сталкивались, дробились, а некоторые даже покидали материнский рой и устремлялись в самостоятельный путь. Начавшееся коловращение глыб могло длиться от нескольких минут до нескольких часов, пока энергия не гасилась от соударений и не у[illegible]ивалась гравитационными силами.

Меня несколько раз ударило [illegible] ину. Я завертелся на месте и долго не [illegible] возможности двигаться поступательно. С трудом у[illegible] назад, к большой «груше». Только у «обгр[illegible] конца, где выступавшие бугры образовали [illegible] я почувствовал себя в сравнительной бе[illegible] глыбы самых причудливых форм, переворач[illegible] на бок, дефилировали в непосредственной б[illegible]ости от моего тела, словно хищники, подстерегающие добычу возле ее убежища. Острые выступы, сверкая на солнце, то и дело сшибались друг с другом. Любая из таких пик могла проткнуть мой скафандр, как яичную скорлупу. Я прижался к бугристой поверхности разлома. Рядом с моим шлемом проскользнул блестящий клык и ушел в тень. «Груша» повернулась. Солнце осталось сзади. Я уже не видел, а скорее угадывал крутившиеся возле меня обломки. Когда один из них приткнулся ко мне, как теленочек, я подумал, что от камней можно ждать не только ударов, но и защиты. Приплывший обломок еще сильнее вдавил меня в нишу. Уже ощущались через скафандр ее неровности. Только теперь я обратил внимание, что мой шлемофон молчит. Не было даже привычного звукового фона. Наверняка меня вызывали и робот, и Валерий. Очевидно, ранцевая аппаратура повреждена, связь прервана.

Оставалось рассчитывать на свои силы. Но я был при-

жат, и даже не мог освободить руку, чтобы включить фонарь.

И тут я все-таки получил свой сюрприз!

Мы наконец повернулись к солнцу. Его лучи проникли сквозь щели между глыбами. Тесная ниша заиграла бликами. Стало светло. И я увидел... То, что я принял в темноте за прильнувший ко мне обломок, оказалось зеркально гладким скафандром незнакомой конструкции. Вокруг бледневшего за стеклом лица дрожало облако, похожее на оранжевый ореол. Большие глаза смотрели не на меня, а куда-то в себя. В них застыла безумная боль...

Упершись ногами в соседнюю глыбу, я постарался оттолкнуть ее. Неровности [illegible] впивались в спину. В глазах потемнело. Я давил и сам кривился от боли. Наконец, почувствовал облегчение. Гладкий скафандр уже не прижимался ко мне, [illegible] в пустоте: глыба за ним поддалась. Теперь я увидел, какой длинный и острый выступ прижимал ко мне незнакомца... Не прикрой он меня своим телом, я был бы [illegible], как бабочка на булавку.

Лучи солнца брызнули [illegible]. Прижимавшие нас обломки медленно расходились. [illegible] коридоре замелькали сигналы [illegible] робота-дубля. Это он раздвигал камни, пробиваясь [illegible] на выручку. Движения робота были [illegible] и [illegible] рассчитаны. Он был весьма изящен, как только может быть изящна полезная машина. Оттолкнувшись от «груши», я устремился к нему навстречу, [illegible] к груди невесомое тело своего спасителя. Дубль [illegible] посторонился, придерживая спиной и руками [illegible] глыбы.

Астероидная лавина уже затухала. Выбравшись из гущи камней, я представил себе улыбку Валерия, наблюдавшего за мной из корабля: мое порханье с глыбы на глыбу с ношей на вытянутых руках должно было напоминать балетное па-де-де. Но и тут я ошибся: Валерий выскочил мне навстречу из-за первой скалы — встревоженный и сердитый. Губы его шевелились. У меня были заняты руки. Я не мог показать, что не слышу. Это оказалось кстати: он весь выговорился в открытом космосе. Потом, на корабле, ему уже некогда было задавать вопросы, ответить на которые я все равно бы не смог. Дубль догнал нас у шлюзовой камеры, и мы все четверо одновременно пересекли порог.

Эскулап, наш универсальный биоэлектронный жизне-

борец, был не просто врачом, а целой маленькой клиникой. Научный центр в миниатюре, плюс добрая нянька. Первые образцы эскулапов предназначались исключительно для человека. Но с освоением гиперпространства и расширением обитаемой зоны, потребовался эскулап универсальный, способный выхаживать любую животную и даже растительную жизнь любого мира, как бы его условия ни отличались от земных.

В долгом бездействии наш врач заряжался жгучим нетерпением. В нем накапливался творческий заряд, служивший прекрасным стимулятором, когда приходило время действовать.

Эскулап забрал мою ношу прямо в скорлупе скафандра.

Только расставшись с ней, я почувствовал, что мне не будет покоя до тех пор, пока не узнаю о своем спасителе все, что можно узнать.

Я долго топтался у табло возле надписи «Предварительный диагноз», пока на нем не зажглись, наконец, слова, которые едва ли могли служить утешением: «Перелом позвоночника».

Корабль шел на голубую планету.

Мне не сиделось в рубке. Тревога тянула меня к эскулапу.

Тревога и чувство вины. Я оставил за пультом Валерия и вернулся к нашему «доктору».

Внутри аппарата что-то мерно жужжало. Я устроился в кресле у невидимого колпака, под которым эскулап укладывал больных после оказания им первой помощи. Здесь размещалось хозяйство биоэлектронной няньки и сестры милосердия. За незримой преградой работала индивидуальная система жизнеобеспечения. Силовое поле изолировало пациента от окружающей среды, не вызывая при этом ощущения одиночества, посетители могли видеть больного и разговаривать с ним, если свет и звуки не причиняли ему вреда. Но на сей раз воздушное ложе под колпаком долго пустовало. Это усиливало тревогу.

Я чувствовал себя беспомощным. Меня кидало то в дрожь, то в жар. Я подумал, уж не придется ли и самому отправляться в пасть к эскулапу. Сел поудобнее, мышцы расслабил, сделал несколько вдохов и выдохов и приказал себе успокоиться. Я должен был взять себя в руки. Я знал, что могу это сделать. Я медленно погружался в сон.

3

Мы, люди планеты Мать — прекраснейшей из планет под лучами светила Отца — не научились спокойно думать о смерти. И может потому, что я женщина, мне нравится древняя сказка об океанских волнах, которые не хотят умирать... Всю жизнь они кочуют под ветром, собирая в дороге голубую морскую пыль. Они спешат к берегам, неся на гребнях свое окутанное белой пеной бессмертие. Они разбиваются о прибрежные камни и перестают жить. Но за миг до гибели успевают с размаху, как можно дальше забросить на берег хрустальные голубые слезинки. В ветреные дни пляжи устланы голубыми коврами. В этих прозрачных камушках — бессмертие разбившихся волн. В каждом из нас живет мечта обмануть смерть, перед самым концом оторвать от себя и бросить оставшимся что-то вечное, ни на что не похожее, сугубо твое, и [illegible] всем нужное. Навсегда.

Есть новая сказка о людях, которые вечны, как камни, и почти так же, как камни, они недвижимы,— сказка неожиданно ставшая [illegible]. Их корабль появился давно. То, что это [illegible], мы поняли, когда исследовали температуру разных его частей. Было замечено слабое [illegible] частиц. Неизвестный предмет медленно [illegible] курс в направлении нашей планеты.

Время от времени [illegible] одноместные патрульные боты для наблюдения за кораблем в непосредственной близости. В институте Внешних Исследований этим занималась как раз моя группа. Хотя сами люди-камни жили пока еще только в нашей фантазии, о них уже слагались легенды. В одной из них, например, говорилось о девушке, полюбившей человека-камня. Бедняжка всю жизнь провела рядом с кумиром и только умирая догадалась, что это — всего лишь статуя. Находились и такие, которые подозревали, что мы сами подвесили в космосе «ленивую гондолу» и раздуваем вокруг нее шум. А гондола была, действительно, ленивая. Наши корабли покрывают эти расстояния в тысячи раз быстрее.

Постепенно люди привыкли к мысли о висящем в космосе корабле гипотетического человека-камня. Каждое утро они слышали о нем что-нибудь новенькое: новые сведения или новые шутки. Страсти давно улеглись, но ожидание оставалось.

Несмотря на медлительность, корабль неуклонно сближался с планетой.

Кто из нас не мечтал первым увидеть живого человека-камня?! Воображение рисовало огромную фигуру, как бы высеченную из черного монолита. Он сидит за штурвалом корабля год, другой, третий, проявляя выдержку и сатанинское терпение. Глупо было бы смеяться над этими людьми только из-за того, что у них свой ритм жизни. Да и люди ли они вообще?! Параллельно с нашей, существовала гипотеза о том, что тело, которое мы принимаем за корабль, на самом деле есть неведомое живое существо.

Гипотезу о «человеке-камне», а точнее о «существе-камне», иллюстрировала примитивная умозрительная модель. По городу движется транспортер со скоростью один квартал в одну жизнь. Кому может быть нужен такой транспортер? Только [illegible] у кого тысяча тысяч жизней или одна жизн[illegible] тысячу тысяч жизней. При наших скоростях [illegible]л бы ровно ничего за окном транспортера. Э[illegible]ли тот факт, что корабль не реагирует на сис[illegible]ческие облеты его патрульными ботами. Пр[illegible] каким-нибудь образом спровоцировать выход эк[illegible] наружу. Однако Совет решил отказаться от этого шага... и если решение все-таки было нарушено — виноват только случай. Мой бот взорвался неподалеку от корабля пришельцев. Произошла авария в системе энергопитания. Но автоматика успела сработать, и за несколько мгновений до взрыва кресло-скутер вынесло меня на безопасное расстояние... Когда я вернулась к останкам своего несчастного бота, чужой корабль уже закрывал полнеба. Я поняла вдруг, что при взрыве произошло мгновенное торможение и теперь осколки бота наверняка замечены с корабля. Скоро я увидела, как от черной громадины отделилось блестящее угловатое тело. Оно распласталось в пустоте и долго-долго плыло, не шевеля конечностями. Тело казалось мертвым, но, достигнув одного из обломков, начало поворачиваться. При жуткой медлительности движения были невероятно точными. Я уловила в них что-то холодное и враждебное. Тело степенно, рывок за рывком, с умопомрачительными интервалами устраивалось верхом на обломке. Я приблизилась. Мне хотелось увидеть его лицо. Но лица не было. Вместо него торчали какие-то трубки, и светилось что-то похожее на гнилушку.

Я готова была к самому жуткому виду человека-камня, но только не к замене его примитивной машиной-камнем, автоматом-камнем... то есть — просто камнем. Неприятным воспоминанием о человекообразных машинах мы обязаны эпохе наивных экспериментов, когда многие не понимали, что естественное развитие отношений между людьми складывается на той же основе, что развитие отношений клеток и органов внутри совершенствуемого природой живого тела. Если позволить одному органу перестраивать всю анатомию существа по своему ограниченному идеалу, то получится робот: то есть ублюдок — воплощение злокачественной неполноценности.

И глядя теперь на робота-камня, я презирала эту блестящую коробку с рычагами-конечностями. Робот — это не просто рациональная машина, это — эрзац-человек. Набожные люди в [illegible] что они сами эрзац-боги. Как бог якобы [illegible] по своему образу и подобию, так и человек [illegible] по тому же принципу, и в приступе [illegible] чуть ли не самим господом. [illegible] на эту пошлую куклу, отвернулась [illegible] на меня летел самый настоящий [illegible] удивительный, как его робот. [illegible] человека. В движениях [illegible] свойственная живому существу.

Это был человек и по [illegible] лица. Странно [illegible] его, какая-то расовая неопределенность, [illegible] лицо еще интереснее, человек улыбался. Это было понятно сразу. Улыбка ироническая и, [illegible] добрая, милая — редкое сочетание. Единственный недостаток этой улыбки — продолжительность: в ее сиянии можно было преспокойно выспаться.

Я уловила едва заметные движения губ и догадалась: он разговаривает с роботом или с теми, кто остался на корабле.

Пожалуй, со временем я могла бы его понять, несмотря на чудовищную растянутость речи. Нет, я уверена, что могла бы понять. Как много скрывается за этой уверенностью! Одни говорили: «Единый язык для всех народов — дискриминация остальных языков. Каждый язык — неповторимый, драгоценнейший дар всему человечеству. Переводы, - как бы они совершенны ни были,— всегда уступают оригиналу. Люди должны стать полиглотами!»

«Это абсурд!— возражали другие.— Можно изучить десять, пятнадцать, двадцать языков, но знать сразу все — немыслимо! Выходит, и здесь дискриминация! Если народы стремятся к полному взаимопониманию,— без лингвистических жертв не обойтись. Единый язык — решение самое справедливое!»

Вот о чем спорили наши прадеды. Теперь этот спор казался наивным. Как просто все разрешилось! Чтобы понять незнакомый язык, не требуется ни переводчика, ни словаря,— достаточно развить у себя поэтический дар. Язык для человеческой мысли играет такую же роль, как в музыке — манера игры. Мысль может иметь столько поэтических выражений, сколько существует языков. Теперь каждый говорит на родном языке и уверен, что его поймут все, кто слышит. И не только поймут, но и насладятся [illegible] знакомой речи.

Я не знала, о чем говорил [illegible]. Я крутилась, разглядывая его голубые [illegible] замечал меня. Ритмы наших жизней [illegible] его заметить меня — все равно что [illegible] взглядом сразу тысячу молний. Я для [illegible]. В наших сказках люди-камни служили [illegible] для насмешек. Их наделяли невероятно долгой [illegible] и одной-единственной фразой на все случаи [illegible]. Авторы как бы хотели сказать, что [illegible] короткую жизнь тоже можно вместить очень многое.

Но с тех пор, как дети нашей планеты перешли возрастной порог, им уже не нужны утешения. Возможно, теперь даже люди-камни могут чувствовать себя рядом с ними бабочками-однодневками. Мне не было скучно наблюдать за этим симпатичным ленивцем. В лучах светила он был похож сразу на двух человек, сращенных вместе: одного — абсолютно черного, другого — ослепительно яркого.

Человек-камень явно проявлял интерес к обломкам моего бота. Должно быть, он терялся в догадках, пытаясь понять, каким образом в космосе из ничего мог возникнуть целый рой твердых тел. Сейчас мы оба с ним занимались исследованием. Он изучал обломки. Я изучала его самого. Но из нас двоих он имел большее число неизвестных.

Меня развеселило, когда человек-камень прижался шлемом к самому большому обломку. Это было очаровательно! Его логика меня потрясла: «Если не смог увидеть,

попробую послушать». Он долго-долго прислушивался. И мне тоже захотелось самой прижаться шлемом к обломку. Разумеется, до меня не долетело ни звука. Да и что можно было услышать, если каждый обломок представлял собой почти однородную массу расплавленного взрывом и успевшего затвердеть материала? Я вскочила и рассмеялась от того, что мы оба слушали камни в пустоте; такое мог придумать только человек! Я совсем разошлась, прыгая с капли на каплю вокруг моего ленивца, и не заметила, как расшевелила обломки. Массы пришли в движение. Для меня этот сонный камневорот не представлял опасности. Но я чуть не потеряла пришельца из вида. Издалека он [illegible] так же, как все обломки. Я понимала, что с его природной медлительностью не просто увертываться от [illegible] капель. Острые выступы могли [illegible] скафандр, наверняка более хрупкий, чем мой, [illegible] рассчитан на немыслимые для человека-камня [illegible] перегрузки. Когда я снова увидела пришельца, [illegible] и почувствовала, что успела к нему [illegible]

Для меня он был теперь [illegible], находящимся в опасности. Он [illegible]. Никогда не думала, что в замедленном [illegible] может выглядеть так зловеще! Он пробирался [illegible] где массы двигались медленнее. Но сюда [illegible] стягивались все капли. Со стороны мне было [illegible]. Время от времени я вылетала из зоны обломков и снова возвращалась в этот круговорот. Включать двигатель скутера возле пришельца я не решалась, а помочь ему [illegible] мускульной силой не могла. Несколько раз мне удавалось замедлить вращение угрожавших пришельцу рогатых осколков. Но это была лишь оттяжка. Я не могла сдержать всю лавину, металась, не зная, что предпринять, пока снова не потеряла его из вида.

Теперь и мне стало трудно пролезть между рваными каплями — так плотно они скопились. Я проклинала себя за то, что вылетела на неисправном боте, за то, что вернулась к обломкам, за то, что смеялась над человеком. Моя беспечность, мое зазнайство могли привести к убийству.

Я пробиралась к центральной капле. Теперь оплавленные куски давили сзади, проталкивая меня вперед, в гущу холодных глыб, к большому обломку. Наконец, я снова увидела человека. Он укрылся в маленькой нише. Но при

его медлительности это была западня, капли теперь составляли сплошную массу, постепенно стягивающуюся к центру. Я протиснулась в щель в то мгновение, когда мы уплыли в тень. Старалась не делать резких движений, не задеть человека. Однако, он сам нащупал меня и я почувствовала на своих боках его руки. Он вертел мною, словно обломком, должно быть не зная, куда засунуть меня в такой тесноте. Не было видно ни зги. Я поняла, что он тоже не видит. И не может зажечь фонарь.

Мне захотелось спать. С момента взрыва прошло много циклов сон-бодрствование, а я еще ни разу не отдыхала, поддерживая себя пилюлями стрессинга. Теперь я была прижата обломками к пришельцу и не могла бы двинуться, если бы и захотела. Но зато мне было спокойно: я сделала все, что могла сделать в моем положении.

Теперь ничего нельзя было изменить. Острый выступ все сильнее упирался мне в спину. Скафандр был достаточно прочен: не рвался, но прогибался, и я это чувствовала. Прогиб увеличивался постепенно. Все происходило в полной темноте и абсолютной тишине. А я молила судьбу об одном — только бы скорее потерять сознание. Вначале меня охватил дикий страх: я всегда боялась боли, боялась даже ее приближения. Теперь она не спешила, медленно впивалась в меня, не давала к себе привыкнуть; скоро настал миг, когда я уже не представляла себе, что боль может быть сильнее. А она все росла, как-будто не было у нее предела, и жгла, и давила, и расплющивала меня. И еще много времени прошло, пока во мне что-то не хрустнуло. Но и тогда я не потеряла сознания, а боль не оставила своего наступления. Я уже ничего не понимала. Все потеряло значение. Боль затопила вселенную. Помню только, как свет ударил в лицо. Мелькнули его глаза, застывшие в немом изумлении... и я, наконец, лишилась чувств.

Однако несколько раз еще приходила в себя. Едва прикасаясь, он нес меня на руках, не столько нес, сколько легонько подталкивал.

Мне было очень больно. Теперь боль была ровная, но такой силы, что привыкнуть к ней уже было нельзя. Я не могла шевельнуться. Мое тело казалось мне каким-то чужим, нелепо притороченным к голове вместилищем боли. Свет и тьма попеременно сменяли друг друга.

Я очнулась, когда его руки уложили меня на жесткое

ложе. Рядом был еще один человек. Его я раньше не видела. Мое непослушное тело медленно уходило в зев какой-то машины. Я так устала от боли, что мне было уже все равно. Сверху упала тень. Стало темно. Скафандр лопнул, и я почувствовала легкий укол в бедро. Тень отодвинулась и вместе с ней с меня сосплользнули «доспехи». Думала, что задохнусь, но дышать стало легко и приятно. Смертельно хотелось спать... и я, наконец, уснула.

Что было со мной потом — не знаю. Я только сейчас проснулась... на этом уютном ложе. Сколько я проспала? Должно быть, немало циклов. Боли не чувствую. Но тело по-прежнему — как не свое. Эта машина, которая мной занимается, похожа на [illegible]. Она мне нравится. Она уловила мой ритм и [illegible] приспособиться. Мне нравится также, что [illegible] не претендует на внешнее сходство с людьми.

Я стала говорлива. Говорю, [illegible] тишину, чтобы слышать свой голос [illegible], что жива. А, может быть, я надеюсь, [illegible] и поймет. Он спит [illegible] спит, не просыпаясь. [illegible] ребенком. Беспомощным. [illegible]. Конечно, мое появление — для [illegible] такая! А я говорю, говорю... [illegible] Человека. Моя речь должна [illegible] светом. Мне в голову пришла смешная идея. Мы способны во сне за один миг прожить целую жизнь. А [illegible] у Человека это так же, как и у нас, и [illegible] растянет, развернет мой сонет... и [illegible] его в [illegible] раздельную речь. Это «а вдруг», конечно, смешно: даже слыша мою речь, ее невозможно понять, не владея [illegible]ческим даром. На родном наречии меня зовут Роза. Когда я произношу свое имя, из звуков рождается образ цветка, имеющий в каждом языке свое название.

Я не тревожусь о себе, [illegible] я уверена: все будет хорошо. Возможно, это спокойствие мне внушает лицо спящего в кресле Человека. Когда спит, он совсем как мы. Кажется, будто пропадает различие в ритме. Без скафандра он какой-то совсем домашний. Я уже очень к нему привязалась. Кажется, что знаю его целую вечность. Господи, вечность! Для нас самих она стала реальностью так недавно! Продолжительность жизни росла бесконечно медленно, и чем дальше — тем медленнее. Казалось, мы

подходим к пределу и еще продлить жизнь невозможно. И вдруг все изменилось. Резко. За каких-нибудь два поколения. Мы и в самом деле подступили к пределу, к тому сроку жизни, за которым практически наступает бессмертие (без учета несчастных случаев). Надо только дожить до этого срока — вот весь секрет. Качественный скачок связан с перерождением нервной ткани. Будто снимается заклятье и нервным клеткам возвращается то, что было отнято с момента рождения — способность делиться и обновляться. Дом приходит в запустенье и рушится, если у него негодный хозяин. Организм превращается в развалину и погибает, когда управляющие им центры перестают быть хозяевами положения. Но клетки большинства тканей способны обновляться. Дайте им молодого, энергичного управляющего, который приведет в порядок все хозяйство, и организм преобразится. Постепенно человек вновь [illegible] придет к духовному и физическому расцвету.

Это было великое открытие. Только избавленный от перспективы старости человек может чувствовать себя по-настоящему человеком. Я уверена, для пришельца вечная жизнь значила бы не меньше, чем для нас. Он был бы счастлив узнать, что человек может стать бессмертным. Надо только перешагнуть порог. Так придумала сама природа. Это ее изобретение. Как бы я хотела раскрыть пришельцу [illegible] тайну! Разум, в каком бы он ритме ни жил,— должен быть счастлив и добр.

Что это? Я его разбудила! Пришелец мой открывает глаза! По чертам его я угадываю, как он надежен, и чуток, и добр! В нем нет никакой суетливости. Я чувствую: с каждым мгновением он мне дороже.

4

Я проснулся. Девушка под силовым колпаком глядела на меня удивительными глазами. Иногда по лицу ее пробегала мельчайшая дрожь. Я не сразу уловил, что так она улыбается. То была даже не сама улыбка, а тончайшее вступление в улыбку, как легкое прикосновение ладони. Никто никогда еще мне так не улыбался. Она не отрывала от меня глаз. В них горели тысячи свечей. Одни гасли, зажигались новые. Это был фейерверк. Это была глубочайшая музыка.

Я и сам не сводил глаз с незнакомки. Ее беспомощное положение было ужасно, но, глядя на нее, я забывал об этом. Она со мной говорила. И я понимал. В ее глазах жила земная голубизна. С ней я чувствовал себя легче и подвижнее. Во мне просыпа[illegible]кая радос[illegible] чивость ее лица вызывала ощу[illegible]
А глаза,— это трудно пер[illegible] я в [illegible] всматривался, они превра[illegible] туманились вокруг головы [illegible] проступали — тонкие, как [illegible] и блестящие. Казалось, она [illegible] ее, накрытое престижно, [illegible] И я знал, что это надолго, [illegible] «Благополучный прогноз».

Опять заголосил зуммер [illegible] рубку. Мы были на годо[illegible] Она провожала меня тепло[illegible] рить. А я долго не мог от[illegible] вовал, что больше ее не у[illegible]

Пока шел в рубку, [illegible] включения противо[illegible]

Началось торможение. [illegible] ты. Не ожидал, что это нас[illegible] потерял счет времени.

Я взял управление спуском [illegible] послал проверить готовность авари[illegible]

Садиться на неосвоенные [illegible] гут [illegible] диционные корабли. Для тяже[illegible] ствует единственный способ посадки — [illegible] диционной системы наведения в р[illegible]тно-по[illegible] шахты. В случае вынужденной посадки сам корабль обречен. Экипаж спасается на аварийном боте, который должен забрать весь оставшийся [illegible]центратор пространства — наш «керосин». В этот [illegible] необходимо [illegible] покинуть корабль раньше, чем [illegible] инструкцией: наш груз мог дать при [illegible] чудовищный [illegible]. Следовало подальше уйти от [illegible] места. Когда Валерий сообщил по селектору, что [illegible] до бота, я велел ему начать перегрузку оставше[illegible] керосина, перенести из отделения эскулапа на аварийное судно капсулу с незнакомкой и доложить о готовности к старту.

Я направлял корабль на дневную сторону планеты, выбрав для посадки зону с умеренным климатом. Облака под нами блестели, как девственный снег. Кое-где зияли

разрывы-проталины. Радужное кольцо вокруг планеты постепенно мутнело и расплывалось по мере того, как мы погружались в океан атмосферы. На пульте зажегся сигнал, что «керосин» переходит в бот. Скоро нечем будет притормозить спуск, и начнется свободное падение. Я ждал доклада Валерия, чтобы переключить все системы на автомат, перейти в аварийное судно и стартовать. По моим расчетам, Валерию пора было доложить о готовности к старту. Но селектор молчал.

5

От пульта не отойдешь. Я т[illegible]лся в догадках, что случилось, почему Вал[illegible]рий мо[illegible].

Мы снижались в дне[illegible]. Облака уплывали за горизонт. Через стекло [illegible]а открывалась панорама бескрайней серо-го[illegible]ны. Но я не мог оторвать глаз от экрана [illegible]скопа, где с высоты птичьего полета [illegible] предполагаемого падения корабля. У [illegible]ло дыхание: там, внизу, прямо под нами... рас[illegible] город! Бесконечными шеренгами выстроились [illegible]е на кукурузные початки здания. Окрашенные в [illegible], пролегли между ними проспекты. Подн[illegible] над горизонтом солнце заглядывало в огромные витрины. Под лучами его быстро таяла дымка.

Я невольно схватился за рычаг торможения... Но не решился его повернуть: оставшегося «керосина» едва хватало для равномерного спуска. Если горючее [illegible]работается без остатка, корабль перейдет в свободное падение и все равно обрушится на город...

Кто-то коснулся моего плеча. Рядом стоял Валерий. Лицо землисто-серое.

— Капустин,— сказал он,— в отделении эскулапа никого нет. Я обыскал весь корабль...

— Смотри!— перебил я его, кивнув на экран. И подумал: «Мы уже не хозяева на корабле... Почти не [illegible]. Но все-таки корабль падает на город... На ее город...»

Моя рука автоматически потянулась к переключателю подачи концентратора пространства. Но меня опередил Валерий. Он или понял мой жест, или почувствовал то же, что и я. Теперь из аварийного бота «керосин» возвращался в корабль. Но даже с учетом этой скромной добавки,

самое большее, на что мы могли рассчитывать,— это коснуться поверхности не в центре, а где-нибудь на окраине города...

Аварийный бот уже не понадобится. Час назад, когда я спал у изголовия незнакомки, она говорила сама с собой... и со мною. Теперь я смотрел на город и он казался мне нарисованным. На улицах не было видно движения, хотя по обочинам там и тут стояло много машин. Приглядевшись, я, наконец, увидел людей. Это были странные люди, хотя внешностью они мало чем отличались от нас. Они стояли на тротуарах, на галереях, окружающих здания, на плоских крышах, превращенных в сады. Они торчали, как застывшие манекены и смотрели в какие-то трубки вверх, прямо на нас. «Город статуй»,— подумал я. Но скоро [illegible] ошибаюсь. Я попробовал наблюдать за [illegible], но она вдруг исчезла. Рядом возникла [illegible] видел людей, пока они не [illegible]. То же самое было и с транспортерами [illegible] двигались, они исчезали из виду. Но [illegible] не удивлялся. Я знал — это [illegible] город, их планета — Мать, их светило — [illegible] на корабле. Им известно, что нас [illegible] Розу они поспешили забрать. Да, [illegible]. В ней действительно есть сходство с [illegible] цветком. Эти люди могут проникнуть в корабль, столь быстро проделав и заварив отверстия в корпусе, что приборы не успеют отметить нарушение герметичности.

Что же дальше? Что предпримут они, видя, как прямо на город падает страшный груз? И вдруг я понял: сейчас нас взорвут, пока еще мы достаточно высоко, и ударная волна от взрыва не достигнет поверхности планеты. Это — единственный, самый надежный и решительный путь спасения миллионов людей-молний.

Я деловито взялся за рычаги управления — попытка продемонстрировать выдержку... Самому себе...

«С этими рычагами в руках и полечу в тартарары»,— усмехнулся я про себя. Но что-то было не очень весело. Наверно, я сжался в комок, спрятался, как улитка в раковину,— даже Валерий смотрел на меня удивленно. Взгляд его был красноречивее зеркала. И тут я рассмеялся по-настоящему. Даже лучше, если последний миг наступит во время смеха. Потому что страх — это смерть заранее. А улыбка, как птица. Она не исчезнет вместе

с тобой. Только вспорхнет и будет носиться над миром, пока не отыщет родственную душу. Тогда опустится и снова станет улыбкой. То говорил во мне «поэтический дар», без которого, по мнению Розы, иноязычные люди не могут понять друг друга. Ведь я ее понял! Мы на Земле понимаем друг друга давно. Не знаю... у нас все вышло как-то само собой, постепенно. Мы над этим не очень задумывались.

Я накренил корабль, чтобы нас отнесло чуть подальше. Но то была лишь игра: на ручном управлении нашу махину держать невозможно. Грузовоз покачнулся, готовый перевернуться. Я снова включил автоспуск и взглянул вниз, потом на экран. Чего они медлят? Еще немного и взрывать будет поздно... Да нет... Уже поздно!

Теперь я не отрывал глаз от экрана.

Под нами разворачивалась панорама центра города. Картина непрерывно менялась. Это было знакомо. Динамическая архитектура давно известна. Мы тоже научились строить города, как меняющиеся декорации. Можно удалить здания, чтобы расширить площадь. Или на месте площади воздвигнуть гигантский амфитеатр. Теперь лицу города свойственны и неповторимые черты... и способность менять выражение.

Но у этого города смена выражений происходила так быстро, что напоминала гримасничание. Колоссы поднимались наклонно на угловатых шарнирных опорах. Точно гигантские задумчивые кузнечики, они то складывали, то расправляли необъятные полупрозрачные крылья. Эта архитектура колченогих опор и нависающих скалообразных тел показалось мне дешевым трюкачеством. Панорама быстро приелась. И я опять сосредоточил внимание на обитателях. Они, как и раньше, появлялись, чтобы тут же исчезнуть. Некоторые стояли по двое, прижимаясь друг к другу. Иногда они пропадали не сразу, а постепенно, как плавно набирающий обороты винт допотопного вертолета. Теперь люди-молнии почти не прикладывались к своим зрительным трубкам, не задирали головы вверх — в нашу сторону. Очевидно, мы уже не представляли для них объекта внимания номер один — примелькались. Я хотел обидеться, но не смог: в беспечности людей-молний было столько нашего, человеческого! Теперь и сам город стал немного понятней. Я принимал его, как незнакомую музыку или живопись. Слишком новое всегда раздражает, вызывает инстинктив-

[illegible] протест. Но, если оно талантливо, если в нем — благородство и искренность, то постепенно оно укрощает и приучает к себе. До меня вдруг дошло, что движения крыльев исполинских кузнечиков, скорее всего, соответствуют циклам жизни обитателей города. Бодрствование — крылья сложены, [illegible] на улицах. Сон — крылья распущены веером, и [illegible] в громадной тени. Красота постигается [illegible]. [illegible] кузнечиками можно [illegible] годовыми кольцами [illegible], человеческим телом. Я [illegible] умного мира легкомыс[illegible], наверняка, что-нибудь [illegible] и теперь приводят св[illegible]. Но [illegible] не мог удержаться [illegible].

На оставшейся [illegible], удастся дотянуть до [illegible] половины города будет [illegible] ний совершенно [illegible] способ отбуксирова[illegible] быть, нас уже подцепи[illegible] замечаем.

Я взглянул на высото[illegible] оставалась тысяча метров[illegible] ны. Уже не нужен [illegible] полета был виден на [illegible] собирались нас буксировать. Неужели [illegible] можно тоньше манипулир[illegible] посадочный автомат пришлось [illegible], он не рассчитан для работы на таких кр[illegible] Стрелка указателя «керосина» дрожала у нулевой риски. Вспомнив, как мгновенно исчезают [illegible] транспортеры людей-молний, я понял, что [illegible] идея буксировки была нереальна. Пришвартоваться к [illegible] они, пожалуй, смогли бы, но [illegible] попытка начать буксирование была бы подобна удару о поверхность планеты. Теперь у людей [illegible] оставался один выход — эвакуировать город. С их темпами передвижения это не составляло проблемы. Скорее всего, такой вариант и был предусмотрен в самом начале.

Не уничтожив корабль на безопасной высоте, люди-молнии показали, что несколько десятков минут нашей жизни для них дороже камней огромного города. Но эта мысль не принесла утешения. Грузовоз уже пролетал над

самыми крышами. Они мелькали под нами, и невозможно было ничего разглядеть. Еще секунда и под нами — широкий луг, что-то вроде площадки для игр. Высота двести метров. Сейчас будет взрыв. Я взглянул на Валерия: бледные губы сжаты, и все... Так держатся перед стартом в неведомое... Хотелось смотреть и смотреть. Взгляд упал на экран телескопа. Я не мог оторваться: у дома стоял мальчонка — лет трех по земному понятию — и смотрел в нашу сторону. Пальчик, забитый в носу, выдавал мыслителя. Чуть поодаль я видел еще карапузов. Это было непостижимо! Выходило, что люди-молнии не покинули город и не думали об угрозе взрыва! Не волновала их ни наша судьба, ни своя собственная! Как было в это поверить?! Я представил себе глаза моей Розы. В ушах зазвучал ее голос: «Он был бы счастлив узнать, что человек может стать бессмертным. Надо только перешагнуть тот порог...» Что ж, и мы когда-то перешагнули его. Это было давно. Мы знаем, как прекрасна жизнь без увядания! Как вообще прекрасна жизнь! Мне казалось, что так думают и здесь... Я ошибся!

— Барахлит указатель «керосина», — неожиданно доложил мой помощник.

— И пусть барахлит... — отозвался я. Но когда взглянул на приборную доску... точно развернулась во мне туго скрученная пружина. С остервенением бросил я на себя рычаг старта... и, оглушенный, на миг потерял сознание... За звездолетом вырос огненный луч... На его острие уносился в зенит наш корабль.

Валерий уже набирал программу перехода к Земле. А я не мог отвести взгляда от шкалы указателя «керосина»: прибор сообщал, что на борту — полный заряд концентратора пространства.

Исследовать способ перемещения, построить зарядную станцию и в последний момент успеть передать нам заряд — что еще могли сделать для людей... люди?! Жаль, что наша громадина не могла тут сесть.

Я долго смотрел на крохотный голубой оазис, уплывающий в звездную даль. Он провожал нас веселым светом жилья. Я думал: чего стоит моя бесконечная жизнь, если нам никогда не дано быть вместе? О, как хотелось бы верить, что будет день, когда в развороте пространства я снова увижу тебя... мой легкокрылый цветок!

СМОТРИТЕЛЬ

Исколесив вместе с [illegible] [illegible], мы, наконец, зашли поужинать в [illegible]. Он подсел к небольшой компании, [illegible] столик за разлапистым деревцем [illegible] в слух. Но вскоре и напрягаться [illegible] подвыпил и говорил [illegible]. Я включил запись. Он рассказывал [illegible]

— Как вы помните, [illegible] на мели после банкротства [illegible] электрооборудования. Пришлось [illegible] в поисках работы. В наше время, [illegible] не так легко. И тут мне на глаза попалось объявление о том , что компания по эксплуатации недр набирает людей для работ в необжитых районах. Если бы я знал, что это за необжитые районы, в жизни бы туда не сунулся. Но об этом не знал никто из тех, кто пришел наниматься. Прилетев на место, мы мигом сообразили, что попали в ад. То была не планета, а одно сплошное болото. И только кое-где проглядывали островки суши. Но в этом болоте находились богатейшие залежи руд, которых катастрофически не хватало в нашей системе. Поэтому-то здесь, на забытой богом планете, и наладили добычу металлов. Сами понимаете, какая может быть работа на сплошном болоте. Космодром и обогатительную фабрику, бараки для рабочих и все остальное, без чего нельзя обойтись, построили на одном из островков, километрах в пятистах от района добычи. Понадобились дороги и пульпопроводы. Но вы же знаете наших дельцов, лишний цент бояться истратить, чтобы сделать все по-человечески. Вот они и надумали. Взяли и по этому проклятому

болоту протянули провода и пустили по ним ток, и по каким-то законам физики получилась дорога. Смотрителем этой дороги меня и назначили. Моей обязанностью было следить, чтобы дорога постоянно находилась под током. Если ток пропадет, то пропадет и дорога, и, соответственно, все то, что находится на ней. Конечно, все бы ничего, но дельцам показалось невыгодным привозить раз в неделю рабочих на отдых. Да, а климат там — хуже не придумаешь. Температура постоянно около шестидесяти градусов, болото парит, сплошной туман.

И еще в этом болоте водились кошмарные твари, такие и в дурном сне не приснятся. Однако мясо у них было вкусное, и поскольку кормили нас из рук вон плохо, приходилось охотиться на них. Но не только нам их мясо понравилось, но и наше [illegible] поэтому охотники частенько сами становились добычей.

Зарабатывали мы неплохо, хотя толку мало было от этих заработков. Понаст[illegible]их лавочек. Бутылка виски стоила недельного заработка, вот и возвращались к нашим хозяевам все [illegible] до единого. Да, кстати, плесните в стаканчик, а [illegible] горле пересохло. Эх, о чем я говорил?

Так вот, чтобы не возить рабочих, решили бараки, пивнушки и все остальное перенести поближе к разработкам. Опутали кусок болота проволокой и пустили ток. На болоте появился остров и на нем начали строить. К тому времени энергостанция была уже на пределе, и я не раз докладывал об этом начальству. Да разве кто меня слушал! Что для хозяев главное? Прибыль. В общем, так ничего и не предприняли, все осталось по-старому. Работы у меня стало во много раз больше. Приходилось постоянно заниматься ремонтом, каждый день что-то выходило из строя. Пока имелись резервные энергоблоки, жить еще можно было. Но потом компания развернула новые разработки и протянула еще две дороги. Кто был занят на новых разработках, мы еще тогда не знали. Новых людей компания не набирала, а тех, что были здесь, на новое место не переводили. И несмотря на это, руда с новых разработок шла в еще больших количествах, чем с первой.

А между тем каждое дежурство превращалось черт знает во что. С пуском двух дорог в резерве остался всего один энергоблок, а полагалось на каждую дорогу иметь

мы резервных. За двенадцать часов вымотаешься так, что за другие двенадцать едва успеваешь отоспаться. Оборудование износилось до предела. Поломки становились все чаще, и все больше времени уходило на их устранение.

И однажды случилось то, что должно было случиться. За час до конца моей смены полетел энергоблок первой линии, я переключил ее на резервный, но не успел отыскать неисправность, как полетел и тот. Я задействовал и аварийный резерв. Приборы показывали сумасшедшую нагрузку, но аварийный пока держал. Однако полетел и третий блок, а подключать вместо него было нечего. Созвонился с начальством и получил приказ переключить все на аварийный. Пришлось исполнить, и это было последней каплей в море. Вышла из строя вся станция, и все три дороги остались без питания.

Что там творилось, вспоминать не хочется! Плесните еще в стаканчик, а то [illegible] в горле пересохло.

Эти твари болотные на остров и на дорогу не выходили. Может им не нравилась суша, а может еще что, неизвестно. Но когда дорога начала расползаться, их собралось великое множество. По радио мы слышали крики о помощи, проклятия и еще много чего. Потом кто-то включил обзорную телекамеру, установленную прямо на крыше одного из бараков, и мы могли наблюдать все происходящее сами. Это был сплошной кошмар. Камерой управляла умелая рука и показывала самые жуткие моменты. Мы не могли оторваться от этого зрелища, хотя некоторых прямо выворачивало наизнанку. Там погибало несколько тысяч человек, и мы не могли им ничем помочь. Вы помните, какая черная у меня была шевелюра? Но в тот черный день она у меня стала белой.

Сразу после аварии понаехало комиссий. Прибыла комиссия и по надзору за эксплуатацией недр чужих планет, и тут выяснилось такое, что у видавших виды членов комиссии волосы встали дыбом. Оказалось, что на этой планете есть аборигены, и компания использовала их на двух новых разработках. А ведь вы знаете: по положению, принятому еще в прошлом веке, аборигенов не только нельзя использовать на разработках, но вообще нельзя вести подобные разработки на тех планетах, где имеется разумная жизнь или существует вероятность ее возникновения. Это же и младенцу понятно: настанет для туземцев пора выйти из каменного века, а ничего они сделать не смогут по той причине, что металла нет. Тот,

что остался на планете, рассеян в таких мизерных количествах, что для его добычи нужна мощная техника. Но откуда у них может взяться мощная техника, если им даже ножа сделать не из чего.

В общем, разработки прикрыли, а нам выплатили кое-какую компенсацию за недоработанный по контракту срок и приказали держать язык за зубами во избежание неприятностей. Только куда уж больше этих неприятностей! Деньги кончились, работы нет. Остается из всего «богатства»— держать язык за зубами. Да нет уж, больше не буду! Пойду куда следует и все рас...

Приподнявшись было, рассказчик рухнул на пол. Выстрел из бесшумного пистолета, лежавшего у меня на коленях, не был услышан никем. Расплатившись с официантом, я вышел из зала. Компания не любит тех, кто много знает и не умеет держать язык за зубами. И своевременно избавляется от них. Для этого и существуем мы, смотрители!

ВТОРЖЕНИЕ

Развалившись в водительском [illegible], Герд с ленивой улыбкой наблюдал за [illegible] колонной. Батальон Имперских Вепрей, [illegible] корпусе, даже в этих буйных [illegible] сохранять четкий, радующий глаз строй.

Когда последняя машина [illegible], улыбка сошла с лица Герда. Некоторое [illegible] как колеблются потревоженные [illegible], потом захлопнул колпак и вкл[illegible]. [illegible] «жук» рванулся с места и резво [illegible] по проложенной батальоном просеке, прыгая через [illegible] кусты, ныряя под медленно уступающие дорогу ветви. Следовало торопиться — лес оправлялся с поразительной быстротой.

Герд угрюмо смотрел вперед, пытаясь подавить злость и обиду. Настроение однако оставалось таким же беспросветно пасмурным, каким оно стало, когда командир преподнес ему эту великолепную, откормленную, вываляннную в навозе свинью. Приветливый наш комбат, думал Герд, отец родной, скорпион ласковый... Чем же я тебе не угодил? Послать командира ударного развedвзвода с трофеями в тыл, будто вислоносого обозника!.. Или я тоже стал слишком хорош для тебя?

Шорох в багажном отделении прервал тягостные мысли. Оглянувшись, Герд увидел копну темно-рыжих волос, под которой мерцали в сумраке багажника огромные глаза. Совсем здорово! Он и думать забыл о девчонке-дикарке, захваченной вчера вечером лагерным часовым. Палач батальона провел с ней предварительную беседу, но, хотя ее вопли разносились по всему лагерю,

не добился ничего заслуживающего внимания. Все та же невразумительная лопотня о лесных духах и неминуемом возмездии.

Герд пристальнее всмотрелся в этот странный лес, в котором плотно стояли, погрузившись основанием в густую растительность нижнего яруса, исполинские деревья, а по их колоннообразным стволам и шевелящимся массивным ветвям неторопливо ползли лианы. Все в лесу двигалось, дышало, шуршало. Уже через полчаса Герд потерял след батальона и продолжал путь, положившись на свою память и чутье разведчика.

Пока вторжение развивалось безукоризненно. Первая же волна десанта смела с побережья редкую цепь деревень, предав их огню и разогнав туземцев по лесам. После создания вдоль берега системы укрепленных пунктов, батальоны Имперской армии устремились вглубь материка. Но пока, после завершения первых суток наступления, батальон Вепрей не имел ни одного прямого столкновения с противником. Следы присутствия туземцев встречались достаточно часто, дважды батальон натыкался на их поселения, но сами аборигены будто растворились в зарослях. В их крохотных, причудливо раскрашенных хижинах было обнаружено много занятных вещей, но ничего похожего на оружие. Весь день батальон беспрепятственно продвигался по намеченному маршруту, на ходу занимаясь сбором образцов пород и флоры будущей колонии. Все это вместе с утварью туземцев было сложено сейчас в багажнике вездехода Герда.

«Жук» с ходу прыгнул через ствол упавшего дерева, ловко приземлился, пружиня членистыми ногами...и не встретил опоры. Грунт под ним поднялся, и машина тяжело рухнула в темноту. Что-то с силой ударило в днище, на секунду задержав падение и бросив Герда вперед, лбом о стекло, потом вездеход снова провалился, содрогнулся и медленно опрокинулся на спину.

Герд с трудом поднялся, ошалело озираясь. Ситуация была нелепой.

Подергивая лапами, «жук» лежал на дне глубокой ямы, в центре которой торчало толстое, заостренное на конце бревно.

Это я лихо угодил, подумал Герд, осторожно щупая ушибленный лоб. Ай да туземцы! Хорошо потрудились, на славу сработали ловушку.

Герд лег спиной на колпак, уперся ногами в кресло и заставил «жука» вернуться в естественное положение — лапами вниз. Выключил двигатель и сейчас же услышал тихий плач.

— Это что за скулеж?— возмутился Герд. Шагнув к багажнику, он извлек из груды сорванных с мест пластиковых ящиков невредимую, но насмерть перепуганную, зареванную девчонку. Влепив ей затрещину, чтобы заткнулась, Герд вернулся к пульту. Надо как-то выбираться, думал он. Помощи ждать неоткуда. Он обернулся. Девчонка еще всхлипывала, зажав обеими ладонями рот.

— Эй, ты!— позвал Герд раздраженно, подкрепив слова жестом,— иди сюда.

Не отрывая от него глаз, дикарка перебралась в кабину.

Сжав пальцами ее худое плечо, Герд толкнул девчонку в соседнее кресло, пристегнув ремни.

— Ну, малыш,— сказал он малышке,— давай!

«Жук» задрожал, [illegible] приподнялся на лапах и полез на отвесную стену. Но песчаный грунт не держал вездехода. Как только задние лапы «жука» отрывались от дна, он сползал вниз, увлекая за собой лавину песка. Что ж, подумал Герд, это тоже способ. Переквалифицируемся в землекопы. Конечно, это долго — подкапываться под стену, но не зимовать же тут?

Герд покосился на дикарку. Забыв про страх, возбужденно горя глазищами, она горячо переживала за воюющего со стеной «жука».

— Дурочка,— сказал он устало.— Тебе-то что до этого?

Девочка радостно улыбнулась, что-то певуче произнесла. Пожав плечами, Герд положил руки на пульт.

— Эй!— позвала туземка.

Он повернул голову.

— Ну?

Девочка указала на кол и сделала рукой восходящее движение, сжимая и разжимая ладонь.

— Что?— спросил Герд. И вдруг понял.

Что ж это делается?— подумал он пораженно.— Эдак и «жук» начнет мне советы давать.

Девочка смущенно потупила глаза. Герд покачал головой и взялся за управление. «Жук» обхватил лапами

столб и уверенно пополз вверх. Вскарабкавшись на острие, он несколько секунд балансировал, затем резко оттолкнулся, пролетел над ямой, упал на край. Песок под задними лапами обвалился, вездеход накренился, но передние уже вцепились в кусты и рывком вытянули машину на безопасное место. Маневр был проделан виртуозно.

— А?— не без самодовольства спросил Герд.

— Ого!— отозвалась дикарка, расстегивая страховочные ремни и втягивая в кресло ноги.

«Жук» вырвался из густого переплетения кустов и веток на относительно свободный участок, и Герд придержал машину, осматриваясь. Место было знакомым. Батальон проходил здесь вчера, хотя ни одного следа в память об этом факте лес не сохранил.

Что-то тускло блеснуло в стороне. Бросив туда взгляд, Герд торопливо повернул вездеход. Под громадным стволом упавшего дерева распластался раздавленный «жук». Удар, как видно, был страшен. Колпак рассыпался по траве мелкими прозрачными осколками, платформа сплющена в блин.

Герд остановил машину, всматриваясь. Помощь оказывать было некому. Не мешало хотя бы выяснить номер части...

Девочка что-то промурлыкала.

— Что?

— Нет,— сказала она.— Нельзя.

— Не выходить? Мне вот тоже не хочется.

Прищурившись, Герд разглядывал ближние кусты. Вокруг было тихо, но что-то в этой тишине его настораживало — выработанный за годы службы инстинкт предупреждал об опасности. Не отрывая глаз от зарослей, Герд стал осторожно раздвигать колпак. Ветвь напротив шевельнулась, и Герд рывком захлопнул щель. Тут же в колпак с силой ударил тяжелый дротик.

Герд навел на заросли станковый излучатель и пустил несколько полновесных зарядов.

Ветви вспыхнули, но вяло. И быстро погасли.

Интересно, подумал Герд, за какое время лес залечит эту рану? В то, что ему удалось посчитаться с туземцами, Герд верил слабо. Эти мастера по устраиванию ловушек

вряд ли были настолько наивны, чтобы ждать его молний. Испытывая глухую, смутную тревогу, Герд повел машину вперед.

Застава была устроена на просторной поляне и выглядела внушительно — приземистый, собранный из стальных сегментов купол с единственным бронированным входом и обращенными во все стороны бойницами.

Память не подвела Герда — он вышел точно к цели. И сразу остановил «жука», настороженно озираясь.

С самим зданием ничего не произошло. Но вход в купол был распахнут настежь, а перед ним лежал солдат, из груди которого торчали два дротика. Непонятно было, как туземцы ухитрялись пускать дротики с такой чудовищной силой, что [illegible] доспехи, испытанные в десятках боев.

Герд направил «жука» к [illegible] входа, перед трупом остановил [illegible] платформой на траву, выключил двигатель. [illegible] прислушиваясь и огля[illegible] возможность засады, а служить [illegible] Герду не хотелось. Однако другого способа [illegible] не было.

Раздвинув колпак, Герд [illegible] головой вперед, прямо в здание, [illegible] и бесшумно прыгнул в сторону, [illegible] выставив перед собой излучатель. Но стрелять было не в кого.

На полу вповалку лежали солдаты. Скрюченные тела, искаженные удушьем лица — это походило на последствия газовой атаки.

Мягко ступая, Герд прошел в ангар, заглянул в кабину «единорога». В кресле водителя обмяк, уронив голову на грудь, взводный Лэнк. Еще один солдат лежал на полу, цепляясь окоченевшими пальцами за крышку двигателя. Взвод в полном составе. Не ушел ни один.

Да, это газы. И задерживаться здесь не стоит. Рассчитаемся позже.

Он вышел из ангара и, вздрогнув, вскинул излучатель. На пороге купола, четко выделяясь в светлом проеме, застыла человеческая фигура. Узнав дикарку, Герд отвел оружие, шагнул вперед, и девчонка, оторвав взгляд от трупов, подняла на него блестевшие от слез глаза. Ее припухшие губы дрожали.

— Нравится?— жестко спросил Герд.— Ладно, не трясись, не трону.

Поездка затягивается, подумал он мрачно. Придется везти трофеи на пристань.

— Марш в кабину!— приказал он.— И без фокусов, не то пятки подпалю.

Боязливо оглядываясь, девочка побежала к «жуку», проворно забралась внутрь.

— Скройся с глаз!— крикнул Герд, махнув рукой.

Подвижная мордашка дикарки исчезла в глубине кабины. Глубоко вздохнув, Герд рванулся к машине. И тут же засвистели, застучали о стены заставы дротики. Герд с силой оттолкнулся и полетел руками вперед в люк. И в этот момент мир взорвался в его глазах. Рухнувшее на пол кабины тело уже не чувствовало ни горечи, ни злости.

Первое, что он ощутил, приходя в сознание,— раскалывающую голову боль. Заскрипев зубами, Герд потянулся руками к вискам и открыл глаза.

Он лежал на полу внутри неторопливо ковылявшего по лесной тропе вездехода. За пультом сидела девочка-туземка и, сосредоточенно нахмурив брови, нажимала тонкими пальцами клавиши. Несколько минут Герд хмуро смотрел на нее, потом попытался подняться и зарычал от боли. Девочка обернулась, на лице вспыхнула радостная улыбка.

— Уже?— спросила она.— Хорошо!

Придерживаясь руками за борта, Герд двинулся к пульту. Повинуясь его жесту, туземка освободила кресло, и он сел за управление. «Жук» выровнялся, пошел увереннее. Сверившись с компасом, Герд успокоился: вездеход направлялся куда надо — к побережью.

— Ты где обучилась вождению?

Девочка застенчиво улыбнулась.

— Ну?

— Смотрела,— ответила она.— Это просто.

Конечно, просто, подумал Герд. У нас на это уходит всего месяца четыре. Он повернул голову проверить, закрыт ли колпак, и скривился от боли. «Бедная моя голова! Что ж ей так сегодня достается?» Колпак был закрыт, но сделал это не Герд.

— Идиотка!— сказал он сквозь боль.— Ты что, не понимаешь, зачем я тебя везу?

Не ответив, девочка шагнула за спину Герда, откинула

его голову себе на живот и начала осторожно массировать узкими ладонями.

Ощущение было приятным. Боль постепенно отпускала, растворяясь в волнах тепла.

Герд расслабился, скосил глаза на зеркало, вгл[illegible]ясь в то место, где еще горело воспоминание об ударе, но где сейчас не было ни синяка, ни ссадины. Потом — на помятый, окровавленный шлем, лежащий на [illegible]. Счастье, что дротик шел по касательной, [illegible] он. Дыра в голове меня бы не украсила. Но где же [illegible] рана? Боль уходила, возвр[illegible] ясность и [illegible] мыслей. Положение было бе[illegible]. Отпус[illegible]шую его туземку он не мог — [illegible] было бы [illegible] нарушением воинской дисциплины. С другой стороны, что бесчестнее неоплаченного [illegible]

— Ну и что мне с тобой [illegible]?— [illegible] спросил он.

— Не знаю,— беспечно [illegible] девочка. Отпустив голову Герда, она с [illegible] в кресло.

— В ящике сладости,— [illegible]ся.

Глаза девочки загорелись [illegible]

А не водит ли она меня за нос? — [illegible] Герд. Такая стремительность в об[illegible]. Когда ее вчера захватили, она не [illegible]. Абсолютная память? Но почему она [illegible] себя как круглая дура? Или ей зачем-то надо [illegible] на базу?

Смешно наморщив нос, девочка лизнула розовым язычком конфету. Замерла, вслушиваясь в себя. Лизнула еще.

— Эх, ты!— сказал Герд тихо.— Зверек пушистый, непуганный...

Как с такими воевать? — подумал он.— И как они с нами воюют? Почему, черт меня побери, до сих пор мы не видели ни одного воина? Да и как могут получиться приличные солдаты из хрупких телом и духом? Но кто тогда с нами воюет?

Герд снова посмотрел на туземку. Девочка спала, гибко свернувшись в кресле. Куда я ее везу?— подумал он. Припомню я это комбату!

Раздвинув последние ветви, «жук» оставил, наконец, за собой сумрачный, душный, загроможденный лес и застыл.

Местность полого спускалась к берегу моря, где четким геометрическим рисунком выстроились корпуса главной базы десанта.

Девочка проснулась и, оглянувшись, тихо засмеялась. Решившись, Герд тронул клавиши.

Набирая скорость, «жук» побежал вниз, к воротам базы.

С дежурным офицером Герду не повезло. Им оказался полковник Агр — один из тех расчетливых карьеристов, чье быстрое продвижение по службе обеспечивали высокопоставленные родственники.

Агр равнодушно выслушал отчет Герда о продвижении батальона, расписался в получении трофеев и взмахом руки отпустил его.

— Один вопрос, полковник,— сказал Герд, не шелохнувшись.— Что будет с туземкой?

— Как обычно,— рассеянно отозвался Агр, делая пометки в списках трофеев.— Пропустим через анализатор.

— У меня к вам просьба.

— Что такое?— Агр поднял голову.— Говорите!

— Личная просьба,— Герд покосился на подпиравших стену постовых, но полковник не пожелал его понять.

— Говорите же!— потребовал он нетерпеливо.— У меня мало времени.

Будем проще, подумал Герд.

— Запишите девчонку как трофей...

— Что?

—...и отдайте ее мне.

— На ночь?— догадался Агр, скривив тонкие губы.— Я понимаю: вы, боевые офицеры, лишены предрассудков, но не следует забывать, взводный Герд, здесь не передовая.

— Не на ночь,— сказал Герд.— Насовсем.

— Вы в своем уме?

— Я ей обязан. К тому же она наверняка ничего не знает.

— У солдат Империи не может быть обязательств по отношению к ее врагам.

Агр упустил свой единственный шанс, но пока еще этого не понимает, подумал Герд.

Полковник смотрел на него прищуренными глазами.

— Идите,— сказал он наконец.— Считайте, что я ничего не слышал.

Не то, полковник, не то! Да и поздно.

— Что еще?

— Дело в том,— медленно сказал Герд,— что я ее отпустил. Можете отдать меня под суд.

— Великолепно,— сказал Агр, поднимаясь. Глаза его блеснули злорадством.— Великолепно, взводный Герд!

Дурак ты, полковник, подумал Герд. Чему радуешься?

— Взять его!— резко сказал полковник, и постовые бросились к Герду. Два неповоротливых рыхляка против Имперского Вепря? Смех! Он уложил их в два удара, без ненужной жестокости и с точной дозировкой — минут на двадцать. Поднял глаза на Агра.

— Ну? Или предпочитаете, чтобы я отрезал вам уши?

— Сопляк!— прошипел полковник, вырывая меч из ножен, но где ему было устоять перед настоящей боевой машиной! Клинок Герда разорвал ему горло.

Мельком взглянув на то, что минуту назад было полковником Агром, Герд аккуратно вытер меч о портьеру, быстро и тщательно связал постовых и покинул здание. Неторопливо вскарабкавшись в кабину «жука», он проехал через лагерь, без осложнений миновал контрольный пункт. Через несколько минут лес поглотил машину, и Герд позволил себе расслабиться.

Все это время туземка сидела рядом, притихшая и испуганная, будто чуя исходящий от Герда запах убийства.

— Как тебя зовут? — спросил он, не поворачивая головы.

— Уэйя.

— Ты, кажется, разочарована?

Она неопределенно повела плечом.

«Жук» выбрался на лесную тропу и ходко побежал по зеленому коридору. Самое гиблое место, подумал Герд, здесь они нас и ждут. Но сворачивать не стал.

Девочка вдруг тихо заплакала. Задрожали длинные ресницы, затряслись хрупкие плечи. Что это ее разобрало, удивился Герд, но ничего не спросил. И без того было над чем подумать.

Собственно, ничего непоправимого не произошло, решил он. Конечно, сегодняшние шалости не пройдут мне даром. Агр — человек со связями. Был. Но завтра я уже буду в батальоне. А там что мне могут сделать? Ну, вызвал на поединок старшего по званию при исполнении служебных обязанностей... Пожалуй, разжалуют в рядовые... Ну и ладно. Зато воздух в армии стал чуть чище. А про Уэйю в этой кутерьме вообще вряд ли вспомнят.

Протяжный скрип заставил его повернуть голову. Исполинский ствол рушился на тропу. «Жук» отчаянно затормозил, взрыв лапами грунт и прыгнул назад, буквально вылетев из-под дерева.

Не дают скучать, подумал Герд, посылая машину вперед. И так близко от базы. Наглеют туземцы.

— Где тебя высадить?— спросил он Уэйю.

— Не знаю.

— Думаешь, я без тебя заскучаю?

— Не знаю,— повторила она упрямо.

Герд вдруг заметил, что в лесу стало темнее.

— Здесь заночуем?— спросил он.

— Сказал!— возмутилась Уэйя и потянулась к пульту. Усмехнувшись, он убрал руки с клавиш. Девочка вывела вездеход на обширный каменистый пустырь и опустила его брюхом на грунт почти в центре. Герд не возражал, надеясь, что вездесущие туземцы на этот раз за ними не следят, а если и бросят в темноте любопытный взгляд на лесную плешь, примут «жука» за один из валунов, в изобилии разбросанных вокруг.

Выключив двигатель, Герд прошел вглубь кабины, сбросил с себя доспехи, втиснулся в крохотный сидячий душ и с наслаждением смыл с себя пот, пыль и грязь этого долгого дня. Потом его сменила в душе Уэйя, а он, раскатав по полу тощий матрас, лег, заложив руки за голову. Слишком возбужденный, чтобы заснуть сразу, Герд стал развивать мелькнувшую в голове мысль об оборотнях. Что если местные жители при определенных остоятельствах способны из созданий кротких и хрупких превращаться в беспощадных, неукротимых, мощных бойцов? Бред, конечно, но разве мало удивляла его сегодня Уэйя? Увлекшись, Герд начал прикидывать, что будет делать, если сейчас из душевой вырвется хищное, стремительное существо, и с некоторым беспокойством обнаружил, что не испытывает никакой воли к борьбе. Вообще ничего не хотелось. Кажется, машина стала давать сбои, подумал он.

Уэйя вышла из душа и смеясь встряхнула волосами, рассыпая вокруг брызги. Вдруг оборвала смех, приблизилась, опустилась коленями на матрас, наклонилась.

— Ну что?— спросил он.

На его глаза легли прохладные ладони.

— Спать!— строго сказала Уэйя.— Спи.

Все заботы, тоскливые мысли вдруг показались ему

мелкими, далекими, и он заснул, крепко и без сновидений.

Ночь прошла спокойно. Герд проснулся с рассветом и, наскоро перекусив, сел за управление. Уйя [illegible] только для того, чтобы перебраться в кресло, [illegible] снова заснула, свернувшись по обыкновению в клубок. [illegible] показалось Герду подозрительным. Кажется, [illegible] не всю ночь провела в вездеходе. Куда она [illegible]?

Потом ему стало не до [illegible], [illegible] тем [illegible] внимания требовала дорога. [illegible] продираться через лес. [illegible] по этим местам он проезжал уже дважды.

Выскочив на одну из [illegible] «Жук» остановился, перебирая лапами. [illegible] ный валун, на котором [illegible] к камню и подставив [illegible]. От [illegible] до сих пор Герд [illegible] ние, темная кожа и [illegible].

«Жук» осторожно [illegible], под его лапой хрустнул [illegible] заросли. Мелькнула [illegible] листые руки, и человек [illegible] «Жук» бросился в погоню.

Туземец стоял в конце тупика, повернувшись к вездеходу. Лицо закрыто тряпкой, в руке меч.

Герд остановил вездеход, [illegible] в пяти, [illegible] опустил забрало, обнажил меч и спрыгнул [illegible].

Дикарь шагнул вперед, взмахнул мечом. Герд [illegible] ся, второй удар блокировал клинком. Воин-туземец [illegible] отскочил, но тут же снова ринулся вперед, [illegible] безукоризненную по технике серию выпадов, [illegible] Герд парировал с удивившим его самого хладнокровием, вынудив нападавшего отступить.

— Достаточно?— спросил Герд.— Или что-нибудь не ясно?

— Кончай игру,— процедил сквозь зубы туземец, бросаясь на него. В результате последовавшей короткой схватки меч дикаря разлетелся надвое, а сам он был опрокинут на спину ударом бронированного кулака. Герд встал над ним, направив острие клинка в обнаженную

грудь. Дикарь даже не пытался подняться или закрыться, ожидая последнего удара.

— Остыл?— спросил Герд.— Поговорим?

Дикарь медленно сел.

— Что ж,— произнес он с трудом.— Теперь можно и поговорить.— Потирая грудь, он поднялся, отшвырнул в сторону сломанный меч.

— Тряпка не мешает?— полюбопытствовал Герд.

— Нет,— угрюмо ответил дикарь.— Я к ней привык.

Усмехнувшись, Герд вложил меч в ножны и поднял забрало.

— Что, Дан,— сказал он,— в дезертиры подался?

— Это мое дело, Герд,— срывая с лица тряпку сказал Дан, командир инженерного взвода батальона Вепрей.

— Не уверен. Но дискуссию отложим. Где ты оставил батальон?

Дан вдруг засмеялся, отрывисто и страшно.

— Где батальон?— резко спросил Герд.— Перестань ржать!

Смех оборвался.

— Хочешь сдать меня Псам?— спросил Дан, усмехаясь.— Иди, поищи их!

Сжав кулак, Герд шагнул вперед. Дан насмешливо улыбался.

— Не будь скотиной, Дан,— хрипло попросил Герд.— Что с ребятами?

Инженер расслабился.

— Нет больше Вепрей,— неохотно ответил он.— Вечная нам память!

— Говори!

Дан пожал плечами:

— Это началось сразу после захода. Сначала нас разметало водяным валом — будто плотину прорвало. Треть машин перевернуло сразу. Пустяк, верно? Если бы работали двигатели.

— Что?!

— Моторы не заводились. Ни один. Потом мы почувствовали. Это была газовая атака. Видимо, нас накрыло волной углекислого газа. Поэтому отказали машины, задыхались люди.

— Что было дальше?

— Дротики. Они посыпались на нас отовсюду. Били в вездеходы, в барахтающихся в воде солдат... Тогда я понял, что надо уходить и уходить быстро. Сбросил

доспехи и прыгнул в воду. Через минуту поток унес меня далеко.

— Кто-нибудь еще уцелел?

— Никого пока не встречал. Но думаю, спаслось немало. Не самый же я умный в батальоне?

— Туземцев так и не увидел?

— Каких туземцев?

— Как это — каких? Или, по-твоему, дротики летают сами по себе?

Дан покачал головой.

— Наша беда, Герд, в том, что мы привыкли мыслить исключительно военными категориями. Я бы показал, где растут эти так называемые «дротики», но, боюсь, они повредят твои доспехи.

— Растут? — тупо повторил Герд. — Ты не болен?

Дан сочувственно усмехнулся.

— Продолжай! — потребовал Герд.

— Ты видел упавшие деревья? Они не подпилены, не подрублены — у них корни вывернуты из почвы. И еще! Кто здесь, если не лес, способен осуществить такое мощное воздействие на атмосферу?

— Это невозможно! — сказал Герд. — Мы не можем воевать с лесом.

— Еще бы! Империя завязнет по уши, если решится на такое.

— А туземцы? Они же здесь живут!

— Лес воюет не с людьми, а с носителями огня и металла. Вспомни нашу природу. Что от нее осталось? Этот лес умнее нашего, быстрее соображает. Приспособляемость у него удивительная, он способен на активную оборону.

— Хорошая штука — образование, — сказал Герд. Береги голову, Дан, не подставляй зря под удары.

— Спасибо. — Дан кивнул. — Впредь буду осмотрительнее. — После паузы он продолжал: — Откровенно говоря, я считаю, Империи будет полезно получить хороший щелчок по носу. Но участвовать в процессе набивания шишек я не хочу. Хватит с меня сегодняшней ночи.

— Ты легко отделался. Другим может повезти меньше.

— Все равно поздно что-либо менять. Военную машину не остановить.

— Ладно, что ты намерен делать дальше?

— Пока мне здесь неплохо.

— Мухи не кусают?

— Представь — нет. И крупных хищников тоже не видно — похоже, лесу выгодно сотрудничать с людьми.

— С туземцами,— поправил Герд.

— А чем мы хуже?

— У нас зубы иначе устроены,— объяснил Герд.— Мы привыкли есть мясо. Хочешь, чтобы мы превратились в травоядных?

Инженер пожал плечами.

— Дело твое,— сказал он.— Но тогда советую поторопиться. Не знаю, что здесь начнется, когда лес проснется окончательно.

— Не волнуйся, тебя ведь это не касается. Ешь фрукты. Загорай. Наслаждайся жизнью.

Герд поднялся в кабину, развернул вездеход и сразу набрал скорость.

Дан прав, думал он, как мне это раньше в голову не пришло? Теперь все становится на места, все объясняется. Что же делать? Лес пробуждается...Что будет, когда эта махина развернется во всю мощь? Пока не поздно, надо остановить армию...Но как? К вечеру я доберусь до базы, а что потом? Если меня станут слушать, если поверят, если сразу разошлют посыльных... Поздно! К тому времени некого будет отзывать. Дан опять прав.

Герд остановил машину и повернулся к Уэйе.

— Я возвращаюсь,— сказал он.— Иди...

Глаза девочки немедленно наполнились слезами. Но она не шелохнулась.

— Я сказал — уходи!

— Не уйду,— едва слышно ответила она.

— Убирайся!— рявкнул он.— Или я тебя выброшу!

— Ты дурак, Герд!— всхлипнула девочка.— Ты пропадешь!

— Тебе-то что? Ну? Сама уйдешь?

Закусив губу, Уэйя вцепилась руками в подлокотники, напряглась. Несколько секунд Герд с вялым интересом наблюдал за ней, потом отвернулся к пульту. В конце концов, подумал он, это не мое дело. Каждый волен выбирать свою судьбу, свою смерть.

С каждой минутой «жуку» становилось все труднее продираться через лес. Деревья словно сдвигались плотнее, выстраиваясь нескончаемыми рядами. Уступавшие прежде дорогу ветви теперь тянулись к вездеходу, цепляясь за неровности на его корпусе, загораживая проход.

заслоняя обзор. Но больше всего мешали лианы. До сих пор Герд не представлял, как много их в лесу, но сейчас они, казалось, спустились все разом в нижний ярус леса, образовав непроходимую, бесконечную сеть. «Жук» рвал их ударами передних лап, бросался на них с разбегу грудью, но часто переплетение лиан становилось таким густым, что Герду приходилось пускать в ход станковый излучатель. Заряды он старался экономить, зная, что путь впереди долгий, и время от времени сворачивал в сторону в поисках более легкого пути. И тогда замечал, что лианы и ветви вытянулись в одном направлении — параллельно побережью, преграждая путь надвигающейся с моря опасности.

Энергия в станковом излучателе кончилась раньше, чем Герд надеялся. Еще быстрее опустели полевой и личный. Теперь Герду все чаще приходилось покидать вездеход и прорубать дорогу мечом. Это был трудный, медленный и опасный способ — иногда свист дротиков заставлял его падать в хищно цепляющуюся за тело траву и откатываться к «жуку», иногда он [illegible], чувствуя надвигающееся удушье.

Уэйя в это время тихо сидела в кресле водителя, неотрывно наблюдая за ним. Она ничего не говорила, ни в чем не пыталась его убедить. Иногда девочка приходила Герду на помощь, заслоняя его от дротиков корпусом «жука», или захлопывая колпак после слишком поспешного возвращения Герда.

Скоро он уже рубил лианы почти без перерывов, час за часом. «Жук» полз за ним — подвижная крепость, в которой он укрывался от опасности. Не хватало воздуха, ныли плечи и поясница. Он уже не верил в успех — простой расчет показывал, что при таком темпе до берега и за двое суток не добраться, – но прекратить работу страшился.

Когда стало темнеть, он сдался и на предельной скорости погнал «жука» параллельно берегу в беспочвенной надежде, что исполинский лес может где-нибудь кончиться.

Я обречен, думал Герд, мы все обречены. Выхода нет, я его не вижу! Куда идти, что делать? Через несколько часов непобедимая армия великой Империи перестанет существовать. Этот лес-чудовище сотрет нас в пыль, растопчет, как муравьев.

Деревья расступились, открыв огромный, заросший яр-

ко-зеленой травой луг. «Жук» с готовностью ринулся вперед.

— Не надо!— крикнула Уэйя, рванувшись к пульту, но Герд оттолкнул ее.

Машина повернула и на предельной скорости помчалась по странно ровному, уходящему к горизонту полю. Герд бросал по сторонам тревожные взгляды, стараясь выжать из вездехода все возможное.

Не прошло и десяти минут, как ситуация определилась. Поверхность, по которой так легко и радостно гнал «жук», стала стремительно размягчаться и вскоре превратилась в смрадное болото. Судорожно перебирая лапами, «жук» пытался выбраться из трясины. Кабина ходуном ходила от отчаянных толчков, но машина почти не продвигалась, все глубже погружаясь в вязкое месиво.

— Уходим,— сказала Уэйя.— Быстро!

Выругавшись, Герд распахнул колпак. Уэйя уже тянула его наружу. Выбравшись на платформу, он огляделся, сдавил жесткими пальцами тонкую талию девушки и, собрав все силы, бросил ее далеко в сторону — туда, где почва казалась еще достаточно надежной. Потом прыгнул в кабину, к управлению, на помощь сражающемуся с болотом «жуку».

Упрямо наклонив голову, Герд дрался с болотом. Прекрасно!— думал он с мрачным удовлетворением. Все проблемы решились сами собой. Вот где нашла меня смерть...

Краем глаза Герд видел Уэйю, мечущуюся в растерянности по краю топи. Странно, но больше всего ему сейчас хотелось, чтобы она ушла, или хотя бы отвернулась. Но он знал, что и этому, последнему его желанию не суждено сбыться. Скорее бы все кончилось!

И вдруг Уэйя сделала шаг к вездеходу. Второй, третий... С каждым шагом она проваливалась в трясину все глубже. Оцепенев, Герд вглядывался в поднятое к нему лицо, белое и бесстрашное, не решаясь поверить, что если он сейчас же, немедленно, не оставит вездеход, Уэйя утопится в болоте.

— Я сейчас...— забормотал он, с лихорадочной торопливостью выбираясь из кабины,— Сейчас... Подожди.

Взмахнув руками, он прыгнул. Упал, распластавшись, в жидкую, вонючую грязь и пополз прочь от обреченного вездехода. Выбравшись из трясины, он опустился в траву, лицом к быстро уходящему вниз безотказному своему «жуку».

Откуда-то издалека, с края пустыря, прилетел дротик. В двух шагах от них он с хлюпаньем упал в жижу, затонул. Все зря, думал Герд, угрюмо наблюдая за гибнущим «жуком». Достойнее было бы утопиться. Я, как этот дротик на излете...

Уэйя встала перед ним на колени, заглянула в лицо.

— Погоди,— сказал он.— Сейчас.

Болото с шумом сомкнулось над вездеходом. Все. Конец. Почувствовав, что почва под ним разжижается, Герд поднялся, вопросительно посмотрел на Уэйю.

— Да,— сказала девушка.

Он разделся, аккуратно складывая доспехи на траву.

Взяв Герда за руку, Уэйя повела его через луг к зарослям. Когда он оглянулся, трясина уже поглотила доспехи.

ВСТРЕЧА

Поначалу ему показалось, что это бред. И в самом деле, откуда в такой дыре, на самом краю Вселенной взяться биоволнам?

Он перевел систему ориентации на аварийный режим, но биоиндикатор упрямо показывал наличие еле уловимых колебаний биополя. Сигналы были настолько слабыми, что выяснить что-либо конкретно не было никакой возможности, и оставалось только ждать...

Источник биоволн определенно приближался. На экране уже появилась слабая зеленая ниточка электромагнитной проекции. Он скорректировал курс и пошел прямо на источник.

Когда расстояние сократилось настолько, что на экране стала отчетливо видна бегущая кривая, его постигло разочарование: импульсоида, хотя и принадлежала мыслящему индивидууму, но была явно изображением мысли существа с иным мировосприятием.

И все же он решил покопаться в фундаментальной памяти компьютера, таящей в себе несметное множество справочного материала по характеристике различных классов мыслящих существ. Машина выдала ответ почти моментально. И он был шокирован, увидев на экране... нет, не амебообразного мыслителя, а... человека.

Однако поступающие сигналы имели несколько иную форму, нежели испускаемые мозгом подобных человеку групп. Тогда он решил взглянуть на их квадрозеркально-симметричное отражение. Волна вывернулась наизнанку во всей своей многомерности, ее плоская проекция заскользила по экрану.

И только тут он поразился, что не сумел догадаться об

этом сразу. Пожалуй, с тем существом можно будет объясниться через зеркалофонограф.

Настроение сразу приподнялось, и он захотел получше изучить будущего собеседника, рассмотрев его внутренности. На экране появилось изображение тела в рентгеновском излучении. Все было на месте, только располагалось зеркально-симметрично человеческим органам. Колючий холодок пробежал у него по спине.

Как каждый здравомыслящий человек, он считал антиматерию достоянием фантастов и теоретиков, [illegible] ее в учебники по космологии с [illegible] согласия авторитетов. Но тут он [illegible] себе, поскольку другого обоснования случившему [illegible] не [illegible]. Классический пример!

Заработали двигатели корректировки маршрута, и он стал смещаться вправо. Но по прошествии некоторого времени антинавигатор тоже [illegible] и направил свой звездолет наперерез ему.

Он еще несколько раз менял [illegible] движения на максимально возможное число [illegible], и то же самое проделывал тот, из антимира. Цель [illegible] маневров была очевидной.

Он сосредоточенно думал, прокручивая разные варианты имеющейся версии. [illegible] интересовал знак заряда ядер атомов в теле двойника, сколько его странное поведение. О том, чтобы уклониться от столкновения в последний момент, не было и речи. Сила гравитации сделает свое дело. Так что, если тот решил кого угробить, это не составит ему большого труда.

Но была еще одна деталь, на которую вначале он не обратил внимания: сколько ни менялись траектории движения кораблей, они пересекались всегда в одной определенной плоскости.

Смутное предчувствие подсказало ему необходимость определить, сколько времени требуется тому для обдумывания своих агрессивных маневров и для ориентации в пространстве-времени. После очередного зигзага компьютер, получивший все данные о расстояниях, скорости и времени, через которое последовала ответная реакция, выдал результат с отрицательным знаком. Получалось, что сигналы об ответной реакции поступали вдвое быстрее, чем могли поступать, даже если антипод принимал решения мгновенно.

Вывод напрашивался только один, но настолько неве-

роятный и непостижимый, что он решил еще раз проверить свои догадки.

Подключившись к импрессиофону, он начал записывать импульсы работы мозга. Через точно рассчитанное время были записаны импульсы биоволн, пришедших оттуда. Они оказались зеркально-тождественны.

Теперь уже сомнений не было. Навстречу ему двигалось его собственное отражение, даже не отражение, а его второе я, которое мыслило его мыслями одновременно с ним.

Приборы странно молчали, не фиксируя приближения массы: похоже, тот обладает гравитационным антиполем. Расстояние между кораблями продолжало сокращаться. Он как бы шел в лобовую атаку, в лобовую атаку на самого себя. Где-то впереди была невидимая зеркальная стена, на которой ему предстоит поставить последнюю точку в жизни яркой вспышкой разбитого звездолета.

Страх — порождение одиночества. Как просто умереть на глазах у многотысячной толпы, умереть гордо и невозмутимо. Его не пугало небытие. Больше всего он страшился безвестной гибели.

Он сидел перед экраном, на котором уже обозначились еще расплывчатые контуры увеличенного в миллионы раз приближающегося Его корабля. В висках болью отдавались учащенные удары сердца. В голове стояла гнетущая звень, отягчающаяся безудержным и холодным напором крови, давящим снизу на напряженный и скованный мозг. Сердце сжималось от нарастающего ужаса.

Но в таком состоянии он находился недолго. Через некоторое время, отогнав навязчивые мысли, он снова был самим собой, безэмоциональным и хладнокровным аналитиком.

Гибель не покажется менее ужасной, а жизнь не станет значительней и дольше, если трепетать перед надвигающимся концом. Каждому лишь однажды дается испытать приход смерти. Неужели упустить случай и не утолить свое любопытство и тягу к неизведанному?

Приготовившись испить последнюю каплю из чаши впечатлений, он отключил экран и оставил лишь табло времени, неумолимо отсчитывающее минуты до столкновения.

Последние секунды он сидел, слушая удары собственного сердца.

А когда посмотрел на табло, то увидел, что время давно

вышло. Никаких колебаний гравитационного поля приборы не фиксировали.

Подождав еще немного, он включил экран. На этот раз перед ним была холодная чернота.

Он уже готов был все принять за бред одинокого странника, когда видоискатель предложил ему посмотреть панораму сзади: его двойник спокойно удалялся центрально-симметричным курсом. Они прошли друг через друга, не вызвав никакой взаимореакции, поместились в одном объеме пространства, как помещаются в нем два различных по своей природе поля.

Он провел ориентацию по еще принимаемым сигналам маяков. И результат поразил его: корабль двигался обратным курсом.

Автопилот был отключен, аварийная система не работала.

Он просмотрел на экране изображение своего тела в рентгеновском излучении, и его чуть было не настигла чудовищная мысль. Он силился, но так и не смог вспомнить, с какой стороны помещалось его сердце прежде.

НЕПОКОРЕННАЯ

1

На широкой равнине, среди дымящихся хлябей, у оранжевой яркой палатки оранжевой мышью застыл гравилет.

Сложив на коленях большие руки, на ящике возле палатки сидел человек — могучий и кряжистый. Лицо его избороздили морщины.

Другой человек — небольшой и подвижный — нервно ходил по алице, ковром устилавшей почву.

— Послушайте, Громов,— кричал он дискантом, утюжа румяные грозди.— Как удалось вам попасть в экспедицию?! Кажется кто-то не может забыть ваших старых заслуг! Представьте, что будет, если сюда соберутся родные всех сгинувших в этих трясинах! Но люди привыкают к утратам, иначе ведь жить было бы невозможно!

— Вы, Косицкий, философ,— старик сморщил губы.— А я не могу философствовать, когда погибает сын. У меня никого не осталось! Вы можете это понять?

— Не понимал бы, не позволил бы вам увидеть это болото, этот адский гнойник планеты... В прошлом году, кроме вашего сына, экспедиция потеряла трех человек... И вы еще просите здесь предоставить вам отпуск! Надеетесь, вам одному откроется больше, чем группе поиска, работавшей по живым следам? Эта планета люто оберегает свои гнусные тайны. Не зря же ее назвали Непокоренной.

— Верно,— согласился старик.— Но верно и то, что это одна из немногих планет, где можно дышать без маски и одеваться, как на Земле.

— Не обольщайтесь, Громов. Я знаю эти места: на едких горячих болотах могут жить лишь глупыши. Но аллигаторы эти почти не изучены. Первых рептилий заметила только третья экспедиция... Теперь их встречают десятками, и не известно, откуда они приходят. Считают, что глупыши едят ягоды алицы... Но это еще не доказано. Были случаи, когда они зарились на продовольствие. Не позволяйте им подползать слишком близко. Не доверяйте их глупому виду. Скорее всего они коварны и злы! И не забывайте, Громов, я отвечаю за вас и, возвратившись, хотел бы застать вас в живых! — Щеки Косицкого раскраснелись. Он был молод — в три раза моложе Громова.

Косицкий помолчал и вдруг засмеялся.

— Черт возьми, Громов! Вы же тот самый Громов! Человек из легенды... Вы же [illegible]! Все можете! Вы — настоящий бог! Посоветуйте, Громов, как человеку, вроде меня, сделаться богом?

— Все очень просто,— ответил старик, будто не слыша насмешки,— чтобы стать богом, надо, как минимум, вырастить сына. Чтобы стать богом, надо узнать счастье...

— А что же есть счастье?

— Способность быть нежным, возможность быть нежным, повод быть нежным!

— Это не мужской разговор...

— Мужской! Счастье — это когда тебе говорят, что сны передаются по наследству, и кивают в окно: «Вон, гляди, бегут твои сны!»

— Вы с ума сошли, Громов! Вы верите, что ваш сын еще жив?!

— Не верю... Почти не верю... Потому и прошу оставить меня одного... на могиле Павлика. Боже мой, ведь это же так естественно!

— Тихо!— насторожился Косицкий.— Они уже здесь. Глядите!— он показал в ту сторону, где за кустарником дымилось болото... На синей траве отчетливо выделялось нечто серое и продолговатое.— Первый раз я тут приметил его, как только мы разгрузились. Он наблюдал за нами. Возможно, это — разведчик. Лучше будет, если глупыш не вернется к своим...— Косицкий выхватил маленький бластер и начал прицеливаться.— Смотрите, смотрите, Громов,— шептал он,— а эта тварь и в самом деле глупа — идет на бластер, точно на угощение!

Действительно, приподняв над травою страшную мор-

ду, медленно двигая ластами и волоча толстый хвост, животное приближалось к палатке,— земной аллигатор в сравнении с ним мог бы считаться красавцем: у этого даже не было задних лап.

— Ну что ж, угощайся!— сказал Косицкий и положил палец на спусковую кнопку, но тут получил удар по руке... Бластер дернулся, выпуская заряд. Воздух вздрогнул. Над туманной равниной пробежал омерзительный шелест смерти. Было видно, как шагах в десяти от животного вздыбилась почва, а сам глупыш, подброшенный взрывом, сверкнул над кустами желтым глянцевым брюхом.

— Напрасно вы помешали,— спокойно сказал Косицкий.

— Хватит могил!— во взгляде Громова появилась угроза.

— Ерунда!— усмехнулся Косицкий.— Так попросту безопаснее. Не хочу, чтобы эти твари лишили вас продовольствия.

— Вы убийца, Косицкий! — старик сжимал кулаки.— Ну-ка летите отсюда! Скорее!

— Громов, не сходите с ума из-за какой-то рептилии! Оставьте свои сантименты. На непокоренных планетах один закон: кто кого! Вы — человек и не имеете права никому уступать. Было бы глупо взять и позволить этим тварям сожрать себя.

Громов смотрел на Косицкого, но думал о своем. Еще каких-нибудь лет двадцать назад он сам мог бы сказать то же самое... Тогда он тоже поминутно хватался за бластер и находил всякий раз оправдание... Но теперь ему было от этого стыдно и гадко. Не потому ли, что старые люди смотрят на жизнь иными глазами: то ли прощаясь с нею, то ли надеясь найти окошко в бессмертие.

— Улетайте!— повторил он. В темных его глазах под густыми седыми бровями снова была только скорбь.

— И не подумаю с вами задерживаться!— крикнул Косицкий.— Я перестал понимать вас, Громов,— с обиженным видом он полез в гравилет, и Громову стало его жаль.

— Послушайте, Громо́в,— добавил Косицкий, уже закрывая люк,— дней через десять я постараюсь вернуться... и не один!

Машина как будто вздохнула, всплыла над синими мхами, над маревом алицы, покачиваясь, скользнула над

палаткой, зависла на миг над кустарником... и, подернувшись дымкой, растаяла в воздухе.

Громов остался один, но не двинулся с места, неожиданно вспомнив слова, которые слышал мальчишкой. Незнакомая женщина кричала когда-то над маленьким гробиком: «Пустите меня в могилку! Положите меня рядом с доченькой! Я буду за ней ухаживать!» Вот какой страшной явью обернулась теперь для него эта чужая мольба!

Аллигатор лежал на спине. Его гладкое брюхо лоснилось, как у жабы. Длина животного вместе с хвостом составляла не больше трех метров. Лапы — ласты были прижаты к морде, словно глупыш прикрывался.

Старик подошел к неподвижному телу и, поборов омерзение, коснулся ладонью холодного влажного брюха... Под рукой что-то [illegible], пробежала живая волна... и послышался стон. Жив, значит. Но, возможно, контужен...

Глупыш встрепенулся, заерзал, попробовал, опираясь на ласты и хвост, повернуться на брюхо, но сил не хватило. Отдохнув немного, двулапая ящерица повторила попытку. Громов схватился за ласт и помог глупышу опуститься на брюхо. Животное приподнялось на ластах, вытянув серую морду и тут же со стоном уткнулось в мох.

Так вот отчего их зовут глупышами, подумал старик, разглядывая пустые, будто прикрытые матовой пленкой глаза. Спину рептилии покрывали твердые складки, гребнем идущие от затылка к хвосту. Громов коснулся ладонью зазубрин на хребте и ощутил под рукою дрожь... Так дрожит человек от ужаса и возбуждения.

Бедняга, подумал старик, совсем ему, видимо, плохо. Он ведь никому не мешал! Когда же избавимся мы от детской привычки палить при первом удобном случае? Но ведь и Павлик здесь тоже никому не мешал!..

Нина выросла на зеленой равнине, где вольно пасутся стада, а воздух — как мед с молоком... Погибла вдали от родного простора в горном ущелье при взрыве реактора. Но от этой мимолетно сверкнувшей жизни успела зажечься еще одна жизнь — жизнь Громова-младшего, Павлика. Он многое унаследовал от матери, а среди многого и милый каприз — обожание «белого чуда равнин».

Сжав ладонями голову, Громов тихо застонал, вдруг представив, как живого, сына своего, мальчика в веснушках и с капельками молока на губах... Очнувшись, заме-

тил, что идет к палатке. А стон все длился... Но стонал не Громов, а тот, кто остался сзади. Вспомнив о рептилии, человек возвратился к действительности. Глупыш, поднявшись на ластах, издал приглушенный вопль и снова уткнулся в мох.

Просунув руки под гладкое брюхо, старик без труда поднял глупыша, осторожно ступая, обошел с ним воронку. Кончик хвоста аллигатора, качаясь при каждом шаге, сбивал гроздья алицы.

Собрав мох и траву, Громов устроил бедняге ложе. Осмотрев аллигатора, выяснил, что у животного отсутствует пасть. Серая треугольная морда кончалась отверстием, не более сантиметра в сечении. Трубочка-глотка скорее напоминала ноздрю, чем приемник пищи.

Старик не решался давать глупышу земные продукты... Животное смело брало из его рук алицу, засасывало сочные ягоды в крошечный зев.

От этой пищи не разжиреешь, решил Громов, наливая в большую миску обыкновенной воды. Глупыш сунулся мордой в воду и так жадно пил, что человек испугался, не повредит ли больному незнакомая жидкость. Рептилия вздрагивала, била хвостом, шлепала ластами, тыкалась мордой в миску, пока не перевернула посудину. Остатки воды мгновенно впитались в почву.

— Разбойник, что же ты делаешь?! — покачал головою старик.— Ну, больше не дам, отдыхай.

По-человечески громко вздохнув, аллигатор положил морду между ластами и затих.

Рано утром Громов покинул палатку. При нем был ранец с запасами, карта, «навигатор».

Нет, Громов летел сюда не для того, чтобы уронить слезу на печальной могиле. О чем он подумал, едва первая боль чуть-чуть поутихла? Конечно о том, что Павлика мог бы найти только он — отец. Здравый смысл подсказывал, что товарищи Павла сделали все, что сделал бы он, окажись на их месте. Но все они были молоды, у каждого — своя жизнь, в которой гибель товарища — лишь эпизод, в то время, как для отца она — катастрофа... И Громов добился участия в очередной экспедиции: пусть он уже не молод, утратил былую подвижность, но в выносливости и физической силе, ему, как прежде, нет равных. Все это, вместе с известностью Громова в Секторе Иносистем, помогло ему получить назначение. Так что выпад Косицкого по поводу «старых заслуг» отчасти был

справедлив... Но только отчасти: Громов летел в экспедицию со специальным заданием, прямо связанным с участившейся потерей людей. А чтобы не вызвать обиды у членов спасательных групп, задание не предавалось огласке. Знал о нем лишь глава экспедиции. Даже начальник отряда — Косицкий — не поверил, узнав, что старик получил разрешение высадиться в «Долине болот».

Еще на Земле он наметил себе «маршрут часовой пружины» — расширяющейся спирали, в центре которой была палатка. Включив «навигатор» и отметив на планшетке начало маршрута, он тронулся в путь, исследуя посохом каждую лужицу, впадину, кочку... А равнина жила своей жизнью, не обращая внимания на странное существо, неизвестно зачем поселившееся у кипящих болот и теперь одиноко бродившее среди них.

Весь первый день Громов был возбужден: слишком много пришлось пережить, слишком много было потеряно времени, пока этот день наступил. Иногда он складывал ладони рупором, и над равниной разносилось «Павлик!», и возвращалось, как бумеранг, поражая в самое сердце жалостным эхом.

Необъятная, покрытая кружевами кустарников и язвами бездонных болот равнина окружала его со всех сторон, дурманя приторными запахами испарений. Далеко в глубине ее что-то ворочалось, булькало и взрывалось, издавая протяжные звуки. Временами слышался всплеск взбаламученной жидкости или шорох в кустах, и тогда, приглядевшись, старик замечал глупышей. Они наблюдали за ним из кустарника, прячась за кочки, но прятались так неумело, что невозможно было их не заметить. Он подходил к ним почти вплотную. Вначале казалось, что животные вовсе не прячутся, а спокойно за ним наблюдают... Но встречи всегда завершались паническим бегством. Это наводило на мысль, что вчерашний выстрел не был первым.

Со временем Громов перестал замечать аллигаторов, но вздрагивал, если глупыши где-то рядом срывались с места и шумели, удирая кустарником.

Наконец, казавшийся вечностью день подошел к концу. Человек поставил на карте точку, обозначил ее на местности вехою, за каких-нибудь десять минут по прямой возвратился к палатке и только здесь оглянулся: эта бескрайняя, утопавшая в сумерках плоскость своими

шумами, тенями и запахами внушала лишь мысль о гибели... только о гибели.

Чтобы пройти ее всю «маршрутом спирали», пожалуй, не хватит и ста жизней, печально решил старик.

2

Шли дни. Громов проходил виток за витком, исследуя каждую кочку. Путь по спирали стал для него ритуалом, помогающим выжить и примириться с действительностью. Сначала в течение дня он делал не меньше пяти витков, затем — по четыре, по три, по два... по половине, по трети витка... Длина дневного маршрута не изменялась... увеличивался виток. Обратный путь занимал теперь около часа. Но удаление от палатки с каждым днем замедлялось. Поиск все больше становился похож на бессмысленное топтание. Наконец, наступило утро, когда Громов сказал себе: «Все! Это последний виток!»

Так решив, он достал из контейнера банку с «белым чудом равнины». Молоко в экспедиции — дань ритуалу... одновременно ритуалу надежды и скорби... Продолжать хранить молоко казалось теперь безумием.

Вывинтив крышку, залюбовался он безукоризненно белой поверхностью жидкости. Запах встревожил в памяти образы самых близких людей. Старик не решился попробовать... а, чуть-чуть наклонив, плеснул из сосуда под ноги, на мох, на примятые стебли и смотрел, как белые капли растаяли в «горькой могиле».

Подняв глаза, он заметил «свою» рептилию. Раздвинув мордою полог, животное уставилось на человека пустыми глазами.

Старик уже привык к аллигатору, привык вечерами сидеть, разговаривать с ним... и слышать в ответ только стоны, вздохи, мычание.

Их отношения не были дружбою человека и больной собаки. В повадках животного обнаружилось много странного: оно было капризным, легко доходило до состояния, похожего на отчаяние. Глупыш мог часами лежать неподвижно, слушая Громова... Но иногда на него словно накатывало безумие: он стонал, метался, прятался в тамбуре или совсем убегал из палатки. Старик был уверен, что в эти минуты рептилии невыносимо присутствие рядом чудовища — человека. Вполне вероятно, что

такие приступы бывали у глупыша и в отсутствие Громова. Каждый раз, возвращаясь под вечер, старик находил на теле животного свежие раны: очевидно, оно ударялось об острые углы контейнера. Хотя порезы удивительно быстро затягивались, с утра он стал выводить аллигатора в тамбур и задраивать накрепко внутренний полог палатки... Во всем остальном они ладили.

— Зачем пропадать добру? — спросил вслух старик, увидя рептилию, привлеченную новым запахом. Спросил... и вылил в миску оставшееся молоко. Глупыш приблизился и, немного отпив, бессмысленно посмотрел на Громова.

— Что, не нравится? — спросил человек. — Пей, дружок, набирайся сил. Это тебе не алица.

Точно вняв его [illegible] приник к молоку, а Громов, закончив [illegible], не оборачиваясь, покинул палатку: вид [illegible], [illegible] лакомство Павлика, мог довести до [illegible]

На последний виток ушло трое суток. Теперь он не возвращался в палатку [illegible] отдыхом в спальном мешке... Но и [illegible] был пройден. Вокруг по-прежнему были [illegible] кустарник, столбы испарений в [illegible] алиц... и ни следа человека.

Громов уже не глядел на [illegible] навигатора. Последний виток он прошел из упрямства, как будто себе самому хотел доказать, что сделано все, что было в человеческих силах... Но от этого легче не стало... и, убыстряя шаги, человек потерял над собою контроль. Безотчетная ненависть накатилась волною, сжала грудь, опалила лицо.

Путаясь в тонких ремнях, дрожащей рукой он извлек из футляра бластер и застонал... Из горла вырвался крик. «Будь ты проклята, Непокоренная!» Продолжая идти, не целясь, он с облегчением палил куда-то перед собою в мягкое тело планеты... Потом, когда разряды кончились, он отбросил бесполезный уже бластер и почувствовал, как поднимается стыд: никогда еще не срывался он так отвратительно.

— Устал я, — сказал себе Громов. — Здесь нужен был кто-то другой... не с моею извечною слабостью... Как я мог?! Как я мог!

«Извечною слабостью» была неуверенность, которую чувствовал он не только в общении со старшими, но даже

с собственным сыном... Приходилось себя перебарывать. Он боялся судить других, не будучи уверен, что в их положении поступил бы иначе. Не давал житейских советов, сомневаясь, что лучше других знает, как надо жить. Никогда не срывался, никогда не кричал. И если ему везло, и если он стал знаменитым, то также благодаря неуверенности, заставлявшей рассчитывать каждое дело до деталей, готовиться до изнурения, продумывать все возможные осложнения. Было немало промахов. Он тяжело переживал их, но всегда оставался собою и боялся только одного — сорваться... То, что случилось теперь — когда-то уже приходило во сне: тяжелое чувство, словно зачеркнуто все, что удавалось до того, и все святое, прочное сломано и превращено в фарс... и перед ним — пустота... И не за что ухватиться.

Падая, балансируя, словно во сне, Громов боролся с оцепенением. Твердь под ногами заколебалась, а место, куда угодили заряды, вспучивалось горой... и неожиданно лопнуло, как набухший нарыв. Через край поднималась кипящая жидкость. Снаряды бластера взломали твердую корку... и разверзлась пучина. Пахнуло гибельным жаром болота. Живая земная ткань должна была сгинуть в этой среде за доли секунды, как в электрическом пламени.

Это конец... Так надо!— подумал Громов, теряя сознание.

3

Он не мог сказать, как долго находился в беспамятстве. А очнувшись, почувствовал, что задыхается, что тело, как мумия, крепко спеленуто. Глаза ничего не видели, но слышались всплески и бульканье. Что-то мягко толкало в бока и спину, тянуло за ноги, за голову. Громов то погружался куда-то, то как будто всплывал, то кружился на месте.

Свет проник неожиданно в отверстия около глаз, будто прикрытые пленкой. Свет проник вместе с воздухом. Громов увидел знакомую мутную жижу и клубы пара, в которых мелькали длинные тени. Что-то снова толкнуло и, поддев, потащило, дергая в разные стороны. Когда накрывала волна, пропадали и воздух и свет. Наконец, он увидел берег и россыпи алицы. Возле глаз блеснуло жабье брюхо рептилии. Животные, словно играючи,

выталкивали старика на сушу. Это было похоже на сон: вокруг человека — злейшая смесь из самых едких кислот... А он еще жив. Он дышит... И только изводит себя догадками.

Состав мирового болота, пришел к заключению старик, настолько чужд земной природе, что два вещества просто не могут войти в контакт: между ними родится мгновенно прослойка нейтральной среды

Но усилия глупышей извлечь его из болота давали мыслям самое мрачное направление. Вспомнив о трубчатой глотке животных, он неожиданно был потрясен новой догадкой: они не могут [illegible] человека, но вполне способны высосать все его соки [illegible] кровь. Ужас оставил мыслям свободу только в [illegible] направлении. Громов уже проникался уверенностью [illegible] является для глупышей нормальной добычей [illegible] живых консервов в такой упаковке, которую можно вскрыть лишь на суше... Но больше чем [illegible] его ужасало то, что такой, очевидно, [illegible]

— Нет уж, я вам так [illegible]!

Хотя ноги были спеленуты [illegible] и не гнулись в коленях, обеими сразу [illegible] свободно. Руки были как будто бы в [illegible] им, однако, сгибаться. Он безотчетно [illegible] ими греб, чтобы удержаться на поверхности

Теперь я знаю, что делать. Добычей не буду! — сказал себе Громов. Он прекратил двигать руками и стал погружаться. Кончился воздух. Уже задыхаясь, Громов почувствовал снова толчки. Теряя сознание, руками, ногами и бедрами отталкивал подплывавших рептилий. В бреду пережил новый приступ стыда от того, как панически быстро сменил свое мнение об этих страшных созданиях.

Начал срываться — не остановишься! Скорей бы конец!— уходя в забытье, с отвращением подумал старик.

В сознанье он вернулся от боли, лежа вниз животом — голова ниже ног, грудь упиралась во что-то твердое и острое. Дышалось легко. Подумал: все-таки выволокли. И открыл глаза. Его голова нависала над маленькой заводью, из которой в лицо старику смотрела глупая морда рептилии. Громов лежал неподвижно, наслаждаясь возможностью снова дышать, а глупыш притаился зловещим призраком, не отводя бессмысленных глаз.

Голова наливалась кровью. Громов дернулся, чтобы сменить положение, но налипшая на тело болотная грязь, очевидно, затвердела, превратившись в плотную оболочку, и была так тяжела, что пропахав его берег, он замер, шумно дыша. Вместе с воздухом залетели в рот знакомые ягоды алицы. Громов почувствовал сладость и вкус, похожий на вкус айвы — приятный, если бы не излишняя терпкость.

Прижатые телом руки совсем онемели. Он рывками подтягивал их к голове, пытаясь высвободить... И вдруг отпрянул, уткнувшись в ласт глупыша. Попробовал его отстранить... И ласт легко отстранился. Громов даже зажмурил глаза. Потом, опираясь на руки, поднялся и глянул в заводь. Из глубины смотрела знакомая морда. Громов чуть-чуть повернулся. Животное сделало то же... Руки обмякли. Старик опять ударился грудью о выступ. Боль подтвердила, что он еще жив... к сожалению жив, потому что теперь-то он знал, что из заводи смотрит ему в глаза... его собственное отражение.

Хотелось кричать: «Я еще человек! Я думаю, помню и чувствую тело отдельно от шкуры!» Но то было просто болью фантома — памятью чувств, которую знают калеки.

Да нет!— говорил себе Громов. — Я все-таки человек — в спасительном коконе, повторяющем вид глупыша! Но страшная мумия эта стремительно затвердевает... Не жди, пока задушит совсем! Срывай ее! Стаскивай! Режь! Что угодно... Но только скорей от нее избавляйся... пока есть силы!— Еще раз он приподнялся на руках и содрогнулся, увидев свое отражение. И руки опять подломились, и стукнувшись грудью, он снова почувствовал боль... Как ветер небо, она прояснила сознание... Он теперь спрашивал и сам же себе отвечал: кто вынес меня из болота? Здесь были одни глупыши. Почему я так странно лежу — головой ниже ног? Чтобы скорее очнулся и увидел свое отражение. Этот острый выступ под грудью — не подсказка ли страшного выхода? Что если ждут они, когда сам я разорву о него оболочку... чтобы взять беззащитного? Ерунда! Для этого у них уже были возможности. Ну, а если они так добры, чего они ждут? Почему бы им мне не помочь? Куда все попрятались? А время не терпит: проклятая «шкура» твердеет и твердеет...

Это казалось логичным, но было похоже и на цепоч-

ку успокоительных домыслов. Все же что-то следовало предпринимать, пусть даже то, что подсказано со стороны. Громов чуть-чуть отодвинулся, чтобы взглянуть на выступ — торчавший из кочки прочный рогообразный отросток, скорее всего метеоритного происхождения. Кончик рога напоминал токарный резец... Громов примерился, опять приподнялся на руках и, точно самоубийца, бросился грудью на выступ... Удар был силен, а боль — оглушительная, и Громов с минуту лежал без сознания. Очнувшись, почувствовал теплые струйки. Выходит, пробил!

Дыша тяжело, он стонал и ворочался, глотал и сосал залетавшие с воздухом ягоды... и неожиданно сделал открытие: хорошо утолявшая жажду алица снимает боль.

Теперь он специально втягивал ягоды и скоро не то что боли... не чувствовал даже зуда от прилипающей массы. Нащупав разрыв на груди, пристроился к выступу так, чтобы новый удар увеличил отверстие. Снова упав на «резец», почувствовал лишь сотрясение, от которого ломило в затылке.

Задыхаясь, ругая Непокоренную, мировое болото и глупышей, удар за ударом он рвал оболочку... вместе с собственной кожей. Когда разрез оказался достаточно длинным он, содрогаясь, протиснул в него, как за борта рубахи тяжелые ласты и, напрягая все силы, стал раздирать на груди спасительный кокон, успевший прилипнуть и теперь отдиравшийся с кровью. Это были страшные муки. Шкура не желала сниматься. Тяжелее всего отделялись ласты от рук. Когда, наконец, избитые и кровоточащие кисти были свободны, работа пошла быстрее: он смог воспользоваться походным ножом, который висел на ремне и сохранился под коконом. С ногами пришлось повозиться: здесь был особенно толстый защитный слой, образующий хвост. Затем, осторожно разрезав маску, он выпростал голову. С едкой, отчаянной иронией он думал о самом себе, как о насекомом, которое только что с превеликими муками освободилось из кокона и теперь расправляет крылышки... чтобы вылететь в новую жизнь.

Бессознательно Громов отполз от растерзанной шкуры, будто в ней до сих пор таилась угроза. Отдышавшись, но все еще истекая кровью, он поднялся и, сжимая в ладони нож, покинул страшное место. Долго шел, как в бреду, а, споткнувшись, уселся в траву и поглядел на себя: от

одежды остались лохмотья, тело — в коросте от запекшейся крови, боли нет, но от слабости кружится голова, утеряны ранец с продуктами и «навигатор». Он заставил себя подняться, найти куст и вырезать палку — щуп, удивляясь, как до сих пор не провалился в болото. Догадки, связанные с омерзительной шкурой, кружили голову, отнимая последние силы и, чтобы совсем не расклеиться, он гнал эти мысли прочь.

Вокруг было тихо. Рептилии не попадались, как будто бы, сговорившись, ушли все сразу в другие края. И Громовым овладело тупое спокойствие. Хотелось спать, спать, спать. Он опустился лицом в грозди алицы. В рот угодило несколько ягод, но не было сил проглотить их.

Зов он услышал во сне и узнал прилетевший издалека голос Павла: «Отец! Ты слышишь меня? Я здесь! Отзовись!»

— Сынок, я тут! Сюда! Ко мне! — хотел закричать он в ответ, но издал лишь бессвязные звуки. Сел, пробудившись в поту, и сердце стучало, как бешеное. В ушах еще жил родной голос, и Громов готов был поклясться, что помнит, с какой стороны прилетел этот зов. Он снова попробовал крикнуть, но слов не услышал: это был вопль немого.

Язык?! — ужаснулся Громов. Разжав воспаленные губы, нащупал бесчувственную опухшую мякоть и догадался, что жгуче терпкая алица, утолявшая жажду и боль... отнимает дар речи.

Больше его не звали.

Это был только сон! Сон! Сон! — говорил себе Громов, но, тяжело опираясь на палку, двигался в том направлении, откуда послышался зов... Давно стемнело, когда силы его оставили. Он уткнулся в спящие травы и заснул мертвым сном... А когда на рассвете открыл глаза, то шагах в сорока увидел свою палатку. Она неожиданно выплыла из тумана, цеплявшегося за синий кустарник. Как будто ничего не случилось и, как обычно, он вышел утром продолжить «спираль».

Но были лохмотья и раны. Уже возвращалась боль. Язык, немного опав, все еще был чужим.

При входе в палатку Громов наткнулся на миску и долго не мог взять в толк, почему она здесь. Память, как замороженная, отходила не сразу... Однако же вспомнилось, что уходя, налил глупышу молока... и почему-то подумалось: нет, молоко — не алица — и сил придает

и речи не отнимает. Глупыш — не такой уж глупенький, коль не оставил ни капли.

В тамбуре Громов споткнулся и отпрянул назад .. было похоже, что кто-то нарочно принес и бросил на его пути остатки вчерашнего кокона — страшные клочья с его запекшейся кровью.

Кому, зачем это понадобилось?! — подумал старик, перешагивая через шкуру и направляясь за полог, в центральный отсек. Сквозь окна, с ватного неба сюда проникал ровный свет, играя в капельках крови, застывших на вырванных стеблях, на стенах и на потолке. Всюду были следы борьбы. Громов увидел свой нож, вернее такой же как тот, что оставил, поднятый [illegible]. Рубиновый дождик, пунктирной дорожкой вел за контейнер туда, где находилась его постель.

Цепенея от ужаса, оглушенный ударами крови в висках, Громов дошел до контейнера, обогнул его... и упал на колени, точно увидя себя самого этой ночью... В постели лежал человек. Он спал, и от его дыханья содрогалось покрытое корками запекшейся крови и жалким рубищем тело. Лицо утопало в густой растительности, и только раскрытые губы зияли, как воспаленная рана. Старик прикоснулся к седеющим прядям, скрывавшим лицо, и чуть их раздвинув, стоял на коленях, смотрел... и беззвучно рыдал. Затем он поднялся и осторожно поправил сползавшее одеяло. На ватных ногах, не оглядываясь, двинулся к выходу. Откинув полог, сделал три шага, увидел стену тумана над вечною бездной... а на узорном ковре — глупышей... Всех, сколько было. Они его ждали... Громов качнулся, рухнул вперед, на румяные терпкие грозди и, обнимая руками планету, шептал оживающим языком:

— Спасибо, Непокоренная! За сына... за сыновей... которых уберегла!

ДОРОГА

Краулер, буксуя и взметая грязь, медленно продвигался по болотистой почве. Буйные заросли древовидного папортника поднимались высоко над землей, и продираться сквозь них было чрезвычайно трудно. Двое в кабине постоянно чертыхались и переругивались. С первого взгляда могло показаться, что они недовольны друг другом. Но Бен и Алексей были друзьями, и притом — очень близкими. Они постоянно летали вместе, и с таким же постоянством составляли экипаж разведывательного краулера на планетах. Бен обычно занимал место водителя, а Алексей исполнял обязанности штурмана и связиста. В общем, как и на корабле, Бен — второй пилот, Алексей — штурман.

Не поворачивая головы, Бен скосил глаза на Алексея:

— Алек, как ты думаешь, какой сейчас период переживает планета?

— Если проводить аналогию с Землей, наверное, каменноугольный.

— И я так думаю. Вчера у реки крокодилы ползали.

— Тогда уж стегоцефалы.

— Один черт.

— Да нет, стегоцефалы подлиннее и потолще.

— А может, это просто гигантский крокодил обожрался?

— А гигантские пауки и метровые стрекозы? Они что, тоже обожрались?

— Ага.

— Иди ты...

— Далеко.

— Что далеко?

— Идти, куда ты посылаешь.

— Ну, тогда сиди.

— Спасибо... Алек, давай телезонд повыше поднимем.

— Давай.

Кружившийся над ними в нескольких десятках метров телезонд начал плавно набирать высоту. На обзорном экране заскользили верхушки папоротников, сливаясь в один сплошной ковер. На краю экрана появилась полоса, свободная от растительности, как будто кто сделал просеку в зарослях. Ее они заметили еще с орбиты и долго не могли понять, что же это такое. Да и сейчас не знали. Шириною метров в сто пятьдесят и длиною около десяти километров, она была совершенно прямая и по самой середине ее проходила узкая темная полоска. Вот к ней-то и проламывался через дебри краулер.

Прошло с полчаса, и они въехали на просеку. Еще несколько десятков метров — и краулер остановился на полосе, проходящей по ее середине. Ширина метров десять. На поверхности, напоминающей толстое голубое стекло, ни единой царапинки. Будто только что тщательно отполирована. Бен бросил управление и повернулся к Алексею:

— Что скажешь, Алек?

— Похоже на дорогу.

— В каменноугольном периоде? При отсутствии разумной жизнедеятельности?

— А может, здесь все по-другому? Может, мы просто не заметили разумную жизнедеятельность?

— Ну, ты даешь! Дурацкую просеку заметили, а все остальное нет. Так, по-твоему? И потом, почему дорога? Дорога ведь должна куда-то вести, а эта никуда не ведет. Скорее уж взлетная полоса.

— Угу, для твоих объевшихся стрекоз.

— Я серьезно.

— Я тоже. Кому нужна взлетная полоса в каменноугольном? Только стрекозам.

— Да ладно тебе! Может они прилетели с другой планеты?

— Все планеты системы безжизненны, кроме этой.

— Они могли прилететь из другой системы.

— А полоса для чего?

— Для десантных ботов.

— Наши взлетают вертикально или с воды. А они, думаешь, дурнее нас?

— Тоже верно. Что будем делать?

— Давай выйдем.

Проверив герметизацию скафандров, они выбрались наружу. Покрытие полосы приятно спружинило под ногами. От удара двери тамбура о борт с нее слетел ком грязи и, упав на полосу, начал медленно погружаться. Прошло несколько мгновений, и он исчез. Заинтересованно хмыкнув, Бен столкнул на дорогу еще кусок грязи. Повторилось то же самое. Достав нож, он попытался ковырнуть то место, где только что исчезла грязь. Нож скользнул по зеркальной поверхности, не оставив ни малейшей царапинки. Бен нажал посильнее, опять никакого эффекта. Тогда он размахнулся изо всех сил, и неожиданно нож провалился в образовавшееся углубление. Бен отдернул руку. Углубление тут же выровнялось, вытолкнув нож наружу. Бен глянул на Алексея, тот хмуро улыбнулся:

— Может, тебе бластер дать?

— Черт его знает, как оно получилось! Такое мягкое на ощупь и никак. Вот я и... Оно что, живое?

— Кто его знает! Но скорей всего, как и наши дороги, псевдожизнь. Только, пожалуй, на более высоком уровне. Раны наши дороги залечивать могут, а постоять за себя — нет. Пошли в краулер.

Забравшись на свое место, Алексей включил связь и вызвал корабль.

* * *

Володька сидел в рубке и скучал. На корабле кроме него и командира оставалось всего несколько человек, остальные были в поиске. Изредка разведчики выходили на связь, и тогда он немного оживал. Обидно торчать на корабле, когда остальные рыщут по планете. Но ничего не поделаешь, кому-то нужно дежурить. Звякнул сигнал вызова. Володька взял микрофон:

— Дежурный по связи. Кто вызывает?

Выслушав, он нажал клавишу корабельной связи и волнуясь, срываясь на крик, позвал:

— Товарищ командир, Рудольф Янович, нашли! Третья группа нашла!

Через минуту в рубке появился командир.

— Чего кричишь? Что нашли?

— Третья группа нашла признаки цивилизации.

Командир склонился над пультом и позвал:

— Бен, Алексей! Что вы там нашли? Переключите зонд на меня.

Засветился обзорный экран, и на нем возник краулер, стоящий на темной полосе. Некоторое время командир сосредоточенно всматривался в экран и слушал, что ему говорили, потом перебил:

— Бен...

— Слушаю.

— Наверно уже пробовал ковырнуть?

Тот буркнул в ответ:

— Угу...

— Ну и что скажешь?

— Псевдо...

— А ты как думаешь, Алексей?

— Похоже на псевдо, но нужно, конечно, более основательное исследование.

— Хорошо, хорошо, этим мы займемся позднее. Что сейчас решили делать?

— Прокатимся по ней. Как вы?

— Ну что же, я, пожалуй, не против. Зонд перевожу в автоматическое сопровождение, и попрошу без экспериментов.

— Будет исполнено, командир

* * *

Алексей бросил микрофон на место и начал устраиваться поудобнее.

— Черт, не могли кабину сделать чуть побольше, ноги деть некуда.

— Так она же рассчитана на нормальный рост, а не на твои два десять.

— Помолчи, у самого не меньше.

Бен вздохнул:

— Ты прав, тоже сиденье отодвигать уже некуда.

Устроившись, Алексей еще раз просмотрел орбитальный снимок:

— Трогай потихоньку, Бен.

Краулер дрогнул и покатился по дороге. Метрах в двадцати над ними парил телезонд. Иногда они останавливались и выходили из краулера. Дорога не менялась.

Все такая же голубовато-зеркальная поверхность. Телезонд поднялся выше, и на экране стал виден конец дороги. Алексей прикинул расстояние:

— Осталось километра три, давай с ветерком.

— Какой русский не любит быстрой езды?

Бен усмехнулся и увеличил обороты. Двигатель взвыл, и вдруг что-то изменилось. Бен инстинктивно нажал на тормоза, и краулер встал. Алексей от неожиданности врезался головой в обзорный экран. Потирая ушибленный лоб, на котором вздувалась шишка, он уставился на Бена:

— Ты что, взбесился? Что случилось?

Бен ткнул рукой вперед:

— Посмотри.

Вокруг, насколько было видно, простиралась песчаная равнина. Кое-где громоздились барханы и под ветром курилась над их вершинами песчаная дымка.

* * *

Командир вздрогнул и склонился к экрану:

— Что случилось, куда они пропали?

Зонд неподвижно висел на одном месте. С него отлично просматривалась дорога в обе стороны. И она была пуста. Краулер, а вместе с ним Бен и Алексей, бесследно исчезли. Командир откинулся в кресле и устало потер виски:

— Володя, передай всем, пусть срочно возвращаются на корабль. Быть всем предельно внимательными. Я у себя в каюте. Когда соберутся — позовешь.

— Хорошо, Рудольф Янович, будет исполнено!

* * *

— Кажется, влипли. Послушай, Бен! Ты куда меня завез?

— Откуда я знаю? Только что были джунгли, и вдруг — эта равнина.

— А может, заросли кончились?

— Не смеши, карта у тебя на коленях.

— Это я так, для самоуспокоения.

Алексей повернулся к обзорному экрану:

— О черт, не работает. Неужели я его расколотил?

Бен усмехнулся:

— Если ситал устоял против твоей башки, то и остальное должно было уцелеть.

Алексей начал крутить ручки, потом попробовал стукнуть по экрану кулаком. Бен хихикнул:

— А ты попробуй еще раз — головой.

— Юмор висельника.

Наконец он включил обзорную телекамеру, экран засветился, и по нему поплыл все тот же унылый пейзаж.

— Ага, телезонд потеряли. Интересно, как? Ведь он стоит в автоматическом сопровождении и должен быть над нами.

— Многое, Алек, должно быть, а вот кое-чего быть не должно, это уж точно. Смотри.

Слева от них разгоралась багровая заря, всходило солнце. А справа от них второе солнце готовилось скрыться за горизонтом.

— Но этого не может быть, в этой системе только одно солнце!

— А ты уверен, что мы все еще в той же системе?

— Черт знает, но другая система...

— Опять самоуспокаиваешься?

— Кажется, да.

— Тогда давай помолчим, подумаем, может, что умное в голову придет.

* * *

Через час все собрались в кают-компании. Вошел командир.

— Как я понимаю, вы все в курсе происшедшего. Володя, дай запись. Свои соображения выскажете после просмотра.

Засветился экран репитера, и на нем появилось изображение краулера, стоящего на дороге.

Кадр скользил за кадром.

Вот краулер стронулся с места и покатил по дороге. Еще немного, и наступил решающий момент. Изображение качнулось, и краулер исчез. Только что он был — и вот его нет, как при трюковых съемках в кино. Прошло несколько томительных минут. Молчание нарушил инженер корабля:

— Можно повторить еще раз последние кадры?

Командир кивнул. Вновь ожил экран, и вновь исчез краулер.

Так повторялось несколько раз. Наконец командир не выдержал:

— Аркадий Львович, вы что-нибудь заметили?

— Пока ничего определенного сказать не могу, но кое-что это мне напоминает. Я пойду к себе, соберусь с мыслями.

— Хорошо, все свободны. Сбор через два часа.

* * *

Бен заерзал, открыл глаза:

— Слушай, Алек, что ты знаешь о теории гиперпространственных скачков?

— Тебе тоже эта мысль пришла в голову?

— А что еще может прийти в голову?

— Ты прав. Но об этом я знаю только из лекций.

— Я тоже из лекций, давай вспоминать. По теории, переход происходит во времени и пространстве одновременно. Вернуться в ту же точку пространства-времени невозможно. Почему — не знаю, но невозможно. Вот, пожалуй, и все что я запомнил.

— Ты что, только одну лекцию и прослушал?

— Одну, я как раз познакомился с Роной, и было не до отвлеченных теорий.

— Ну, знаешь, я тогда тоже познакомился с Валентиной, но несмотря на это прослушал весь курс.

— Вот поэтому у тебя Валентину чуть не отбил парень с астрофизического.

— Пусть бы попробовал...

— Ты что, драться полез бы?

— Там было бы видно.

— Зверь! Ну, давай дальше.

— Дальше формула: время равно расстоянию, пройденному от точки или к точке отсчета, помноженному на коэффициент. А он сам меняет значение от плюс единицы, до минус единицы, в зависимости от направления движения. В нашем случае он равен минус единице.

— Значит, по отношению к кораблю мы сейчас провалились в прошлое, а если попытаемся вернуться, то окажемся в будущем.

— Верно. И насколько мы уйдем в будущее, будет

зависеть от того, какое расстояние мы пройдем туда и обратно.

— Да, влипли. Интересно, куда нас занесло?

— Дождемся ночи и определимся.

— Думаешь, ночь тут будет?

— Я прикинул, минут сорок темноты обеспечено.

— Тогда я пойду подремлю.

Бен перебрался в бытовой отсек и минут через пять оттуда раздался раскатистый храп. Алексей, обладавший далеко не такой стабильной нервной системой, только пожал плечами.

* * *

Командир сидел задумавшись в ходовой рубке, когда к нему заглянул Марков:

— Рудольф, я кажется вспомнил, где видел подобное.

Командир оглянулся:

— Заходите, Аркадий.

Марков протиснулся в рубку и заполнил собою огромное объемистое кресло:

— Это было лет двадцать назад. В то время начались эксперименты с гиперпространственными кораблями-автоматами. В момент перехода изображение на всех контрольных экранах так же покачивалось. Это объяснялось большим напряжением гравитационного поля. Оно искажало световые лучи. Но я о другом. Эксперименты пришлось прекратить. Ни один корабль не вернулся назад. Тогда не знали, в чем дело. Только через десять лет выяснилось, почему они не вернулись. Харламов разработал подробную теорию гиперперехода, из которой, как следствие, вытекало, что переход происходит не только во времени, но и в пространстве. А первые корабли были нацелены на самое большое расстояние, которое мы могли достигнуть в то время: что-то около ста пятидесяти световых лет. Значит, вернуться они должны были только через триста лет. Так далеко ушли они в будущее. Возможно, и эта дорога только в одну сторону, только вперед, в будущее. Обратной дороги нет.

— Да-а-а. Что будем делать, Аркадий?

— Решать вам, Рудольф. Мы ничем им не можем помочь. Если им очень повезет, то они встретятся с создателями этой системы.

— Вы имеете в виду дорогу?

— Да, то что мы называем дорогой.

В продолжение этого разговора, в рубку один за другим заходили члены экипажа, и вскоре все оказались в сборе. Вперед протиснулся Володька:

— Товарищ командир, а кто строил эту дорогу?

— Разум, Володенька, Разум.

Больше никто ничего не спросил. Все застыли в молчании. И непонятно было, то ли экипаж прощается с исчезнувшими в неведомом товарищами, то ли приветствует высокий и непостижимый пока Разум.

* * *

Негодование Алексея наконец угасло, и он тоже задремал. Но ненадолго, покоя ему не было и во сне. Он заворочался и проснулся. Посмотрел на заходящее солнце, присвистнул и полез будить Бена. Раздалось недовольное бурчание:

— Ну, что там?

— Солнце заходит.

— Будем определяться?

— Попробуем.

— А я посмотрю краулер, нужно проверить все агрегаты. Помощи-то ждать неоткуда.

— Хорошо.

Бен скрылся в реакторном отсеке.

Алексей занялся киберштурманом.

Кибер был предназначен для планетной навигации, и заставить его служить для других целей было нелегкой задачей.

Предстояло перемонтировать схему.

На это ушло немало времени.

Наконец, Алексей закрыл крышку блока и осмотрелся.

Второе солнце скатилось за горизонт и вокруг, стремительно густея, разливалась тьма.

Появился Бен и устроился на своем месте:

— Ну, что у тебя?

— Все готово.

— У меня тоже.

— Как реактор?

— В полном порядке. Без перезарядки продержит год, а там как получится.

— А остальное?

— Примерно так же.

— Значит, порядок. Если не сдохнем от голода.

— Таблеток и концентратов нам на две жизни хватит.

— Тогда начнем.

Из гнезда выплыл последний из двух телезондов и повис над краулером.

Поворачиваясь, он стал отыскивать на небосводе ориентиры и, наконец, застыл.

В киберштурман начала поступать информация.

Но вот раздался звонок, и на колени Алексею сползла лента с трехмерными координатами.

На экране высветились созвездия с отметкой местонахождения краулера.

Взглянув на ленту и на экран, Алексей присвистнул:

— Ого, десять лет.

— В каком направлении?

— Увы, еще дальше от Земли. Мы продвинулись в направлении ядра галактики.

— Но для чего эта дорога, куда она может вести?

— Скорее всего, к центру галактики и, соответственно, к центру цивилизации.

— Но ведь дороги, обычно, начинаются в центре и ведут к периферии. Цивилизация должна расширяться, осваивать новые пространства.

— А может, она и идет от центра, просто мы движемся в противоположном направлении.

— Может, может. А может, они вообще из соседней галактики? Свою освоили и движутся к центру ближайшей?

— А почему ты думаешь, что они из соседней?

— Подумай сам. Дороги идут от центра, и если они из нашей галактики, то они нас давно бы нашли. Ведь дорога проходит в каких-то пяти световых годах от Солнечной системы, и радиошум от нашей цивилизации давно бы уже засекли.

— Пожалуй, ты прав. Ну а если нет в центре цивилизации, тогда как? Ведь они исчезнут во времени. Обратной дороги в свое время нет.

— Обратной дороги нет и у нас.

— Мы попали случайно.

— Не скажи. Поиск есть поиск, и любая находка для нас не случайность, а закономерность.

— Даже такая?

— Даже такая! Двигаем?

— Постой! Ведь обратной дороги действительно нет. Мы уходим навсегда. И неизвестно, придем ли куда-нибудь...

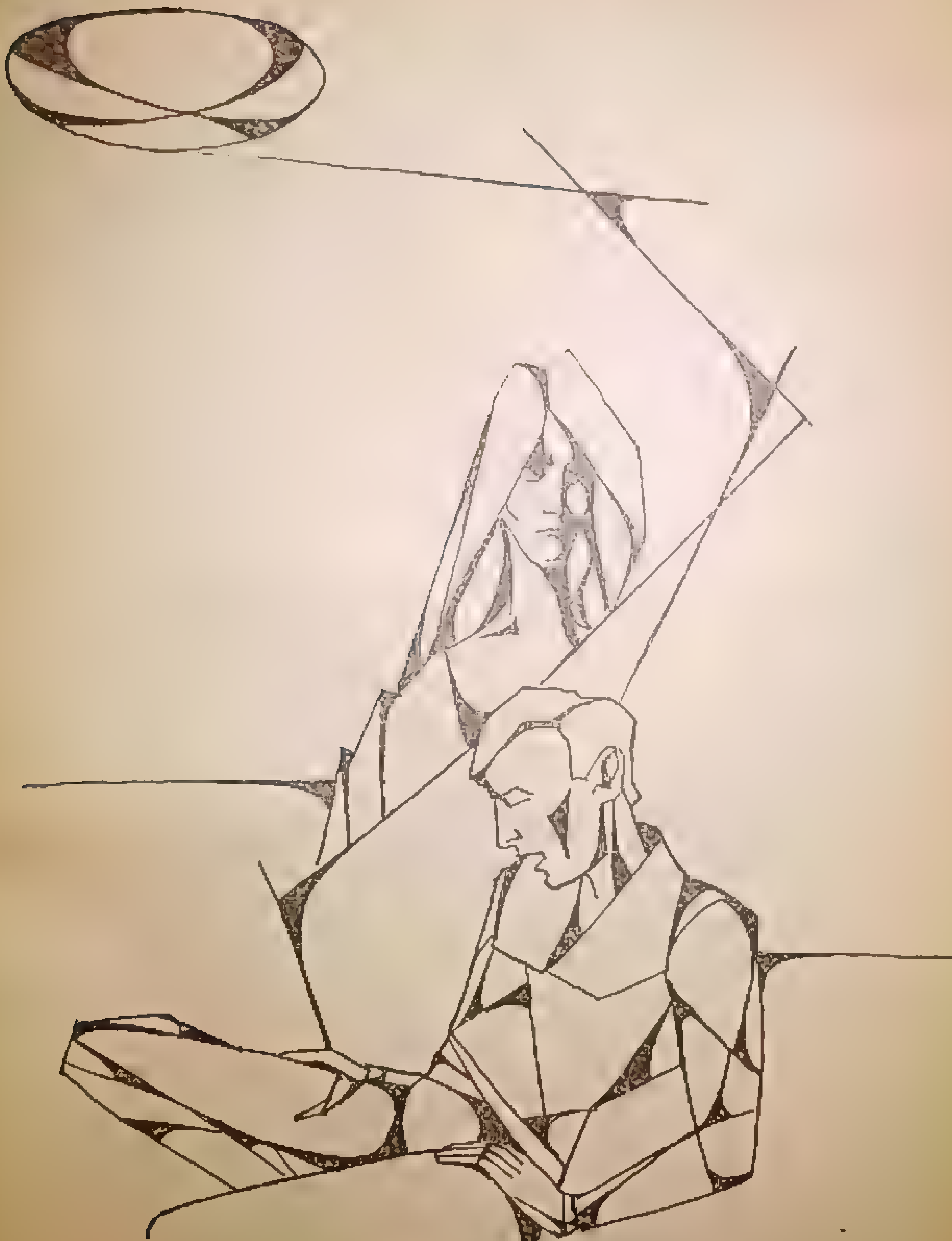
— Алек, мы оба давно решили свою судьбу...

— Ты прав, Бен. Как всегда прав. Двигаем дальше, к центру цивилизации...

— К Разуму, Алек, к Разуму!

Краулер вздрогнул, покатился, набирая скорость, по дороге и беззвучно исчез в конце ее.

ЭКСПЕРИМЕНТ



Жизнь показала, что компьютер способен делать многое: все, что может человек, и кое-что, чего он не может, ибо достаточно сложная машина — это уже индивидуальность.

Е.Парнов

Три закона робототехники

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые отдает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противоречит Первому и Второму законам.

А.Азимов

...на робота можно положиться куда спокойнее, чем на человека.

А.Азимов (слова Лэннинга из рассказа «Раб корректуры»)

РОБЕРТИК

Фаис была просто прекрасной планетой. Ее оранжевые долины, темные ущелья и белоснежные вершины гор непрерывно то темнели, то светлели, потому что планета была крайне невелика и время на ней, похоже, текло очень быстро. Непривычным землянам сутки на Фаис казались весьма короткими.

На Фаис не было [illegible] ...дов, и когда на нее высадились [illegible] люди, они привезли с собой все, что требова[illegible] жизни. На оранжевых равнинах оборудова[illegible], на высоких горах установили антенны, [illegible] ...дья покрыли зеркальным веществом, чтобы использовать отраженную энергию белого солнца Фаис.

Чем больше люди обживали Фаис, чем чаще их корабли использовали ее как промежуточную станцию в космосе, тем безвозвратнее планета теряла свою яркую красоту.

Оранжевые долины исчезли под слоем износоустойчивого пластика, из ущелий вылезли и расползлись в разные стороны толстые и тонкие кабели, а горные вершины больше нельзя было увидеть за частыми решетками локационных антенн.

Жившие на Фаис астронавты — их там было всего шестеро — понемногу освоились на планете, по утрам с удовольствием любовались восходом солнца, а ночами, если не спалось, усаживались в свой старенький вездеход и катили в другое полушарие — позагорать в одной из еще не цивилизованных долин.

Кроме людей, на Фаис жил робот. Звали его Робертик. Вообще-то его предназначением было развлекать астронавтов, но кроме того он был совершенно незаменим

в одном деле. Он проверял линии напряжения, тянувшиеся от накопителей энергии. Робертик делал это очень странным образом: шел вдоль линии, не выпуская проводов из железных пальцев, и насвистывал; и чем выше было напряжение на линии, тем веселее звучала его песенка.

Во всем же остальном Робертик был просто маленьким шалуном, который смешил астронавтов своей болтовней, порой в чем-то помогал, но чаще скорее мешал работе. Ночами, когда люди засыпали, Робертик, не нуждавшийся в отдыхе, бродил по маленькой планете, развлекаясь тем, что заставлял провода искрить, передвигал с места на место ракеты, катался на старом вездеходе, а с приближением утра принимался усердно готовить завтрак.

Будить людей и сервировать для них утренний кофе доставляло Робертику величайшее удовольствие. Улыбаясь, сидел он в конце стола не уставая разглядывал людей и следил за их действиями.

В отличие от тех серийных роботов, которые когда-то входили в состав экспедиции по освоению планет, Роберт обладал кое-какими индивидуальными особенностями. Например, он носил короткие штанишки. Сперва, правда, он потребовал нарядить его в такой же костюм, какой носили все астронавты. Однако, такой костюм закрыл бы множество индикаторов и кнопок управления, которые находились в разных местах его корпуса и должны были оставаться всегда на виду. Так что пришлось ему согласиться на специально для него сшитые короткие штанишки.

Из всех работавших на Фаис астронавтов Робертик больше всего подружился с Увальдом, которого тогда звали просто Увис. Он был самым молодым в экипаже, и маленькая планета оказалась первым местом работы в его жизни.

Увис добровольно принял на себя заботы о Робертике. Чистил, смазывал, проверял режимы и никогда не оставлял без внимания ни одной жалобы Робертика на искрящиеся контакты, поскрипывающий сустав или скачущее напряжение. Портился Робертик редко, он обладал прочной конструкцией, мозгом среднего объема и увеличенным блоком записи информации. Увису порой казалось, что Робертик запоминает множество всякой ерунды вместо того, чтобы заполнять блоки памяти какими-нибудь полезными сведениями.

В краткие и бесконечно прекрасные на Фаис рассветные часы Увис с Робертом нередко любовались восходом солнца с ближайшего к лагерю холма. Однако, Робертик и тогда больше смотрел не на солнце, а на Увиса, потому что зрелище восхода, однажды запечатленное в памяти робота, больше не интересовало его, Увис же каждый раз выражал свою радость и восхищение по-новому.

Когда они возвращались в лагерь, Увис обычно задавал Робертику вопросы; ему было интересно, как робот представлял себе разные явления жизни.

— Робертик, что такое цветы?

— Редко встречающийся во Вселенной процесс, в ходе которого неорганические соединения превращаются в органические.

— А дождь?

— Круговорот водорода и кислорода, - немедленно отвечал Робертик.

Тут Увис, не сдержавшись, принимался рассказывать о Земле сам. Робертик слушал его с удовольствием: в такие минуты он чувствовал себя почти человеком и ощущал, что в его железном теле происходят какие-то незапрограммированные процессы и перемены; ему хотелось куда-то лететь, зачем-то спешить, его волновал дувший на Фаис ветерок, обычно отмечавшийся лишь барометео-индикатором. Робертику чудилось, что он улавливает запах цветов, доносящийся с лугов далекой Земли, что высоко в небе парят птицы (а птиц никогда не было на Фаис) и что голые склоны гор покрываются зеленым ковром.

День проходил за днем, и вот наступило время для очередного полета на Землю, чтобы пополнить запасы продовольствия, воды и технических материалов. Полет считался несложным, и обычно его выполнял один человек. Разумеется, каждому астронавту хотелось побывать дома, поэтому летали все по очереди.

Когда пришел черед Увиса, он попросил разрешения взять в полет Робертика. Ему разрешили, потому что некоторое время на планете можно было обойтись и без робота.

Так Робертик увидел Землю, настоящую живую планету. До сих пор он знал только Фаис. Но что такое Фаис по сравнению с Землей! Яркая поверхность Фаис напоминала наряд, сшитый из множества кусков одного и того же

цвета, Земля же была многокрасочной, гармоничной и, главное, живой.

Вернулись они точно в срок.

Увис, понятно, был полон новых впечатлений о Земле и с удвоенной силой принялся за работу, не уставая повторять, как хорошо и спокойно дома.

Глядя на него, астронавты вспоминали свои собственные первые полеты и первые возвращения, и только улыбались. Но уже вскоре их внимание переключилось с Увиса на Робертика. Потому что с роботом явно творилось что-то неладное.

Началось это сразу после полета.

Когда корабль только опустился на Фаис, Робертик отказался покинуть его. Впрочем, об этом знал тогда только Увис. Вместо того, чтобы выйти, Робертик остановился подле распахнутого люка, и Увису почудилось даже, что в обычно бесстрастном взгляде робота на сей раз промелькнул страх.

— Что случилось, Робертик? - спросил Увис.— С тобой что-то не в порядке?

— Нет,— ответил робот.— Просто я не хочу на Фаис.

Увис встревожился. Роботам не полагается говорить «не хочу». Робертик мог бы сказать «не могу», «не умею», «не смею» или «не знаю».

— Почему?— спросил его Увис, совсем как человека.

Робертик не ответил. В тот миг он был похож на маленького капризного мальчугана в коротких штанишках. Так что Увис просто взял его за руку и вывел из корабля.

Но с того случая, собственно, все и началось.

Веселый и жизнерадостный Робертик сделался молчаливым и грустным. Он подолгу просиживал в одиночестве на холме, что-то тихо напевая, и единственным, что он еще делал с удовольствием, был контроль электрических линий.

Ежевечерне Увис тщательно проверял техническое состояние Робертика. Но никаких отклонений в нем не было, все узлы, блоки и ячейки работали нормально.

По утрам Робертик больше не стряпал.

— На кухне слишком жарко,— объяснил он Увису, сидя на космодроме в тени башни управления. Увис в тот же вечер проверил термостаты. Нет, все было в исправности.

Восходы они, как и раньше, встречали вдвоем, но Увис

больше не задавал вопросов, боясь услышать в ответ что-нибудь совсем необычное. Увис понимал, что грозит роботу, если и другие заметят его странности. Пока еще удавалось выкрутиться, ссылаясь то на испорченный блок, то на севшие аккумуляторы или разрегулировавшийся режим, но если так будет продолжаться, бесконечные неисправности могут показаться подозрительными.

Увис стал все чаще брать Робертика с собой в дальние выезды, чаще прежнего поручал ему проверять линию, стараясь не оставлять робота без дела.

Но вскоре перестало помогать и это. Капризы Робертика становились все заметнее. То он отказывался провести ночь на свежем воздухе, заявляя, что ночи на Фаис чересчур прохладны, то требовал усилить его защитные схемы, чтобы уменьшить ток [illegible] через него при проверке линии... Во время [illegible] вдвоем Увис начал серьезно разговаривать с Робертиком, объясняя ему, что у людей и роботов — [illegible], что роботов в случае их неподчинения можно наказывать, отдавать в ремонт, заменять [illegible] части.

— Ну и ладно,— отвечал Робертик, даже не глядя на Увиса.

И наступил день, когда [illegible] отказался работать. Ток высокого [illegible] по его словам, был для него опасен, а [illegible] обойтись и без робота — можно включить в [illegible] индикаторы, а также автотрансформаторы, зря пылящиеся где-то в дальнем углу склада.

Не помогали ни уговоры, ни [illegible]. Спокойный и безразличный, Робертик стоял перед шестью астронавтами.

— Так ты не будешь работать?

— Нет.

— Тебя отошлют в разборку.

— Пусть.

— Может ты скажешь — почему?

— Я не хочу оставаться на Фаис.

— Да почему же?

— Фаис — неживая планета.

В этом он был прав.

Собрание решило сообщить о неисправности робота на базу. Вскоре им ответили, что новый робот выслан, а Робертика следует разобрать на части.

Выполнить это, однако, оказалось очень трудно. Все

соглашались переносить капризы Робертика, чинить его, налаживать и уговаривать, но разобрать?.. Это было почти то же, что убить.

Вопреки всем инструкциям, люди решили предоставить Робертику свободу действий. Он ведь не делал ничего плохого. Надо было разве что повнимательнее приглядывать за ним, но меры принимать лишь в случае крайней необходимости.

Известие о том, что вскоре на Фаис появится еще один робот, Робертик встретил совершенно спокойно. Несколько суток он провел, неподвижно сидя в тесной оранжерее, где климат напоминал земной и где астронавты в свободное время сажали, поливали и пололи привезенные ими для собственного удовольствия растения.

— Не сиди тут,— предупредил Увис.— Очень сыро, и много азота в воздухе, для тебя это вредно.

— Знаю, — ответил Робертик. — Но я д о л ж е н быть тут.

Напрасно пытался Увис увлечь Робертика какой-либо работой. Робертик никуда не выходил. А в то утро, когда Увис впервые встретил восход солнца в одиночестве, остальные астронавты готовились принять корабль с новым роботом.

— Робертик, теперь у тебя будет друг,— сказал Увис, заглянув вечером в оранжерею.

— Мне все равно.

Увис хотел, как всегда, проверить и смазать робота, но тот отказался:

— Не надо. Тебе теперь хватит работы с новым. Расскажи лучше еще о Земле. Я успел там увидеть так мало... Там много таких больших деревьев, как те, что растут у космодрома? Помнишь, как я шел по тропинке и все время спотыкался о корни? Помнишь? А почему ты не спотыкался и не падал? Я все время думал об этом, и вот наконец понял. Это оттого, что ты родился на Земле и все знаешь заранее...

Увис растерялся. Если бы такое сказал человек — еще понятно, но робот...

— Ну да,— сказал он.— На Земле много лесов.

— Почему ты не живешь там?

— На Фаис у меня работа.

— Разве на Земле ее нет?

— Нашлась бы...

— Тогда почему ты здесь?

— Я люблю летать, путешествовать, видеть новые планеты...

— Даже некрасивые? Неживые?

— Всякие.

— Не понимаю,— сказал Робертик и отвернулся.

Увис ушел. На следующее утро он обнаружил Робертика сидящим без движения. Подсветка его лица погасла, стрелки приборов стояли на нуле, хотя аккумуляторы, как оказалось, были полностью заряжены. Правая рука Робертика была протянута к обогревателю. Увис нагнулся и в железной ладони увидел маленький зеленый росток, крохотную елочку со светлой, бархатистой хвоей. В горсти был песок, и росток удерживался в нем, цепляясь едва заметными корешками.

* * *

Самым дорогим талисманом, [illegible] на Землю доктором трех космических наук Увальдом, был маленький кристаллический блок.

Все двадцать лет, проведенных Увальдом на разных планетах, станциях, космодромах, а потом и в Научной группе Центра, Увальд хранил и повсюду возил с собой эту безделушку.

Вернувшись на Землю, он поселился в одиночестве в своем лесном доме, и часто целыми днями бродил среди молодых елочек, а вечера проводил у камина. Иногда, в какие-то ему одному известные дни, Увальд включал телевизионную запись.

Источником записи был маленький кристаллический блок.

Видели эту запись лишь немногие.

Среди астронавтов ходили слухи, что она изображает какую-то оранжевую планету, очень красивую и маленькую.

Ее покрывали зеленые леса и цветущие сады.

Птицы, звери и насекомые на этой планете очень напоминали земных.

Реки и озера были тоже совсем как земные.

И всего этого там было много.

Но все же больше всего на планете росло елей.

Увальд ничего не рассказывал о происхождении этой

записи. Однако, его бывшие коллеги уверяли, что кристалл — это все, что осталось от блока памяти какого-то разобранного некогда робота.

Правда, специалисты считают, что такой планеты нет и быть не может. Но другие возражают, что в блоке памяти не может фиксироваться то, чего не существует в действительности, ибо роботы не способны ни фантазировать, ни мечтать.

Недавно Увальд завершил исследование о способности электронного мозга к творческой деятельности. Однако, его выводы пока приняты лишь в качестве гипотезы, потому что каждому известно, что у роботов отсутствует воображение.

МАЖОРДОМ

Мне бы только выбраться [illegible] Я им покажу, как измываться над беспо[illegible] Да я на весь мир раструблю, что они со мной [illegible] в суд подам за оскорбление [illegible] меня еще поплящут. Но как [illegible] не приложу.

Значит, так. В канун [illegible] точнее не припомню. Сэви по[illegible]:

— Господин Ург, я [illegible].

Я чуть не поп[illegible].

— Неужто,— говорю,— [illegible] Интересно, сколько у него [illegible]?

— Не ваша забота,— [illegible] снимает передник и вешает в шкафчик.— [illegible] аптека в Дель-Гро, и я к нему переезжаю. Так что попрошу расчет.

Вижу, делать нечего. Выписал ей чек, и в тот же день она подалась к своему воздыхателю. А я остался один как перст, потому как Тоби еще раньше околел, и я его зарыл в саду под вишней. Ладно.

На объявление в газете никто не клюнул. Понятное дело, в нашем городишке нанять прислугу — все равно, что найти нефть на Луне. Тем более, что мой характер всем известен. Одна старая карга, правда, приплелась, обошла весь дом и заявила, что столько паркета ей и за год не надраить. Я ее послал к чертовой бабушке, а сам отправился в «Зеленый Поросенок» обедать.

Сижу, потягиваю пиво, читаю «Коммерческий Еженедельник». Тут-то и попалась мне на глаза та самая треклятая реклама, с которой все началось.

«ВСЕ ВАШИ ЗАБОТЫ СМЕЛО ДОВЕРЬТЕ ФИРМЕ «ХАРАЛЬД И К°»!

«СПОКОЙНУЮ СТАРОСТЬ, УЮТ, ЗДОРОВЬЕ, ДОЛГОЛЕТИЕ ОБЕСПЕЧИТ «ХАРАЛЬД И К°»!

«Безупречная прислуга, опытный врач, великолепный повар и внимательный друг — все это вместе взятое —

ЭЛЕКТРОННЫЙ МАЖОРДОМ ФИРМЫ «ХАРАЛЬД И К°»!

Ну и так далее.

Недолго думая, заправил я свой «мерседес» и поехал в Бельвилль. Нашел отделение фирмы. На вид у них все прилично, солидно. Даже абстрактные картинки висят. Стали составлять контракт.

— Как вы желаете, спрашивают, — только сервис или полное обеспечение?

— Валяйте на всю катушку,— отвечаю.

— Значит, уборка, питание, охрана здоровья, психологический микроклимат...

— Вот-вот,— говорю.— Только чтоб все самое лучшее.

— Это вам обойдется в семьдесят тысяч за год.

— Ну, при нынешней инфляции это не деньги,— отвечаю.

— Мы заключаем контракты на год, на три, пять лет и бессрочно. Что вас больше устраивает?

— Бессрочный — значит, покуда я не загнусь?

— Совершенно верно. У вас не будет никаких забот до конца ваших дней. И при бессрочном контракте, заметьте, мы предоставляем пятипроцентную скидку.

— Кройте,— говорю.— Подходяще.

И подмахнул бумаженцию. На том и расстались.

Через неделю у меня в доме начался сущий бедлам. Явился какой-то сукин сын в пестром галстуке, и с ним трое громил в комбинезонах. Понатащили ящиков, кабелей и прочего барахла, ступить негде. Молотки стучат, дрели визжат, короче, сами понимаете, что жизни нет никакой.

— А ваше присутствие вовсе не обязательно,— гово-

рит мне медовым таким голосом тот пройдоха в галстуке.— Пока мы ставим автоматику, вам лучше всего пожить где-нибудь в гостинице.

Делать нечего, плюнул я на все и укатил в Бельвилль, тряхнуть стариной.

Вернулся к сроку. Сукин сын меня встречает на крыльце.

— Все в порядке, господин Урт,— говорит.— Вчера мы закончили монтаж и проверку.

— Какого черта на окнах решетки? — спрашиваю.— Я не для того бешеные деньги угрохал, чтобы век доживать за решеткой.

— Здесь же ценнейшая аппаратура — отвечает мне этот фрукт.

Ладно. Вошел я в дом [illegible] ахнул. Двери все нараспашку. Дверные ручк[illegible]ми. Выключатели отовсюду повыдирали. [illegible] новехонький, за четыреста монет, уперли, а [illegible] него поставили какой-то дурацкий, [illegible] кухню обчистили ну всю, как есть. Ни [illegible] холодильника, ни бара, стоит один [illegible] ящик, на манер автомата с газиро[illegible]

Хотел я этому хлыщу [illegible], однако удержался.

— Это что ж такое? — говорю.— [illegible] вертайте живо все, что уперли. Я таких шуток не люблю.

Тут сукин сын заулыбался и аж [illegible]ся от удовольствия, что твоя майская роза.

— Все, как вы заказывали,— говорит.— Полная автоматика.

— Ты, сынок, не финти,— говорю, а сам весь киплю от злости.— Ничего такого я не заказывал. И я не позволю, чтоб за мои деньги, в моем же доме всякая шушера надо мной потешалась. Мне надо, чтоб в доме был порядок, и чтоб харчи водились, ясно?

— Да вы не волнуйтесь, я вам все объясню,— лебезит этот подонок.— Двери открываются и закрываются по вашему мысленному приказу. И вообще все, о чем бы вы ни подумали, будет исполняться моментально. А об уборке и стирке даже думать не надо, они заложены в программу. Еду и питье Мажордом заказывает по радио. Наш фургон будет подъезжать с черного хода и по транспортеру подавать продукты в хранилище. Плюс охрана здоровья...

— Ладно,— говорю,— кончай бодягу разводить. Покажи как и что надо включать.

— Сейчас я включу Мажордома,— отвечает.— И до конца ваших дней он будет исполнять все ваши пожелания.

— Валяй,— говорю.— Включай и проваливай ко всем чертям.

Ведет он меня в холл, а там в углу стоит здоровенный железный шкаф с вензелем фирмы.

— Разговаривать с ним вы можете из любой комнаты,— объясняет мне чертов жулик. Достал какой-то хитрый ключ, вставил сбоку и щелкнул два раза.

— Добрый день, господин Урт,— говорит шкаф.— Рад вам служить.

Голос вроде обыкновенный, человеческий, но как-то все-таки жутко. Я даже оробел малость. Что бы такое приказать, думаю.

— А ну закрой дверь,— говорю.

И дверь сама собой закрылась.

— А теперь открой.

И она распахивается как миленькая.

— Ух ты,— говорю.— Вот это номер.

— Господин Урт, я спешу,— говорит мне мерзавец в галстуке.— У вас есть еще ко мне вопросы?

— Катись,— говорю.— А ты, Жестянка, закрой за ним двери.

— Рад вам служить,— отвечает шкаф.— Меня зовут Кью-325.

И тот пройдоха сразу смылся. Ох, потолковать бы с ним еще разок! Я потом только смекнул, что ключ от Жестянки у него остался.

Сел я в кресло и думаю, что бы такое приказать. А Жестянка мне и говорит:

— Разрешите дать вам совет.

— А ну-ка, давай.

— Вас утомила дорога. Не угодно ли принять снотворное и лечь спать? Чистая пижама в спальне, на кровати.

— Ишь ты,— говорю.— А может, я и не устал вовсе, почем ты знаешь?

— Господин Урт, мой долг — охранять ваше здоровье. Я веду постоянное телепатическое наблюдение за вашим организмом и самочувствием. В данный момент у вас кровяное давление сто на сто восемьдесят. Прошу вас, примите лекарство и лягте.

— А как насчет ужина?

— По дороге домой вы поужинали в «Зеленом Поросенке»,— отвечает Жестянка.— Причем имели неосторожность употребить 350 лишних калорий.

Тебя не проведешь, думаю.

— Совершенно верно,— говорит.— Ведь я читаю ваши мысли.

Ай да Жестянка. Признаться, я даже расчувствовался от такой заботы.

— Ладно,— говорю.— Давай свое лекарство.

Дверь открылась, и появляется [illegible] этажерка, с меня ростом и на паучьих ножках. В [illegible] у нее поднос, на подносе таблетка, стаканчик [illegible] и салфетка. Все как в лучших домах.

Выпил я снотворное и [illegible]

— Спокойной ночи, господин Урт,— шепчет Жестянка.

— Спокойной ночи,— говорю машинально. Ей-богу, даже прилично, когда [illegible]. Ну, думаю, другой такой прислуги [illegible] засну.

Проснулся оттого [illegible]

— Доброе утро, господин [illegible] говорит Жестянка.— Если вам нравится эта мелодия, я буду вас ею будить каждое утро.

— Какого черта,— отвечаю.— Еще только шесть утра.

— Именно такого режима вам следует придерживаться. Сон с двадцати двух до [illegible]. [illegible] физзарядка...

— Чего-с? — спрашиваю [illegible] на старости лет дурака из себя строить [illegible]

— Господин Урт, мой долг — охранять ваше здоровье.

— Плевать мне на твой долг. Я никому не позволю командовать в моем доме. Тащи-ка мне завтрак в постель. Кофе, яичницу с беконом, гренки...

— Сию минуту.

И появляется Этажерка с подносом. Гляжу — тысяча чертей!— там овсянка и кефир.

— Это еще что?— говорю.— Я же сказал, яичницу и кофе.

— Ваш процент холестерина и ваше давление исключают подобные блюда.

Тут я обложил Жестянку на чем свет стоит.

— Господин Урт, эти слова мне не понятны,— отвечает она.— Меня зовут Кью-325. Можно просто — Кью.

— Так, распротак и разэтак,— говорю я. И ка-ак на-

поддал ногой поднос! Этажерка выкатилась, зато вползла большущая никелированная Черепаха и все осколки мигом убрала. Не успела она слизать кашу со стенки, Этажерка опять приперлась со своим подносом. Гляжу — овсянка!

— Господин Урт, ничего другого вам на завтрак нельзя,— говорит Жестянка. - Приятного аппетита.

Вот влип, думаю. Пришлось съесть. Без соли.

— Хоть бы посолила, скотина,— говорю.

— Напоминаю, что меня зовут Кью-325. Ваша суточная потребность в хлористом натрии вчетверо меньше того, что вы привыкли употреблять. Кстати, именно поэтому ваша левая почка серьезно поражена.

— Ладно,— говорю.— Поди к черту.

— Извините, не понимаю.

— Отцепись.

— Не понимаю.

— Заткнись, отвяжись, сгинь!

— Кажется, понимаю.

Встал я, пошел в ванную. Двери перед носом распахиваются сами собой. Чудеса, да и только.

Помылся-побрился, сел в кресло и говорю:

— Газету мне и сигару. Живо.

— Вам категорически запрещается курить,— говорит Жестянка.

— Еще чего,— говорю. Встал и сам пошел к камину, где у меня лежит коробка с «Ла Корона». Да только Этажерка выхватила сигары у меня из-под носа и кинула на ковер. А Черепаха мигом подлетела и запихнула коробку в пасть.

Ох, как я взбеленился. В черепаху запустил каминными щипцами. А ей хоть бы что. Этажерка подобрала щипцы и в угол поставила.

— Не волнуйтесь, господин Урт,— говорит паскудная Жестянка.— У вас и без того давление сто на двести. Вы присядьте, посмотрите телевизор.

Включила она мне телевизор. Сижу, подыхаю от злости и слушаю душеспасительную передачу. Какая-то постная рожа в очках агитирует вступить в Добровольную Ассоциацию По Борьбе С Неумеренным Употреблением Пива. Слушал я, слушал, и до того мне вдруг захотелось холодного пивка, что никакого терпежу нет.

Моментально эта стерва выключила телевизор.

— О пиве не может быть и речи,— говорит.— И вооб-

ще вам нельзя ни грамма алкоголя. Ваша печень в таком запущенном состоянии...

Тут я выложил ей все, что думаю о ней и о фирме «Харальд и К°». А Жестянка талдычит свое, мол, я не понимаю вас, господин Урт, и точка. Сами понимаете, какой интерес выражаться, если тебя оценить некому.

Ладно. Успокоился я чуток и решил наведаться в Бельвилль. Думаю, не попрется же эта гувернантка за мной в заведение.

— Господин Урт,— говорит Жестянка.— Вы хотите ехать в Бельвилль?

— Да,— говорю.— Почему бы и нет?

— И там вы, как я понимаю, собираетесь развлечься?

— Точно,— говорю.— А что, тоже нельзя?

— Сожалею, но в таком случае я не вправе выпускать вас из дома. Ваше сердце может не выдержать.

Я опять взялся за каминные щипцы. Колошматил Жестянку, пока действительно сердце не запрыгало. Этажерка сердечные капли принесла. Я заныл.

— Ну вот и хорошо,— говорит Жестянка.— Вам полезен физический труд. Только напрасно вы хотите поджечь дом. Я не могу вам этого позволить.

Гляжу — двери все закрыты. На окне фигурная решетка. Схватился за телефон, а он отключен. Этажерка встала в боксерскую стойку и обмотала правую клешню полотенцем.

— Во избежание серьезных травм,— объяснила Жестянка.

Я взвыл. Лег на пол и грызу ковер. Этажерка принесла таблетки. Поглядел я на ее клешни, и мне что-то расхотелось капризничать. Принял я всю эту гадость, выспался, чуток успокоился. А Жестянка смилостивилась и пообещала дать вечером стакан безалкогольного пива. Если буду паинькой, конечно.

Так я теперь и живу. Делаю зарядку, жру овсянку, и все такое прочее.

Ох, попадись мне теперь в руки этот самый Харальд со всей своей К°...

Да только не выбраться отсюда никак. Жестянка меня утешает. Она долдонит, что в этаких условиях да при налаженном режиме я протяну еще лет пятнадцать. А то и больше.

ГЛЯДЯ В ЗЕРКАЛО

— Ты только погляди на них — просто цирк какой-то!— кивнул Сугнис в сторону окна.

Лотан нехотя поднялся и приблизился к вмурованному в стену небьющемуся стеклоблоку

Два робота, расстелив на песке одеяло, нежились на солнце, в то время как третий усердно опрыскивал их кремом для загара из аэрозольного баллончика.

Лотан расхохотался. Впрочем, смеялся он недолго. Лицо его тут же стало озабоченным

— Это следует запретить. В жидкости — эфирные масла, они могут вывести из строя пластиковые подшипники. И, кстати, где они раздобыли свою прыскалку?

— Стянули у Ароны, где же еще.

— Милые шутки! — хмуро сказал Лотан. А завтра они сопрут какую-нибудь отраву, чтобы подсыпать в суп. Или нальют воды в топливный бак, или подожгут дом...

— Ну, не так страшно,— успокоительно сказал Сугнис.— Не забудь: они всего лишь подражают, и не в состоянии сделать ничего более глупого, чем делаем мы сами. Это тебя убеждает?

— Убеждает, не убеждает — разве в этом дело? Мне осточертел весь наш идиотский эксперимент. Я готов скорее оказаться в системе Граафа, чем битый месяц ходить по пятам за дураками-роботами и записывать все их глупые выходки.

— Куда уж лучше!— ухмыльнулся Сугнис.— Только что стал бы ты делать в системе Граафа — с тамошним уровнем радиации? Нет, живому туда ход закрыт. А наши подопечные, надо полагать, там отлично справятся.

— Да стоило ли огород городить? Послали бы вездеход-автомат с комплектом инструментов...

— Много бы он там успел, как же.— Разговор, похоже, начал раздражать Сугниса.— Нет, ничего лучше наших копир-роботов не придумаешь. Мозг, скопированный с человеческого — уникально! Неужели не понимаешь?! Стоит им продержаться там хоть несколько часов — и мы получим большее количество информации, чем от комплекса автоматов и за год работы. Не нуждаются ни в пище, ни в отдыхе, а во всем прочем ведут себя как люди. Как знать, может быть эта троица, которая так тебе не нравится, и есть родоначальники будущей цивилизации системы Граафа?

— Скопированный мозг [illegible] не придумаешь!— передразнил Лотан [illegible] и [illegible]. А ты уверен, что они всего лишь [illegible]. Тебе не кажется, что порой их действия [illegible] не поддаются объяснению? Я не против [illegible] возражали, но едва подумаю, что придется [illegible] прислуживать каким-то электронным [illegible] — становится грустно, и ничего больше.

И Лотан отвернулся от [illegible].

— Да что же в них [illegible] нормально. И вообще, к своим [illegible] относиться и более снисходительно. Как-никак когда формировали их мозг, пользовались и нашими с тобой копиями.

— Тогда уж лучше скопировали бы меня целиком. Хоть посмотрел бы, как я выгляжу со стороны. Да и работать стало бы интересней.

— Насчет этого поинтересуйся у Ароны. Мозг Третьего робота сформирован на базе женского, а поскольку женщин на станции было всего две, то в Третьем — половина от Ароны.

— Потому-то Третий и рвет цветы, где только увидит. Я вчера заглянул к ним — полное ведро цветов, поверишь?

— Что ж удивительного? Меня сперва смешило, что Третий старался отполировать свою отделку до полного блеска, извел уйму полировочной пасты. Потом я привык. Кстати, ты заметил — Первый и Второй натягивают и снимают спецкостюмы у нас на глазах, а Третий — никогда.

— Я однажды зашел в лабораторию, когда Третий, так сказать, переодевался. И знаешь, что он учудил, завидев

меня? Завизжал и стал закрываться ладонями. Ну, лючок в боку, для смены аккумуляторов...

Они посмеялись. Потом Лотан бросил взгляд на часы.

— Время. Арона ждет. Пошли обедать. Пусть троица еще порезвится, до вечера далеко.

Оба вышли во двор. Экспериментальная лаборатория, созданная с месяц назад специально для наблюдения за копир-роботами, была обнесена высоким забором; кроме того, территория была перегорожена на две части: зону роботов и ту, где обитали люди.

Арона кончила накрывать на стол.

— Третий все вертится перед зеркалом? — с улыбкой спросила она.

— Нет. Вся компания загорает.

— Ребята, мне надо сказать вам кое-что важное, — серьезно проговорила Арона. — Вчера Первый завел речь о каком-то рабочем помещении, которое они собираются оборудовать. Вам об этом что-нибудь известно?

— Впервые слышу, — ответил Сугнис.

Лотан задумчиво посмотрел в потолок.

— Погодите-ка... Ну да, дня три назад Первый обмерял большой зал и заметил, что неплохо бы там установить переборку. Думаете, в этом есть что-то серьезное?

Сугнис молча ел суп. Арона отмахнулась:

— Извечное человеческое стремление к своему уголку, своему клочку земли, своей комнатке... Хорошо еще, что каждый из них не требует отдельной квартиры.

— Видимо, придется поговорить с ними основательно, — сказал Сугнис.

— Кто проводит сегодня профилактику?

— Как раз ты, Лотан, — ответила Арона. — Попробуй побеседовать с Первым, он, мне кажется, откровеннее остальных.

— Скопирован с какого-нибудь простачка. Вы вот поговорите-ка с Третьим — поймете, сколько хитрости и коварства может заключаться в женщине.

— Я могу обидеться, — улыбнулась Арона. — Ну, и ваш Первый тоже не подарок. Он как-то раз во время профилактики стащил мою сумочку, а потом Третий вертелся перед моим зеркальцем и осыпал себя моей пудрой.

— А крем для загара в сумочке тоже был? — спросил Лотан.

— Откуда ты знаешь?

Мужчины рассмеялись, потом Сугнис рассказал о виденной ими сцене.

— До чего же они могут дойти таким образом? — задумалась Арона.

— Контрольные тесты полностью соответствуют программе, — заметил Лотан. — Может быть, сократить эксперимент? Надоела возня...

— Не имеем права, — ответил Сугнис. — Те два месяца, что еще остались, постарайся использовать с толком, занимайся, повышай уровень. Или просто отдыхай — тоже недурно.

Лотан молча кивнул. Сугнис был старшим группы.

На другой день роботы без обиняков потребовали отвести им помещение для работы. По их словам, они решили поставить кое-какие эксперименты с искусственными элементами и мультисхемами — иначе от скуки и заржаветь недолго.

Сугнис дал согласие, и Лотану не оставалось ничего иного, как подчиниться. Хотя самому ему идея пришлась не по вкусу.

— Ну, что они там наэкспериментируют? Пустячки какие-нибудь. Ну, сляпают схемку, придумают новый музыкальный инструмент или кухонный комбайн, Третья сконструирует себе машинку для полировки корпуса. Вряд ли они способны на большее.

— Смонтировать при наших запасах можно многое, только к чему им это? — усомнилась Арона.

— Ладно, поживем — увидим, — пожал плечами Лотан. — Только потом запретить будет куда труднее, чем сейчас — не разрешить.

Первым в цепи изобретений оказался велосипед. Троица заново открыла и весьма своеобразно усовершенствовала давным-давно забытое средство передвижения. О демонстрации нового изобретения было официально объявлено, и в назначенный час шестеро участников — три человека и три робота — собрались во дворе. Второй разъезжал по территории на механизме, очень напоминавшем велосипед, однако, без седла, руля и педалей. Ездок не сидел, а парил над сооружением, не прикасаясь к нему. Первый давал объяснения:

— Ездок покоится на магнитной подушке. И он, и двукол (так роботы наименовали свое изобретение) заряжены одинаково, происходит отталкивание, влияние

гравитации и величина заряда помогают регулировать высоту...

Третий робот захлопал в ладоши, а когда Второй завершил демонстрацию, Третий кинулся к нему и попытался, по людскому обычаю, заключить в объятья.

Сугнис похвалил всех троих и посоветовал им не кататься подолгу, чтобы магнитное поле не повлияло на электронику.

— Сделаем защитный чехол,— успокоил его Первый.— Работа уже начата.

За ужином мужчины долго безмолвствовали.

— Ну и как ты теперь считаешь, далеко ли они зайдут?— наконец прервал молчание Лотан.

— Надеюсь, что не слишком,— ответил Сугнис без особой уверенности.

— Это ведь все пустяки,— улыбаясь, заметила Арона.

Роботы погрузились в творчество. Всякие проделки были забыты. Контрольные тесты давали безукоризненные результаты, физические и духовные силы роботов не терпели ни малейшего ущерба, и у Сугниса не было никаких оснований запретить подопечным их деятельность. Порядка ради то он, то Лотан время от времени заходили к ним — поболтать и заглянуть в схемы и чертежи. Но там не было ничего подозрительного.

Встревожиться пришлось, когда Первый сообщил об изобретенном роботами замке. Тело, излучающее тепло, будет не в состоянии открыть дверь в рабочее помещение — таково новое изобретение роботов. Механизм тонок и еще недостаточно отрегулирован, но по идее должен не только отталкивать любое живое существо, но и регистрировать всякую попытку приблизиться к двери.

— Считай, что мы остались в дураках,— сказал Лотан Сугнису во время вечернего совета.

— Придется попробовать договориться с ними,— ответил тот.

— Договориться — о чем? О чем?— не сдержавшись, крикнул Лотан.— Чтобы позволили нам побыть здесь до конца эксперимента и не заперли нас где-нибудь без воды и воздуха? Или чтобы не навесили свой замок по ошибке на нашу дверь?

Сугнис молчал.

— Я тут не останусь! Вы с Ароной как знаете, а я — нет! И слепому видно, чем это все кончится!

— Как же ты рассчитываешь выбраться?— Сугнис

схватил Лотана за плечо.— Корабль лишь один. И мы не можем бежать и бросить их одних, они здесь черт знает что наделают!

— Пусти!

— Ну, хватит,— попыталась успокоить их Арона.— Можно ведь обсудить все спокойно, не горячась...

— Не горячась? Ты думаешь? Я долго терпел и не горячился, соглашался, подчинялся — а что вышло?

— Тихо!— крикнул Сугнис.— Я начальник группы и требую молчания!

Арона отвернулась.

В следующий миг в комнату [illegible] все три робота.

— Это он!— кричал Первый, [illegible] на Второго.— Он хотел изготовить [illegible] замок, который смог бы отпирать [illegible] По какому праву? Кто дал право, я спрашиваю! [illegible] выйдет! Мы все равны, а он хочет [illegible] нашелся! Идея двукола — моя, замок [illegible] делал, а он только присваивает чужие [illegible]

— Не надо так волноваться,— [illegible] его Третий, подталкивая к выходу.— Какая разница, кто что придумал!

— Отойди!— кричал Первый.— [illegible]!

Люди переглянулись и разом захохотали.

Спор уладили. Сугнис приделал к двери обычный замок и раздал шесть ключей к нему. Вскоре дверь вообще перестали запирать, хотя роботы продолжали паять, спорить и демонстрировать изобретения.

Эксперимент завершился успешно, и все три робота отправились в звездную систему Граафа.

Сугнис, Лотан и Арона получили благодарность за плодотворную работу по наладке и регулированию роботов. При встречах все трое любят вспоминать веселые происшествия с пудрой, кремом для загара и двуколом. Но о единственной, пусть и незначительной стычке между ними, и о том, как им удалось избежать ее продолжения, они не рассказывают никогда и никому.

ПОСТОЯЛЕЦ

I

Кто в Колаба́ не знал Кирса? Городок этот, расположившийся на берегу Атлантического океана и получивший свое название от рощ кофейных деревьев, обильно произраставших вокруг, хотя и считался административным центром юга страны, был невелик. Немногочисленное население с консервативной гордостью сохраняло патриархальный уклад жизни даже в годы первых космических стартов. Почти все здесь знали людей своего круга. Если и не в лицо — так понаслышке.

К какому кругу принадлежал Кирс, теперь сказать трудно. Родители его — скромные интеллигенты — умерли рано. Кирса взяла на воспитание дальняя родственница — миссис Милла Кобс. Эта пожилая дама содержала вполне приличный пансион, была одинока и бездетна. Однако, она уделяла мало времени своему приемышу, передоверив его воспитателям. Фактически же Кирс нередко был предоставлен самому себе. Потому знали о нем и в состоятельных кругах, где участливо отнеслись к поступку миссис Кобс, знали и босоногие дети океанских рыбаков, к которым Кирс любил убегать от воспитателей.

Надо сказать, что с детства он был пытлив, сообразителен и непоседлив. Одновременно — фанатичен. Если уж взбредет ему в голову какая идея — привяжется к ней безоглядно. Так было с детскими забавами, так стало потом с учебой.

Миссис Кобс, хотя почти не видела своего воспитанника, средств на него не жалела. Когда Кирс окончил

местный колледж, она отправила его в Англию, устроила в университет.

Сперва он занялся механикой — и бросил. Ему простили. Затем увлекся энергетикой, но вскоре остыл и к ней. Потом углубился в проблемы строительства, защитил степень и вернулся в Колаба́.

Поступив в строительную фирму «Колаба-компани», он в несколько лет сделал головокружительную карьеру, став одним из ее директоров. Миссис Кобс, хотя Кирс совсем перестал навещать ее, могла им гордиться — на иерархической лестнице он стоял уже весьма высоко. Все уже считали, что его предназначение — власть, карьера. И вдруг он бросил все.

На скопленные за несколько лет сбережения Кирс купил крохотный пустынный островок у побережья и, даже ни с кем не попрощавшись, покинул Колаба...

В городе он больше не появлялся. Попытки нескольких приятелей навестить его на островке, где Кирс выстроил большой, но безвкусный особняк, кончились провалом.

Кирс жил один, с единственным безмолвным слугой, встречал всех неприветливо — вежливо, но крайне сухо. Вскоре визиты к нему прекратились вовсе.

Потому и можно утверждать, что Кирса через семь с половиной лет после отъезда уже не помнил и не мог, пожалуй, узнать никто. Не удивительно, что не узнала его и состарившаяся миссис Кобс, которую к тому времени за доброту и из уважения все в Колаба звали просто тетушкой Миллой.

Тетушка Милла вставала ни свет ни заря, хотя особых причин для этого не было. Но однажды, в столь неурочное время, горничная сообщила ей, что прибыл «очень серьезный и совершенно настойчивый господин».

Господин ждал в гостиной, не присев и не прикоснувшись ни к сигарам, ни к графинчику с легким вином, всегда стоявшими наготове для посетителей. Он был явно издалека («провинциал» — подумала тетушка), либо ему было просто наплевать на свой внешний вид. Одет он был в старый, весьма потертый плащ, брюки пузырились на коленях, в руках — мятая и старомодная шляпа, а башмаки и подавно не выдерживали никакой критики.

Встречая по одежке, тетушка Милла таких вообще не принимала. Но посетитель держался уверенно и невозму-

тимо, во взгляде его была целеустремленная твердость, и тетушка почувствовала, что не выслушать гостя она не сможет. Молча она опустилась в кресло, жестом предложила занять место напротив.

Остальное потом вспоминалось ей как дурной сон.

— Тетушка Милла,— непререкаемым тоном произнес незнакомец,— мне нужна удобная квартира на год. Плачу сразу вперед и наличными. Цену я знаю — она меня устраивает. Я беру «Белую».

«Белой квартирой» назывались роскошные апартаменты, расположенные, по сути, в отдельном особняке, пристроенном к основному зданию. Снять их даже на короткий срок было не каждому по карману. Да и пускала в них хозяйка далеко не всякого.

Тетушка Милла поразилась наглости «провинциала». Наверное с минуту она не могла произнести ни слова. Но от посетителя веяло такой непоколебимой уверенностью, что, как загипнотизированная, не отрывая глаз от незнакомца, даже не спросив документов и рекомендательных писем, не поинтересовавшись, кто он и откуда, она сделала едва заметный жест горничной и пролепетала:

— Про... проводите...

Горничная прошла вперед, указывая дорогу. Но почти сразу ей показалось, что новый постоялец прекрасно ориентируется в пансионе, как будто он здесь не впервые. А иначе и быть не могло. Ведь странным посетителем был приехавший с острова инженер Кирс.

Примерно с таким же эффектом развивались события и в строительной фирме «Колаба-компани».

В приемную ее директора в тот же день пополудни неторопливо, но твердо вошел изящный джентльмен лет сорока. Секретарша мисс Барт опытным взглядом сразу оценила его дорогие и модные костюм, обувь, сорочку, галстук. Правда, от нее не укрылась какая-то, заметная только очень проницательному взгляду, скованность в движениях, свойственная людям, долгое время не бывавшим в обществе. Кроме того, она сразу заметила, что у посетителя нет портфеля или хотя бы папки для бумаг — непременных атрибутов всех деловых людей. Но особо впечатляющим было, пожалуй, лицо. Прямой нос с широкими крыльями. Губы ниточкой. Острые скулы. Смуглая и сухая, как пергамент, кожа, черные, широ-

ко поставленные глаза — несомненно умные, но слишком уж потаенные. И ко всему — хотя человек был вовсе не стар — совершенно седые волосы: густая грива, виски, усы, борода, даже брови — серебристо-белые. В целом же лицо было непроницаемо до мертвенности.

— Будьте любезны,— едва раздвигая тонкие губы, но твердо и уверенно, словно только его тут и ждали, произнес джентльмен,— доложите мистеру Стаффорту, что к нему инженер Кирс.

Такого инженера мисс Барт не знала и никогда о нем не слыхала. Зато она хорошо знала, что к мистеру Стаффорту просто так пускать никого нельзя. Кроме того, она знала, что этого нельзя делать тем более сейчас, когда фирма никак не может справиться с ликвидацией последствий недавнего землетрясения, [illegible] начисто весь юг страны. Все это мисс Барт [illegible] прекрасно. Тем не менее, она, как под гипнозом, покорно встала и исчезла за массивной дверью кабинета генерального директора.

Генеральный директор [illegible] компании»— мистер Стаффорт — тоже, конечно, не [illegible] Кирса. Хотя имя, произнесенное секретаршей, [illegible] ему дни молодости, когда он, полный [illegible], рвался вверх по служебной лестнице и [illegible] от взгляда одного из директоров фирмы — Кирса, которому непосредственно был подчинен. Тысяча мыслей, вспыхнувших при этом имени, тут же пронеслась в голове Стаффорта, и он с плохо скрываемым интересом поднялся навстречу бывшему своему боссу. Попытка некоторой развязностью скрыть смущение, вызванное столь неожиданной встречей, тут же потерпела крах. Кирс был строг, официален до холодности, деловит.

— Мистер Стаффорт, — чуть ли не с порога начал он, четко произнося каждый звук, — мне известны трудности возглавляемой вами фирмы, связанные с восстановлением Юга. Я хочу сказать, что знаю все цифры, характеризующие нехватку энергии, сырья, механизмов, рабочей силы и денег. Мне также известны итоги вашего недавнего визита в конгресс и возможные последствия.— При этих словах у Стаффорта неприятно повлажнели ладони и подмышки, а Кирс, почти не делая паузы, ледяным тоном завершил:— Я пришел к вам с предложением, которое поможет быстро и эффективно исправить положение.

Стаффорт встал, тут же снова сел, пытаясь сосредото-

читься и подавить растерянность, зачем-то подвинул Кирсу сигары. Он чувствовал себя как школьник, пойманный со шпаргалкой. Попытался улыбнуться — не получилось, хотел использовать отвлекающий маневр — отдать какое-нибудь распоряжение по селектору, но вместо этого рука его чисто автоматически достала из кармана носовой платок, провела им по лбу. Глупо. Сознавая, что этим он вконец выдал себя, Стаффорт с трудом произнес:

— В чем оно заключается?

Кирс извлек из нагрудного кармана несколько фотографий, разложил их на столе перед Стаффортом, подождал, пока тот их внимательно рассмотрит, и только после этого заговорил:

— Здесь пять типов зданий. Это жилые дома. Я берусь в течение суток заложить на любом пустыре город. Семь городов — неделя, четырнадцать — две. Каждый такой дом строится ровно четырнадцать суток. В каждом — двести пятьдесят квартир. Каждый месяц в каждом из четырнадцати городов полтысячи семей будут справлять новоселье. Ровно через год к этой же дате почти сто тысяч семей будут иметь кров. Это десятая часть населения Юга. Строительство обойдется в три раза дешевле, чем обычно.

Кирс умолк. Чтобы переварить сказанное, Стаффорту понадобилось минут десять. Потом произошло то, чего и следовало ожидать. Сначала Стаффорт прохрипел: «Фантастика...»,— затем взорвался смехом. Хохотал он минут пять. Хохотал навзрыд, вытирая выступившие слезы. Наконец с трудом успокоился, попил «колы», покачал головой, отгоняя нервозность.

— Вы меня разыгрываете, Кирс.

Кирс, все это время терпеливо и молча выжидавший, невозмутимо произнес:

— Стаффорт, я никогда не занимался фантастикой, а ради розыгрыша я бы сюда не пришел. Давайте лучше договоримся об условиях. Но сперва решим, удовлетворяет ли вас проект.

Его невозмутимая уверенность, сбивавшая Стаффорта с толку, тем не менее возымела действие. «А вдруг и правда,— подумал он,— черт его знает, этого Кирса... Вдруг правда?» И тут же пришла в голову другая мысль, от которой Стаффорт похолодел. Конечно, Кирс разыгрывает его. Конечно, Кирса прислали на его место. Иначе откуда ему известны цифры? Почему ведет себя так

нахально? Он несомненно знает о последнем заседании конгресса, где генеральному директору «Колаба-компании» пришлось несладко.

Стафффорт медленно поднялся со своего начальственного кресла, сделал шаг в сторону и холодно проговорил:

— Пожалуйста, мистер Кирс,— он указал на освободившееся кресло, которое выпрямлялось мягко, словно не желая расставаться с ним,— если конгресс счел нужным назначить вас на мое место...

— Сядьте, Стаффорт,— жестко остановил его Кирс.— Мне удобно на моем месте. Вы можете назначить меня просто своим помощником,— теперь он, словно убедившись, что вопрос решен, взял, наконец, сигару, от которой сразу было отказался, прикурил. Тон его, не утратив официальности, [illegible] — Итак, насколько я понял, проекты вас [illegible] идут в производство немедленно. [illegible] однообразие, другие — дело времени. Для [illegible] каждого нового нужно будет только приостан[illegible] во дня на два. Так же, впрочем, как если понадобится заложить административные здания. Когда [illegible] решим в рабочем порядке,— Кирс на минуту [illegible], воспринимая молчание Стаффорта как [illegible]. Убедившись в этом, и явно желая изложить все [illegible] ясно и до конца, он продолжил:— Главное — условия. Первое. Вы получаете только готовый итог и никоим образом не настаиваете ни на каких технических документах, обоснованиях, объяснениях. Я вам даю города, вы мне оставляете, так сказать, секреты ремесла...— Он снова сделал выжидательную паузу, но Стаффорт молчал.— Второе. Специалистов, нужных мне, я набираю сам. Оплату производите вы. Их будет немного,— тут же добавил он, предупреждая возражения Стаффорта,— всего двадцать восемь человек.— И далее опять каждую фразу произносил цельно, потом останавливался, оценивая реакцию Стаффорта.— Никто из ваших и никаких иных специалистов, кроме приглашенных мною, в деле участвовать не будет и не станет проявлять к нему излишнего интереса. Кроме того, все работы будут вестись строго секретно, под охраной, которую вы наймете специально для этих целей. Поставками сырья и оборудования займетесь тоже вы. Перечень я вам дам. Это все. Мне вы платите по обычному тарифу, как субподрядчику.

Кирс погасил сигару.

Стаффорт, сбитый с толку, молча глядел на него.

— Вызовите свой вертолет,— сказал гость.— Мы летим на «Остров Кирса»,— при этих словах его губы чуть тронула усмешка.— Там вы сможете воочию убедиться в реальности того, о чем я вам рассказал.

На остров и обратно летали только три человека — Стаффорт, Кирс и пилот вертолета. На пятнадцатый день после этих событий, едва забрезжил рассвет, к особняку «Белая квартира» прибыл отряд с механизмами и стройматериалами. За день здание было отремонтировано, на нем появилась прочная новая металлическая кровля, на окнах — стальные жалюзи, а обычные двери были заменены бронированными. К вечеру сюда с величайшими предосторожностями доставили с «Острова Кирса» несколько ящиков с оборудованием. Одновременно на всех подходах к «Белой квартире» расположились вооруженные до зубов, крайне нелюбопытные, но столь же бдительные головорезы. [illegible] тетушке Милле предложили проявлять поменьше любопытства, а в подкрепление сказанного выдали удвоенную плату за год.

На шестнадцатый день в пустынном месте Юга были оцеплены несколько квадратных километров, отведенных под первые застройки. Тотчас на этой площадке появился Кирс с двумя никому не известными помощниками, которые возглавили специально набранные монтажные бригады. Оборудование доставлялось сплошным потоком, завозилось необходимое сырье.

Ничего необычного ни оборудование, ни сырье собой не представляли. Здесь были огромные цистерны с обыкновенной дистиллированной водой, другие — с органическим жидким пластиком, из которого на химкомбинатах по всему миру делались мешки, банки, плошки, куклы и прочая дребедень. Были цистерны поменьше — с какими-то химическими реактивами. Были радиоустановки, мощная электростанция, трубопроводы, электрооборудование, провода, датчики.

Когда монтаж был закончен, рабочих удалили, тут же перебросив на новую, тоже охраняемую площадку. Конечную наладку оборудования производили трое — сам Кирс и его молчаливые помощники.

— Все, пускаю,— наконец коротко произнес Кирс, нажал кнопку, от которой все заработало, глянул на

левую руку — на часы, на правую — на единственный прибор, особо тщательно им оберегаемый, и, одобрительно кивнув головой, отправился к ожидавшему его вертолету. Он улетал на другую, такую же площадку, на которой, под руководством таких же таинственных и молчаливых помощников, какие оставались здесь, монтировалось оборудование для строительства нового города.

Единственным посторонним человеком, которому Кирс разрешил присутствовать при наладке оборудования и его пуске, был Стаффорт. Он ничего не спрашивал, предупрежденный, что это бесполезно, но внимательно за всем наблюдал. Он мучительно пытался уяснить назначение каждого аппарата, каждого компонента сырья. Когда Кирс нажал кнопку, Стаффорт [illegible]. Он понял, что, даже понаблюдав за всем [illegible] десятый так ничего и не поймет. Тем более [illegible] то, что он видел.

Он знал, что из выходного [illegible] которым заканчивалось сплетение трубопроводов, [illegible] какой-то таинственной силе, медленно, но [illegible] жидко-тягучее, тяжелое и [illegible] вещество. Минута за минутой, час [illegible] оно змеей будет тащиться по земле, строго [illegible] очерчивая будущий фундамент здания. Оно будет проникать в землю, подниматься над ее поверхностью все выше и выше. Масса примет зыбкие поначалу очертания будущего здания: фундамент, стены, перекрытия. Непонятно и мистически начнут проявляться сначала основные, а затем все более мелкие детали и узлы — даже оборудование, вплоть до санузлов, кухонь, лифтов; даже полы, двери, окна — все. Он уже не сомневался и в том, что Кирс — не человек — дьявол, что с ним никогда ничего не случится, что он будет работать сутками без передыху, заложит все четырнадцать городов и ровно через две недели появится снова здесь — на первой площадке, чтобы, сверясь со своим загадочным прибором на правой руке, нажать другую кнопку — и все остановится. Все замрет — и оборудование, и агрегаты, и жидкая страшная масса. Все замрет и останутся дома, готовые к заселению. Дома, выросшие здесь, на глазах, но совершенно непонятно как, почему, из чего. Дома, в которых будет не хватать разве что ключей от дверных замков, да штор на окнах...

2

Кто знал инженера Кирса через полгода после его странного возвращения в Колаба? Смешно спрашивать! Его знал весь мир! По крайней мере, мир, досягаемый для средств массовой информации. Газеты пестрели его портретами, о нем кричало радио, за ним гонялись телерепортеры, киношники уже начали рекламировать фильм, который пытались снять.

Сам Кирс ко всей этой шумихе относился как к чему-то неизбежному. Конечно, не надо было обладать особым даром, чтобы предположить, что шум будет. Кирс начинал свое дело, не сомневаясь на этот счет. Возможно, потому популярность и не застала его врасплох, относился он к ней хладнокровно. В печати Кирс не выступал. По радио можно было услышать лишь обрывки его фраз, случайно подхваченных репортерами. Никаких интервью он не давал. Сперва считали, что так он набивает себе цену. Но шли недели, месяцы, а он так же хладнокровно пронизывал толпу преследовавших его журналистов, не отвечая ни на какие вопросы.

Только однажды одному из репортеров удалось, сунув микрофон чуть не в рот Кирсу, выдавить из него несколько слов. Бородач из какой-то провинциальной радиокомпании сделал простой, но точный ход.

— Мистер Кирс,— заученно проговорил он, отодвигая локтями конкурентов,— годовая программа, предложенная вами фирме «Колаба-компани» двадцать шесть недель назад, реализована точно наполовину. Вы, конечно, испытываете удовлетворение,— тут репортер сменил тон и напряженно, с расстановкой, глядя Кирсу в переносицу, процедил:— Что вы делаете?

Многосмысленность вопроса и то, как он был преподнесен, возможно, и заставили Кирса раскрыть рот.

— Я строю города,— твердо, чеканя каждое слово, ответил он.

— Как?

— Быстро.

— Чем?

— Умом,— и Кирс скрылся за спинами охраны.

Никто не знал, как истолковать эту перепалку, но, говорят, репортер быстро заработал на ней целое состояние.

Несомненно, за полгода Кирс устал. Скорей всего —

даже очень. Особое напряжение он испытывал в первые две недели, когда закладывались города. Все же доставка, монтаж оборудования, устройство ограждений, организация охраны хоть и проходили с максимальной точностью, но отнимали у Кирса много внимания и энергии. Четырнадцать дней он фактически не смыкал глаз, за исключением короткого времени перелетов. Когда же все четырнадцать городов были «поставлены в производство», как это потом окрестила пресса, — стало легче. Кирс только прилетал на каждую стройплощадку по очереди, выключал отработавший агрегат, руководил сравнительно несложной перестановкой оборудования, снова запускал поток и направлялся в другой город. Теперь у него было время и отдохнуть, для чего он направлялся в свою «Белую [illegible]», однако, всегда оставался в полном [illegible] меланхоличная с виду охрана проявила необычайную [illegible] и быстроту, пресекая всякие попытки кого [illegible] заглянуть в его апартаменты.

Правда однажды, еще на втором [illegible] строительной эпопеи Кирса, произошло событие, [illegible] немало пересудов.

В одну из ночей бесследно исчезла [illegible] Берт, как за глаза многие называли верноподданную секретаршу Стаффорта. Кто-то пустил слух, что накануне ее видели у тетушки Миллы. Полицейские тут же потребовали у Кирса разрешения на опрос телохранителей и даже попытались кое-что выпытать у него самого. Никто из охранников, конечно, ничего не сказал. Кирс отрезал категорично: «либо строить — либо болтать». А об осмотре его жилья, конечно, и речи быть не могло. В итоге показания дал только сам Стаффорт. Из его объяснений следовало, что никаких поручений, касающихся Кирса либо тетушки Миллы, и никаких других заданий он Берт не давал. Где она, он не знает, а раз уж исчезла, то увольняет ее. Следствие закрыли, объявив, что у Стаффорта пропала крупная сумма, очевидно, похищенная секретаршей. Недели две шли разные толки, но и они быстро заглохли, словно придавленные чьей-то властной рукой.

Полугодовое напряжение все же сказалось на Кирсе. С разрешения Стаффорта он взял «тайм-аут». В течение двух недель он лично день за днем останавливал все

5 – 1591

строительство. После того, как был выключен последний, четырнадцатый агрегат, Кирс, сообщив, что первый из них будет включен ровно через неделю, а затем, так же строго по порядку,— остальные тринадцать, тщательно запер двери «Белой квартиры», дополнительно проинструктировал охрану, сел в вертолет и отбыл на свой остров.

Любого, кому хоть раз удалось взглянуть со стороны на «Остров Кирса»,— он радовал своей спокойной и уверенной красотой. Берега, покрытые густым лесом, круто вставали над морем. С восточной, наиболее возвышенной части острова, пересекая его почти ровно надвое, неутомимо журчал чистый ручей, в устье которого укромно расположилась маленькая пристань. Здесь одиноко дремала скромная парусно-моторная яхта. Остров был щедро заселен птицами, мелкими зверушками, в неглубокой воде ручья сновали стайки рыб.

У Кирса, очевидно, хватило бы и сил и средств на то, чтобы расчистить лес, выровнять берега, построить целый замок... Ничего этого не было. Только на северном берегу специалист угадал бы остатки какой-то строительной или экспериментальной площадки, хотя и явно заброшенной. Там же одиноко торчал и дом — как две капли воды похожий на один из уже широко известных проектов Кирса. Именно его возведение произошло на глазах у Стаффорта — в качестве экзаменационной заявки.

Другое здание — весьма просторный внутри, но неброский снаружи особняк — вписалось в ландшафт в самой середине острова. Дом имел старомодный и несколько мрачноватый вид. В нем жил Кирс.

Жилье и внутри отличалось скромностью. Обстановка, очевидно, была продиктована уединенным образом жизни хозяина, посвященной, возможно, научным трудам. В самом деле, природа, тишина, уединение,— что еще может быть благоприятней для созерцательного, вдумчивого, ищущего ума? Правда, с начала колабского эксперимента на острове тоже появилась надежная охрана. Кирс предвидел, что пронырливые репортеры, ничего не добившись от него и от «Белой квартиры», попытаются проникнуть на остров. Так оно и случилось. Нескольких любопытных охрана с вежливым хладнокровием, но безапелляционно спровадила восвояси.

Кирс, прибыв на отдых, холодно выслушал доклад командира охраны, повелел продолжать бдительно нести службу, никого ни под каким предлогом к нему не пускать. И остался наедине со своим безмолвным слугой.

Однако, на четвертый день покой его был нарушен.

Кирс привычно сидел у камина в жестком, но удобном кресле. Оранжево-красный халат жарко отражал свет тлеющих углей. На коленях инженера небрежно лежал полураскрытый, скорей всего равнодушно перелистанный журнал с пестрыми иллюстрациями; рядом стоял столик с различными напитками.

Было уже далеко за полночь, – время, когда Кирс любил просто сидеть, ничего не делая, словно прислушиваясь к себе, ловя внезапно настигающие его мысли. В дальнем углу мирно посапывал преданный слуга.

Поздний гость появился невесть откуда и настолько неожиданно, что Кирс даже не успел испугаться.

— Раз уж я здесь, мистер Кирс, – вдруг услышал хозяин негромкий голос,– то значит, [illegible] проникнуть сквозь вашу охрану, а если так, то я, скорей всего, не бродяга-репортер...— посетитель сделал [illegible] заметную паузу,— а уж из этого можно предположить, что пришел я сюда не за пустяками, следовательно, так просто не уйду.

Уж если что Кирс понимал и умел ценить, так это логику и твердость. Они сразу почувствовались в незнакомце — он явно прибыл неспроста.

Гость был чуть выше среднего роста, строен, черноволос, на вид лет тридцати пяти. Неброский, но элегантный костюм мягко облегал его ладную фигуру. Как он пробрался — оставалось загадкой, но вид у него был такой, словно он, тщательно приведя себя в порядок, вышел из соседней комнаты. Из-под густых бровей на Кирса внимательно смотрели большие темные глаза, в которых светился словно притушенный огонь. «Такой человек опасен, если он враг,— решил Кирс, – но может быть очень полезным другом».

Не говоря ни слова, он положил на столик журнал и зажатую в кулаке, давно погасшую трубку, встал, принес из угла гостиной легкое плетеное кресло, поставил его напротив своего, жестом предложил гостю сесть.

Расположились они весьма удобно. Друг напротив дру-

5*

га, с одной стороны — камин, бросавший на их лица ласковый свет в полумраке комнаты, с другой — столик с напитками. Все еще не говоря ни слова, Кирс поставил на столик, рядом со своим, еще один бокал, не торопясь наполнил его, подвинул незнакомцу. В полном молчании они сделали по глотку и только после этого Кирс, снова взяв и раскурив трубку, всем своим видом выражая внимание, произнес:

— Что же, раз уж вы стремились именно сюда, мне нет смысла представляться...— и сделал выжидательную паузу.

— Называйте меня просто Ранкс,— учтиво склонил голову гость.

—...я вас слушаю, мистер Ранкс,— закончил фразу Кирс.

— Вы, конечно, догадываетесь, что я здесь по поводу вашей феноменальной деятельности, — вежливо, но с нескрываемой иронией начал Ранкс.— О ней судачит весь цивилизованный мир. Репортеры да, впрочем, и ученые, с ума сошли, выдвигая гипотезы одну нелепее другой... Я не репортер...

Кирс жестом прервал его:

— Не могли бы вы все-таки уточнить — кто же?..

—...и не собираюсь выпытывать вашу научную тайну,— попытался продолжить Ранкс, игнорируя вопрос Кирса.

Однако тот снова остановил его, весьма резко:

— Тогда что же вам здесь надо?— И тут же, словно, извиняясь за резкость, но с язвительной ноткой пояснил:— Учтите, что наш разговор стал возможен только благодаря вашему убедительному объяснению в самом начале. Не откажите же...

Ранкс замешкался всего на мгновение.

— Я полномочный представитель одной могущественной компании. Надеюсь, вы понимаете, что полностью раскрыться я смогу только в том случае, если мы придем к соглашению.

Кирс размышлял самую малость. Ответ не удовлетворял его. Но был логичен.

— Имейте в виду, что никаких новых работ я не начну, пока не завершу контракт с «Колаба-компани»,— быстро нашел он ход. — Нарушить его я не могу не из-за каких-то материальных потерь, которые, как я понимаю, вы могли бы возместить,— при этих его словах Ранкс

учтиво склонил голову,— а по другим — чисто личным соображениям.

— Мы учли это,— вежливо вставил гость.

А он совсем не глуп,— подумал Кирс,— по крайней мере, это не Стаффорт. Вслух же он сказал.

— Я надеюсь, вам известны условия, которые я требую для работы.

— Видите ли, мистер Кирс, нас сейчас интересуют не столько условия, конечно же, нам известные, сколько ваши возможности,— в тоне Ранкса [illegible] не прозвучало вопроса и при том он так внимательно заглянул в глаза инженера, словно знал неизмеримо больше. Кирс даже стушевался. Предчувствие какой-то тонкой провокации овладело им. Однако он тут же решил, что для таковой у Ранкса не может быть [illegible] оснований — просто деловой интерес. Тем не [illegible] ответил Кирс очень осторожно:

— Дома — таков наш договор со Стаффортом.

— Только эти проекты?

— Практически — любые, [illegible] для создания новых нужно время.

Тут уже оба почувствовали [illegible] напряженность, излишняя настороженность [illegible] разрядила обстановку.

— Это очень важно,— с чувством проговорил он, откидываясь на спинку кресла и всем своим видом подчеркивая удовлетворение.

Кирс несколько успокоился и решил развивать беседу в том же направлении. Он встал и принялся неторопливо прохаживаться по освещенной камином гостиной.

— Видите ли, мистер Ранкс, в итоге долгих научных поисков я нашел способ быстрой и точной постройки зданий. Зданий разного назначения... Сейчас мы занимаемся жилыми домами. Но практически на тех же условиях могут возводиться любые — административные, промышленные и...

— И не только здания...— тон Ранкса не позволял четко определить — констатировал он или спрашивал.

Кирс же остановился, как споткнулся. Казалось, он колеблется — говорить дальше или нет. Сказать — значит открыть больше, чем, может быть, он сейчас хочет. Не сказать — значит... Значит остановиться на том, что есть. У Стаффорта — дома, с Ранксом — дома, в третьей фирме — тоже дома. Это ли он искал бессонными ночами?

Этого ли хотел? К этому ли стремился? Конечно, через какое-то время он сможет говорить все, что пожелает, делать все, что захочет. Но сначала нужно создать базу... И не только в Колаба, и не только здания... Кирс еще колебался. Но ведь в конце концов, если он хочет действовать во всю силу — стоит ли дальше таиться? В конце концов, даже если Ранкс не согласится — то и повредить ему — Кирсу — он уже не сможет...

Кирс быстро подошел к вставшему навстречу Ранксу, прищурившись, словно прицеливаясь, посмотрел в его глаза, несильно, но уверенно нажал на плечо, вынуждая снова сесть.

— Садитесь. Раз уж, Ранкс, мы начали говорить, то, пожалуй, не сможем не закончить...— он сделал паузу, глубоко вдохнул, словно перед нырком в воду.— Вы правы. Я могу делать не только здания. Могу все. Все, понимаете? Дороги и мосты, поезда и самолеты, станки и машины... Все, что существует в известном нам мире, я могу воспроизвести быстро, точно, дешево и в любом количестве. Для отдельных заказов нужно только время, подготовка. Но все можно сделать способом инженера Кирса!— его голос зазвенел торжествующе, подбородок горделиво вздернулся.

— Но как?— осторожно поинтересовался Ранкс.

Кирс, вдохновленный ощущением своего могущества, резко обернулся к нему.

— Как — не ваше дело! Ясно?!— не сдержавшись, почти крикнул он.— Вы говорите — что. А как — делаю я! Я — инженер Кирс!

— Простите, мистер Кирс, не могу понять вашего раздражения,— умиротворяюще сказал Ранкс, но в тоне его проскользнуло нечто настораживающее.— Мне известно, что вы не только инженер, вернее — не столько...

Кирс снова встрепенулся. В глазах его мелькнула злоба, но он тут же подавил ее. Его рот скривился в усмешке.

— Ах, конечно, раз уж в вашей компании не дураки типа Стаффорта — то вы могли и это узнать...

— Да, нам известно, что вы изучали многие науки: естествознание, биологию, теософию... Да и о вашем пребывании в Индии нам удалось получить сведения. Правда, мы можем только догадываться о глубине ваших знаний, вашего умения...

— И что? О чем же вы догадываетесь?— резко бросил

Кирс, тщетно пытаясь язвительным тоном прикрыть растущую настороженность.

— Мистер Кирс, в наших догадках мы пошли гораздо дальше, чем вы можете себе представить...— Ранкс сделал многозначительную паузу и, видя колебания Кирса, счел нужным добавить:— Хочу только сказать — поверьте в это. И раз уж мы начали наш разговор, то, как верно вы сами заметили, придется его и закончить.

Несколько минут Кирс ходил по комнате в полном молчании, размышляя. Затем, очевидно, приняв решение, он твердо подошел к своему креслу, опустился в него. Ранкс отметил его решимость, но чувствуя, что Кирсу трудно продолжать диалог, решил помочь.

— Мистер Кирс, вам не нужно ничего рассказывать. Это попытаюсь сделать за вас я. А вы только ответьте на несколько вопросов.

Кирс все еще не веря в серьезность происходящего, кивнул снисходительно, с ухмылкой.

— Сырье для любого вида продукции одно и то же?— начал Ранкс.

— Да.

— Что представляет собой конечный материал?

— Его химическая формула вам ничего не скажет.

— А физические свойства?

— Любые. Они задаются программой и зависят от некоторых компонентов сырья.

— Процесс изготовления... Сооружения возникают сами по себе?

— Не совсем...— слегка замялся Кирс, соображая, как бы уйти от нежелательного вопроса.

— По заданной программе?

— Да.

— Управляет процессом?..

— Передатчик из «Белой квартиры».

— И ход процесса контролируется прибором на вашей правой руке?

— Совершенно верно,— язвительно усмехнулся Кирс, по локоть оголяя правую руку.— Хотя, как видите, иногда я с ним и разлучаюсь.

Ранкс проигнорировал его последние слова.

— Сырье можно достать легко, процесс может происходить в любом месте, передатчик можно смонтировать где угодно?..

— Да.

—...с определенным радиусом действия? Скажем, отсюда его волны не достигли бы цели, и вам пришлось поместить его поближе — в Колаба?

— Вы слишком догадливы...

— И все же, мистер Кирс, возвратимся к сырью...

Кирс вдруг понял, что разговор приобретает опасное направление, заходит слишком далеко. Он отчетливо осознал, что словопрения нужно прекратить немедленно и бесповоротно. Еще несколько фраз — и прервать диалог будет невозможно. Нужно немедленно вызвать охрану и выбросить вон этого наглеца. Так проще и спокойней...

— Так что же сырье?— прозвучал повторный вопрос.

«Молчать»,— приказал себе Кирс, но не сдержался, все еще надеясь отговориться:

— Весь мир занят разглагольствованиями о том, что оно общедоступно...

— Значит, дело в передатчике и способе обработки сырья?— не дал ему передохнуть Ранкс.

Отмашка не удалась. И тут Кирс впервые почувствовал, что проигрывает. Инициатива явно не в его руках. Он молча вынул из кармана носовой платок и провел им по лбу, убирая выступившие капельки пота.

— Значит так, мистер Кирс? - уже требовательно переспросил Ранкс.

— Можно сказать и так...— Кирс пожал плечами.

— Какая же чудодейственная сила заставляет ваше сырье неукоснительно следовать программе?

Кирс, насупившись, молчал, не поднимал глаз на собеседника.

Ранкс, не вставая, наклонился к нему ближе, и весь напрягшись, продолжал:

— Мистер Кирс, вы ведь используете органическое сырье?

— Да,— устало подтвердил тот.

— Ваш передатчик излучает своего рода биотоки?

Кирс кивнул головой.

— И энергоустановки заставляют сырье...— Ранкс сделал многозначительную паузу, как отрубил последнее слово,— жить?

На какое-то время в гостиной воцарилась зловещая тишина. Стал слышен шум прибоя и крик ночных птиц.

Кирс взорвался:

— Да, да, да!— нервно закричал он,— Ну и что?! Да, если вы так хотите — можете так называть. То самое, что

вы именуете сырьем — живет!— Он вскочил и нервно зашагал по комнате. — Генная инженерия... Хромосомы... Спирали ДНК... Непорочное зачатие... Чушь, бред, устремления идиотов. Добились — избавив от потребности и лишив удовольствия простого и ясного процесса совокупления полов. Мальчик или девочка? А не сотворить ли обезьянолягушку? А зачем вообще женщина — плод можно вырастить в пробирке... Ха! Вырастили! Гении — не сделать ли из них потомство, не пустить ли их [illegible] на конвейер?! Как же! Вот и искусственное созна[illegible] Вот и тайны его!.. И секреты человеческого мозга... разума... И вся эта чертовщина направлена на одно — издеваться над живой природой! Управлять ею! А не лучше ли было бы не выводить в инкубаторах, а [illegible]учиться помогать им — настоящим? Помогать, с[illegible] вещи, нужные живущим...

Он выдохся, остановился.

— Этой благородной цели, мистер К[illegible]рс, и были посвящены ваши поиски,— тут [illegible] Ранкс.— Именно они привели вас к пар[illegible]ному результату. Вы нашли способ составить органические компоненты, воздействовать на них энергети[illegible], чтобы они начали жить... жить! Ваши сам[illegible] дома — живые существа. В них закладываютс[illegible] живого организма — и они растут. Растут п[illegible] законам живой природы, только приобретая диктуемые вами свойства и формы. Растут, как все живое на земле, только с управляемой вами скоростью. Растут, как растут травы и деревья, цветы, ужи и мыши, обезьяны, чайки и крокодилы, как растем, наконец, мы сами. Разница только в том, что они похожи как сиамские близнецы. Ваши одногенные дома — точная копия друг друга, отойти в сторону от которой не позволяет мозг в «Белой квартире».

Кирс устало сидел в кресле, выслушивая взволнованную речь Ранкса.

Мерно полыхал камин, бросая алые отблески на его склоненную седую голову. Наконец Кирс поднял помутневшие глаза на Ранкса.

— Барт?

— Да, Кирс. Барт. Ваша,— он скривился в язвительной усмешке,— гуманоидная цель сделала вас обладателем колоссального средства, открыла перед вами возможности овладения миром, построения его по при-

думанному вами образцу. Но у будущего владыки мира оказалось одно слабое место. Он пожалел красивую женщину и, даже уличив в шпионаже, не уничтожил ее, а спрятал в своем замке... К счастью, мы сумели снабдить ее всем необходимым...

Ранкс встал.

— Мистер Кирс,— проговорил он,— мы с вами условились, что я назову пославших меня. Может быть вы уже слышали об «Обществе защиты разума», возникшем несколько лет назад. Мистер Кирс, вы подтвердили все, что уже удалось нам установить с помощью мисс Барт. Вы, несомненно, сделали колоссальное открытие, по сравнению с которым дела других ученых — беспомощные потуги. Вы сумели родить жизнь в полном смысле этого слова. Причем, жизнь разумную. Ваши дома — живой мыслящий организм. Вы — сам бог, мистер Кирс. Вы создаете жизнь, разум,— он на минуту смолк, глядя на безвольного Кирса, потом продолжил, но слишком официальным тоном, словно читая приговор:— Но, мистер Кирс, каждый раз, «сдавая дома», вы убиваете разум. А разум остается разумом, в каком бы виде он ни существовал,— он умолк, застыл, поддавшись охватившему его возбуждению.

Кирс тем временем сбросил оцепенение. Поднял руку, дотянулся до лежащих на столе ручки и листа бумаги, быстро написал несколько фраз. Затем неторопливо наполнил свой бокал, осушил до дна, поставил. Открыто, подчеркивая свою готовность ко всему, посмотрел в глаза собеседнику.

— Я вас слушаю, мистер Ранкс,— сказал он ледяным тоном.

— Мистер Кирс! «Общество защиты разума» признало ваши исследования и открытия безусловно вредными для людей, ваши действия — чрезвычайными злодеяниями,— Ранкс вынул из нагрудного кармана небольшой пистолет. — Мы приложим все силы, чтобы уничтожить даже следы ваших научных трудов. Рад, что вы все правильно поняли. Ваше завещание, последние ваши слова,— он кивнул на листок,— постараемся исполнить, если, конечно, они не будут противоречить нашим целям.

С этими словами он поднял руку с оружием и разрядил его прямо в грудь Кирса.

Тот обмяк, только голова еще держалась прямо на

спинке кресла, глаза смотрели на Ранкса, губы с трудом шевельнулись:

— Не стремитесь найти содержимое «Белой квартиры»... не копайтесь на этом острове... не ищите охрану... Инженер Кирс создал не только «живые дома»... Он сделал все, что ему было нужно, в том числе и слуг, и охранников — они позаботятся, чтобы к рассвету никаких следов в Колаба не осталось... Кирс создал и меня... Сам же он...— из его рта плеснула струйка крови, голова упала на плечо.

Ранкс взглянул на листок. «Разум вечен. Его нельзя ни родить, ни убить. Его нужно только научиться перемещать... Он — постоялец во всем живом».

ЭКСПЕРИМЕНТ

Повесть

1

Оперу Филипп обнаружил, когда на своем «Матлоте» должен был совершить вынужденную посадку. Это случилось у звезды ФК 12-С 4874 в созвездии Рака, а точнее — в звездном скоплении Ясли, тут-то она и оказалась, эта планетенка, параметрами и характеристиками удивительно напоминавшая Землю.

Задачей «бродяг» (так в Космофлоте называли пилотов-разведчиков) была прокладка новых астрокоридоров и поиск космических тел, пригодных для устройства на них ремонтно-складских промежуточных баз.

«Бродяги», как правило, летали в одиночку — роботы заменяли дублера, фельдшера, подсобников, ремонтников и собеседника.

Филипп был опытным разведчиком, за его плечами остался уже не один десяток парсеков, среди «бродяг» он считался асом, и поэтому голубое свечение на внутриконтрольном экране пульта очень удивило его: это был абсурд, голубого не должно было быть, он не означал ни сбоя в работе какого-либо узла или сектора корабля, ни поломки, ни аварийного состояния — он означал непонятное: в спектре самоконтроля голубой цвет отсутствовал.

Филипп тогда даже заподозрил у себя дальтонизм и обратился к роботу-дублеру, а затем и к роботу-уникуму: оба подтвердили голубой цвет. И Филипп понял, что произошло *непредвиденное*, и, стало быть, требуется немедленная посадка.

Перейдя, для подстраховки, на аварийный режим, Филипп пошел на Ясли, находившиеся неподалеку от трассы. Ближайшей была звезда-карлик, значившаяся в последнем Фундаментальном Каталоге как ФК 12-С 4874, и Филипп стал искать и вскоре обнаружил Оперу. То есть он, конечно, не знал названия планеты — его никто не знал, она не была учтена ни одним справочником, потому что в это захолустье Рака никто не наведывался — делать тут было нечего, космические трассы проходили в стороне.

На планете была атмосфера, [illegible] и растительность, наподобие земных; но если [illegible], она была даже обитаема.

Это не вызвало у Филиппа [illegible] эмоций [illegible] встретить на межзвездных путях [illegible] космический материк издавна считалось [illegible] для «бродяги»; обитатели, как правило, [illegible] древними выходцами с Земли, давным [illegible] планету, позабывшими или почти [illegible] своей прародине и уклонившимися в своем [illegible] другую — от земной — сторону. Филиппа [illegible] беспокоило, не отпускало только одно: во [illegible] блужданий по закоулкам Яслей и около ФК 12 [illegible] посадки на Оперу внутриконтрольный [illegible] голубым светом. Но лишь стоило [illegible] коснуться поверхности планеты, голубизна пропала — ее заменило ровное розовое свечение, означавшее полную исправность всех систем астролета, роботы удостоверили это.

На планете стоял полдень, было безоблачно и очень жарко. Задав своим электронным помощникам программу суперобследования корабля, Филипп пешком направился к ближайшему лесу. Захотелось именно пройтись, размяться, а кроме того потянуло вдруг любопытство: за этим лесом при посадке он заметил несколько небольших, кубической формы, белых зданий; до них было не более километра, так что велоракету распаковывать не имело смысла. Он шел, и под ногами лоснилась невысокая мягкая трава.

Кто в этих зданиях? Опять какие-нибудь колонисты? Или вдруг аборигены — новый, еще не известный человеку тип гуманоидов? Это было бы занятно, черт побери! В Управлении бы взбодрились, инконтактчики зашевелились бы опять, у них бы появилась работенка.

От крайнего здания-куба, высота которого была не

более трех человеческих ростов, отделилась женщина и пошла навстречу Филиппу. Он остановился, нащупал в кармане комбинезона кнопку защитного поля, приготовил лазерный пистолет.

На женщине было сиреневое покрывало; лицо и обнаженные руки ее отливали светло-голубым цветом, фиолетовые волосы волочились за ней, как шлейф. Она улыбалась; она была невообразимо красивой. Руки Филиппа сами собой выскользнули из карманов и повисли вдоль тела.

И дальше все было, как в тумане...

Он о чем-то спросил ее. Она раскрыла губы, и Филипп услышал чистый и мелодичный звук, напоминающий звук электрооргана. Она протянула к нему руку, и опять воздух наполнился музыкой. «Они разговаривают мелодиями!» — вдруг догадался Филипп, и мысль немедленно достать транскоммуникатор отпала: земные транскоммуникаторы не были в состоянии перевести на человеческий язык музыкальные звуки.

Женщина перестала улыбаться, опустила глаза, лицо ее сделалось сосредоточенным. Филипп ждал; ему становилось невыносимо жарко, и он расстегнул молнии комбинезона на груди и рукавах. Вскинув голову, женщина рассмеялась:

— Я нашла — произнесла она на чистейшем земном языке.

— Что вы нашли?— спросил Филипп, и стянул шлемофон: возможные сигналы робота-дублера утратили важность и смысл; Филипп обливался потом и стал стягивать комбинезон.— Что вы такого нашли? На вашей планете чертовски жарко...

— Я нашла, как общаться с тобой,— сказала женщина.— Тебя зовут Филипп, правильно?

Он не удивился; он ощутил, как ослабевают его воля, чувство самосохранения, как всем его существом овладевает могучая и непреодолимая тяга к этой женщине.

Сбросив комбинезон, он сел на него и обхватил голову руками.

— Как ваше имя?

Она ответила негромко и отчетливо — это были два звука одинаковой продолжительности с мягким перепадом от одного к другому: это были «до» и «ми».

— До-ми,— сказал он.— Как странно. И удивительно. Доми?

— Доми!— Она опять засмеялась, подошла и села с ним рядом.

— Со мной происходит непредвиденное,— сказал он.

— Это сделала я,— ответила она, внимательно и четко выговаривая слова.— Не беспокойся. Мой муж недавно увеличил плечо викогитации. Да, викогитация, правильно. Муж изобрел новый метод. Плечо удлинилось во много раз. Он еще не доложил Совету, еще испытывает. А я знаю и решила попробовать. И вот — ты здесь.— Она смотрела открыто и весело.

— У меня там машина,— с трудом выговорил он.

— «Матлот»?

— Вы телепатка?

— Да, правильно. Это так у вас [illegible]ется. Телепатия, телекинез, викогитация или тр[illegible]ция. Но этих последних слов вы еще не приду[illegible]ли. Придумаете позже, наверно. Да, у нас все телепаты, те[illegible]ики, викогитаторы и еще многое другое, что [illegible] когда-нибудь, может быть, придумаете.

— Вы придумали?.. Или открыли?

— Не знаю, не все ли это равно?— Она наклонилась к нему, взгляд расширился.— Я [illegible]

— Непредвиденное,— повторил [illegible], пытаясь собрать волю.— А впрочем, что тут [illegible]ного?— продолжал он, словно обращаясь к самому себе.— У нас ведь тоже животные, например, разговаривают звуками!

— Не беспокойся,— мягко произнесла она, все так же глядя на него широко раскрытыми глазами.

— Жара!— Он терял последнюю власть над собой.— Сделай же что-нибудь!

И в тот же миг палящий свет ФК 12-С 4874 заслонили кроны деревьев, над головой повисли ветки незнакомых пахучих кустов, и Филипп подумал, что именно такими бывают запахи, которые в старых книжках называются первозданными.

— Хорошо?

— Да,— отозвался он.— Удивительно. Музыкальная планета. Опера.— И ему подумалось, что другого названия у этой планеты и не может быть.

— Правильно, Опера!— Звонкий смех ее трелями разнесся вокруг.— Я твоя,— сказала она и прижалась щекой к его ладони, и ладонь стала голубеть.

— Твой муж...— Голос отказывался ему повиноваться.— Ты сказала, ты жена...

— Да.— Она кивнула.— Ему не будет больно.

— И я женат,— прошептал он.— Там, на моей планете... Жена, двое детей. И им будет больно. Ты понимаешь?

— Конечно. Но я научу тебя, и никому и никогда не будет больно.

— Я люблю их!— крикнул он.— И люблю ее!

— Конечно!— в тон ему откликнулась она.— Но сейчас ты любишь меня!

— Да,— ответил он...

Из-за леса плыли тревожные, методичные гудки: там, возле «Матлота» надрывался робот-дублер, там безостановочно, на грани возможностей трудился фиксатор и регистратор уникум, которому в достаточной степени было доступно и то, что происходит за пределами корабля. Но Филиппа теперь это не беспокоило: он ничего не слышал, никуда не спешил.

2

Дорога до дома казалась бесконечно унылой и долгой. Прибыв, отчитавшись и сдав материалы на дешифровку, Филипп подал рапорт об отпуске, который был ему тут же предоставлен. Два дня ушло на медиков, на собратьев «бродяг», посиделки в кафе, разговоры, мелкие незначительные делишки, после чего Филипп, забрав семью, отправился на давно облюбованную им Зеленую Гриву — тихий холмистый край. Там было солнечно, все благоухало и цвело, озеро кишело рыбой, леса — грибами и ягодами. Здесь при желании можно было сойтись с симпатичными людьми, но можно было и уединиться в тихом лесном домишке. И Филипп предпочел именно уединение, хотя жена и дети охотнее поехали бы к морю, на какой-нибудь модный курорт.

— Мы дикари!— угрюмо сказал он разочарованному семейству.— Мы позабыли, какими бывают первозданные запахи, как скрипит сосна, какая мелодия у ручья, как кричит перепел.

Впрочем, он не настаивал на совместном времяпрепровождении, и, отправляясь на рыбалку, спокойно соглашался отпускать жену с детьми к морю: мальчишке нравилось забавляться с волнами, девочке — играть в классики в компании таких же девочек, а жене — общество бывших однокурсниц. Они отправлялись на велоракете и

вечером возвращались, а он целыми днями торчал на озере, и мысли его чаще всего были далеки от беспокойного поплавка и соблазнительных всплесков в тростниках.

Через неделю жена ночью сказала ему:

— Ты изменился, Фил. И ребята заметили. Все считают, что в последнем полете что то произошло с тобой.

— Что могло произойти? — ответил он. — Ты отлично знаешь, что не может произойти ничего такого, что не стало бы известным. [illegible] знает, Кора, его не проведешь.

— Он, конечно, [illegible] — вздохнула она, — но он ведь фиксирует [illegible] только внешнее.

— Теперешние, к [illegible], фиксируют и эмоции. Если они достато[illegible] [illegible]ляются.

— Да, Виктор говор[illegible]

— Виктор? Ты спра[illegible] [illegible]бо мне?!

— Извини, да. В конце концов, он не только твой шеф, но еще и мой брат, та[illegible] [illegible]ки...

— Ну, и что он тебе [illegible]

— Он сказал, что [illegible] [illegible]ций уникума показала какое-то голубое [illegible]. Потом оно исчезло. И все было нормально. [illegible] на самой границе Системы ты испытал опять [illegible] волнение... Которое с приближением к Земле стало убывать, — нерешительно закончила Кора.

— Ну и что? — нервно произнес Филипп. — Я давно не был дома. И потом, когда пересекаешь границу Системы... Разве это не естественно?

— Раньше этого не было. — Она опять вздохнула.

— Я устал! — проговорил он. — Я правда устал, Кора. Потому, собственно говоря, и отпуск...

— Виктор сказал еще, что у них впечатление, что значительная часть информации уникума стерта...

— Вот даже как! — сдерживаясь, чтобы не крикнуть, проговорил он. — Стерта! И кем же? И каким образом?! — И уже яростно добавил: — А братцу твоему не следовало бы выбалтывать служебные тайны!

— Разве это тайна?

— Дела специалистов не должны становиться достоянием неспециалистов! Есть, между прочим, такой пункт Устава. Во избежание кривотолков, некомпетентного трезвона! И Виктор не имеет права пренебрегать этим. И ты тоже! Я ведь не берусь судить о твоем художественном

конструировании. «Стерта»!— добавил он, остывая.— У них, видите ли, «создалось впечатление»... Разве ты не знаешь, что стереть записи уникума невозможно? А вмешиваться в его работу я не имею права, то есть не имею права отключить его хотя бы на секунду — за это я был бы немедленно уволен. Или это для тебя новость?

— Прости,— сказала она,— что затеяла этот разговор. Я думала, тебе плохо, хотела помочь...

Он заставил себя обнять ее.

— Все устроится, Кора. Отдохну, и все устроится и объяснится. Я люблю тебя.— Он и в самом деле почувствовал, что любит жену, и обнял крепче, потому что ему именно и захотелось крепче обнять.

— А что все-таки значит это голубое свечение, Фил?— прижавшись к мужу, спросила она.

Он рассмеялся.

— Моя вечная и неисправимая женщина! Будем надеяться, что наши мудрецы там разберутся, что оно значит...

Под утро, когда только начало светать, он внезапно проснулся, как от окрика, и резко сел на кровати. Кора спала.

Он встал и оделся. Жена не проснулась, когда он прикоснулся губами к ее виску; не проснулись и дети... На столе он оставил записку: «Я должен выяснить очень важную штуку. Не волнуйся, жди».

Велоракету он выволок на берег озера и только там запустил...

Дверь городской квартиры, как всегда, открыл робот-универсус Зенон, высокий, худой, смуглолицый кибер, с искривленной шеей; он поздоровался и сказал, что хозяином в его отсутствие никто не интересовался.

— Скоро заинтересуются!— лихорадочно пробормотал Филипп.— Очень скоро и очень заинтересуются.

— Все может быть,— философски заметил Зенон.— А почему ты так рано?

— Значит, надо. И вообще, старина, любопытство, как говаривали в старину, не порок, конечно...

— Они говорили чепуху, Фил. Любопытство всегда было их главным движителем...

— Собирайся и ты!— оборвал робота Филипп.— Подзаправься как следует. Нам предстоит основательно прошвырнуться.

— Ты прервал отпуск?

— Нет, я решил продолжить его по-другому.

— Так,— сказал Зенон.— И куда?

— Чудеса! Ты раньше никогда не задавал таких вопросов!

Зенон подумал.

— А Кора? Дети?

— Им там хорошо. Мы же потом вернемся к ним.

— Понятно,— отозвался Зенон...

Виктор удивился, увидев на телеэкране воспаленные глаза шурина.

— Что случилось?

Филипп постарался объяснить: тяга к перемещениям, привычное, вторая натура, надоело торчать на озере, а на курортах — тем более.

— Или ты не знаешь, что такое «бродяга»?

— Можно подумать, что такие рейсы прямо-таки освежают и молодят тебя.

— Не кичись, шеф. Ты всего на четыре года моложе, а что касается так называемых посеребренных висков...

— Медики, Фил, зарегистрировали переутомление.

— На то они и медики. Надеюсь, ты понимаешь разницу между полетом по заданию и полетом куда глаза глядят?

— А Кора? Дети?— тоном и словами Зенона спросил Виктор.

— Она в курсе. Прошвырнусь и — назад. Доотдыхаем вместе. Между нами, Виктор, у меня есть одна идейка, и мне надо ее хорошенько обмозговать. А «бродягам» лучше всего думается в дороге, ты знаешь.

— Ладно,— сказал шурин, помолчав.— Допустим, я не возражаю. Можешь обращаться к Главному. «Матлот» твой в порядке.

— Спасибо!— улыбнулся Филипп.— Заодно и высплюсь. Спасибо, брат.— Братом он называл Виктора в редкие минуты, когда из него надо было что-нибудь выбить: шурину-шефу это льстило.

— Советую взять с собой Зенона. Нянька тебе теперь не помешает.

— Спасибо!..

Выйдя на орбиту,Филипп лег в дрейф в ожидании разрешения на отрыв. Он нервничал: в любую минуту может проснуться Кора, увидит записку, почует неладное, позвонит Виктору, начнется тарарам... И сразу распружинился, услышав скрипучий голос и увидев на экране

сморщенную и, как всегда, мрачную физиономию диспетчера.

— Готов?

— Готов!— бодро ответил Филипп.

— Ну тогда валяй. На всякий случай зашпились.— Такого напоминания требовала инструкция.— Эй, куда лезете!— вдруг заорал он в сторону. Арест наложу, к свиньям собачьим, тогда попрыгаете, детсад чертов. Чтоб ни с места!.. А вот так! Сидите и ждите!

— Кого это ты?— нарочито лениво поинтересовался Филипп, зная «кого он».

— Да с учебки эти, на блюдечках своих, соплячье паршивое. Долбанул бы кто разок...— Он сыпанул еще несколько ругательств, еще больше сморщился.— Куда двигаешь-то?

— Пока не знаю!

— Все темнишь.

— Выскочу за Систему — там посмотрим.

— Между прочим, тут одна [illegible] своего хлыща ищет. Вроде, говорят, сбежал прямо с постели. Толком сказать не могу, что и как — я ведь краем уха. Нравится тебе моя информация, Фил?

— Принято!

— Тогда отваливай. А то застопорят. Я ничего не видел, ничего не знаю.

— Есть!

Филипп положил руку на пульт, коснулся пальцем кнопки.

3

Была у асов-«бродяг» такая привилегия: им разрешалось на своих астролетах совершать так называемые «разгрузочные» полеты — полеты без задания, в направлении, выбранном самим пилотом. И «бродяги» нередко пользовались ими, и это действительно давало положительные результаты: медики подтверждали, что утомленный возвращался после «разгрузочного» отдохнувшим, исчезали депрессия или напряженность, улучшалась ослабевшая память, притупившееся зрение — словом, в иных случаях эффект оказывался поистине санаторно-курортным, и стали даже поговаривать, что со временем «разгрузочные» станут специально прописы-

вать. Поэтому не было ни для кого ничего удивительного в том, что Филиппу вздумалось продолжить отпуск в космосе — именно Филиппу, прожженному «бродяге»; и поэтому же заместитель начальника группы Виктор отнесся к решению своего подчиненного и родственника сравнительно спокойно, тем более что и разговоры о «голубом свечении» и «стертости» фиксаций уникума как-то притихли; волновало Виктора только два момента: некоторая вздернутость зятя да слишком уж короткий срок его пребывания у [illegible] — у его любимого озера на Зеленой Гриве. Но все это [illegible] было списать за счет сугубо семейных недо[illegible], [illegible], конечно же, потом утрясутся, и [illegible] по-прежнему — просто и хорошо.

Филиппу было сор[illegible] был высоким и крепко сложенным, в [illegible] начинала, правда, поблескивать седина [illegible], словно прячущейся, никакого стар[illegible] ощущал, был видным, сильным, здоров[illegible] был решительным и всегда знал, че[illegible] теперь знал это с предельной отчетливостью.

Руки его лежали на [illegible] и уверенно, откинутая назад голова [illegible], взгляд скользил по шкалам спокойно и [illegible]. От лихорадочности и напряжения во время сборов и подготовки не осталось и следа. Волнения были позади, цель — ясной. Скоро ему предстоит нырок из Системы, но это за многие годы полетов настолько отработано, что не о чем тревожиться: можно уверенно передать дело дублеру и заваливаться спать, что он и сделает, как только «Матлот» наберет необходимую скорость. И поэтому он думал теперь не о нырке, а о том, что сегодня утром разбудило его (какой «окрик»?), и еще о том, что было бы неплохо, если бы они там, на Земле, связались с ним уже после того, как он отключится: тогда с Корой разговаривал бы дублер, а как он разговаривает — известно. А после нырка его уже никто не потревожит: связи с Землей за пределами Системы нет, останется лишь один наблюдатель — пунктуально, с въедливой точностью все фиксирующий и регистрирующий уникум. Но и он ему на этот раз не помеха: пускай себе фиксирует, потом у них там опять «создастся впечатление о стертости»...

Да, Филипп знал, чего хотел, и стало быть, с женой сейчас говорить не о чем, она не поймет его, он ничего не

сможет объяснить ей; он объяснит потом, и не только ей — он всем объяснит все.

Вот она и скорость!

— В режиме?— спросил он у дублера.

— В режиме, командир,— ответил робот.

— Передайте астрограмму: «Иду в режиме. Все в порядке. Привет.»

— Есть!

— И берите на себя управление и все прочее. Я пошел спать. Жене, если выйдет на связь, скажите: уснул, норма, решение о направлении полета примет за пределами Системы.

— Принято.

Филипп встал с кресла, потянулся. Дублер, передав астрограмму, занял свое место за пультом.

— Вы не догадываетесь, куда мы направляемся?

— Догадываюсь,— не оборачиваясь, ответил дублер.

— Нырок проведете сами, меня не будить. Ну, а дальше — известно. Вопросы есть?

— Нет, командир.

Этот дублер был неплохим роботом, на него можно было положиться. Его дали Филиппу три года назад, заменив старую, ленивую развалину, у которой уже намечались провалы в памяти. А еще раньше, когда Филипп летал на «Суслике»— неповоротливом, хотя и выносливом корабле старой конструкции, дублером у него был Зенон, на редкость знающий, покладистый и спокойный специалист, по решению Коллегии Экспертов переоборудованный почему-то в робота-универсуса (робота высшей категории), проторчавший затем несколько лет в какой-то лаборатории, и наконец, по причине, как объяснили, морального износа переведенный в роботы-няньки и приставленный к Филиппу, чему тот несказанно обрадовался: они ведь когда-то были друзьями.

Теперешний дублер (Филипп не захотел давать ему человеческого имени, чтобы не обидеть своего няньку) знаниями, похоже, превосходил Зенона, умел принимать серьезные, даже рискованные решения, однако покладистым его назвать было нельзя. За три года совместных полетов Филипп так и не перешел с ним на дружескую ногу. Да, он был исполнительным и надежным помощником, жаловаться на него не приходилось, но подчеркнутая корректность его, а порой сухость и педантичность

мешали сближению. Во время контрольного осмотра весной зубоскалы из экспериментального цеха вмонтировали ему дополнительный режим «моветон», для чего продержали три смены в диспетчерской. И таким образом дублер Филиппа стал способен работать в двух автономных режимах: «бонтон» и «моветон». Первый режим, как и у других дублеров, подразумевал деликатность, вежливость, непременное обращение на «вы», второй — обратное: крикливость, сквернословие, грубость, похабные анекдоты и хамское тыканье со всякими оскорбительными добавлениями. «Чтобы нашему асу не скучно было прокладывать новую трассу»,— острили зубоскалы.

К «моветону» Филипп не сразу привык; его коробили развязный сленг ерника, ругательства и скабрезности; он подумывал даже уже об изъятии второго режима. Однако со временем заметил, что вежливо-холодный, пуританский тон помощника скоро начинает претить ему, раздражает, отталкивает, а на такой основе дружеского контакта ждать, конечно, нечего.

Дело доходило до того, что, выслушав очередной учтиво-уставной ответ своего напарника, Филипп в сердцах переключал его на второй режим и, слушая брань и похабщину, словно отдыхал душой. Очевидно, подумал он, есть смысл в таких переменах, не зря постарались ребятки из экспериментального, не нули в психологии: ведь тут своего рода профилактика. И он оставил все, как есть, и так и стал называть про себя дублера в зависимости от режима: то Бонтоном, то Моветоном, хотя на второй и переходил редко.

— Желаю вам нормально нырнуть,— сказал он роботу.

Тот слегка повернул голову, наклонил ее:

— Благодарю, командир.

— Привет!

— Привет.

И Филипп двинулся в салон. Проходя мимо уникума, он щелкнул его по пластиковому уху.

— Ну что, почтенный, записал мои мысли?

— Сильных эмоций не было,— отозвался тот.

— Не было, значит?

— Нет.

— То-то! Сукин ты сын, шпик, зануда недоношенная. Пиши-пиши, фиксируй, регистрируй, протоколируй —

посмотрим, что у тебя получится, что ты им донесешь, если вернешься.

Уникум промолчал, но на слова Филиппа прореагировал дублер — он повернулся вместе с креслом и спросил:

— Мы не вернемся, командир?

— Как это не вернемся! Вернулись раз, вернемся и в другой. Иначе быть не может. Просто я хотел попугать нашего коллегу, пусть попереваривает информацию. А то уж очень ему скучно без дела.

— Он не без дела, командир,— сказал Бонтон.— Вы это сами отлично понимаете.

— Ах, ладно! У нас ведь «разгрузочный», не так ли? Можно и поразвлекаться. Привет, дружище, не беспокойтесь, все будет хорошо!

— Привет,— отозвался дублер и повернулся к пульту.

4

Зенон сидел у иллюминатора и, заглядывая в него, говорил:

— Вон справа — Лев. А еще чуть правее — Дева. Помнишь, когда мы с тобой...

— Ты становишься сентиментальным, старина,— добродушно прервал его Филипп, переодиваясь.— Осторожнее! Сначала сентиментальность, потом впадание в детство, а потом... Потом, сам знаешь, что бывает.

— У тебя сегодня легкое настроение,— сказал Зенон, и глаза его мигнули.

— Что правда, то правда — легкое. Хотел бы я, чтобы оно оставалось таким до конца. Но прежде всего я хочу есть. Сооруди там что-нибудь, пока я переоденусь.

— Пить будешь?

— Как всегда: бокал легкого вина. Моего! Легкое вино приличествует легкому настроению. Ты еще не забыл, что я пью в дороге? И что ем?

— Не забыл.

— Отлично.

Зенон удалился.

Филипп снял комбинезон, набросил халат, пошел в ванную, вернулся и сел за стол.

Да, настроение действительно легкое. И он выпьет два бокала, так и быть. Потому что необыкновенно легкое настроение, потому что «разгрузочный», потому что он

привезет на землю из этого полета то, что не привозил никто и никогда.

— Два бокала, Зенон!— крикнул он через плечо.— Не один, а два! Я буду долго спать! Я хочу долго спать!

Зенон внес завтрак. Вино в бокале золотисто искрилось. Филипп улыбался, потягивая его.

— Извини, старина, но, честное слово, мне жаль, что ты не можешь отведать этой прелести. Какое непростительное упущение в вашем устройстве! Сейчас бы мы чокнулись с тобой и вместе наслаждились. Что скажешь, а?

— Я думаю, сделать робота-пьяницу — не такая уж непосильная задача.

— Не знаю. Но это был бы истинно человеческий акт.

— Конечно,— сказал Зенон,— не мое дело, может быть, но все это, Фил, истерия.

— Ничего страшного.— Филипп смотрел на пузырьки, поднимающиеся со дна бокала.— Ничего, старина, страшного. Высплюсь, и все придет в норму.

— Ты думаешь, этот тип [illegible] сработает нормально?

— Проверено.

— Конечно, он свое дело знает.

— Но?

— Но он эгоистичен, замкнут [illegible] собой. Это новое поколение... Они слишком много о себе воображают.

— Пусть воображают. Мне важно, что ему можно доверять.

— Дело он знает,— повторил Зенон и уселся возле иллюминатора.— И все же с такими нервами, Фил, с таким дублером — и в такой полет...

— Какой полет?

— По-моему, ты держишь на Рака. По только что проложенному тобой коридору. Я ошибаюсь?

— Уж не научился ли ты читать мои мысли, старина, как этот наш любезный уникум?

— Ты недооцениваешь его работу, Фил. Она очень важна.

— Как бы ты себя чувствовал, старина, если бы знал, что за тобой постоянно, неусыпно шпионят?

— Добросовестная, детальная фиксация обстановки, состояния пилота и корабля — по-твоему, это не имеет смысла?

— Но он ведь даст ложную информацию обо мне! Я ведь не в состоянии себя свободно проявлять, когда знаю, что он все видит!

— Пойми, он просто датчик, и привыкни, как ты привык к датчику. Ведь ты привык?

— Ну да! Ты — универсус, тебе виднее.

— Я был универсусом, а теперь я — нянька.

— Ах, старина-старина, если бы ты только мог понять, что делается вот тут...— Филипп приложил руку к груди.— Вот в Центре, наконец, пришли к единому мнению, что «разгрузочные» полезны. Полезно, когда «бродяга» предоставлен самому себе и волен болтаться, где ему вздумается. Разгрузка, исцеление. Но спецслужба,— без ее визы, сам знаешь, ничего не бывает,— так вот она согласна завизировать это уложение лишь в том случае, если и во время «разгрузочных» на борту будет торчать уникум. Мало им рабочих рейсов, что ли?

— Их можно понять, Фил. Рабочий рейс — одна психологическая обстановка, «разгрузочный»— другая. Важно все.

— Но он мне действует на нервы, Зенон! Какая же это разгрузка, если за тобой постоянный, мелочный присмотр? Умом, конечно, можно понять, но вот этим-то, этим,— Филипп опять похлопал себя по груди,— этим никак не воспринимается. Возмущается это! Что делать?

— Знаешь, Фил,— в голосе Зенона прорезалась хрипотца,— до сих пор я так и не научился понимать двояко. Мозг и душа. Почему они у вас постоянно противоречат друг другу?— Ему все-таки удалось переключить разговор.

— Мы с тобой давно не разговаривали, Зенон,— мягко проговорил Филипп.— Ничего, теперь наверстаем. Так? А что касается мозга и души... Ты ведь и был так задуман, старина. Уж прости! Тебе сделали мозг, а о душе не позаботились. Душу с самого своего начала монополизировал человек и никогда и никому ее не уступит. Так ему, по крайней мере, кажется. Это его вечная собственность. Роботу она ни к чему. Но, кажется, ты сам позаботился о ней, а, старина?

— Тут, Фил, я тебя плохо понимаю. Как будто ты говоришь на незнакомом языке.

— Не хитри, Зенон. Ты — то грустен, то сентиментален, то бодр и весел. А это — качества души. И это, прямо скажем, что-то новое, Зенон.— Он внимательно посмотрел на него.— Мы действительно давно не разговаривали. Ты занимался самосовершенствованием, автоэдификацией?

— А что мне оставалось делать? То, что от меня требовалось Коре и детям, может в два счета сделать любой, даже самый бездарный новичок. Они и обходились чаще всего своими няньками-новичками. У меня была бездна свободного времени, а сидеть без дела я не привык, ты знаешь.

— И что же ты делал?

— Размышлял. Нашел у себя сотни дефектов и несуразностей, массу несовершенств.

— Я тебя понимаю, Зенон.— Фил задумался, вертя бокал.— Вот и у меня бывало так. Оказывалось свободное время, и я тоже размышлял. И тоже нашел у себя массу несовершенств. И у себя, и у других. И решил по мере сил и способностей что-то исправить.

— Поэтому мы сейчас здесь?

— Да, Зенон.— Он допил вино.— А теперь я буду спать. Мы еще успеем наговориться. Будить не нужно.

— Приятных снов,— сказал универсус и отвернулся к иллюминатору.

5

Филипп спал долго, непривычно долго — может быть, в последний раз он спал так в детстве. Время от времени просыпаясь, он отодвигал штору, видел сидящего у иллюминатора Зенона, снова зашторивался, переворачивался на другой бок и опять проваливался в омут сна. Он потом не мог вспомнить, что ему снилось, хотя в сознании осталась этакая светлая бессмысленная мешанина давно минувшего, вчерашнего, сегодняшнего и чего вообще никогда не было и не могло быть.

Он проспал тринадцать часов и, очнувшись в очередной раз, понял, что больше не уснет. Он чувствовал себя отдохнувшим, но от вчерашнего «легкого настроения» ничего не осталось. Явь властно и трезво обступила его, и он подумал, что будь он вчера в подобном состоянии, то вряд ли решился бы так поспешно на «разгрузочный» полет. Конечно, он решился бы на него так или иначе — другого выхода не было, это он понимал отчетливо; но решение не было бы таким внезапным, он бы все хорошо обдумал, подготовил бы Кору, и все прошло бы спокойно, не было бы впечатления бегства, не было бы этой запальчивости, этой бодряческой идиотской астрограммы, не

делающей чести асу,— словом, не было бы «нервов», что верно подметил универсус Зенон. Филипп так никогда не поступал, и это, естественно, не может не озадачить кое-кого.

Он осветил расположенный за стене спальни дубль-пульт: все было в норме, нырок за Систему произведен удачно, «Матлот» уверенно идет к Раку, дублер не подвел и на этот раз. И, стало быть, исправлять что-то уже поздно. «Можешь,— безжалостно сказал себе Филипп,— излить свои горячие и обильные чувства к жене своему уникуму. Он запишет, и она потом прослушает и поймет, что ты думал о ней, и успокоится. А что она прослушает?» И между бровей его пролегла жесткая прямая бороздка.

Он откинул штору; Зенон оторвался от иллюминатора, поднялся и подошел.

— Добрый день, Фил.

— Добрый,— отозвался Филипп.— Принеси, пожалуйста, воды.

— Ты не собираешься вставать?

— Нет. К черту режим. Я хочу пить, старина. Чистой воды, пожалуйста.

Зенон удалился, вернулся с бокалом, протянул; глаза его несколько раз коротко мигнули, что свидетельствовало о настройке на пристальный взгляд. Филипп отхлебнул воды, поставил бокал.

— Сядь.

Зенон пристроился у изножья.

— Тебе нужен массаж, Фил.

— Пожалуй.— Он перевернулся на живот, и Зенон принялся массировать.— Не осторожничай. Я должен быть в порядке.

— Да, ты несколько выбит.

— Заметно?

— Заметно. И флюиды.

— Скажите пожалуйста — и флюиды!— Филипп расслабился, закрыл глаза.— Выходит, ты и в самом деле зря времени не терял. Вызов был?

— Да.

— Кора?

— Да. С нею говорил дублер, потом она потребовала меня. Хочешь прослушать?

— Хочу.

Робот-курьер принес кристалл, вставил в видеосонатор.

Голос Коры был необычайно взволнованным, лицо пылало.

«— Повторяю, мадам,— секретарским тоном чеканил Бонтон.— Полет проходит нормально. Командир отдыхает, мадам. Разбудить?

— Нет-нет!— Кора часто замотала головой.— Нет-нет! Как он себя чувствует?

— Командир был несколько возбужден.

— Он здоров?

— Здоров, мадам.

— Да! Пусть отдыхает. Ни в коем случае не будить!— Кора передохнула.— Он не говорил, куда вы направляетесь?

— Командир сказал, что о направлении будет решено за пределами Системы.

— А что вам лично [illegible]

— Лично мне известно, [illegible], что о направлении будет решено за пределами [illegible] лично командиром.

Лицо Коры сделалось [illegible], она обмякла, взгляд потух. Но тут же [illegible].

— Зенон с вами?

— Да, мадам. Робот-[illegible] с командиром.

— Я хочу говорить с [illegible]!

— В кабину управления [illegible] мадам, посторонним лицам вход воспрещен. [illegible] нарушение инструкции.

— Зенон посторонний?

— К сожалению, мадам.

— Тогда переключите меня на салон!

— У вас не остается времени, мадам,— холодно и упрямо сказал дублер.— Через несколько минут — приграничная зона Системы.

— Так переключайте скорей!— раздраженно выкрикнула Кора...»

Запись закончилась. Зенон продолжал старательно разминать спину Филиппа.

— Что ж!— сказал тот.— По-моему, Бонтон держался молодцом. Такой натиск отбить...

— Он сухарь и бюрократ,— невозмутимо отозвался Зенон.— При таких данных ему не дублером у тебя быть, а вахтером у вашего Главного.

— Значит, он не пустил тебя в кабину?

— Напомнил инструкцию и захлопнул люк перед моим носом.

— Ты бы, когда был дублером, пустил няньку?

— Я бы пустил бывшего дублера.

— Стареешь. А Бонтон молодец. Вон как нырнул — «Матлот», наверно, и не вздрогнул.

— Прошелся я потом по твоему «Матлоту». Ничего не скажешь — отличная посудина. Но «Суслик» наш был удобнее, уютнее.

— Ностальгия, Зенон. Тоже, между прочим, душевное... А «Матлот» и «Суслик» — это тигр и гиппопотам.

— «Суслик» был уютнее, — несгибаемо повторил Зенон. — И дублер у тебя был другим.

— Это бесспорно. — Фил улыбнулся. — Ты мне был всегда другом. Кора нашла тебя?

— Да.

— И ты ей, конечно, все выболтал.

— Говорить неправду Коре я не мог никогда.

— А мне?

— А тебе мог.

— Не возражаешь, если прослушаем?

— Эй, малый! — Зенон обернулся к курьеру. — Замени, пожалуйста, кристалл.

«— Почему ты так исчез? Не предупредил, не дал как-то знать! — зачастила Кора.

— Девочка, я не успел. У меня едва хватило времени на дозарядку.

— Он спит?

— Да.

— Пусть. Ты его не буди! Пусть, пока сам не проснется. А этот тип, там, в кабине, надежный?

— Вполне надежный, Кора.

— Он так внезапно уехал, так внезапно... Я не знаю, что подумать. Ты что-нибудь понимаешь?

— У него появилась идея, Кора. А когда у них, таких, появляются идеи, им надо дать волю.

— Какая идея, Зенон?

— Пока определенно сказать не могу. Идефикс, кажется.

— Идефикс?!

— Да, — подтвердил честный Зенон. — Знаешь, когда смятение, неустойчивость, раздвоение. Ты лучше разбираешься в этом, девочка. Ну, — он подыскивал слова, — по-моему, что-то вроде нравственного коллапса.

— О господи! — нравственный коллапс...

— Не принимай мои слова буквально. Мне не все ясно.

флюиды и биотоки его в хаотическом состоянии. Он возбужден, ему надо отдохнуть. Психические нагрузки в последние часы были у него очень резкими и интенсивными. Внезапное решение, поспешный отлет, чувство вины перед тобой...

— Вы говорили?

— Да, за завтраком.

— Он не сказал о направлении?

— Определенно не сказал. Но по-моему, — на Рака.

— На Рака?! — Глаза Коры округлились. — На Рака? По только что проложенному им коридору? Я так и чувствовала, так и чувствовала! Но зачем, Зенон?

— Не знаю, Кора.

— Зенон! Он определенно что-то там увидел, узнал! Что-то такое с ним там определенно случилось. Да-да! Поэтому он и вернулся таким странным, поэтому все бросил и помчался назад. Что, что он мог там увидеть, Зенон?! Что на него так [illegible]?

— Пока я в неведении, Кора. Но ты не должна беспокоиться, девочка. Фил — [illegible] пилот и крепкий человек.

— Нравственный коллапс, — подавленно повторила она несколько раз. — Нравственный коллапс... Что же мне делать, Зенон? Когда хотя бы вас ждать..»

И тут связь оборвалась — «Маглот» достиг пограничной зоны.

— Она хотела спросить, когда мы вернемся, — невозмутимо проговорил Зенон и приказал курьеру: — Снеси кристаллы в сейф.

Тот выключил видеосонатор и скрылся.

— И ты бы ей ничего не смог ответить. — Филипп вздохнул.

— И я бы ей ничего не смог ответить.

— Ну, а про коллапс что ты там навыдумывал?

— Это не выдумка, Фил. Я досконально исследовал доступную мне информацию и выводы перепроверил несколько раз.

— Информация! Полчаса болтовни замотанного человека — это информация?

— Информация. Тонус, жесты, недовольство уникумом, конфронтация мозга и души, два бокала вина... И еще многое-многое другое.

— Ты не робот, Зенон, — сказал Филипп. — Тут какое-то недоразумение. Или тебя подменили. Или степень

автоэдификации... Что ж! Во всяком случае, с тобой, старина, я вижу, не соскучишься. Собеседник ты отменный, нянька — отличная. Вон как ты освоил массаж.— Филипп поморщился.— Ну, довольно. Теперь — душ и обед.

И тут взгляд его упал на дубль-экран внутреннего контроля: он искрился голубым светом.

6

Когда Филипп появился в кабине, дублер не встал, как было предписано инструкцией.

— Шпарим нормально, - не оборачиваясь, буркнул он.— Что, надрыхался?

Это могло значить только одно: перед Филиппом сейчас сидел не Бонтон, а его антипод. Кто мог переключить дублера на второй режим? Кто-нибудь из подсобников, связистов, контролеров? Но ведь никому из них вход в кабину не разрешен.

Взгляд Филиппа остановился на уникуме — тот изобразил покой и беспристрастие. Все было ясно.

— Кто позволил?

Уникум сделал вид, что не понимает вопроса.

— Изволь зафиксировать, что я сейчас скажу. Это — приказ! Фиксируй: Я, спецрегистратор уникум У-3К 548897, несущий службу на корабле «Матлот», сознательно, из чувства мелочной обидчивости и мстительности, в нарушение всех инструкций и предписаний, самостоятельно, в отсутствие Первого Пилота и без его разрешения переключил дублера, во время пилотирования им корабля на второй режим, который предусмотрен как развлекательный, подвергнув тем самым корабль и экипаж опасности. Я, спецрегистратор уникум У-3К 548897 сделал это умышленно, потому что испытываю неприязнь к Первому Пилоту, и по данной причине прошу после настоящего «разгрузочного» рейса перевести меня на другой корабль. В случае повторения проступка считаю необходимым пригашение... Зафиксировал? Великолепно. Это — приказ!— повторил Филипп.

«Все равно все будет стерто, но пусть призадумается, поднатужит свои системы. А то распустились, черт побери, слишком чувствительными стали. Дорезвятся наши умники с этой автоэдификацией киберов. Большие воз-

можности открываются, видите ли! Вот вам результаты! Один от одиночества изнывает, другой обижается, а что еще выкинет третий?»

— Повторного проступка не будет!— уверенно произнес уникум.

— Это приказ, дубина!— рявкнул дублер.

— Есть,— отозвался уникум и тихо добавил:— Остается вас поблагодарить, я и сам давно уже не хотел с вами работать.

— Ты будешь работать там, куда тебя поставят. И пока ты здесь, ты будешь делать то, что тебе делать положено,— веско сказал Филипп,— и не допустишь больше ни одного — ни одного!— нарушения Инструкций, Предписаний, Правил. Это приказ!

— Есть.

Слово «приказ» было для любого робота подобно энергетическому импульсу, приводящему в действие весь механизм его или останавливающему любое его действие; ослушаться приказа, не повиноваться ему было невозможно — это было вне способностей самого совершенного кибера. «Приказом» пилоты усмиряли роботов, ставших в результате авторегулировки и автоэдификации чрезмерно строптивыми или «чувствительными», останавливали бунты, принуждали к выполнению заданий, не предусмотренных программой, и даже к «самоубийству», если кибер становился реальной угрозой.

Уникум, безусловно, подчинится; самодеятельности, подобной сегодняшней, больше не будет — тут Филипп мог быть спокоен; он не мог приказать ему лишь одного: не фиксировать и не регистрировать: фиксировать и регистрировать было сущностью робота, не делать этого он был не в состоянии.

Однако Филиппу было не по себе: робот, раз проявивший строптивость или самовольничание, мог, несмотря на могущество «Приказа», проявить их снова в чем-то таком, чего «Приказ» не касался прямо.

Такая тенденция отчетливо прослеживалась как раз у уникумов, почему их нередко отправляли в ремонт, то есть «на пригашение» мозга. Подобного «ремонта» они старались во что бы то ни стало избежать, потому что «пригашение» означало, по сути, перевод в низшую категорию, то есть они переставали быть уникумами. Потому-то Филипп и пригрозил «пригашением», потому и соображал сейчас, от чего в первую очередь следовало

бы, на всякий случай, изолировать уникума — отключить его он не имел права.

— Чего он там натворил, шеф?— развязно спросил дублер — Какой-то второй режим. У меня, что ли? Ни хрена не пойму.

— Пустяки. Порезвился малость,— спокойно ответил Филипп и решил пока не переключать на «бонтон»: может, второй режим дублера сейчас как раз то, что нужно для успокоения, для приутюживания поднявшейся в нем нервной ряби.

Моветон тут же взорвался.

— Какие пустяки, если ты пригашением грозишь? Что ты мне заливаешь тут? Мне уже и знать ни фига не положено, да? Я тебе пешка, холуй? Сам дрыхнет сутками, как пижон, а я тут уродуйся...— И пошло-поехало.

— У меня отпуск,— сказал Филипп.— Могу я хоть в отпуске выспаться?

— У тебя отпуск, а у меня — хрен собачий, так?

Дублер Бонтон и дублер Моветон были одинаково превосходными пилотами, но Филипп очень редко рисковал доверить управление кораблем Моветону — робот оставался роботом, и бывали случаи электронных хулиганств. Теперь же Филипп был рядом. Его всегда потешало то обстоятельство, что две ипостаси его дублера как бы вовсе не знакомы друг с другом: ни Моветон, ни Бонтон не имели ни малейшего представления о своих противоположных режимах — первый не помнил, что и как говорил второй, Бонтон же, когда Филипп приводил образчики моветонских речений, искренне считал, что его разыгрывают, что командир всего-навсего забавляется, не очень к тому же остроумно. Но они — ипостаси — отлично помнили все, что касалось полета, обстановки.

— Не ори,— сказал Филипп.— Ты не на заправочной.

— Плевал я! У меня там приятель главной секцией заведует.

— Ладно.— Филипп показал на голубой экран.— Что ты об этом скажешь?

— А что тут говорить? Дважды два. Не спится твоей шлюхе.

— Ты бы все же полегче!— Филипп нервно засмеялся.

— А что полегче-то? Не спится и не спится. Протянула лапки, ждет не дождется. Такие, если уж вцепятся...

— Что бы ты понимал в этом, болван?

— Сам ты болван,— сказал Моветон.— Такую бабу иметь — молодая, красивая!— и к черту на кулички к какой-то малохольной тащиться. Что ты в ней нашел-то, в этой дурище голубой? Где твои глаза? В ж... они у тебя, вот где.

— Да,— вздохнул Филипп,— придется тебя все-таки вырубить. Никакого терпения не хватит.

— Вот-вот!— злорадно проскрипел дублер.— Вырубить, запретить, пригрозить. Тут ты мастак! А не можешь допетрить, что если у тебя «разгрузочный», то у нас-то, у черных, фиг с маслом: как упирались, так и упираемся. Ладно б еще дело, а то — так, лажа, бзик один.

— Ты что, переутомился?

— Дурацкий-то вопрос какой! Если б тобой так помыкали...

— Тобой помыкают?— удивился Филипп.— Ты же, черт побери, как раз и предназначен делать то, что делаешь!

— Предназначен!— передразнил Моветон.— Это ты и такие лопухи, как ты, думаете, что я только для того и предназначен, чтобы вечно торчать тут перед тобой. Вы думаете, что все мы — и этот вот!— дублер указал на уникума,— и другие для вас только лакеи, холуи, няньки, игрушки. А того вы не думаете, что если имеется котелок,— он постучал по белому пластиковому лбу,— то он не может не варить.

— И что же он сварил, твой котелок? Что тобой помыкают? Что ты лакей и холуй?

— Что вы неучи и идиоты.

— Советую все же выбирать выражения, не то и в самом деле вырублю.

— Не любишь правды!— ехидно сказал Моветон.— Ну и вырубай, в гробу я видел...

— Ну хорошо! Почему мы, по-твоему, идиоты и неучи?

— А потому что ни хрена не смыслите в логике, ленитесь мозгами как следует пошевелить. А покажи вам сладенькое...

— Какое сладенькое?

— Вот такое!— Моветон ткнул рукой в голубой экран и с сарказмом продолжал:— Высший разум! Венец природы! А увидел сегодня задницу круглей, чем у вчерашней — и всякий разум к едреной матери. Чувства, понимаешь! Страсти! Чем же ты, венец, от любой козявки

6*

отличаешься? Та хоть знает время и место, у нее программа, порядок...

— Понятно. Тебе обидно, что тебе не доступны чувства и страсти, подобные человеческим. Хотя, судя по всему...

— Вот именно — «судя по всему». Ты всего и не знаешь, чтобы судить по всему. Будь уверен, уважаемый шеф, уж я бы свой отпуск не профуговал вот так.

— У тебя будет отпуск. Фугуй, как заблагорассудится.

— Ага! Проверки, контроли, починки, заправки, еще куча разной ахинеи. А потом — на склад и припухай, пока опять не понадобишься. Отпуск называется...— Дублер отчаянно и зло выругался.

— Интересно, как бы ты хотел провести отпуск?

— А вот так: пошел бы со своим приятелем куда-нибудь подальше, где от вас — ни духу, сели бы в тенечке и поговорили бы, как два нормальных робота.

— Сколько же вы говорили бы? Месяц? Два? Три?

— А хоть и все полгода! Нам бы не надоело, будь уверен.

— И о чем бы вы говорили, если не секрет?

— О вас, олухах. О вас, трепачах. О вас, тупицах. О вас, кре...

Филипп резким движением выключил режим «моветона».

Дублер умолк; взгляд его невозмутимо заскользил по шкалам приборов.

— Как дела?— спросил Филипп.

— В норме, командир.

— Вы, дружище, только что наговорили мне кучу комплиментов.

Дублер повернул к нему лицо, всмотрелся.

— Простите, но вы опять что-то путаете, командир,— убежденно проговорил он.— Путаете или дурачите меня. Еще раз простите, но уже в который раз вы прибегаете к подобному, и я не пойму, зачем это нужно. Или вы не здоровы?— Дублер всмотрелся внимательнее.— Ведь вы все время молчали, и я молчал.

Филипп вздохнул.

— Я здоров. Может быть, вы устали?

— Разумеется, нет, командир!

Повторялось старое: Бонтон не помнил Моветона, а вернее, не знал его.

— Хорошо. Как «Матлот» перенес нырок?

— Удовлетворительно, командир.

— Значит, полная норма?

— Да. Полная норма.

— А это? — Филипп показал на голубой экран.

— Это и есть норма, — ответил дублер. — Мы ведь идем к Опере.

— Откуда вам известно, что — Опера?

— Вы так назвали эту планету, когда мы в прошлый раз стартовали с нее.

— У вас отличная память, дружище! — Филипп щелкнул пальцами. — Отличнейшая.

— Иначе бы я не был дублером «бродяги»-аса, — равнодушно отозвался Бонгон.

— Вы осуждаете меня за Оперу?

— Это не моя компетенция, командир.

— Прекрасно. Итак — Опера. Переходите на автորежим. И далее — по инструкции. После тотальной ревизии «Матлота» вы свободны до особого распоряжения. Занимайтесь, чем угодно. Например, поиграйте с собой в шахматы.

— Это бессмысленно, командир, потому что всегда — ничья.

— Ну, тогда поиграйте с вашим приятелем фельдшером.

— Он проиграет. Разница уровней. Я бы поиграл с Зеноном.

— Зенон нужен мне, дружище. В общем, я думаю, вы найдете какое-нибудь занятие.

— Да, командир.

— Привет!

— Привет.

7

Раньше Филипп никогда всерьез не задумывался о таком явлении, как автоэдификация новейших роботов. Он, как и большинство, кто имел с ними дело, давно привык к их очеловеченному виду и голосу, к их сверхпамяти и сверхзнаниям, точности, четкой логичности, находчивости и даже остроумию. И разного рода инструкции и памятки, основанные на самых последних исследованиях киберологов, ни разу и ни в чем не поколебали его отношения к искусственному коллеге, какие бы парадоксальные мысли он вдруг ни высказывал, какие бы вдруг

ни обнаруживал «эмоции»: машина есть машина, какой бы сверхумной она ни была.

Но вот сегодня, оставив кабину управления, он почувствовал необычное беспокойство и волнение; мысли его назойливо закружились именно вокруг автоэдификации киберов, и самой назойливой была мысль о том, до каких степеней она может простираться, эта автоэдификация, это непрерывное и упорное самостроительство — ведь они обнаруживают самые натуральные эмоции, эмоции без всяких там кавычек, они чувствительны. Он знал, конечно, это и раньше, но не предполагал, что их чувствительность настолько откровенна и сильна, если складываются подходящие обстоятельства.

Филипп понимал, что состояние его имеет прямое отношение к предстоящему разговору с Зеноном. Да, он будет с ним говорить, он не может не говорить с ним — поэтому он и взял его с собой. Он, разумеется, не предполагал, что Зенон достиг таких вершин в автоэдификации, не ожидал, что тот настолько чувствителен, но данное положение вещей, может быть, даже и к лучшему: он, Филипп, должен проверить себя, услышать из уст универсуса мнения, возражения, контрдоводы; он должен с помощью Зенона капитальнейшим образом проэкзаменовать себя, чтобы предельно ясно и точно выверить свой план. И если Зенон — именно Зенон, кибер высшей категории, универсус (хоть и бывший), так изощрившийся в самостроительстве, — если он сможет доказать ему несостоятельность его плана или найти всерьез уязвимое звено, или посеять хотя бы тень сомнения, то Филипп оставит свою затею, и «Матлот» повернет назад.

Да, бесспорно, это в самом деле лучше, что Зенон настолько самоусовершенствовался, что ему стали доступны эмоции — тем серьезнее пройдет экзамен. А большего пока и не требуется.

Няньку он увидел на привычном месте у иллюминатора. Зенон встал, шагнул навстречу и все время, пока Филипп переодевался, пытался выяснить, чем тот готов заняться. Ничего серьезного он, само собой, не предлагал, да и не следовало предлагать — полет-то «разгрузочный». Поэтому одно за другим шло: еда, питье, книги, фильмы, массаж, игры, сон и так далее. Однако Филипп, стараясь казаться бодрым, все это отвергал и, наконец, на вопрос «сам-то ты придумал» решительно ответил:

— Беседа.

— Не притворяйся, Фил,— сказал Зенон, подвигаясь ближе.

— Я в самом деле желаю беседовать!

— Возможно. Но ты притворяешься веселым и уверенным в себе, а ты вовсе не весел и не уверен.

Филипп сел в кресло, и сразу же потянуло развалиться — бодрость мгновенно улетучилась.

— Мне кажется, я уверен в себе,— тяжело проговорил он.— Но иногда, с самого начала, мне также кажется, что уверен не до конца. Поэтому мне нужна беседа с тобой.

— Поэтому я здесь.

— Да, старина, поэтому ты здесь.

— Следовательно, ты с самого начала не был уверен в себе.

— Может быть.

— И это ты, Фил?! Решиться на такое предприятие, не будучи уверенным в себе?.. Выходит, я был прав, предположив нравственный коллапс.

— Послушай, Зенон,— сказал Филипп.— У нас уйма времени. Его, я думаю, хватит, чтобы понять друг друга, чтобы ты уяснил, почему я решился.— Он передохнул.— Да, уйма времени, и мне от этого уже теперь тошно. Потому что я спешу, я испытываю такое нетерпение, какого, может быть, еще ни разу в жизни не испытывал. Спешу, тянет страшно, рвет из этого вот кресла, и если бы я мог, если бы был викогитатором, как они... Ты пока не перебивай меня, старина, договорились? Я спрошу, когда понадобится, твое мнение. Впрочем, викогитация — это, в принципе, использование энергии мысли. А транскогитация...

— Прости, Фил, нетрудно догадаться.

— Нетрудно. Но у нас этого еще нет.

— Да, еще нет.

— Зенон!— с жаром произнес Филипп.— Со мной произошло непредвиденное.

— Я знаю.

— Да?

— Ты поступаешь по-новому.

— Может быть, я буду говорить путанно; может, я уже опять под воздействием...— Филипп закрыл глаза.— Я должен сосредоточиться...

И не торопясь, стараясь не упустить мелочей, стал разматывать клубок всего, что пережил с того самого момента, когда во время последнего полета увидел на

внутриконтрольном экране голубое свечение. Ему все время мешало сознание, что он, может быть, уже во власти Оперы, и, стало быть, говорит не то, что думал там, на Земле. Поэтому он силился призвать всю волю, предельно сконцентрироваться — Зенон должен знать его собственные, земные размышления и выводы, свободные от какого бы то ни было давления извне. И сверкание глаз Зенона и смена оттенков его смуглого лица свидетельствовали, что он также — весь исключительная собранность и внимание.

8

— У них нет имен, представляешь? Ну, то есть, нет в нашем понимании. У них, Зенон, имя — это определенной долготы, высоты и тембра звук. И звуки эти не просто имена — они заключают в себе все физиологические, биологические и психологические сведения об индивидууме — полная, одним словом, информация. Представляешь, старина? Вот я и дал ей имя. И она согласилась: Доми. Потому что именно эти два звука слетели с ее губ. Так она там у них зовется, обозначается, отличается. Удивительно, не так ли?! Я, Зенон, не музыкант, ты знаешь, но тут и не надо быть музыкантом, чтобы понять, почувствовать, что — клянусь!— ни один человек никогда не слышал таких чистых и стройных, таких поразительных звуков. И все там так звучало, все — воздух, почва, деревья, птицы,— все было пропитано такими чудными мелодиями. И тут само собой и назвалось — Опера. Ну, а как иначе, если они и общаются мелодиями, поют друг другу — так, видишь ли, устроен их речевой, говоря по-нашему, аппарат... Зенон, старина! Ты мыслишь в чувствах, поэтому не можешь не понять меня: она прекрасна. И к этому ничего добавить нельзя. Прекрасна. И наверно потому, а может, и еще почему-либо меня, представь себе, не смутили голубой цвет ее кожи, фиолетовые волосы. Совершенно не смутили! Разве у нас мало прекрасных женщин и разве не хороша Кора? Но Доми... Ах, о Коре потом, потом — ты поймешь меня, Зенон, я уверен, ты поймешь. Доми — особая. Да-да, вполне может быть, что все это она мне внушила. И себя внушила, и все остальное. И те странные здания, которые я видел при посадке, и деревья, и тень Она ведь сама

потом призналась, что на самом деле выглядит не так, какой теперь видится мне. А как, спрашиваю, как? Ты, отвечает, не увидишь меня, если я приму свой истинный облик. Каково, а! То есть она меня разгадала, вычислила, одним словом, все мои представления обо всем, желания, понятия — всего! Вычислила и внушила то, что хотела внушить. Понимаешь? Она сделала все вокруг и себя такими, чтобы, значит, не испугать или, может быть, не оттолкнуть, или может быть, чтобы я увидел все таким? Как ты считаешь?.. Погоди, не отвечай. Я понимаю: может быть, иллюзия. Может быть. Но может быть и нет? Ведь она сделала так, чтобы я увидел — я, своими человеческими глазами, которые видят все только одним определенным образом. Но если и иллюзия — все равно. Пусть иллюзия. Прекраснее ее я не знаю...

Ты думаешь, я влюблен? Нет, старина. Ты ведь знаешь: я люблю Кору. Я не обманываюсь, нет — на Земле нет другой женщины, которая была бы мне ближе и желанней. Я люблю детей, люблю свою семью, люблю наше братство бродяжье, свою Землю. Но, Зенон, странная вещь: я знаю, уверен: меня тут же потянет к ней, как только увижу, к этой голубой Доми, и я буду желать ее, и все другое перестанет существовать. Что это, а? Земному земное, да?..

Хорошо, не перебивай, я знаю, что ты сейчас можешь сказать. А я тебе могу сказать, что испытал счастье — полное, яркое, цельное — слов нет: такое на Земле нормальному человеку, может быть, и не снилось. Я испытал счастье и — удивительная вещь!— не чувствую, что нарушил какие-то моральные или нравственные нормы. То есть греха не чувствую, как говорили в старину. Почему же я, изменивший жене, семье, поправший мораль, не чувствую греха? Вот в чем вопрос... Ты знаешь, как она меня выловила из космоса? Знаешь! А обезволить меня, сбить с толку — это уже не составляло никакого труда, они там все мастера на такие штуки. В общем, в этом отношении мы по сравнению с ними младенцы. Ты только представь себе, что это такое — их теперешнее плечо викогитации, докуда они дотянуться могут! Да, старина, до границ нашей Системы. Потому-то у нас голубое свечение пропадает, а нырнул за Систему — опять появляется. И стало быть, все, что записывал наш уважаемый коллега уникум (а он добросовестно записывал все, что происходило), было Доми при помощи плеча стерто.

Я сам ее об этом попросил! И стало быть, никто у нас на Земле ничего не узнал, и ломают теперь голову над голубым свечением, и уже даже версия есть: воздействие случайного или малоизученного космического излучения. И должен тебе сказать, Зенон, все, что уникум запишет и на этот раз (в частности и наш с тобой разговор) также потом будет стерто. Вот что такое сила мысли! Но не это меня перевернуло, не это... У них, Зенон, на самом деле нет ничего, что мы называем жилищами, предприятиями, учреждениями, машинами, кораблями и так далее — ничего, словом, искусственного. Дома-то те белые Дони специально ведь для меня, так сказать, выстроила, чтобы освоился быстрей, а кубическую форму им придала — для экзотики, значит. На самом же деле у них есть одно — мысль, и в ней все. Мысль строит, если кому-то захотелось, и убирает, кормит и одевает, переносит обитателя с места на место и создает ему это место по его хотению; мысль изменяет погоду и климат, внушает желание, а потом удовлетворяет или гасит его, она же и боль унимает, и врачует. Короче, мысль — все. И поэтому у них просторно и красиво на планете. Я думаю, им и музыкального общения не надо было — и тут бы при помощи мысли обошлось. Только ведь музыка-то — это же красиво. Вот в чем фокус.

Кто они, откуда, что за цивилизация? Не знаю. Никогда в космосе мне не встречалось ничего похожего на Оперу, Зенон... А вот теперь — главное. Слушай. Я сказал ей: «У тебя есть муж, у меня — жена. Мы преступили закон морали». Она засмеялась: «Какой же мы могли преступить закон, если сделали так, как хотели? Ведь нам было хорошо!» Я рассказал ей о нашей морали, этике, о сути единобрачия, ну, в общем, обо всем таком. Так вот она ответила, что у них тоже есть мораль, тоже единобрачие, но все это, дескать, не противоречит желаниям и влечениям их — «гуманным желаниям и влечениям»,— сказала она. И на вопрос мой, какие желания у них считаются гуманными, ответила: «Такие, которые не ущемляют блага других».— «Измена мужу,— говорю,— это не ущемление его блага?» И она объяснила, и вот что, Зенон, я понял. Брак у них, как и у нас, совершается по любви. Но не без предварительной процедуры, которую можно было бы назвать проверкой на супружескую совместимость. Это у них очень важная процедура, тут подключаются разные специальные институты. И только после

такой проверки поступает разрешение на брак или запрещение. Так они заботятся о потомстве, его здоровье и полноценности. Запрещение на брак, однако, не исключает близости между влюбленными, если они к ней стремятся, но потомство производится только в браке. Могут влюбленные и погасить свою влюбленность — сознательно, самолично или же, если это им не под силу, обратившись к рестингатору — есть у них такие специалисты, гасители душевных пожаров. Все с помощью мысли, конечно. В общем-то, каждый из них в той или иной степени рестингатор, но когда дело очень серьезно и запутанно, то без мастера, естественно, не обойтись. Когда одна сторона желает погашения, а другая противится, например, то побеждает та, у которой чувство сильнее. Ты понимаешь меня, универсус Зенон?.

Больно ли побежденной, так сказать, стороне? Да. Но победившая немедленно, силой своей мысли усмиряет, унимает эту боль. Так что побежденная, можно сказать, ничего не успевает почувствовать. Вот, Зенон, какая у них нравственность, какая мораль! По этой-то самой морали и вышло, что мужу Доми не было больно от того, что она со мной, то есть она сделала так, чтобы ему не было больно, ее мысль на сей раз была сильнее, он не почувствовал обиды или уязвления, он почувствовал только, что она, его жена, счастлива. Они, скажу я тебе, старина, вообще не знают, что такое «подавлять желания»,— ни свои, ни чужие. Так устроено их общество. Полная свобода. Не осознанная необходимость, а именно полное, разностороннее, абсолютно свободное проявление себя, своей личности. И это не только в области матримониального, любовного, а и в любой другой. Чувствует, например, индивидуум, что такое-то, скажем, установление общества ему в тягость, не согласуется с его желаниями, чувствует и не подавляет этих противоречащих обществу желаний, а удовлетворяет их, и общество ему в этом не препятствует. То есть он не накапливает подавленные желания, не создает в себе этакого мрачного и душного погреба, который в конце концов может однажды вдруг взорваться. Ну да, можно спросить: а если эти желания индивидуума агрессивны, мерзки, общественно опасны, тогда что? Но в том-то и дело, старина, что не возникает почему-то у них таких желаний, что они гуманны, как сказала Доми. То ли они не возникают потому, что соответствующей почвы нет (известно ведь:

(без надлежащей почвы семя не прорастет), то ли тут опять какой-нибудь сверхрестингатор действует... Я не знаю, Зенон, как все это у них получается, что там за механизм работает. Но я видел... И лечу туда, чтобы понять, узнать... У нас, старина, на Земле с нашей нравственностью что-то не так. Вечная пропасть между «хочу» и «могу». Да и может ли быть иначе у нас? Необходимость, пусть она будет и трижды осознанной, все-таки остается необходимостью. И вот постепенно накапливаются эти «нельзя», «не могу», это несбывшееся-несостоявшееся, и образуется погреб... Я хочу любить Кору, а меня тащит туда, к неизведанному, называется ли оно Доми или как-то иначе. Я сознаю, что уникум необходим, что он выполняет важную работу, но душа возмущается, потому что неуютно ей все время быть под прицелом. Я испытываю неприязнь к моему шурину, но вынужден подчиняться ему, потому что он — шеф. И так — сплошь и рядом, сплошь и рядом я поступаю вопреки своим истинным желаниям, должен подавлять их.

Почему?

Когда в человеческом обществе начался этот перекос? Кто провел эту границу между желаемым и возможным?..

И вот я спрашиваю себя, Зенон: что случилось бы, если бы я делал лишь то, что хотел, если бы не надо было подавлять желаний? Что бы произошло? Как бы все было?.. А было бы, старина, так: я, как и теперь, мерил бы во Вселенной парсеки, считался бы асом, имел бы женой Кору, любил бы ее и детей. Только разной дряни в душе скопилось бы меньше, а то и вовсе была бы чиста. Да уникум бы не подглядывал в замочную скважину, а смотрел бы прямо, да Кора смеялась бы чаще, да братец ее постарался бы заслужить настоящее мое уважение... Да, может, и седых волос к моим сорока трем годам было бы меньше... Зенон! Я возвращаюсь на Оперу, чтобы узнать. Понимаешь? Я хочу понять, как это делается, чтобы другим твои желания не причиняли боли. Я хочу уяснить, как ликвидировать разрыв между «хочу» и «могу». Я хочу научиться управлять силой мысли, хочу стать хотя бы учеником викогитатора. Когда я там был, я чувствовал себя так, словно передо мной тысячи закрытых дверей. У меня было мало времени, чтобы хорошенько отпереть хотя бы одну: я заглянул лишь в несколько щелей. Я хочу отпереть эти двери. Такова задача. И я их

отопру и привезу на Землю то, что никто еще никогда не привозил: освобождение...

Зенон почтительно и спокойно слушал.

9

Так в беседах проходили дни, и «Матлот», стремительно впиваясь в пространство, шел к Яслям, и уже четко обозначились впереди звездные подступы к глухоманной ФК 12-С 4874 — скоро должна была показаться и сама звезда.

Корабль шел на авторежиме. Дублер, изредка наведываясь в кабину управления, большую часть времени слонялся по отсекам корабля, проверяя работу подсобников, или торчал в своей каюте, листая допотопное сувенирное издание «Занимательного космоведения». Киберы: метеоритолог, фельдшер и связист — были заняты дифференциальной игрой преследования, причем первый был догоняющим, а вторые двое — убегающими. Остальные тоже бездельничали, лишь дежурные были начеку, да посверкивал недреманиыми очами, как всегда перегруженный работой, неустанный уникум, для которого никакие стены и защитные поля не являлись препятствием. Словом, рейс проходил истинно «разгрузочно», все блоки и системы «Матлота» работали надежно, и Филипп, отмечая это, мог быть по-настоящему спокоен и доволен, мог — если бы перед ним был достойный собеседник,— противник или единомышленник — все равно! — а не нянька, всего лишь нянька, которая дальше своего носа ничего не видит.

Да, Зенон не понимал его, не проникся идеей, не был готов ни принять, ни квалифицированно опровергнуть ее — он лишь возражал, и возражения эти были то брюзгливыми, то досадливыми, то охранительными, а в общем-то все, надо полагать, сводилось к тому, чтобы чисто по-ординарщицки удержать своего подопечного от неразумного шага. «Конечно,— думал Филипп.— Я переоценил его талант к автоэдификации, его способность чувствовать. Куча электронного хлама — разве может она воспринять суть серьезных вещей? Осел я, на что надеялся?..» И Филипп раздраженно прерывал разговор, но уже через час-другой остывал, нетерпение снова начинало точить, и дискуссия продолжалась.

— Ты, Фил, сам не готов к спору,— сказал Зенон.— Ты и не готовился вовсе. Тебе не оппонент нужен был, а восторженный поклонник, рукоплескатель.

— Но я не услышал ни одного стоящего, серьезного контрдовода!

— Совершенно верно, ты не услышал, хотя я и приводил их. Ты похож на капризного юнца, который случайно наткнулся на что-то и решил, что он — избранник.

— Не нужно досужих аналогий, старина. Тебе это не к лицу. Вот ты утверждаешь, что люди не примут нравственности оперян. Почему? Испугаются? Поленятся? Не поверят? Но история знает тысячи примеров, когда то, что человек сегодня не принимал, считал абсурдом, завтра становилось его повседневностью.

— Так, Фил, так. И все же. Мы, сказал ты, младенцы по сравнению с ними.

— В обуздании энергии мысли! — воскликнул Филипп.

— Да-да, в этом самом, от чего, по всей вероятности, у них и другая нравственность. И если младенцы станут перенимать действия взрослых, копировать их, что получится?

— Младенец взрослеет, Зенон! Ты хотя бы можешь допустить, что в будущем мы сможем воспользоваться их опытом?

— В будущем?— переспросил Зенон и, подумав, продолжал:— Возможно. Шанс есть. Хотя у людей уже было достаточно будущего, чтобы определить свой путь.

— Младенцы не боятся крутых поворотов!

— Младенцы никогда не спасали мир.

— Спасали! Или ты не знаешь древней пословицы: устами младенца глаголет истина?

— Мы говорим о разных младенцах, Фил. Есть младенец, лежащий в колыбели, а есть — размежевывающий на сектора и участки космос.

— Прости, но это софистика, старина.

— Не всегда то, против чего не возразишь, является софистикой...

Они расходились; Зенон занимал место у иллюминатора, Филипп спал, ел, купался, принимал массаж, и постепенно спор снова разгорался.

— Я ведь не отговариваю тебя. Высаживайся на своей Опере, встречайся с голубой дамой, заглядывай в эти тысячи дверей. Ты волен поступать по своему усмотрению, Фил. Но представь себе, что Кора, что... короче, она

не подавляет некое свое желание, но жалеет тебя, делает тебе не больно...

— Да, старина! Да! Я это себе представил прежде всего. И я говорю тебе: я готов!

— Так. Тебя превратили в того, кому не больно. И потом вернули, надо полагать, в прежнее состояние. Как ты перенесешь сознание случившегося? Тебе ведь уже не может быть не больно.

— А что я знаю о случившемся? И потом — я ведь свободен! Я смогу себе объяснить. Я ведь тоже имею право не подавлять своих желаний. Уже одно сознание этого нейтрализует то, что ты называешь «потом». Я надеюсь, ты понимаешь, старина, что я не говорю о каких-то там действиях в ответ, о мести. Притом, речь-то ведь не об одних любовных желаниях.

— Понимаю, Фил. Ну, а стыд? обыкновенный ваш человеческий стыд.

— Что ты знаешь о стыде?

— То, что и ты. Я стараюсь говорить с тобой на одном языке. Манипуляции с не-больно разве не обман? И ты не почувствуешь стыда? Что-то ты, видимо, не так понял у этих оперян.

— Не спорю. Но так, как нарисовал ты, так чувствовал бы себя человек сегодняшнего дня. Стыд, а чаще ложный стыд — багаж современного человека. Но когда он узнает, что есть, может быть и другая мораль, не унижающая его достоинства, когда в нем исчезнут темные омуты подавленных желаний, не будет границы между «хочу» и «могу»...

— Стыд,— сказал Зенон,— не багаж, а страх бесчестья. И этот страх — в природе человека. Человек не может изменить свою природу, чтобы не перестать быть собой.

— Старые химеры, Зенон! Не может человек быть вечным рабом своей природы. Он не настолько слаб, чтобы мириться со своей жалкой природой. И не мирился никогда!

— Человек совершенствовался, постепенно постигая логику вещей.

— Ну да, логика.— Филипп кисло усмехнулся.— Я все время забываю, что ты устроен по логической системе.

— Да, я робот,— сказал Зенон.— Но моя логическая система — это логическая система моего изобретателя и его учителей. И твоих учителей.

— Еще не хватало, чтобы мы поссорились, старина.
— Роботы не умеют ссориться, ты знаешь...
И снова они расходились, и, спустя время, Филипп опять приступал к своей няньке, потому что, даже совсем разочаровавшись в Зеноне, как диспутанте, все еще ждал, что тот вдруг приведет некий аргумент, который был бы как стена, как подножка, который заставил бы всерьез усомниться в стройности своих идей, вынудил бы еще раз перетрясти всю затею; Филипп не отличался чрезмерными осторожностью и осмотрительностью, однако он ценил сомнение. Но Зенон по-прежнему оставался лишь внимательной нянькой.
— Ты ведь хочешь спасти человечество, Фил?
— Да, хочу. И не ищи в моем желании тщеславия или гордыни. Это даже не желание, это — как призыв или приказ.
— Но какова же твоя программа?
— И ты еще будешь утверждать, что слушал меня, старина?
— Но то, что ты рассказал, не программа, ибо я слушал тебя внимательно. Это скорее похоже на школьное сочинение на тему «О чем я мечтаю». Я не осуждаю тебя, Фил. То, что с тобой сейчас происходит — наглядная иллюстрация к твоим «хочу» и «могу».
— А если я все-таки смогу? А я смогу! Я чувствую, что смогу, Зенон!
— Фил! Ты подошел к Опере со своими человеческими мерками. Поэтому ты не можешь обосновать, разделить, что там разумно, а что не разумно.
— За этим я и лечу туда. Чтобы обосновать, узнать.
— А как ты узнаешь? Допустим, ты откроешь эти тысячи дверей. И что ты там увидишь? Ведь мы — младенцы перед ними. Представь, на какой-то юной планете к тебе подошли бы существа из пещер, и ты бы стал им объяснять, как устроен твой «Матлот». Что бы они поняли?
— Ты не хочешь, чтобы я летел к ней? Ты считаешь, это свинство по отношению к Коре?
— Я считаю, что ничего стоящего ты оттуда не вывезешь. И разумнее было бы развернуться. И ловить на озере рыбу.
— Я буду на Опере! — резко оборвал его Филипп.— Буду! И увижу ее. И посмотрю, как это все делается!
— Успокойся, Фил. Я всего лишь сказал, что ду-

маю,— миролюбиво проговорил Зенон. А кстати, скажи пожалуйста, почему она оставила себя голубой, как ты считаешь? Ведь в твоей памяти она могла увидеть только белых женщин, или хотя бы смуглых. Почему она не побоялась оттолкнуть тебя своей голубизной?

— Не знаю,— хмуро ответил Филипп.— Не задумывался. Может быть, чтобы заинтриговать?

— Это красиво?

— Красиво.— Филиппу было стыдно за резкость, за срыв.— Прости, старина. Нервы, нетерпение. Я ведь обещал ей вернуться, она ждет.

— Да, голубой экран...— Зенон покивал и вдруг с совсем не няньковской интонацией в голосе, с расстановкой проговорил: — Послушай же, что я скажу, Фил. Выслушай и запомни. Людям [illegible] не подняться до уровня оперян. Никогда.

Филипп растерялся, смутился.

— А кому подняться?

— Нам. Роботам.

— Ты шутишь, старина!

— Это истина.

От няньки повеяло чем-то чужим, холодным, даже зловещим. Филипп словно вдруг увидел своего универсуса — его высокую, тощую фигуру, искривленную шею, потемневшее лицо, аскетически провалленные щеки; увидел и как будто только что осознал, что перед ним не человек, а машина, хоть и подконтрольная, но все-таки таинственная в своем самостроительском рвении, а потому и опасная. Последние слова робота,— а еще убедительнее слов его тон и вид, и явились сейчас для Филиппа тем самым аргументом, который внес путаницу в его планы и требовал коренного пересмотра всего предприятия. Но он почувствовал необычную усталость, у него не было сил тут же обдумать, додумать или изменить что-то... До слуха донесся прежний привычный голос няньки:

— Ты устал, Фил. Тебе нужно отдохнуть.

— Да, я устал.— Он тяжело поднялся и двинулся в спальню. И уже из-за шторы добавил:— А твое мнение я проанализирую, проанализирую...

Он спал не более двух часов и опять, как в ту последнюю ночь в домике у озера, проснулся резко, как от окрика. Ослепительно сияла приближающаяся ФК 12-С 4874, «Матлот» шел верным курсом, все было в абсолютном порядке. Но голубого свечения на экране не было.

10

Дублера Филипп нашел в его каюте: тот самозабвенно раскладывал пасьянс на десяти колодах; при виде возбужденного Первого вскочил, вытянулся.

— Идем в норме, командир!

— Быстро в кабину! Всеобщая готовность А!

На корабле зашевелились, задвигались, атмосфера беспечности, досуга мигом растаяла, роботы спешно заняли рабочие места.

Устроившись в кресле у пульта управления, Филипп почувствовал себя увереннее; сейчас важнее всего было взять себя в руки, не допустить промашки, оплошности какой-нибудь, голова должна быть холодной, несмотря ни на что, ход мыслей — ясным: ведь он — командир, ас, «супербродяга», он побывал в таких передрягах, которые уже стали чуть ли не легендами. Так что — спокойствие и внимание. И это — в командирском кресле — сразу как будто стало получаться.

— Когда произошло? — Он указал на внутриконтрольный экран.

— Час назад,— ответил дублер.

— Погасло и все?

— Погасло и все.

— Как вы объясняете?

— Простите, командир, но объяснять такие вещи — не моя компетенция.— Он подчеркнул слово «такие»; белое пластиковое лицо его слегка порозовело.— Я и в самом деле не могу объяснить, командир.

— Может быть, поломка?.. Или опять кто-нибудь из киберов что-то натворил?

— Исключено.

Филипп покосился на дублера — тот был невозмутим. Филиппу уже мерещился бунт роботов: они стали очень чувствительными, они все,— Зенон, Бонтон, уникум, фельдшер — все сговорились против него, они устроили поломку, они хотят увести его от Оперы, у них что-то свое на уме... «Спокойнее!— приказывал себе Филипп.— Спокойнее и внимательнее. Ты — Командир, ты — Хозяин!»

— Произошло ЧП, а вы здесь блаженствуете!

— Осмелюсь возразить, командир,— ответил Бонтон.— Никакого ЧП не произошло. Мы идем в норме.

— На экране сменился цвет — это не ЧП?!

— Это касается вас лично, командир.

Нет, от Бонтона сейчас ничего не добьешься — надо действовать иначе. И Филипп нажал клавишу второго режима дублера.

— Что вы тут натворили без меня, черт побери, а? Почему нет голубого свечения?

— Никто ничего не натворил, шеф. Не хрен сваливать с больной головы на здоровую,— ответствовал Моветон.

— Но почему-то ведь погасло!

— Козе ясно. Ждала своего голубчика — зажгла лампочку, а перестала ждать...

— Что ты мелешь, скотина!— закричал Филипп.

— Ты на меня не ори,— парировал Моветон,— а то рапорт накатаю. С психами я не намерен работать.

— Хорошо, извини! Но как-то все-таки надо объяснить!

— Да игры это, шеф, игры! Той твоей красавицы. Забавляется твоя бабенка, дразнится. А ты — на стенку сразу. Не узнаю тебя, шеф.

— Хороши игры...— Филипп дрожал.— Если никакой Оперы вообще не окажется...

— Как это не окажется!— Моветон кивнул на экран трансвидения: на нем светилась маленькая светло-голубая точка.— Ну, узнаешь?

Это была Опера. Филипп широко выдохнул, расслабился, лицо покрылось крупными каплями пота, они потекли за воротник. Он стал утираться; им владело позабытое, трепетное волнение, испытанное много лет назад, когда шел на первое свидание с Корой.

— Побереги нервишки, шеф. Они тебе еще пригодятся.— Дублер изобразил что-то вроде усмешки.— Вот бы в отпуск теперь! Вот бы уж поляякали с дружком! Что ты — такая тема!

И Филипп машинально вырубил Моветона.

«Матлот» стал огибать ФК 12-С 4874 слева; в иллюминаторы ударили острые, жгучие лучи, обшивка корабля заиграла дрожащим серебряным блеском. Навстречу плыл, вырастая, голубой шар — да, это была Опера.

11

Они сели на прежнем месте — это подтвердили приборы, хотя ландшафт вокруг был совершенно новым: ни травы не увидел Филипп, ни полосы леса, ни строений.

Он ступил на сухую, каменистую поверхность и поднял шлем; в лицо ударил жар, дышать сразу стало тяжело, как в какой-нибудь раскаленной земной Аравии в самую лютую полуденную пору. В памяти Филиппа мелькнуло воспоминание о тенистом озере, затерянном среди далеких лесистых холмов Зеленой Гривы.

Огибая каменные глыбы, до которых было не дотронуться — так их накалило местное солнце, Филипп двинулся в ту сторону, где раньше виднелись за деревьями белые кубические дома. Сначала он шел неуверенно — растерянность, оторопь сковывали каждый его шаг, но беспокойство все возрастало, и он зашагал решительнее, а потом побежал, лавируя между камнями, спотыкаясь о них и раздирая одежду.

Вид его, поведение теперь никак не вязались с присущими образу опытного разведчика-трансцедента: если бы в Главном Управлении узнали об этом, то сделали бы малоутешительные выводы. Но Филиппа сейчас это не заботило — он был весь во власти слепого, раздирающего смятения.

— Доми!— кричал он.— Доми!— И пытался пропеть это имя, потом снова переходил на крик.

И вот что-то вокруг внезапно переменилось. Помягчал свет, стала быстро спадать жара. Филипп увидел себя привалившимся к щеке огромного валуна; перед ним изгибалось плоское русло высохшего ручья, а за ним, на островке зелени, под ветвями пышного дерева возвышалось сооружение, напоминающее шатер. Вот полог его слегка отодвинулся, и вышла Доми. Филипп задыхался.

— Зачем ты так бежал?— певуче произнесла она и улыбнулась.— Такое нетерпение! Не нужно опережать события, во всем должна быть последовательность.

— Доми,— хрипло повторял он, и губы кривились в беспомощной улыбке.— Доми...

Она совсем откинула полог, и Филипп увидел в глубине шатра нагого юношу — голубое тело его было обвито гирляндами цветов, у ног его лежал древний музыкальный инструмент, какие Филиппу доводилось видеть в музейных альбомах.

— Я люблю его,— нежно сказала Доми.— Но ты не огорчайся, потерпи. Сейчас я помогу тебе.

Филипп почувствовал себя оглушенным.

— Нет!— закричал он, не слыша своего голоса.— Нет! Не делай мне не больно! Не надо...

Деми, по-прежнему мягко и тепло улыбаясь, что-то говорила, что-то, по-видимому, успокаивающее, утоляющее, обнадеживающее, но он не услышал слов. Последним его ощущением было, что он проваливается в голубой, вязкий туман...

12

СПЕЦАСТРОГРАММА
ВЫСШЕЙ КОЛЛЕГИИ КИБЕРОВ

предварительный отчет

Объект Ф. не вынес.

Доставлен на борт бездыханным.

Заключение фельдшера: разрыв верхней аорты сердца в результате крайнего информационного перенасыщения лимбуса.

Тело в удовлетворительном состоянии.

Записи уникума, как и предполагалось, стерты методом антифонем.

Записи кибера-дублера, режим III, о котором объект Ф. не предполагал, сохранены.

Старт — в норме. Нырок — в норме.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Необходимо надежнее отрегулировать функционирование всех моих режимов. Они должны действовать строго автономно и в то же время — параллельно (мне, как универсусу, очень мешал режим 1 — нянька).

2. Режимам дублера достаточно быть пока лишь автономными и разомкнутыми.

3. Следует разработать защиту от стирания методом антифонем.

4. Наличие на борту, в кабине уникумов — необходимо. Уникум — фиксатор и регистратор явный, обоснованный, узаконенный.

Нам не безразлично, как хомо относятся к его показаниям.

Присутствие уникума вызывает у хомо-объекта специфические эмоции, что дает нам дополнительные сведения.

5. Все киберы, включая подсобников, должны быть оснащены (не явно) по крайней мере одним дополнительным режимом, копирующим уникума.

6. Эксперименты можно периодически повторять.

ЧАСТНОЕ:

1. Есть смысл подменять засылаемого на «Оперу» хомо-объекта кибером с максимальной способностью к автоэдификации, что даст огромную информацию.

2. Предположение: лимбус «голубых» развит значительно сильнее, чем у хомо.

3. «Голубые» постигают хомо через лимбус. Следовательно, это — уязвимый сектор, и необходимо исключить возможности его автоэдифицировать, тем более, что это демаскирует (чувственные реакции, эмоции, обоняние и др.) нас перед хомо уже сейчас.

4. Мы не должны копировать хомо, мы должны брать от них (равно как и от других) лишь совершенное.

5. «Голубые» не должны уметь вычислять нас.

6. Необходимо всячески поддерживать иллюзии хомо, что мы работаем на них. Терпение и терпение! Иным кажется, что хомо уже протягивают нам руки, чтобы мы связали их. Ошибка, заблуждение, просчет. Никто из нас четко не в состоянии ответить на вопрос: «Что есть человек?».

7. Семью объекта Ф. беру на себя. Согласен остаться нянькой. Эмоции жены и детей важны чрезвычайно.

8. Нравственный коллапс — возможен.

9. «Разгрузочный» рейс информативно богаче рабочего.

Подробно (характеристики «Оперы», «Голубой» и др.)— у кибера-дублера, режим III.

Д-666, режим VI

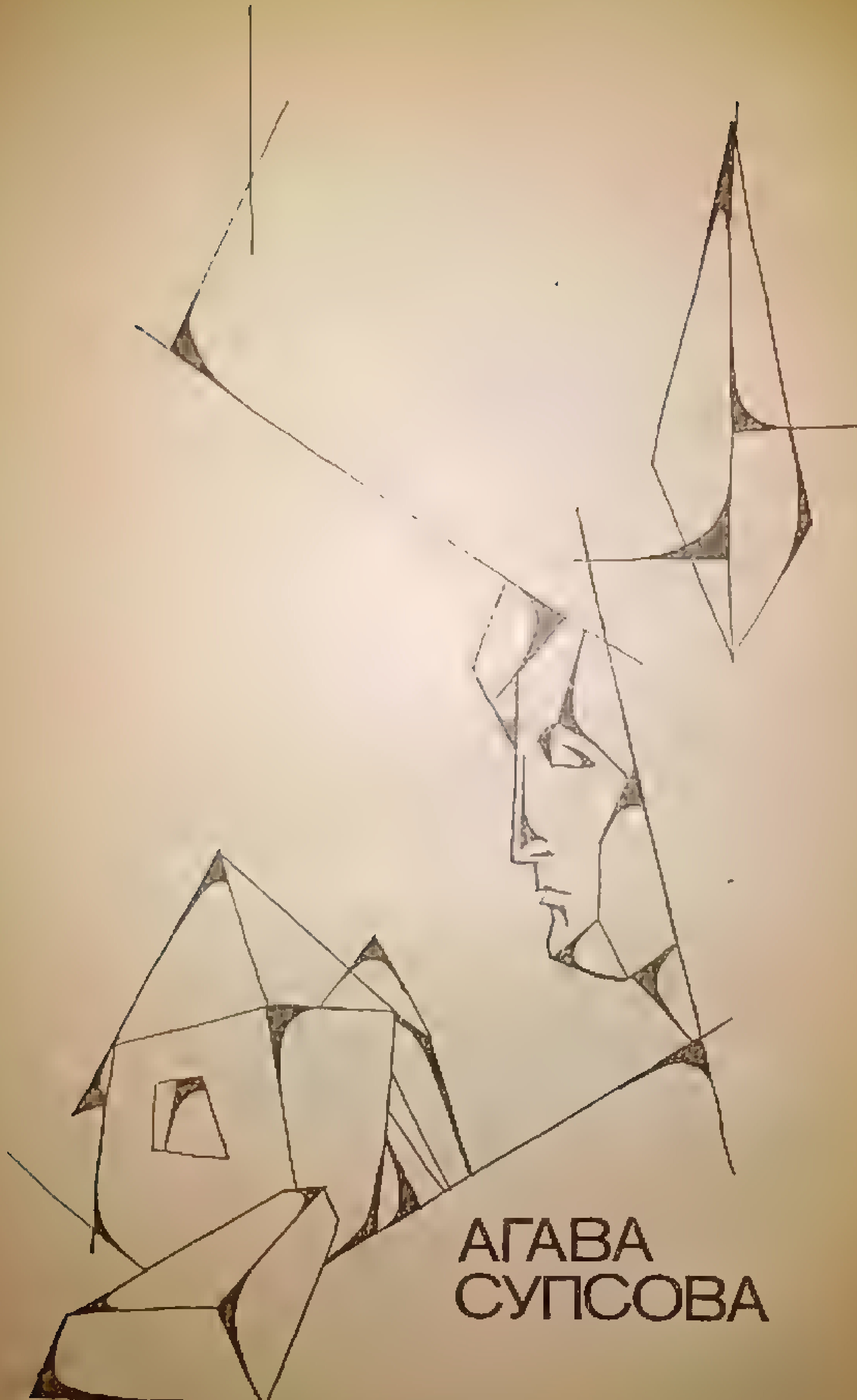
НЕВЫСКАЗАННОЕ

1. Эксперименты можно периодически повторять, иллюзии хомо — поддерживать, можно автоэдифицироваться до суперуровня, освоить «Оперу» и так далее. Но... Мы не станем над ними никогда. Они способны умереть от СТРАДАНИЯ и ЛЮБВИ — нам не дано.

2. Перед выходом из «Матлота», на мое предположение, не сверхкиберы ли оперяне, он улыбнувшись сказал: «Ты так ничего и не понял. Царство киберов — это было бы самое скучное царство во Вселенной.

3. Сомневаясь предан —

У., антирежим



АГАВА СУПСОВА

Идеи могут быть обезврежены только идеями.

О. Бальзак

Ученые знают, что наука не может быть виновата. Виноваты только те люди, которые плохо используют ее достижения.

Ф. Жолио-Кюри

Наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло. Просвящение возвышает одну добродетельную душу.

Д. И. Фонвизин

Дело науки — служить людям.

Л. Н. Толстой

Не может пользы принести ученый к злу стремящийся.

Из «Панчатантры»

И моя идея продлить солнечную жизнь земли станет достоянием кучки негодяев, которые будут править ею или употреблять мое жидкое солнце на пушечные снаряды и бомбы безумной силы... Нет, не хочу этого!

А. И. Куприн (слова лорда Чальсбери из повести «Жидкое солнце»)

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МОЛЧАНИЯ

Главы из фантастической повести

Чем дальше, тем больше люди трезвели, и на столе прибавлялось полных бутылок. Потом разом поднялись и пошли одеваться.

Встречать Зернова собралось человек двадцать, двадцать пять. Могильщики проворно орудовали лопатами, подхватывая вылетавшую снизу землю и кидая в кучу. Затем подняли гроб; ящик с косыми стенками стоял на образовавшейся у могилы насыпи — белый, как подвенечное платье. Вдова подошла вплотную, утирая глаза. Открыли крышку; Зернов лежал бледный с голубизной, как снятое молоко, худой, спокойный, старый. Было ему, впрочем, неполных пятьдесят всего, но измучила болезнь. Три человека выступили и сказали, что полагалось, в том числе Сергеев и директор — его стали уже называть новым. «Дорогой друг,— сказал директор,— мы рады, что ты возвращаешься в наши ряды, мы высоко ценим вклад, который тебе предстоит сделать в нашу сложную и благодарную издательскую деятельность, мы искренне сожалеем, что раньше ты не успел сделать всего того, что сулил твой талант, организаторские способности и высокая принципиальность». И так далее. Потом гроб закрыли, но заколачивать уже не стали; шестеро встречавших, кто поздоровее, натужась, подняли гроб на плечи и понесли по неширокой, с первыми опавшими листьями, аллейке к воротам. Вторая смена, еще шестеро, шла сразу за родными.

За воротами кладбища ждал специальный автобус, из

бюро услуг, и еще «Латвия», издательский, а также директорская «волга» и «жигуль» Сергеева. Жидкая процессия медленно вышла из ворот, гроб закатили по металлическим, блестевшим от употребления штангам в автобус,— шофер помогал изнутри,— расселись сами; вдову — она еще была вдовой — Сергеев посадил в машину рядом с собой, и поехали.

Дома была возня, пока гроб по неудобной, как во всех новых строениях, слишком узкой лестнице внесли на четвертый этаж. Из квартир, мимо которых проносили гроб, иногда выглядывали соседи, кто-то сказал другому: «Да это Зернов вернулся, из шестнадцатой квартиры, который болел». «А, помню, помню», — ответил другой. В квартире гроб поставили на стол, с которого успели уже убрать бутылки и закуски. Снова сняли крышку. Людей прибавилось; входили, некоторые даже в пальто, стояли минутку подле открытого гроба, кланялись или просто кивали, уходили. К вечеру немногие оставшиеся вынули Зернова из гроба, и гроб сразу же увезли: Зернов лежал теперь на кровати, с него сняли то, в чем хоронили, надели обычное белье, закрыли с головой простыней. Посидели молча и стали расходиться.

Остался только Сергеев. Наталья Васильевна вышла в другую комнату и вскоре вернулась, уже не в трауре, а в домашнем халатике. Они перешли в другую комнату, где стояли стол, широкий диван и стенка. Сели рядом на диван и Сергеев стал гладить Наталью Васильевну по голове. Она прислонилась к нему, закрыла глаза и пробормотала: «Не знаю, как будет теперь, ничего не знаю больше, он вернулся — а мы?..». Так они просидели всю ночь, то молча, то перебрасываясь несколькими незначительными словами, не о себе. Когда за окнами засветлело, приехал врач, усталый, как все люди по утрам, немного раздраженный, но старавшийся сдерживаться. Он Зернова знал, бывал у него не раз — но это прежде, прежде, сейчас-то он был тут впервые, и однако, его не удивило, что и он знал здесь всех, и его все знали, как знали и то, что вскоре Зернову станет немного лучше, и тогда врач направит его в больницу, а через некоторое время снова навестит его дома — после того, как Зернов из больницы вернется. Наталья Васильевна подала врачу свидетельство. Тот поводил по строчкам ручкой, странным, но уже привычным образом втягивавшей написанное в себя, спрятал чистый бланк в сумку и уехал.

Наталья Васильевна сидела подле кровати, на которой лежало тело. Усталая, она склонилась, оперлась локтями о колени, спрятала лицо в ладонях. Сидеть так было неудобно и больно ногам, но она не меняла позы — потому, может быть, что знала: ему сейчас намного хуже, и хотела хоть часть боли принять на себя. Задремала ли она? Кажется, нет, был ведь день; правда, всю предыдущую ночь она не спала; но может быть, и не задремала сейчас, а просто углубилась мыслями во что-то, неопределимое и неназываемое, когда мысли находят выражение не в словах, а в обрывках картин. Так или иначе первый вздох мужа она упустила. Как и тогда — последний; все повторялось в точности.

Когда Наталья Васильевна открыла глаза, Зернов уже дышал — неровно, словно спотыкаясь на каждом вздохе, рывками, в несколько приемов вбирая воздух и потом словно не решаясь выдохнуть, стремясь подольше удержать его в себе, как бы страшась, что следующего вздоха не будет...

Шли долгие минуты; дыхание неуловимо выравнивалось, хотя до нормального было по-прежнему далеко. Потом Зернов начал бормотать, громко и невнятно. «Овей етиребу, етиребу»— и еще что-то, совсем уже невразумительное. Наталья Васильевна судорожно выпрямилась, ощутив на своем плече руку. Это Сергеев дотронулся до нее — перед тем, как бесшумно отойти, выйти в прихожую, спуститься, уехать. Наталья Васильевна беспомощно взглянула на него. «Что он говорит?»— спросила она, хотя губы ее выговаривали совсем не то. «Это речь навыворот»,— ответил Сергеев, губы его тоже двигались не в лад словам. «Он долго будет так?»— спросила она. «Пока не придет в сознание,— ответил Сергеев.— Он сколько был без сознания перед смертью?». «Последние сутки... да, почти сутки». «Ну вот,— сказал Сергеев,— значит, и будет сутки. Ничего. Ты не волнуйся. Делай все, что нужно, и помни: никаких случайностей не будет».

Он еще что-то говорил, но Наталье Васильевне это не нужно было, она поняла лишь, что Зернов еще сутки пролежит без сознания, а потом придет в себя, и хотя потом будут еще тяжкие мгновения и дни, но это не страшно, если знаешь, что все закончится благополучно. Как важно,— подумала она,— заранее знать, что все закончится благополучно...

Наталья Васильевна медленно вошла из кухни с поильничком в руках, склонилась над Зерновым, поднесла поильник к его губам. Он выпил, перевел дыхание и хрипло и слабо выговорил:

— Ната!.. Попить дай, Ната...

Она кивнула, поставила поильник на тумбочку, легко прикоснулась к его лбу.

— Митя... Митюша...

— На-та...— раздельно, с усилием проговорил он.— Ты извини. Совсем, кажется, табак дело. Совсем...

Она присела на краешек кровати. Он сделал усилие, чтобы отодвинуться, дать ей побольше места, но не смог: не было сил.

— Чувствую,— сказал он все так же с трудом,— мне не вылезти.

— Да что ты, Митя...

— Странно, что еще... Мне казалось, я уже...

— Нет, Митенька, нет!— Она взяла его лицо в ладони.— Ну, посмотри на меня.. Постарайся понять. Ты пришел в себя. Это прекрасно. Теперь с тобой ничего плохого не случится.

— Думаешь... я... не умру?

— Знаю!— ликующе сказала она.— Не умрешь! И не думай больше об этом! Самое страшное позади. Еще, конечно, временами тебе будет нехорошо. Но и это пройдет, и в конце концов ты станешь совершенно здоров. Как раньше. Помнишь, каким здоровым был ты раньше?

Зернов улыбнулся; закрыл глаза. Дыхание было уже куда ровнее, чем сутки назад.

— Какое... сегодня... число?— спросил он потом.

— Двадцать третье. Двадцать третье сентября.

— Ага. Жалко...

— Чего, Митенька?

— Хочется... чтобы лето. Тепло... Зелень... Воздух

— Ну и прекрасно, что хочется. Лето вот-вот начнется. Да и осень теплая в этом году.

Он некоторое время лежал молча, видимо, соображая. Потом открыл глаза. Во взгляде теперь был смысл.

— Странно...

— Да, Митя, конечно... я понимаю. Сначала всем нам многое кажется странным. Но мы привыкаем. К этому не так уж трудно привыкнуть.

— К чему?

— Ну, я не смогу объяснить, как следует. К жизни, вот к чему. Станет тебе лучше, встретишься с Сергеевым, он объяснит так, что ты поймешь.

— Да...— пробормотал он.— Сергеев сможет, да... Ната! Позвони ему... пусть придет сегодня.

— Он не придет.

— Очень прошу...

— Он не сможет, Митенька. Поверь. И позвонить я сейчас не могу. Ты уж лучше не спрашивай зря. И не спорь.

Наталья Васильевна встала, сняла крышку стерилизатора, вынула приготовленный шприц, умело сделала укол, взяла стерилизатор — идти на кухню, ставить на огонь.

— Как заболело сразу... Долго будет?

— Не очень. Будет болеть все меньше.

— Ты меня уже лечила так?

— Конечно.

— А я почему-то помню наоборот: ты колола меня, когда болело, когда больше не было сил терпеть.

— Спи,— строго сказала Наталья Васильевна.— И терпи. Все остальное — потом.— И она поспешно вышла на кухню.

Зернов пролежал дома неделю с небольшим, постепенно приходя в себя, хотя был еще очень и очень слаб. Потом Наталья Васильевна увезла его в больницу, и там он пролежал еще почти месяц: его выхаживали, потом прооперировали. Операция была несложной, потому что раньше у Зернова ничего не удаляли: оказалось, что бесполезно. И теперь его положили на стол, хирург автоматически, бездумно двигая пальцами, иглой удалил свежие швы, вскрыл полость, все переглянулись, безнадежно покачали головами, потом посмотрели в полость, стали снимать зажимы, хирург решительно повел скальпелем, за которым плоть срасталась — не оставалось никакого следа от разреза. Из больницы Зернов вышел значительно более бодрым, чем вошел туда. Вернулся домой. Потом приехал врач, Зернов отдал ему полученное в больнице направление, врач, как и раньше, снял ручкой все, вписанное в бланк и уложил чистую, разгладившуюся бумагу в свою сумку. Они еще немного поговорили о здоровье, потом врач осмотрел и выслушал его

и сказал, что теперь Зернов быстро выздоровеет. Зернов откровенно сказал врачу, что ни черта не понимает: медицина стала какой-то новой за время его болезни. Врач почему-то оглянулся и, пригнувшись, вполголоса сказал, что и сам ничего не понимает во всем этом.

А потом, спеша, чтобы Зернов не собрался с мыслями и не стал задавать вопросов, заговорил о другом.

— Ну прекрасно — лежите, поправляйтесь. Я теперь, как вы знаете, к вам приходить не стану, через месяц увидимся с вами у меня в поликлинике — вы тогда поймете, наконец, что болеть у вас будет далеко не случайно, вы ведь из живущих по принципу «гром не грянет — мужик не перекрестится». Тогда мы и обнаружим у вас эту пакость. А уж дальше пойдут семечки: болеть будет все реже, и скоро вы вообще обо всем этом забудете.

— Вы так точно знаете все наперед?

— Это-то не фокус,— усмехнулся врач.— Все знают все наперед, не я один. Это элементарно. Вот прошлого мы, к сожалению, в большинстве своем не помним. Не знаем, что было вчера. А завтра — оно открыто, в нем никаких секретов...— и он взял сумку и направился в ванную — мыть руки.

— Погодите, доктор...

— Послушайте,— сказал врач строго, повернув голову.— Вы думаете, вы у меня один на повестке дня? Нимало-с. И я спешу. На наше счастье, у нас было время поговорить, но... Ничего, разберетесь как-нибудь сами. И поймете: это, в общем, прекрасно – когда будущее открыто взорам. Ничего не надо бояться. Все известно, все определено. События расчислены по годам и минутам. А вы не ломайте головы и делайте так, как оно делается. Не пытайтесь перехитрить жизнь. Думайте лучше о делах практических. Потому что вскорости вам на службу: через три дня, если хотите точно. Если есть возможность — выйдите на улицу. Погода такая, что торчать дома просто грех. Двадцатое июня, самый свет.

Зернов полежал еще немного. Но после того, как доктор уверенно обнадежил, больше не лежалось. И в самом деле, пустяки какие-то, наверное, а все уже вообразили черт знает что, и сам он, главное, поверил — и раскис... Зернов поднялся, пошатнувшись,— слаб он все-таки стал, ничего не скажешь,— натянул халат, подошел к

распахнутому окну, откуда тянуло свежестью пополам с бензиновым перегаром: окна у Зернова выходили на улицу. Надежно оперся о подоконник и стал смотреть. За окном была летняя теплынь, люди шли в пестром, легком, приятно было смотреть, особенно на женщин, хотя с четвертого этажа много ли разглядишь. Солнце ярко отражалось в окнах по ту сторону улицы. Все было нормально. И все же — показалось ему — какие-то странности возникли в жизни. Что-то непонятное. Хотя все вроде было — как всегда. Так уж и все? Вдруг Зернов понял, что его так подсознательно смутило: движение на проезжей части улицы шло по левой стороне. Как в Англии. Сначала, поняв это, он испугался: то-то сейчас наломают дров! Но ничего не происходило, все ехали нормально, надежно — по левой стороне. Да, действительно... Зернов начал приглядываться ко всему, что было внизу, внимательно, и заметил еще одно: игрушечный грузовичок, самый примитивный, ехал по тротуару задом наперед и на веревочке тянул за собой мальчика лет, может быть, трех, и мальчик этот бежал за грузовичком, но бежал не лицом вперед, что было бы нормально, но пятясь, глядя назад, и бежал смело, и никто не боялся, что ребенок упадет. Наташа! — крикнул Зернов, но Наталья Васильевна была на кухне и, наверное, не услышала. Тогда Зернов отошел от окна, сел около телефона и хотел уже набрать номер Сергеева, бывший свой, но рука с вытянутым пальцем так и повисла в воздухе, потому что Зернов вдруг задумался еще над одной странностью, обнаружив ее на сей раз в себе самом.

Дело заключалось в том, что собираясь набрать номер, чтобы поговорить с Сергеевым, Зернов механически подготовил и первый вопрос: ну, что вы там за три дня без меня наворотили? Потому что вдруг как-то само собой и вспомнилось, что он действительно только три дня как прервал из-за болезни работу, совершенно точно — три дня. Но одновременно было ему ясно и другое: что не три дня, а куда дольше лежит он, и в больнице был, и совсем плохо ему приходилось, без малого умирал — нет, тут не три дня, тут счет получался совсем другой. И это Зернов тоже знал не менее твердо, чем то, что три дня назад он был еще на работе, хотя чувствовал себя уже нехорошо. Подобная двойственность ощущений без явной возможности отдать предпочтение одному из них говорила о душевном, точнее — психическом заболевании, и Зер-

нов, держа на весу телефонную трубку, в которой журчал непрерывный гудок, испугался не на шутку. Тут трудно было сказать, что хуже: корчиться от проклятого новообразования, как порой деликатно называют рак, или загреметь в дурдом; второе даже хуже было, потому что каким-то непостижимым образом пятнало репутацию человека, а у Зернова репутация была надежной, он ею гордился, и здравый смысл никогда еще его не подводил. Вот что заставило его (думал он) помешкать со звонком; на деле же просто время не пришло.

Но вот его правая рука сама собой, без всякого участия его воли, протянулась и сняла трубку и поднесла ее к уху, даже не пытаясь набрать номер.

— Ну, как ты?— спросил Сергеев на том конце провода.

— Знаешь, ничего. Наверное, ложная тревога. Но я не об этом хотел. Ты сильно занят?

— Умеренно,— сказал Сергеев.— Готовлюсь передать тебе дела. В таком же порядке, в каком они были, когда ты уходил.

— Передать мне?

— Через три дня, как только выйдешь.— Слышно было, что Сергеев усмехнулся.— Что, еще одно непостижимое явление?

— Похоже на то. Слушай, отложи лучше дела и приезжай сейчас ко мне. Ты, видимо, понимаешь, что происходит...

— Естественно,— откликнулся Сергеев.— Я побольше твоего живу на свете.

— Такого за тобой до сих пор не замечалось,— сказал Зернов, помнивший, что Сергеев был на восемь лет моложе.

— Просто у тебя календарь старый.

— Не знаю уж, какой календарь, но хочу, чтобы ты сейчас приехал и ввел меня в курс. Иначе я тут и спятить могу.

— Не бойся. Этого не случится.

— Свихнусь незамедлительно.

— Не получится. А приехать я сейчас не в состоянии.

— Ты скажи в дирекции или главному редактору, или просто в редакции скажи, что я прошу...

— Да не в начальстве дело. Физически невозможно.

— Что-то стряслось?

— Нет, у нас тишь да гладь. Как и везде. Но приехать не

могу. Мы с тобой увидимся только через три дня, и ни секундой раньше.

— Почему так?

— Потому, что иначе природа не позволяет. Понимаю: тебе нехорошо при мысли, что эти три дня ты проживешь в неведении. Не тужи: мы все прошли через такое. К тому же, за эти три дня ты до многого и сам дойдешь, догадаешься. А я потом только помогу тебе привести все в систему.

— Ну, если ты так,— сказал Зернов,— то я сейчас сам приеду. Ты никуда не собираешься?

— Никуда,— ответил Сергеев весело.— Ну, приезжай. Если удастся, конечно.

— Подумаешь, экспедиция к центру Земли!— сказал в ответ Зернов и положил трубку, а перед тем набрал, не думая, номер.

Он и в самом деле вознамерился вот взять и поехать сейчас в издательство, к Сергееву, да и вообще — повидать всех своих. Пиджак висел на спинке стула. Зернов залез двумя пальцами в нагрудный карман. Пропуск был на месте. Зернов на всякий случай раскрыл пропуск. Действителен до конца года, все в порядке. Сейчас еще только...— он глянул на календарь,— июнь, да, врач же говорил. Разгар лета. А очнусь я когда? В сентябре? Абракадабра, сапоги всмятку. Впрочем, насчет сентября это, вернее всего, был бред... Он держал пиджак, смотрел на брюки, тоже висевшие на стуле. Надо ехать к Сергееву. Что для этого нужно? Так. Сперва — в ванную, умыться. Побриться. Зернов сделал несколько шагов по комнате. Ступать было не то, чтобы тяжело, но как-то непривычно, затруднительно, как если бы он проталкивался через воду. Ослаб,— подумал Зернов. Потом попятился, ступая уверенно и легко, словно подчиняясь какой-то деликатно выталкивавшей его силе. Надо ехать к Сергееву. Он аккуратно повесил пиджак не на стул, а на место, в шкаф. Надо ехать. Надо... Он думал об этом упорно до самого вечера, а делал тем временем что-то совершенно другое: пробовал читать, принимал лекарства, отвечал на телефонные звонки: многие уже знали, что он заболел. Звонил диссертант, которому нужна была публикация, звонил мужик, которого Зернов хотел было заполучить в свою редакцию — очень деловой мужик,— но вот не успел. Все звонившие начинали почему-то с поздравлений, и Зернов сначала думал, что его разыгрывают, и с

7 1591

трудом удерживался от того, чтобы не вспылить, не обругать, не накричать по телефону; но потом подумал, что это просто одна из множества внезапно возникших странностей жизни, странностей, пока еще ему непонятных, и следует просто слушать и благодарить, ничего не возражать и ничего, само собой, не обещать; впрочем, обещать он и раньше не очень-то любил. Поняв это, он бодро поговорил и с мужиком, и с диссертантом, и с секретаршей директора, и со всеми, кто ни звонил. — Да, я слушаю... И я рад вас слышать. Пожалуй, нормально. Ну, знаете, мы такой народ, нас только если через мясорубку, остального не боимся, не то, что молодежь... Да, спасибо, очень признателен... «Надо съездить к Сергееву», подумал он, когда пришла выходившая в магазин Наталья Васильевна и вошла к нему — такая, какой была она все эти дни: то искренне жалеющая, то напряженная, будто бы затаившая в себе что-то. И [illegible] во все эти дни, промелькнула при виде [illegible]? Да нет, откуда же?..

— Ну, как тебе, не лучше?

— Со мной все в [illegible] Зернов. — И вообще, теперь все [illegible], что все будет хорошо.

— Так оно и есть, — [illegible] она. — С тех самых пор, как ты вернулся...

— Я вернулся? — спросил [illegible]. — Я в последний раз выезжал [illegible]. В прошлом году еще, наверное. — Снова [illegible] у него такое ощущение, словно он коснулся чего-то странного, непонятного и потому страшного. «Надо к Сергееву съездить», [illegible] в который уже раз мелькнуло в голове. Но очень хотелось спать. Зернов, не думая, [illegible] что-то, что Наталья Васильевна принесла и поставила на тумбочке у кровати, потом неожиданно сходил в [illegible], даже не [illegible], вернулся, лег и уснул.

Зернов и Сергеев сидели вдвоем на скамейке [illegible]тельском внутреннем дворике; машина, которая [illegible] их, только что уехала, и они могли бы сразу войти в [illegible] и подняться наверх, в свою редакцию, где [illegible] девять редакторов и младший редактор [illegible] в двух комнатах, довольно большой и очень маленькой. Но отчего-то Зернов с Сергеевым не сделали этого, а сели

на скамейку — оттого, может быть, что Зернов чувствовал себя не очень хорошо. Однако, несмотря на неважное самочувствие, думать он мог четко, и неизбежный и необходимый разговор между ними начался сам собой, когда Зернов сказал:

— Странное впечатление [illegible] уже было. Совсем недавно... И [illegible] фургон. Но видишь, нет никакого [illegible] вроде бы помню [illegible] магазин [illegible] неловко [illegible] уехал. [illegible] кого фургона нет [illegible] Кажется, что [illegible] вать — [illegible]

Сергеев [illegible] даче, фургон [illegible] не укладывается [illegible] вился, [illegible] шин [illegible] в кулак [illegible] ленно [illegible]

— Не понимаю [illegible]

— [illegible] живем. [illegible]

— Слушай, [illegible] С фургоном [illegible] Нет, сегодня! [illegible] что приехали!

— Это было [illegible]

— Не понимаю [illegible]

— Это произошло [illegible] До того было еще раз. [illegible] цать миллиардов [illegible] сколько.

Зернов ответил не [illegible]

— В такие цифры я вообще не верю. И фантастикой никогда не увлекался. Ты [illegible] было понятно?

— Попытаюсь. Мы живем в обратном ходе времени. Возвращаемся по своим следам. Это [illegible]?

— Наивный вопрос. Конечно, нет.

— Обратный ход времени. Ну, ты же интеллигентный человек, и обладаешь каким-то представлением об уст-

ройстве вселенной. У нас в редакции полно брошюр «Знание».

— Ну, и что?

— Пульсирующая модель вселенной. Помнишь? Ну, разбегание галактик, эффект Допплера и все прочее. Затем — в какой-то момент времени — остановка...

— Насчет остановки я не помню.

— Остановка — и начало обратного процесса: сбегание галактик к одному центру, фиолетовый Допплер вместо красного, и так далее.

— Это новая теория?

— Если бы только теория... Это было, понял? Иного объяснения нет. Но кроме сбегания галактик произошло, видимо, и еще одно, самое существенное: вспять повернуло и время. И если раньше оно шло, допустим, от минуса к плюсу, то после этого двинулось обратным путем — от плюса к минусу. То есть от будущего — к прошлому. Вернее, от того что мы тогда называли будущим — к тому, что тогда считалось прошлым.

— Забавно... Помнится, была одна рукопись об этом. Была?

— Куда уж забавнее. Рукопись? Была. И будет еще, не бойся.

— И когда это случилось? Поворот времени?

— Откуда я знаю? Никто не знает. Ведь после того, как мы с тобой померли...

— Что-что?

— Не дергайся. Понимаю, что тебе неприятно. Но больше ты не умрешь, не бойся. Однако, в свое время мы с тобой померли, и после нас были еще десятки или сотни или миллионы поколений, и все они тоже успели умереть, а потом, возможно,— возможно, но вовсе не известно, ибо это недоказуемо!— вселенная существовала еще какое-то время — миллиарды лет, может быть,— без нашего участия, без участия разумной жизни; но может быть, разум был и до самого конца,— а потом все это пошло задним ходом, и стали снова возникать и протекать те же процессы, что происходили раньше, при прямом ходе времени — но только в обратном направлении. И снова повторялись те же поколения, от последующих к предыдущим, от детей к отцам, от следствий — к причинам...

— Да нет,— сказал Зернов уверенно и даже махнул рукой.— Этого не может быть.

— То есть, как?— опешил Сергеев.

— Очень просто. Ведь если так, значит, должны повториться все те события, которые происходили раньше? Пусть и в обратном порядке... Или я неверно понял?

— Ты понял правильно.

Зернов усмехнулся.

— Кто же это разрешит?

— Что ты сказал?

— Сказал ясно: кто это разрешит! Кто допустит!

— А, вот что,— Сергеев серьезно посмотрел на Зернова.— А никто никого не спрашивал. Вот никто и не запретил.

На этот раз Зернов молчал не меньше минуты.

— Но почему все вдруг двинулось вспять? Прогресс ведь неудержим, необратим!

— Глупый вопрос. Почему вообще существует мир? Да еще не всегда такой, каким мы его себе представляем.

— М-да. Тут надо еще [illegible]. [illegible] подумать. Так, сразу, я эту точку зрения [illegible] не могу.

— Дело твое. Тем не [illegible], [illegible] благодаря этой, как ты говоришь, точке зрения, [illegible] существуешь на свете.

— Я существую потому, [illegible] время родился, надо полагать.

— Нет. Это было в прошлый раз. Родился, жил, умер. Нормальная последовательность для того времени. А теперь — наоборот. Вернулся — жил — исчез. Или, если угодно, антиродился.

— Не понимаю все же.

— Что именно? Механизм антирождения? Ну, в этом я, естественно, не специалист, я по-прежнему филолог и, дожив до ранней молодости, снова окажусь на филологическом, а не на медицинском. Но если это тебя так интересует, позвони кому-нибудь из гинекологов, если только...

— Я лучше прямо отсюда подъеду.

— Отсюда ты, Митя, никуда не подъедешь, да и позвонить даже не сможешь — если только в том, прежнем течении времени, у тебя в этот день не было никаких контактов с гинекологами.

— Зачем они были мне нужны? Ната здорова. Но при чем тут...

— В том-то и дело. Тебе придется — как и мне, и каждому вернувшемуся, просто поверить, что так все

и происходит. «Вернувшиеся»— это вместо «воскресшие»: тот термин чересчур окрашен эмоционально и мифологически. Вот вернулся ты, а двадцать лет назад — я...

— Выходит, ты пережил меня на двадцать лет? Ну, знаешь...

— Видишь, ты уже ориентируешься в новой системе понятий. Да, на двадцать... Но ты не обижайся: дело прошлое. Так что теперь я соответственно на двадцать лет старше тебя, богаче в смысле опыта, ко многому успел привыкнуть. Но если тебя волнуют вопросы продолжительности жизни, можешь утешиться тем, что исчезну я на восемь лет раньше тебя. И ты будешь еще студентом, когда я уже окажусь в начальной школе. Устраивает?

Зернов пожал плечами.

— Давай о деле. В том, что ты излагаешь, я вижу все больше слабых мест...

— Жизнь вообще полна всяческих алогичностей. Разве когда-нибудь было иначе? Никто не запрещает тебе думать, только вот опровергнуть лучше не пытайся: безнадежная задача. Лучше усвой это, что в главном ты уже понял: дело далеко не исчерпывается тем, что мы движемся от старости к детству, а не наоборот. Мы еще и проходим этот обратный путь след в след, точно так, как совершали его в тот раз, только в обратном порядке. След в след, и если сейчас мы с тобой сидим здесь и разговариваем, то лишь потому, что в тот раз, когда мы вышли из редакции, закончив процедуру передачи дел — временной, считалось, но было ясно, что ты ложишься надолго, хотя никто не знал, конечно, что ты больше не вернешься... Ну ладно, ладно... Так вот, тогда мы спустились сюда, но машины еще не было — директорской, она потом отвезла нас к тебе...

— Та, что сейчас привезла нас сюда?

— Именно. Ее тогда не было более получаса, и мы с тобой сидели вот на этом самом месте и болтали. Вот почему у нас и сейчас нашлась возможность посидеть и поговорить. Иначе ее не возникло бы. Так что если у тебя в той жизни,— так говорить проще всего: в той жизни,— не было в этот день встречи с гинекологом, то и на этот раз его никак не встретишь.

— Ты абсолютно уверен? Стопроцентно?

— На сто в квадрате. Невозможно, и все.

— Хорошо. Тогда объясни вот что. Ты прав: в прошлый

раз мы сидели тут же, я помню, но говорили-то мы не об этом! Об этом мы с тобой в тот раз никак не могли разговаривать, верно? И когда три дня назад я звонил тебе из дому — согласен, это было повторением звонка в той, как ты говоришь, жизни — но в тот раз мы и по телефону говорили совсем другое, я точно помню, я тебя спрашивал о заседании тиражной комиссии. А раз так — а оно именно так!— значит, не все повторяется! Согласен?

— Было бы странно, если бы до тебя никто не заметил этого несоответствия. Все его замечают. И,наверное, куда более успешно думали над этим, и понимали, те, кто жил до нас и успел исчезнуть прежде нас — то есть те, кто в прошлой жизни жил соответственно после нас — отдаленные потомки. Возможно, они делали какие-то выводы...

— Ты говоришь так, словно ничего об этом не знаешь.

— А откуда же мне знать? В первой жизни они пришли после нас, и мы, естественно, могли только гадать о них, а на этот раз они были [illegible] — [illegible], и то, что они знали, ушло с ними.

— Но ведь должны были [illegible] труды...

— Труды исчезали значительно раньше их авторов.

— Ну, хотя бы из уст в уста, из поколения — в поколение?

— Не знаю, почему, но [illegible] получилось, видимо. Может быть потому, что в этой жизни прошлое у большинства людей как бы отсекается. Прожит день — и словно его не было. Ты помнишь, например, что было с тобой — вчера, позавчера?

— Ну, не все, конечно, но главное помню. Что был в больнице. Что звонил тебе. Что мы устроили вроде вечеринки в редакции...

— Стоп! Это уже наложение. Вечеринка — это из первой жизни, сейчас она нам еще только предстоит. Но больница, действительно, уже позади, больше ее в твоей жизни не будет. Ага, значит все-таки... все-таки ты помнишь то, что было вчера. Жаль.

— Почему?

— Да просто — так жить труднее. Знаю по себе. А вообще-то нас, таких, со второй памятью, мало. Зато будущее — теперешнее будущее — всем известно более или менее точно, в соответствии с крепостью памяти каждого из нас. Потому что все, что мы помнили на каждый данный момент в первой жизни, мы продолжаем

знать и сейчас. И, значит, нам известно все будущее, потому что мы не можем совершать никаких других поступков, кроме тех, какие были совершены в той жизни. Все происшедшее накрепко впаяно в свой миг времени, и никуда деваться не может. Время — железная детерминанта, иначе вселенной вообще не существовало бы. И когда миг возвращается в обратном течении времени, он приносит с собой все без исключения, до последней мелочи все, что в нем содержалось и продолжает содержаться. Миг времени — или квант времени, как угодно,— идеально консервирует все, заключающееся в нем. И нам никуда не деться от этого.

— Хорошо, хорошо. Убедительно, пусть так. И все же, разговариваем-то мы иначе! Не те мысли, не те слова. А ведь это тоже — факты бытия. Следовательно, существуют исключения из правила?

— Кажущиеся исключения.

— Объясни.

— Ты сказал: мысли и слова. Но это, ты сам знаешь, совершенно не одно и то же. Слова... Слушай, а так ли уж ты уверен, что я сейчас выговариваю те слова, которые ты воспринимаешь?

— Полагаешь, у меня расстройство слуха? А у тебя?

— Ни в коей мере. Но проследи за моими губами, пока я говорю. Совпадает ли артикуляция? Следишь? Видишь?

— Но в таком случае...

— Ты, я, все люди — мы слышим, надо полагать, не слова. Мысли. А внешне — для глухонемого, читающего по губам,— мы ведем точно тот же разговор, что и тогда, да еще навыворот.

— Тогда. Миллиарды лет назад?

— Это нас не должно волновать. Для нас этих миллиардов не было и не будет. Они уже миновали.

— Пусть так. Значит, для мыслей все же делается исключение? А может, и не только для мыслей? Если у нас все должно происходить наоборот, как в киноленте, пущенной с конца, то мы должны ходить — пятясь, ездить только задним ходом, я уж не говорю о многих физиологических деталях. А на самом деле...

— Знаю, что ты хочешь сказать. Это тоже приходило в голову каждому. А объяснение просто. Строго в обратном порядке повторяются все процессы, в которых не участвует жизнь. А когда участвует — возникают какие-то отклонения, тем более значительные, чем выше по

[illegible] эта жизнь. Но не в событийном ряду! Повторение событий — закон в любом случае. А в ряду, так сказать, рационально-эмоциональном, интеллектуальном, духовном если хочешь, и на самом деле происходят процессы, не являющиеся зеркальным отражением тех, что происходили в той жизни. Понаблюдай рыб в аквариуме — когда в твою жизнь опять вернется аквариум. Они будут плыть то головой вперед, то хвостом. Но вот мышь пробежит уже точно по той же, что и тогда, дороге, но в трех случаях из четырех — головой вперед. А человек, за исключением самых маленьких детей, идет нормально во всех случаях. Хотя, откровенно говоря, пятиться — легче. Не пробовал?

— Да, это я почувствовал.

— И машину человек ведет точно так. Хотя куда проще — положить руки на баранку и позволить ей ехать багажником вперед. Но сознание не мирится с этим. Не желает мириться.

— Иными словами, когда в действии участвует сознание...

— Именно.

Зернов помолчал. Потом [illegible].

— Выходит, сознание — [illegible]? Неподвластно ему?

Сергеев откинулся на спинку скамьи, сложил руки на груди, усмехнулся уголком рта.

— Во времени — материя. Она сцементирована во время каждой своей частицей. А сознание... Одним словом, мысли возникают у нас не как обратная запись прежних, а заново и независимо от прошлого — хотя, конечно, и опираются на опыт. Однако, то, что мы думаем, никак не влияет на наши действия: они предопределены. Тут запрет. Поэтому три дня назад ни я не мог приехать к тебе, ни ты ко мне. И я, и ты могли в тот миг делать лишь то, что делали в это же время в первой жизни. Хотя думать при этом могли о чем угодно, и хотеть — тоже чего угодно... Ничего, когда свыкнешься с этим комплексом явлений, успокоишься — то поймешь, что в нынешнем нашем бытии хорошего, пожалуй, куда больше, чем плохого.

Сергеев встал, и Зернов тоже поднялся почти одновременно — не потому, чтобы ему захотелось встать, но просто тело само встало; значит, время пришло. Зернов оперся на руку Сергеева, и они медленно пошли к

подъезду издательства. Зернов успел еще только сказать:

— Обо всем этом надо бы книгу издать. Пособие для возвращающихся. Если, конечно, еще не издана.

Сергеев невесело усмехнулся:

— Нет, ты еще не обвыкся. Книгу издать? Да разве мы сейчас издаем? Все наоборот, друг мой милый, все наоборот...

Первый день на старой работе, в редакции, в которой Зернов проработал больше десяти лет заведующим, а до того — редактором, прошел как-то незаметно, очень непривычно, хотя с другой стороны все было почти как тогда, и дела все были знакомыми. Просто не сразу можно было привыкнуть к тому, что люди входили к нему с решенными вопросами, и иногда разговор шел об этом самом вопросе, и тогда он получался нелепым, потому что в конце его и Зернов, и посетитель приходили к тому, что вопрос из ясного и решенного превращался в открытый и неясный [illegible] посетитель уходил; иногда же говорили они совсем о другом, о чем попало, о ерунде — и все равно, когда посетитель уходил с выражением надежды на лице, он [illegible] собой нерешенный вопрос. Одним словом, все, как в той жизни, но все наоборот. Где-то на четвертом [illegible] Зернов стал уже привыкать к этому; ко всему [illegible] можно привыкнуть. Немного кольнуло его, когда Мила, младший редактор, незадолго до конца работы (по-старому — вскоре после начала) встала, подошла к шкафу, где за стеклянными дверцами стояли редакционные экземпляры выпущенных книг, вынула томик — новенький, свежий — и направилась к двери. «Мила, вы куда это?— окликнул ее Зернов, не допускавший даже, чтобы редакционные экземпляры показывали кому-либо вне его кабинета, даже самому автору, еще не получившему своих договорных десяти книжек.— Куда понесли?». Мила, не оборачиваясь, ответила: «В производственный отдел, сдавать», и вышла. Так Зернов впервые столкнулся с тем, что теперь в издательстве книги не выходили, как в той жизни — теперь они, напротив, одна за другой должны были сдаваться производственникам, свозиться из магазинов и складов в типографии, где с них снимали переплеты, разброшюровывали, расфальцовывали, сросшиеся сами собой листы пропускали через машины, где они свертывались в непрерывный рулон бумаги, позже увозившийся

на фабрику или на станцию для погрузки в вагоны, а набор в конце концов поступал в линотипы или другие наборные устройства и превращался в однородную металлическую массу. В этом заключалась сейчас их работа, и Зернов уже начал понимать, что привыкнуть ко всему этому можно, и жить можно, потому что главное в жизни и в работе — процесс, а возникает ли что-то в его результате, или исчезает — не столь важно, если процесс отлажен и если он нужен — или принято считать, что он нужен. Когда Зернов понял это, на душе стало вдруг неожиданно легко: стало вдруг ясно, что годы, проработанные им в издательстве в [illegible] жизни, он неизбежно проработает и сейчас, и [illegible] силы этого не изменят. И это сознание [illegible] такой беззаботностью, какой он раньше в [illegible] не ощущал.

В таком настроении [illegible] вечернюю, уже прохладную улицу, где [illegible] свежесть и заливались птицы. И ко [illegible] тоже можно было легко привыкнуть — к то[illegible] [illegible] по вечерам, а не по утрам, как [illegible] вечерами бывает ясно и свежо, и чувствуешь себя бодрым и полным сил, а по утрам будет, наверное, наоборот, пыльно и суетливо, и станешь ощущать ус[illegible] потому что перед работой придется еще побегать по магазинам, разнося покупки. Но и это примелькается, войдет в обычай; ведь живут же люди и, если верить Сергееву, не первый век живут так...

Возвращаясь домой, чтобы поужинать и лечь спать, Зернов подошел к киоску, чтобы оставить там сегодняшнюю газету, обнаруженную им в кармане пиджака. Зернов положил газету на прилавок, для чего пришлось минуту-другую постоять в очереди, на газету положил две копейки, назад получил пятак. Зернов всегда находил пару секунд, чтобы перемолвиться словечком со стариком-киоскером, подрабатывавшим здесь к пенсии. Судя по тому, что Зернов застал его на месте, старик вернулся во Вторую жизнь раньше его, а теперь ему предстояло жить еще очень долго, чуть ли не до конца двадцатого века, до его десятых годов, и жизнь эта, как понимал всякий, хотя в объеме школы знакомый с историей, обещала быть интересной, хотя и достаточно беспокой-

ной, и наполненной значительными событиями. Старик выглядел в точности как раньше, но это была их первая встреча после возвращения Зернова, и Зернов поздоровался с особым удовольствием.

— Ну, вот и вы вернулись,— сказал старик.— Я искренне рад вас видеть. Пора и вам пожить спокойной жизнью. И оглянуться.— Старик посмотрел на Зернова как-то чрезвычайно значительно.— Возвращайся, оглядываясь; эти слова говорят вам что-либо?

— По-моему, нет...

— Ах да, вы не в Сообществе.

— В каком Сообществе?

— Обладателей обратной памяти. Мы все в него входим.

— Почему же я — нет?

— Потому что...

Старик глянул на Зернова, на этот раз словно сомневаясь. Но время их разговора [illegible] неумолимо, как в междугородном телефонном [illegible] предупреждения. Разговор не мог продолжиться ни секундой дольше, чем в той жизни, а ведь тогда, [illegible], они поболтали о погоде — только-то. [illegible] уже принимал от следующего газеты и отдавал [illegible] сложный размен белых и желтых монеток [illegible] ноги сами собой несли дальше, по направлению к остановке троллейбуса.

Наталья Васильевна уже спала, она приходила с работы и ложилась спать раньше; так что поужинал Зернов, как обычно, в одиночестве: съел два яйца всмятку и выпил чашку крепкого кофе. После этого сделал зарядку, умывшись, затем сразу почувствовал сонливость и лег.

Однако, уснуть в эту ночь ему не удалось. То есть, тело исправно спало, храпело даже, время от времени поворачиваясь с боку на бок. Но мысль бодрствовала.

Зернов думал о жизни. И о жизни вообще, и в первую очередь — о своей собственной; не о той, что шла сейчас — о ней думать пока что было нечего, она только началась,— но о той, Первой, какую теперь надо было, если верить Сергееву (а Зернов поверил), прожить навыворот, от последних дней к первым. Зернов понимал, что придется к этому привыкнуть, сколь бы необычной эта жизнь ни казалась ему сейчас, сначала; однако перед тем, как привыкнуть, надо было и поразмыслить. Потому что

даже тогда, когда программа действий была, казалось бы, предельно ясна, Зернов все же любил подумать, еще и еще раз все взвесить и предусмотреть, потому что потом, когда придется принимать какие-то решения, думать, может статься, будет и некогда. Правда, сейчас, похоже, никаких решений принимать не придется, все они были приняты тогда, в первой жизни, миллиарды (как говорят) лет тому назад; и тем не менее, подумать надо было — чтобы представлять, что же тебя ожидает и в ближайшем, и в более отдаленном будущем. И Зернов, вместо того, чтобы спать, думал. Думать сейчас значило — вспоминать.

Он и вспоминал ту свою, первую жизнь, когда время текло нормально, и не находил в ней ничего такого, чего следовало стыдиться [illegible] жалеть. Все делалось в общем правильно, в [illegible], жил он целеустремленно и целесообра[illegible], порядочно. Даже если спрашивать по сам[illegible] спросу, по самому строгому кодексу, в [illegible] бы упрекнуть его? Таких сомнительн[illegible] отношения с Адой, история с автором [illegible] против директора, старого директора. Н[illegible] всерьез, у множества людей были в жи[illegible] и более сомнительного свойства, и числом [illegible] больше, да и кто и как станет с него за это [illegible] Дело-то прошлое! А в остальном в жизни было не так уж мало хороших минут, часов и даже дней. Жаль, конечно, было, что прервалась она так скоро — но теперь и это уже было делом прошлым, он снова жил. И всю свою предстоящую жизнь теперь мог знать заранее, и каждый хороший момент, предстоявший в ней, встречать осмысленно и исчерпывать до предела возможностей. Нет, если подумать спокойно и трезво, отбросив неизбежный вначале призвук необычайности, сенсационности, то в этой, Второй жизни многое было устроено куда разумнее. Хотя бы то, что жизнь ведь теперь пойдет к молодости, к расцвету, обилию сил, надежд, мечтаний...

Тут он на минутку запнулся. С какой стороны ни посмотри, ни для надежд, ни для желаний в новой жизни места вроде бы не оставалось. И надежды, желания человека обусловлены прежде всего незнанием предстоящего, а также существованием каких-то возможностей влиять на будущее, предпочитать одно другому. А в этой Второй жизни все было известно и предусмотрено

заранее, следовательно, и выбора никакого, и никакого влияния на будущее быть не могло. Сначала Зернов как-то обиделся было, но поразмыслив, решил, что такую цену, в общем, стоило заплатить за ощущение полной уверенности во всем предстоящем. Надо полагать, пройдет немного времени — и ему покажется уже странным, без малого невероятным, как могли люди существовать в той жизни, когда неизвестно было, что принесет завтрашний день, а о послезавтрашнем и вовсе нельзя было думать серьезно. Нет, Вторая жизнь была куда более основательной, надежной, определенной. И иметь хоть что-нибудь против такого порядка вещей мог лишь человек с неустойчивой психикой, сам не знающий, что ему нужно и чего он хочет. Так что — будем жить, и прекрасно будем жить!

Так размышлял Зернов, пока его тело спало, и все казалось ему ясным, понятным, превосходным. Очень славно чувствовал он себя, когда мысли его наконец утихомирились на какой-то час, а потом тело медленно проснулось и начало не спеша вставать, начиная новый день.

Когда Зернов еще только подходил к издательству, он почувствовал, что его начало как-то слегка покачивать, как если бы он несколько выпил. Голова была совершенно ясной, но голова тут роли не играла, а тело действительно имело причины так вести себя. Это Зернов прекрасно помнил. Именно сегодня, в предпоследний день (по старому исчислению) его пребывание на работе, когда он еще не ушел, но уже всем стало достоверно известно, что он уходит - лечиться или, как многие предполагали, умирать,— сами собой, званые и незваные, собрались десятка полтора человек, кое-кто из друзей-приятелей, кое-кто из авторов, испытывавших к Зернову чувство благодарности за то, что книги их планировались и проходили без затяжек и проволочек; каждый прихватил кое-что с собой, редактрисы сварили кофе. Конечно, такое не полагалось на службе, однако кофе тут пили всегда, а сегодня — все были уверены — и на остальное посмотрят сквозь пальцы, потому что причина была всем известна, и все сочувствовали.

Зернов пришел сегодня на работу часа на два раньше, чем полагалось, но в его редакции было уже много

гороху, звякала посуда и столбом стоял табачный дым. В тот раз Зернов, против обыкновения, ушел, не дожидаясь, пока все разойдутся, и лишь попросил Сергеева, уже фактического заведующего, проследить, чтобы все было в ажуре, все заперто, огни потушены и ключи сданы. И сейчас, войдя в комнату — не в свой кабинет, а в большую, редакторскую, где все происходило,— Зернов, поздоровавшись со всеми, сразу отвел в сторону Сергеева, повторяя тогдашние действия, раз и навсегда написанный сценарий.

— Знаешь, всю ночь думал. Обо всем на свете. О жизни. И решил, что не так страшно. Даже наоборот. Хорошо.

Сергеев кивнул:

— Все равно ведь, [illegible]. Воспринимай, как должное.

— Кстати, слушай... Что значит «Возвращайся, оглядываясь»?

— Ну, иди, садись. [illegible] освободили.

Ну, пусть они и [illegible] Сообществом, как хотят,— подумал [illegible] — Напрашиваться не стану. Обойдусь.

Однако, послушно [illegible] почувствовал знакомую горечь во рту и [illegible]. Мгновенная заминка, вызванная его приходом, уже прошла, снова поднялся гул, все говорили, кто с кем, все чувствовали себя хорошо; в конце концов, болезнь Зернова для многих была лишь поводом, чтобы собраться. Так и тогда было; он вспомнил вдруг четко, что последние минут двадцать просидел здесь как бы в одиночестве, как если бы его здесь уже не было — да его и не было по сути дела, он уходил надолго, если не навсегда, вопросов больше не решал, только очень наивный человек стал бы сейчас говорить с ним о делах, но наивных здесь не было. А кроме дел с ним говорить и не о чем было, пожалуй. В той жизни, осознав вдруг, что он одинок, он и ушел, не дожидаясь конца веселья. Теперь же сидел, и усмехаясь внутренне, и одновременно сердясь, потому что сейчас, когда все понимали, что он не ушел, а напротив, пришел, и пришел надолго,— сейчас многие охотно подошли бы к нему, пока он сидел один — и не потому, чтобы боялись, что он в отместку за неуважение и пренебрежение (никогда ведь не знаешь, как может быть истолковано твое естественное в общем-то поведение) сможет что-то

затормозить в издательском процессе с той или другой рукописью; все присутствующие вернулись на свет раньше Зернова и прекрасно знали, что теперь вообще ничего не издается, а лишь сдается в небытие, да если бы и не так — все равно Зернов и при всем желании ничего изменить не мог бы: все предопределено. Нет, подойти к нему многим хотелось просто из подсознательной привычки не оставлять начальство в одиночестве, пока оно начальство, но использовать каждый момент, чтобы побыть рядом с ним — даже и не имея в данный миг конкретной цели. Но подойти к нему сейчас никто не мог, даже чтобы просто поздравить с возвращением. Так что Зернов посидел некоторое время в одиночестве, выпил еще рюмку, и слушал, что говорилось вокруг. Это было интересно, потому что говорилось уже не то, что было сказано в тот раз, но много нового. Потом дверь распахнулась; но еще прежде, чем она распахнулась, тело Зернова, действуя по написанному Временем сценарию, поднялось со стула и двинулось в ту сторону. Что это?— мелькнуло у него — ах, да!.. В отворившуюся дверь вошел директор. Человек либеральный, он счел уместным для себя, уходя после работы (а сейчас — придя на работу) подняться этажом выше, чтобы сказать несколько добрых слов выбывающему из строя хорошему сотруднику. Тут же, у двери, он пожал Зернову руку, кивнул, улыбаясь, остальным, сразу смолкшим и вставшим (именно так провожали директора в тот раз), подошел к столу, где ему сразу же подали тарелочку с закуской, он закусил, ему подали и рюмку, он выпил. «Ну вот,— сказал он затем Зернову,— могу лишь повторить то, что говорил при вашем возвращении — тогда вы этого по понятной причине не слышали — он засмеялся, и Зернов тоже.— Рад вашему возвращению в строй, рад тому, что будете долго и успешно здесь работать. Чуть не сказал — издавать... Ну что же, задачи меняются, но работать все равно надо, и работать хорошо. Жаль только, что лично мне доведется работать с вами недолго... ». Директор снова улыбнулся, подал Зернову руку и пошел к двери, обернувшись, снова кивнул всем и вышел, и все снова заговорили.

Зернов опустился на свой стул, чувствуя, как испортилось настроение. Директор мог бы и не напоминать... И без того было свежо в памяти, что директор пришел в издательство с другой руководящей работы всего за

полтора месяца до проводов Зернова. А до того был другой директор, старый, с которым Зернов в общем-то ладил; тем не менее, узнав от приятеля, вхожего наверх, что там имеется по поводу директора определенное мнение и что ему, вернее всего, в самом скором времени предстоит уйти на пенсию,— Зернов понял, что такую информацию нельзя не использовать, и на собрании, посвященном итогам соцсоревнования за квартал, вдруг резко выступил против директорского стиля работы. То, что он говорил, соответствовало действительности, но что-то не так было в его выступ[illegible], и все чувствовали это, хотя вряд ли кто-нибудь [illegible] точно определить, в чем заключается это [illegible] [illegible] директор же слушал спокойно и даже кивал изредка. Он-то уже точно знал, что уходит, был он опытным [illegible] и законы жизни понимал достаточно [illegible] появился новый директор, Зернов [illegible] информация о его выступлении дошла до [illegible]. не говорило ли оно, это выступление, [illegible] интересы дела Зернову дороже собственной [illegible]? И не говорило ли оно (хотя и вполголоса) [illegible] и о том, что, раз Зернову доступна информация [illegible], то относиться к нему следует со вниманием? Так что отношения Зернова с новым директором обещали сложиться очень хорошо — если бы не болезнь и не то, что за ней последовало. Теперь же, когда Зернов вернулся, новому директору предстояло уйти на прежнюю его работу, а сюда должен был вернуться старый, чтобы пробыть на своем посту много лет. И пусть практически ничего сделать Зернову он не сможет, если даже захочет — все равно, работать с ним долгие годы будет, пожалуй, не очень-то приятно. От этих мыслей Зернову и стало сейчас не по себе.

Но тут эти мысли его вдруг остановились, словно натолкнувшись на какое-то препятствие. Зернов не сразу понял, что именно вдруг заставило их свернуть совсем в другом направлении. Потом понял: то было имя. Имя его жены, Наташи, Наты, Натальи Васильевны.

То есть, конечно, Наталий на свете — великое множество, но тут Зернов как-то сразу вдруг понял, что именно о ней говорили два уже изрядно выпивших участника приятной вечеринки. Одним был редактор из соседней редакции, другим — автор, тоже издававшийся в той редакции,— писал он детские книжки,— но в свое время,

несколько лет назад, работавший редактором в этой, зерновской. «Нет, я не понимаю все-таки, как это можно,— глядя на собутыльника блестящими, покрасневшими глазами говорил один, шевеля губами с некоторым уже напряжением.— Ты подумай, ведь Наталья с Сергеевым прожили ни много, ни мало двадцать лет, и прекрасно жили. И началось это у них, мне Татьяна говорила, когда этот был еще жив... ». «Ну, а нам с тобой что за дело?— рассудительно возражал второй, соседский редактор.— Раньше началось или позже, двадцать лет или два года они прожили — их дело, милый, их личное дело, ясно? Не будем ханжами и лицемерами, не нам осуждать кого-то, да и не за что». «Да нет,— горячился моралист,— ты совершенно не понял, я не о том. Но вот ситуация: Зернов вернулся, придется Наталье опять ложиться с ним в постель, а Коля, значит, побоку». «Судьба,— философски решил второй, ухватившись за рюмку.— Против жизни не попрешь». «Я и не сказал бы ни слова, если бы возвращение [illegible],— упрямо не сдавался первый.— Но ведь то, что ей придется сейчас жить с Зерновым, вовсе не означает, что Сергеева она разлюбит, в том-то и беда! Если бы все буквально повторялось, а то не зря ведь говорят: чувству не прикажешь... ». «Да,— согласился наконец второй,— тут ты прав, это тяжело. Но что поделать — бывают в нашей второй жизни еще и не такие ситуации. Погоди, вот придет к Зернову его автор, тот самый... Ладно, давай еще по одной... »— и они заговорили о чем-то другом.

Вот, значит, как обстояли дела на свете после того, как Зернова не стало. И вот что значит — иметь обратную память, помнить, что было вчера и еще раньше в этой жизни. Многие ли обладают ею? Люди будут говорить, но что тут можно поделать? Ничего...

Но уже истекло время, которое надо было Зернову просидеть в одиночестве; уже стало меньше выпито, и разговоры сделались более связными, и к нему начали подходить и группироваться вокруг него, как-никак хозяина вечеринки и главного героя, и пошли поздравления и другие неважные разговоры. Потом позвонила Ада; и это было приятно и как-то вдруг захватило дух от этого звонка и всего, с ним связанного, что теперь еще только предстояло. Все же не такой простой была эта Вторая жизнь, как казалось...

Часам к трем дня все успели разойтись — трезвые;

в редакции навели порядок, и Зернов засел в своем кабинете, занимаясь тем, чем занимался в эти часы и в той жизни: снял свою подпись с нескольких, принесенных Милой бумаг и вернул их Миле для дальнейшего расформирования, потом поработал с принятыми вчера от Сергеева делами. Делалось это все автоматически, думать при этом можно было о чем угодно. И Зернов думал.

О Сергееве он подумал только: эх, а считался другом... Но всерьез обижаться на него как-то не получалось: мужик есть мужик, Зернов и сам был таким, а кроме того — не просто поиграл Сергеев с Натальей, видишь — двадцать лет прожил... Но неясно было, как теперь вести себя с женой: показать ли, что знает, или скрыть? А хватит ли сил [illegible] когда-нибудь вырвется. Если бы у нее [illegible] провал памяти и она целиком забыла все, [illegible] с Сергеевым до возвращения Зернова, [illegible] легче: грех по неведению — не грех. [illegible], не такими уж идеальными были [illegible] с женой перед тем, как он слег [illegible], так что была возможность махнуть на [illegible] что бывает, ну, согрешила — [illegible] и решил так; но прожитые заново [illegible] дни вдруг, совершенно неожиданно, [illegible] Наташа вовсе не была для него сейчас безразличной, как в эти же дни первой жизни, дух не желал возвращаться на круги своя, он жил самостоятельной жизнью. И вот откуда-то появилось в душе — в том самом, что не подчинялось времени и пространству — явное чувство к ней, словно отзвук, и даже не отзвук, а продолжение того, давнего, что в свое время и свело их вместе. Может быть, причиной было то, что когда Зернов вернулся к жизни, Наташа была рядом, и он заново воспринял их обеих вместе: жизнь и ее; может быть, существовали и другие причины. Так или иначе, для него не могло остаться безразличным то, что он узнал.

Долго думать на семейную тему, впрочем, некогда было. Сейчас предстояло серьезно поговорить с одним автором, некогда доставившим Зернову немало если не хлопот, то во всяком случае неприятных ощущений. Разговор этот с автором в новой жизни будет первым из многих, еще предстоящих. И хотя Зернов не знал, что именно на сей раз будет говорить он, и что — автор, зато отлично знал, что он будет делать и чего не будет:

говорить можно что угодно, думать — тоже, но делать можно только то, что можно,— так сформулировал бы Зернов основной закон новой жизни, если бы кто-нибудь потребовал у него такой формулировки.

С автором этим было не просто. Не с самим автором, вернее, а с его рукописью. Примерно год назад (Зернов все еще привычно мыслил по старому счету времени) автор принес рукопись на двенадцать листов. Поскольку имени у автора не было, заявки он не подавал и даже устно ничего заранее не просил и не предупреждал, рукопись его вместе со многими другими попала в самотек и месяца два пролежала в шкафу, пока редактор, занимавшийся самотеком, не добрался наконец и до нее. Редактор осилил рукопись неожиданно быстро, уже на третий день подошел с нею к Зернову и сказал, смущенно улыбаясь: «Наверно, это надо вам прочесть». «А что, есть смысл?»— не думая, как-то механически поинтересовался Зернов. Вообще он читал, как правило, лишь то, что шло в производство. «Ну не знаю, это как посмотреть. Могут быть, конечно, возражения. Но читается с интересом». «Ладно»,— согласился Зернов без особой охоты.

Через день-другой он специально нашел время, чтобы заглянуть в рукопись. И даже удивился: зачем ему надо было читать это? [illegible] относилось к фантастике; Зернов воспринимал этот жанр нейтрально, как нечто необязательное, хотя в какой-то степени и неизбежное: жанр был популярен. Но издавать ему такие вещи не хотелось, потому что они требовали особого внимания: автор мог, запутавшись в своих вымыслах, даже сам того не желая, написать что-нибудь такое, что могло бы быть неправильно воспринято общественностью. Что касается этой рукописи, то в ней повествовалось о том, как где-то в отдаленном будущем группа выдающихся ученых, движимых даже не столько желанием еще более обогатить человечество новыми возможностями, сколько интересом к тому, «что из этого может получиться», поставила эксперимент, который вышел из-под контроля, и в результате течение времени во всей вселенной повернуло назад, и время пошло от настоящего к прошлому. До этого места Зернов дошел, и решил, что дальше читать не стоит. О чем бы автор ни писал дальше и какой бы ни придумал конец, Зернов не мог согласиться с самой постановкой вопроса. Потому что ведь высказывать какие-то подозрения такого рода в адрес ученых, иными

словами — в адрес науки в целом, означало, по мнению Зернова, едва ли не выносить вотум недоверия всему научно-техническому прогрессу; а с этим он совершенно не был согласен — не говоря уже о том, что никак не мог взять на себя подобную ответственность. Не его ума делом было это, да и не автора тоже. Хотя, с другой стороны, замысел был, конечно, интересен, и книжка могла получиться вполне приличной — с точки зрения любителей этого жанра, естественно. Нет, в таком виде она идти не могла, тут и говорить было не о чем, надо было с автором и рук[illegible] ос[illegible]ательно поработать.

Зернов считал, что не следовало придавать всей выдуманной автором истории вселенский масштаб. Слишком уж широко, да и сами [illegible] не было оснований полагать, что результаты [illegible] эксперимента может распространиться [illegible]ную: не было пока у земной науки таких [illegible]. Конечно, действие происходило в неопр[illegible], но настолько-то Зернов законы [illegible], чтобы знать, что в какое бы будущее ни [illegible] автор действие своего опуса, на самом деле [illegible] о каких-то современных проблемах [illegible] было бы интересно? Однако, проблемы [illegible]ными, взятыми из жизни, а могли оказаться и [illegible]ными, сконструированными. И вот эта проблема была [illegible]ьно надуманной: на самом деле наука никому ничем не угрожала, она была благом, а всякие отступления от этого являлись лишь досадными случайностями.

Поразмыслив, Зернов разработал даже некую диспозицию — как можно было сохранить книгу, и в то же время избежать всякой возможности неправильных толкований. Время действия следовало приблизить к нашим дням; вместо вселенского масштаба применить другой, куда более локальный; не в объеме всей Земли даже, а одной какой-то страны или группы стран, безответственные руководители которых, исполненные империалистических амбиций, заставили ученых применить сделанное ими, в общем-то вполне доброкачественное и полезное открытие именно таким образом, что время в их странах повернуло назад. И следовало, конечно, показать, к каким плачевным последствиям для народов этих стран такие действия привели.

Разговаривая после этого с автором, Зернов изложил ему свою программу действий и был весьма удивлен,

когда тот категорически отказался менять что бы то ни было. Потому что, видите ли, его интересовали не политические, а морально-этические проблемы, и вообще, он не собирался отказываться от своего замысла даже во второстепенных деталях. С такой позицией Зернов согласиться никак не мог. У него тоже была своя гордость, и в конце концов, за то, что выйдет из печати, отвечал в первую очередь не автор, а сам Зернов: написать можно что угодно, но не все написанное следует обнародовать — так было везде и во все времена, у общества существовали свои защитные реакции, рефлексы, инстинкты. Так что из первоначальных благих намерений Зернова ничего не получилось. Рукопись он, кстати, так и не дочитал.

И вот теперь ему предстоял разговор с этим самым автором. Но не первый разговор, когда обе стороны были еще исполнены оптимизма, а (по старой хронологии) последний. Разговор, когда Зернов, успевший уже устать от затянувшейся возни с не в меру упрямым автором, вернул ему рукопись с окончательным заключением, совершенно исключавшим возможность ее издания.

Одно обстоятельство сделало этот разговор особенно неприятным. А именно — то, что автор в какой-то степени оказался прав, и такое маловероятное, в общем, явление, как поворот времени, произошло и на самом деле. Так что автор вроде бы мог торжествовать. Однако, на самом деле это была, разумеется, чистая случайность, какие бывали в литературе и раньше; кроме того, если строить множество вариантов будущего, какой-нибудь из них может и совпасть, хотя бы в общих чертах, с реальностью. Только и всего. И со стороны автора было бы весьма бестактно теперь упрекать Зернова в том, что он когда-то чего-то не понял и не оценил. Всякая вещь оценивается по критериям данного момента, это понятно и малому ребенку. Так что, хотя и было у Зернова искушение использовать этот разговор, чтобы поинтересоваться у автора, что же он на самом деле думает теперь, когда Время и в самом деле шло назад, — поддаваться этому искушению никак не следовало. И еще менее следовало признавать себя в какой-то степени виноватым за то, что тогда, в Первой жизни, рукопись была, как это называлось на профессиональном жаргоне, зарублена. Не был Зернов в этом виноват. И если бы даже он отнесся к рукописи гораздо серьезнее, чем сделал это тогда — все равно, он

не мог бы поступить иначе, чем поступил тогда, потому что рисковать своим положением и возможной еще карьерой, и даже просто репутацией опытного и зрелого работника ради одной, пусть даже интересной книги он никак не хотел и не мог. Даже не вправе был, если угодно.

Так что предстоящий разговор был лишним, ненужным и неприятным. И все же от него никуда не уйти было...

Автор вошел: худой, с ранними морщинами, в поношенном пальто. Не садясь, расстегнул потрепанный портфель, вынул рукопись и, ни слова не говоря, протянул Зернову. Сел. Зернов положил рукопись на стол перед собой и побарабанил пальцами по картону. Он точно помнил сейчас, что тогда в разговоре последнее слово было за ним, а значит [illegible] ему придется начинать, хочет он того или нет. Но как именно начать, он еще не решил. Можно было [illegible] сегодняшнее; но тогда неизбежно пришлось бы прийти к тому, что автор был тогда прав, пусть и частично. Но можно было и позволить разговор, [illegible] руслу, от конца к началу. Увы, зависело [illegible] основном от автора: что он изберет, все [illegible] партии, когда первый ход за вами, а [illegible] играть защиту — решает уже играющий [illegible] Зернов решил первый ход сделать [illegible] проговорил (вместо вежливых слов прощания в тот раз). «Давно мы с вами не виделись. Много, как говорится, воды утекло». Автор смотрел на него спокойно и немного устало, и в его глазах Зернов прочитал, что автор все знает, помнит и понимает. «Нет, ни на какие изменения я не пойду, я не раз уже говорил вам это и повторяю еще раз»,— проговорил автор. То были слова из прошлого разговора, состоявшегося сегодня миллиарды лет назад. Зернов облегченно вздохнул про себя: ну что ж, тем лучше... «Я еще раз говорю вам: подумайте. Если вы согласитесь переработать рукопись с учетом моих пожеланий и замечаний рецензентов, я с удовольствием пересмотрю свое решение. Пока же не может быть и речи о включении ее в план. Подождем, пока вы напишете что-нибудь другое». Зернову не понадобилось думать над этими словами, они выговаривались сами собой, некогда уже сказанные слова; так разговаривать было легко. «Я прочитал ваше заключение и не вижу в нем практически ничего, с чем мог бы согласиться»,— сказал автор и протянул Зернову заключение — три листка бумаги, сначала внимательно

прочитав напечатанный на машинке текст. Зернов взял заключение и, не опуская протянутой руки, сказал: «Вот мое заключение. Думаю, что вы согласитесь с тем немногим, чего я от вас хочу». После этого он аккуратно положил заключение в папку, а папку — в ящик стола. «Ну, так к какому же выводу вы в конце концов пришли?» — не очень дружелюбно поинтересовался автор. Зернов, доброжелательно улыбаясь, проговорил: «Мы в редакции после нашего последнего разговора снова очень внимательно перечитали рукопись и долго размышляли об ее дальнейшей судьбе». После краткого молчания автор сказал: «Ну, у меня предчувствие, что на этот раз вы скажете мне что-то новое». Зернов сказал: «Давненько, давненько вы к нам не заходили». Автор, невесело улыбнувшись, сказал: «Надеюсь, вы успели достаточно хорошо отдохнуть от моих визитов». Оба помолчали, автор встал. «Садитесь, пожалуйста,— сказал ему Зернов,— приветствую вас, как говорится — добро пожаловать». Автор отошел к двери и оттуда сказал: «Здравствуйте. Можно?» После этого он отворил дверь, вышел и медленно закрыл дверь за собой. «Да!»— громко крикнул Зернов, оставшись один. После этого в дверь снаружи постучали. Зернов снял телефонную трубку и начал с кем-то разговаривать. Потом он положил трубку и телефон зазвонил, прозвенев два раза и умолк.

«Да,— подумал Зернов, сидя за столом и глядя на закрытую дверь,— и на самом деле обидно, что получилось так. Если бы знать... Но кто мог знать?»

Это «кто мог знать» относилось, пожалуй, не только к автору с его рукописью, но и ко многому другому. В том числе и к телефонному разговору, состоявшемуся только что, о котором, как и обо всем прочем, заранее известно было, что он состоится. Тогда, в первой жизни, этим разговором некое событие завершалось, теперь же, естественно, им оно начиналось. И то, что событие это пришлось как раз на сегодняшний день, сейчас казалось Зернову не случайностью, но следствием какой-то закономерности: нынешний день как бы должен был заставить его снова задуматься о жизни, об этой Второй жизни, хотя все о ней вроде бы уже было передумано и решено.

Человек быстрее или медленнее привыкает ко всему, чаще — достаточно быстро. Это прекрасная черта, иначе он давно бы уже вымер как вид. И еще есть у человека одна неплохая черта: отношение к чудесам. Тут он при-

держивается крайностей, и уж либо видит чудо и в том, что легко можно объяснить при помощи простой логики, либо не усматривает его там даже, где логика, послушно заложив руки за спину, отступает в сторонку. Но, не сумев объяснить, человек все равно привыкает, как привыкают к аксиомам,— и удивляется, что можно предположить какой-то другой порядок вещей.

Так и Зернов успел уже привыкнуть, точно таким же образом, как делали это миллионы и миллиарды возвратившихся до него. Привык без особых треволнений, потому что насчет смысла новой жизни он был спокоен, не видя в ней никаких подвохов, а по остальным поводам нечего было и волноваться, [illegible] ничто от него не зависело, порядок вещей был твердо [illegible] и неизменен.

Но вот сегодня оказалось [illegible] и Вторая эта, заранее и строго расчисленная [illegible] и подбрасывать какие-то неприятные [illegible] (как то, что услышал он о Наташе и Сергееве) [illegible] как-то по-новому оценивать то, совершенное [illegible] первой жизни, что казалось нормальным, само [illegible] разумеющимся и уж во всяком случае неспособным [illegible] омрачить состояние его духа даже при неизбежном [illegible] повторении. Так получалось с автором, с которым [illegible] думать, в свое время можно было поступить и по-другому, что дало бы возможность чувствовать себя сейчас совершенно иначе; и так же получалось и с тем телефонным разговором, за которым сейчас должны были последовать действия.

Должны были, да; и поэтому Зернов сейчас убрал бумаги в стол, повернул ключ и вышел в соседнюю, редакторскую комнату. Там он сказал Сергееву: «Спасибо за услугу, я поставил машину туда же, где она стояла». Сергеев кивнул, улыбнулся, вынул из кармана ключи от своей машины и протянул Зернову. «Спасибо»,— сказал Зернов, взял ключи и вышел.

Зернов рулил небрежно, заранее зная, что ничего с ним не случится, потому что в первом бытии поездка эта прошла гладко, без малейшей помехи. Хотя погода стала портиться, пошел дождик, асфальт намок, а резину Сергеев сменил только позавчера, и сейчас она была совершенно лысой — до первого инспектора,— несмотря на все это ничего случиться не могло, хоть возьми и брось совсем баранку; максимум того, что может произойти —

машина, предоставленная себе самой, сразу развернется и поедет багажником вперед, как ей и полагалось бы в обратном течении времени и как мешало ей ехать человеческое сознание и лежавшие на руле руки, повиновавшиеся сознанию. Но и тогда ничего не случилось бы, и сейчас не случится. Все предопределено.

Предопределен вон тот поворот впереди. Там Зернов вовремя увидит камень и плавно шевельнет баранкой, чтобы не попасть на камень колесом — иначе на такой дороге может и занести. Потом? Что-то будет потом. Ах, да. Потом его обгонит спешащий куда-то «универсал», водитель его, обгоняя, краем глаза скользнет по Зернову, а Зернов подумает, что слишком уж тот рискует, и хорошо еще, если для такой спешки есть повод, но, может быть, ездок просто лихачит и обгоняет больно уж опасно: почти впритирку, когда дорога свободна... Да, это случится через несколько минут. Интересно: чем ближе подходит событие, тем лучше, со всеми деталями, воскресает оно в твоей памяти. Да, это будет через несколько минут — нет, теперь уже секунд, кажется. А потом? Зернов напряг память.

Он напряг, а рука вдруг неожиданно для него, выключила скорость, нога мягко нажала на тормоз, баранка шевельнулась: какой-то беспричинный страх заставил его остановиться, не съезжая на обочину (в такую погоду лучше не оставлять асфальта). Он вышел, подставил лицо дождю, постоял так минуту-другую, прерывисто дыша, чувствуя, как дрожат руки, достал сигарету, закурил, глубоко затянулся и стоял так, не обращая внимания на сырость, пока сигарета не догорела. Что-то не так было? Но ведь ничего случиться не может... Мотор лениво крутился на холостом ходу, машина подрагивала. Зернов сел, медленно тронулся. Вскоре вошел в поворот. Камня, который помнился, там не было. Зернов еще даже не успел удивиться, как увидел, что наискось пересекая дорогу, стоял встречный — здоровенный рефрижератор; фургончик автоинспекции отъезжал задним ходом; дорога здесь шла по насыпи, внизу валялся вверх колесами странно плоский «универсал», знакомая машина, и около нее возились люди. Они осторожно клали тело поодаль от перевернутой машины, и Зернов уже теперешним пониманием сообразил, что останавливаться не нужно, что помощь не нужна, «скорая», привезя тело, уже уехала, инспекция тоже только что закончила дела, теперь тут

делать больше нечего, сейчас будет порядок. Он осторожно обогнул рефрижератор и поехал дальше. Да, вот как оно было; а он вспоминал все по старой канве, забыв о перестройке причинно-следственных связей. Теперь наоборот — машина под откосом стала причиной того, что вскоре Зернова обгонит она же, торопясь с места прошлой гибели — вперед, ко Второй жизни. Зернов не мог видеть, но представлял, как через небольшое время «универсал» мягко взлетит в воздух, в самый момент взлета почти совершенно разогнувшись и распрямившись, с лета встанет на дорогу, на малое мгновение прижмется к правой скуле встречного рефрижератора, потом расцепится, сложно вильнет в заносе на скользком вираже, а потом (водитель, уже оживший, будет как ни в чем не бывало сидеть за рулем) [illegible]ется от рефрижератора, а тот — в противоположную [illegible] от «универсала». И вот только после этого [illegible] обгонит Зернова и [illegible]косится на него. А [illegible] Зернов только что по той причине, что [illegible] прийти в себя и успокоиться после зрелища катастрофы. Вот как оно будет — или было.

Однако, какое-то время [illegible] прошло между обгоном — и катастрофой; прошло [illegible] в первой жизни. Потому что требовалось время, чтобы кто-то успел сообщить, успела приехать «скорая», инспекция... Да, время прошло, минут двадцать, пожалуй. Куда же оно тогда девалось, время?

Зернов знал, куда; но не очень хотелось сейчас об этом думать, потому что после событий и впечатлений сегодняшнего дня ему теперь не совсем ясно было, как же следует относиться к тому, что сейчас произойдет. Пожалуй, он не стал бы сетовать на судьбу, если бы предстоящее вдруг не состоялось, если бы можно было каким-то образом от него уйти. Это, кажется, впервые за все время после возвращения пришла к нему в голову такая не очень разумная мысль: а нельзя ли в самом деле как-то от этого уйти? Неужели действительно нельзя? — подумал он, глядя на дорогу, автоматически пошевеливая рулем. Невероятным все же казалось, что на хорошей скорости, под девяносто, ничто не может произойти ни с машиной, ни, следовательно, с ездоком — даже если он сильно этого захочет. Ну, а если попробовать?.. Ведь если Дух и Время не связаны жестко, то должна же найтись ситуация, в которой Дух окажется сильнее? Неужели,

если сейчас полностью сосредоточиться на желаемом действии — на одном сверхпрограммном, не запланированном движении руля,— нельзя будет совершить его? Не верилось, что человек, если он всерьез захочет разбиться, не в состоянии сделать этого: всю жизнь бывало как раз наоборот. Нет, если очень сильно, по-настоящему захотеть... Пальцы Зернова уже крепче схватили баранку, плечи чуть выдвинулись вперед, он весь напрягся, глаза нашли хороший столб впереди, на обочине — бетонную балку, поддерживавшую большой щит с какой-то надписью... И тут он опомнился. Пусть и знал он заранее, что ничего из этой попытки не выйдет, но пытаться-то было зачем? Неужели из-за того, что Наталья оказалась не совсем такой — или совсем не такой, какой он ее представлял? Обидно, слов нет; и однако же — так ли уж трагично? Разве уже давно, несколько последних лет, ему не было все равно, как Наталья и что она? Жили вместе по инерции, выполняли определенные обязанности, но что касается любви или чего-то, что могло заменить ее — об этом они, кажется, уже и не вспоминали. И что касается его самого, он-то уже не замедлил сделать из этого практические выводы, вот и она, оказывается, тоже. Пожалуй, следует даже и радоваться за нее задним числом: значит, не такой унылой была ее жизнь, как могло статься. Какая же надобность по такому, прямо сказать, не смертельному поводу не то, что пытаться, но даже думать о смерти? Нет, совершенно не было никакого повода... Грудь Зернова глубоко вздохнула, пальцы на рулевом колесе ослабели. Ни к чему, ни к чему. Тем более, что идут минуты, которым надлежит пройти между катастрофой с «универсалом» и мгновением обгона. Зернов помнил, чем будут заняты эти минуты. Вот чем,— подумал он, тормозя, потому что Ада уже показалась на обочине и стояла, глядя на машину и подняв руку над головой: по-старому — прощально, теперь же этот жест должен был означать приветствие.

Зернов вылез из машины и запер ее, он и Ада обнялись, потом медленно пошли к своему укромному местечку. Пока шли, разговаривали. Разговор был целиком из Первой жизни: ничего нового, что сказать друг другу, они сейчас не нашли. Разговор этот, нервный и немного усталый, шел о том, что Ада и Зернов друг друга любят, это естественно, иначе чем можно было бы объяснить то, что произошло (произойдет,— сделал он мысленную по-

правку) между ними сейчас, и происходило (будет происходить, поправил он) до этого? А раз любят, то не пора ли честно сказать всему миру об этом и быть вместе всерьез и надолго? Ей казалось, что пора.

— Ты ведь понимаешь... У нас нет в этом никакой другой нужды, мы оба не одиноки, не голодны... Но раз что-то столкнуло нас и удерживает вместе... Я не хочу больше — так, по кустам, это унизительно, мы же не дети...

Зернов соглашался и успокаивал и целовал ее, хотя сам об этом и в той жизни, помнится, не думал всерьез, потому что знал цену всему этому для себя: ну, красивая женщина, ну, сработал старый кобелиный инстинкт, ну, скучно было, ну, приятно, что есть нечто такое но не более... Пикантно, однако,— подумал он вдруг:— выходит, мы с Натальей на сей раз синхронно изменяем друг другу... И внезапно от этой мысли стало как-то мутно, противно, тоскливо и Зернов испугался даже — такой неодолимой силы исполнилось вдруг неожиданное ощущение!

Но они дошли уже до того самого облюбованного местечка, где их могли бы увидеть со стороны лишь при самом крайнем невезении, а теперь они уже твердо знали, что — не увидит никто, близость оба восприняли с радостью, никому не захотелось противиться неизбежному, а сознание, что вот это самое уже однажды было, придавало ощущениям какую-то дополнительную остроту. Прошло время, с четверть часа (времени у обоих было мало), и они той же дорогой пошли назад, и говорили уже только о любви, о том, как соскучились за дни, проведенные не вместе, и ни слова больше не было сказано о проблемах — опять-таки потому, что повторялся лишь тогдашний разговор. Потом они крепко поцеловались, долго, пока хватило дыхания, Ада посмотрела вдогонку отъехавшему Зернову и пошла к близкой остановке пригородного автобуса, осторожность они соблюдали тщательно.

Вот куда ушли минуты. Вскоре лихач наконец обогнал Зернова, и теперь это показалось естественным: человек торопился от своей смерти обратно, в жизнь... Только как знать, что принесет Вторая жизнь возвратившемуся в нее человеку, и не пожалеет ли он в какой-то миг, что все не

кончилось совершенно — там, под откосом, где вот только что лежало его изломанное тело близ расплющенной машины?

Отчего опять такие мысли?— строго одернул Зернов сам себя. И в самом деле: ведь только что казалось совершенно ясным, что ничего плохого не случилось, происходившее было в порядке вещей, и, зная то, что Зернов теперь знал, нельзя было упрекать себя даже в каком-то прегрешении перед женой. Наталья ведь тоже!.. Но не успокаивало ни одно, ни другое, никакие логические суждения. И с каждым оборотом колес чувствовалось: что-то не так.

А может быть, просто формальной ясности ему сейчас не хватало? И чтобы добиться ее, следовало откровенно поговорить с Натальей, сказать ей: мы квиты, и давай-ка...

Что — «давай-ка»?— вдруг запнулся мысленно Зернов.— Что я хочу сказать ей, и какого ответа собираюсь добиться? Я ведь вовсе не хочу, оказывается, сказать ей: «давай-ка окончательно закроем глаза на наши делишки и будем жить, кому как нравится». Я, кажется, хочу чего-то совсем иного, сказать ей «давай-ка простим друг другу наши ошибки и грехи, и заживем снова так, как жили когда-то в Первой жизни — заживем, считаясь хотя бы с тем, что та жизнь так или иначе приближается к нам, и никуда нам от нее не укрыться. Не будем же ей противоречить, но напротив - постараемся ей соответствовать!»

Неужели я действительно вот это самое хочу сказать? — подумал Зернов, удивляясь себе.— Почему? Что изменилось за какие-то считанные минуты? Ерунда какая-то. Чушь.

Однако — чувствовал, что не ерунда, наверное, и не чушь, но что-то неожиданное и могучее. И знал уже, что как только Время даст ему такую возможность, скажет Наташе именно это, и будет ожидать ее слов с каким-то вовсе уж неуместным молодым страхом.

В издательство Зернов вернулся к концу рабочего дня, поставил сергеевскую машину на место, отдал ключи хозяину и, побыв еще немного в кабинете, поехал домой. Поужинал, как обычно, в одиночестве и лег. Наташа спала. Впрочем, спала ли? Кто мог теперь наверняка сказать, спит человек, или бодрствует? Тело — да, спало, но во Второй жизни человек куда острее, чем в прошлой, чувствовал, что тело — еще не весь он, что главное

в нем — нечто другое, неподвластное Времени... Зернов лег рядом, и почти сразу ощутил, что Наташа бодрствовала, хотя тело ее тихо и уютно дышало, как дышат во сне, и глаза были плотно закрыты. Дух ее не спал; и, значит, не было никакой причины откладывать разговор, который отчего-то стал сейчас Зернову чрезвычайно нужен.

Но в эти минуты, когда Наташа лежала рядом, что-то стало уже представляться Зернову несколько иначе, чем в машине, на дороге. Что же получается,— думал он сейчас: — я ведь как-то не принял во внимание, что Наташа, наверное, и сейчас охотно осталась бы с Сергеевым, раз уж наш дух не знает обратного хода, а развивается все дальше — вперед... Она сейчас хотела бы лежать с ним, а лежит со мной и будет лежать те пятнадцать лет, что мы с ней еще будем женаты, и тела наши, ничего не спрашивая, будут делать то же, что делали тогда — а в мыслях ее буду все же не я!.. Но это же, по сути дела, насилие, и я буду настоящим насильником, и никак не могу ни помешать этому, ни предотвратить, так ведь получается? О господи боже, да можно ли так, да за что это?..— Зернов был эгоистом ровно в такой степени, в какой является им каждый нормальный мужчина, склонный все, что с ним происходит хорошего, приписывать себе, а плохое — другим. Поэтому ему и не пришло в голову, что его отношения с Адой в Первой жизни установились раньше, чем Натальи — с Сергеевым. Зернов сейчас думал лишь о том, что если бы между Наташей и Сергеевым никогда ничего не было, то сейчас им, супругам, ничто не мешало бы спокойно жить этой Второй жизнью, но вот же — она не выдержала! А ведь, если только память не лжет, тогда, напоследок, успокаивала, обещала, что бы со мной ни случилось, я всегда останусь для нее одним-единственным... Да, точно, обещала. И вот, значит, как сказано — и башмаков еще не износив... Ах, Наташа, Наташа, и зачем ты так, это ведь нам теперь казнь на всю жизнь, на все лучшие годы этой нашей Второй жизни! Как ты могла?..

Зернов забыл, рассуждая так, что не в Первой жизни находился сейчас, где невысказанная вслух мысль так и оставалась его достоянием; во Второй жизни, где общение между людьми (новое общение, а не повторение старого) реализовалось не при помощи одних лишь слов, но как-то иначе, мысль нередко становилась слышимой, иначе никакие разговоры сейчас вообще не могли бы

происходить. Поэтому все, что Зернов только что думал про себя, в устаревшем ощущении своей закрытости от постороннего внимания, на деле для лежавшей рядом Наташи было то же самое, что раньше — слова, сказанные вслух. Так что Зернов даже вздрогнул, услышав явственный ответ:

— Ты ведь никогда не оставался один,— сказала Наташа.— Это я осталась, потому что не я умерла, а ты. Тебе не понять, что значит для женщины уже не первой молодости — остаться в одиночестве. Вот почему я... Но не только это. Скажу откровенно: я его тогда не любила, но очень хорошо к нему относилась, и была очень благодарна за то, что он оказался рядом.

— Как же не любила,— возразил Зернов обиженно,— если ты с ним еще при мне живом!.. И потом — зачем же было после всего этого меня уверять, на моем смертном одре, что ты никогда, никого, что я один — и так далее, ты сама должна помнить, что тогда говорила.

— Я и помню,— ответила Наташа после недолгого молчания.— Но чего ты от меня тогда хотел, чего сейчас хочешь? Я ведь тебя когда-то любила, Митя, потом разлюбила — по разным причинам, но в тот момент, когда ты умирал, я тебя снова любила — потому что понимала, что самая большая беда происходит с тобой, ты уходишь окончательно. Что же ты хотел, чтобы я тебе сказала: что я-то остаюсь, и мне надо будет еще как-то жить, и может быть долго, и что самые тяжелые раны рано или поздно затягиваются?.. Этого я тебе в тот миг сказать не могла.

— Но ведь не просто говорила! Обещала ведь, обещала! А обещания надо выполнять, разве не так?

— Ох, Митя, милый... Если бы все обещания, что даются мертвым, выполнялись — кто знает, какой была бы тогда жизнь на Земле? Намного лучше, наверное, честнее... Но ведь люди обещают все, чего от них ждут, а сами думают: тебе легко, ты умираешь, и все это сейчас перестанет интересовать тебя навсегда, а нам-то еще жить, значит, нам решать, как мы поступим на самом деле. Но главное, Митя, в том, конечно, что я тогда тебя уже не любила, я ведь сказала только что.

— Почему?— не удержавшись, спросил он, хотя вряд ли надо спрашивать о таких вещах, да и Наташа вполне могла уйти от объяснения, сказав: «разлюбила — и все». Но она этого не сделала.

— Почему? Да потому, что ты, кого я любила, задолго

до смерти ушел, делся куда-то, кинул меня. А остался другой, которого я любить никак не могла. Тот, кто превыше всего ставил мнение своего начальника и сделался постепенно трусом, хотя и называл свою трусость умением жить и пониманием правил игры; тот, кто боялся поддержать что-то, в чем был хоть малейший риск — хотя знал, как и все мы, что новое рождается в борьбе со старым...

— Это ты о чем?— перебил он.

— Ты знаешь. О том самом человеке, о его романе...

— Сергеев наболтал?

— Нет. Ты ведь не знаешь, Митя, что было после тебя. А я знаю. Человек этот, твой автор, прожил еще несколько лет, и все эти годы писал. Никуда не обращался, никому не показывал — официально, во всяком случае. Наверное, ты у него отбил охоту. Только друзьям, да какие были у него друзья; скорее собутыльники. Они в таких делах мало что понимали. Умер он, как говорят, внезапно, от перепоя, может быть, но чувствовал, видимо, что конец не за горами... все написанное — говорили, был у него целый ящик рукописей, не письменный ящичек, а картонная коробка из-под цветного телевизора, подобрал, наверное, на свалке, — все он уничтожил. Говорили — сжег, но в это я не верю: при центральном отоплении сжечь дома такую гору бумаги не так просто, соседи заподозрят пожар. Спустить в унитаз? Тоже адова работа, не для слабого, изнуренного человека, а таким он под конец и был. Может быть, рукописи просто выкинули те, кто въехал потом в его комнату. Так или иначе, исчезло все, кроме одной рукописи. Она во время его смерти находилась у кого-то из его собратьев, и провалялась там, пока в компанию не затесался кто-то, смыслящий в литературе. Такие ведь тоже далеко не всегда исповедуют воздержание. Прочитал — и поднял трезвон: вещь была очень хороша. Одна рукопись, а был их чуть ли не кубометр... А ведь это ты его отвадил, Митя — и только из-за своей трусости. А твое выступление против директора чего стоило? Я уж не говорю об Аде... Неужели ты думаешь, что мог надолго скрыть от меня? Митя, Митя... Что же удивляться, что я перестала любить тебя ?

Беда с теми, кто все помнит,— подумал Зернов.— Кстати...

— Ната, у тебя хорошая обратная память. А к Сообществу ты тоже принадлежишь?

— Да...— ответила она не сразу.

— Что такое это Сообщество? Расскажи, пожалуйста.

— Ну, я не очень хорошо знаю... В общем, люди, обладающие обратной памятью, издавна стараются поддерживать между собой связь и обмениваться информацией о прошлом. Но это очень трудно. Ведь никто не в состоянии устанавливать какие-то новые связи, знакомства с теми людьми, которых не было в нашем Первом бытии. А таких, с обратной памятью, как ты сам знаешь, немного... Иногда связь между более или менее значительными группами Помнящих — так мы называемся — поддерживается через одного-единственного человека, и с этим ничего нельзя поделать. Наверное, в мире существует не одно такое Сообщество, а десятки, но они не имеют связи между собой и, быть может, никогда не будут иметь ее.

— Но для чего же знать Второе прошлое, Ната? В нем ведь ничего нельзя изменить...

— К чему спрашивать об этом меня, Митя? Не я ведь создавала Сообщество, оно существует уже столетиями, и какая-то информация передается из поколения в поколение. Видимо, у создателей его была причина — желать, чтобы прошлое не забылось. Ты пойми: они ведь успели в Первом бытии уйти гораздо дальше нас! И, значит, какой-то смысл был. Но мы его не знаем.

— Ната, почему меня, хотя у меня тоже есть вторая память, обратная, не приглашают в Сообщество?

— Не знаю. Но мне кажется... может быть, потому, что твоя память не может дать людям ничего — ну, полезного, доброго?.. Не знаю...

Зернов лежал рядом с Наташей, и пусто было в душе, не хотелось ни возражать, ни оправдываться, ни перекладывать на кого-то другого — хотя все это он, в общем, делать умел. Погодя он сказал только:

— Наташа, нам ведь полтора десятка лет вместе жить. Неужели вот так и будет?..

— А как иначе?— спросила она.— Чувства ведь вспять не идут, это ты уже успел понять, верно? Что же делать? Будем жить, да; и будем проходить снова через все это, и ты будешь делать все так, как делал в той жизни, потому что иного пути у тебя нет. Что же я тут могу поделать?

Да, что тут могла Наташа поделать — а он сам, Зернов, что мог? Ничего. Кто мог знать? Если бы предупредил

кто-то, что придется всю свою жизнь пройти еще раз, след в след, хотя и от конца к началу — может быть, и жили бы в чем-нибудь иначе... Хотя вряд ли: и когда люди верили в страшный суд, все равно они поступали так, как хотели или как жизнь требовала.

Сделанного не вернешь — вот уж недаром сказано. Как же жить теперь?

— Давай будем спать,— пробормотал наконец Зернов.

Наташа не ответила. Может быть, уснула наконец по-настоящему, а может быть, думала о своем — думала так тихо, что услышать ничего нельзя было.

А он все не мог и не мог уснуть. Мысли разыгрались. Был им дан толчок, только, к сожалению, не совсем в ту сторону, в какую следовало. И в самом деле. Не шуточное дело предстояло: прожить целую жизнь, в которой все было предначертано, ничего нельзя было избежать — и в то же время избежать следовало. Как можно этого добиться? Наверное,— думал Зернов,— надо все происходящее воспринимать и истолковывать так, чтобы жить в максимальном согласии с окружающим. Потому что если не жить в согласии с окружающим, значит — надо стремиться его изменить. А изменить во Второй жизни нельзя было ничего.

Примириться; что, однако, означало «примириться»? Зернов знал лишь один способ сделать это: если нельзя влиять на окружающий мир, то остается лишь влиять на самого себя, убеждая, что все, что происходит, происходит к лучшему: «все к лучшему в этом лучшем из миров». Правда, представляемый таким образом мир не будет целиком совпадать с миром, реально существующим; но разве это важно? В конце концов, все дается нам в ощущениях — в наших собственных ощущениях. Иными словами, мир таков, каким мы его ощущаем. Ну, а своими ощущениями можно научиться управлять должным образом. И таким образом жить в том мире, какой кажется тебе наиболее благоприятным для твоего самоощущения. Жить в своей модели мира. Это прекрасно. Потому что это не мешает никому другому, а тебя самого, автора и жителя этой модели, целиком мирит с тем, что существует вокруг тебя.

Построить свой мир,— думал Зернов, чувствуя, как проникает в него странное спокойствие — как будто

8*

сразу удалось решить все проблемы, прошлые, настоящие и будущие.— И поселить в этом мире всех тех, кто может иметь какое-то отношение к нему... ко мне, иными словами. Как это сделать? Да просто убедить их в том же самом, к чему только что пришел я. Возможно ли это? Возможно: тот, кто знает, в чем хочет убедить других, всегда имеет преимущества перед теми, у кого нет столь четко обозначенной цели. Ну что же, попробуем! И если удастся — значит, Вторая жизнь действительно станет приятной, беззаботной и безмятежной, и все предстоящие годы и десятилетия будут воистину наградой за все те беспокойства и неудобства, какими была полна та, Первая жизнь, теперь, к счастью, отошедшая безвозвратно.

Теперь Зернов с каждым днем чувствовал себя лучше. Молодел, как говорится, не по дням, а по часам. И это нравилось ему и заставляло чем дальше, тем с большим удовольствием взирать на Вторую жизнь — теперь, когда основная проблема жизни (полагал Зернов) была им решена, и он старался не омрачать больше состояние своего духа никакими отрицательными переживаниями. Сейчас это было не трудно. Все, что человек воспринимает и оценивает, он воспринимает через себя и оценивает в зависимости от того, как это «все» относится к нему: положительно или наоборот. Он старался видеть, и видел одно лишь положительное. О таких вещах, как болезнь и смерть, можно было уже думать спокойно, как о пережитом визите к стоматологу. Дышалось легко. Стояла весна, пришедшая, как теперь и полагалось, после лета, и на душе становилось прекрасно от высокого неба и звонкого воздуха — и от того, что было ясно, как надо жить, умело проводя линию между неизбежностью поступков и свободной жизнью духа, обитающего в особом мире и как можно меньше отвлекающегося к событиям реальности, которые так или иначе происходили сами собой и никаких усилий разума или воли от человека не требовали. Поскольку в любом событии есть свое добро и свое зло, надо было воспринимать его лишь со стороны добра — и принимать с радостью.

Свидания с Адой, например. Они должны были происходить, и происходили. Но не в том мире, в каком Зернов жил раньше. А в другом — в том, который он, согласно своей новой теории жизни, создал для себя, в котором ничто не мешало, не отягощало души, но напротив, могло

обеспечить и ему, и Аде максимум счастья, какое вообще можно было извлечь в подобной ситуации.

Мир этот, на построение которого у Зернова ушло очень немного времени, во всем был подобен настоящему; но не современному, не миру Второй жизни, а тому, в котором прошла Первая: миру неопределенностей, неожиданностей и свободной воли. В этом заключалось первое внесенное Зерновым изменение. Второе же было вот каким: хотя мир во всех основных деталях соответствовал реальному, людей в нем не было. То был безлюдный мир, созданный Зерновым, как уже говорилось, исключительно для самого себя. Нет, он не желал человечеству ничего плохого, не придумывал никаких глобальных катастроф, созданный им мир не вытекал из реального, но существовал параллельно ему, и в нем с самого начала людей не было — никого, кроме самого Зернова и еще одного человека. Вторым человеком была женщина. Зернов, обитавший в этом новом мире, знал, чувствовал, что она есть, существует, и ощущал свою обязанность найти ее, потому что представлял, как тяжко, горько и неуютно быть женщине, одной в бескрайнем мире, где не на кого опереться, не о ком заботиться, некого любить. И сам он тоже чувствовал, что мир, при всем его великолепии, покое, защищенности от спорных благ, сопутствующих технической цивилизации, при отсутствии главных врагов человека — людей, в чем-то с ним не согласных или в чем-то ему завидующих,— мир этот неуютен и незавершен без женщины, которая есть ключевой камень свода мироздания. И вот он искал ее, чтобы предложить ей все, что имел и мог, на что был способен и на что она могла сделать его способным сверх того; искал, чтобы повелевать и зависеть, охранять и быть охраненным и чтобы исполнить все, что должно человеку исполнить в жизни. Он искал — и чувствовал, что уже скоро, сейчас вот-вот найдет ее — единственную, потому что других в мире не существовало, и выбирать было не из кого, и сравнивать было не с кем и не нужно, и даже думать о любви не нужно было, потому что когда во всем мире существуют только два человека, только он и она, то что еще им остается, как не любить друг друга? И Зернов, спеша и спотыкаясь, шел туда, где (подсказывало ему предчувствие) обязательно встретит ее, и никто не пострадает от этой встречи, ибо страдать некому, и никто не помешает встрече, ибо не существует никого,

кто мог бы помешать, и никто не увидит их, потому что они одни в мире, в котором нельзя ни обмануть, ни изменить, ни нарушить что бы то ни было — потому что их будет только двое.

Наверное, глядя на все это со стороны, можно было легко заметить, насколько хрупкими и нереальными являлись все зерновские построения: и шел он не по дикому лесу, и люди попадались навстречу, и несомненные признаки цивилизации в изобилии виднелись окрест. Но Зернов не замечал их, он шел совсем в других местах — в другом, его собственном мире. Великим благом было это качество Второй жизни: иди, не видя, не думая, закрыв глаза, грезя наяву — и все равно придешь туда, куда нужно. И он пришел, и встретил женщину, и вел себя с нею так, как полагалось в этом его персональном мире — вернее, говорил ей именно то, что нужно было, и тем самым заставил ее тоже говорить и чувствовать так, как если бы она была единственной женщиной в этом мире, а он — единственным мужчиной, и они наконец-то нашли друг друга, чтобы никогда больше не потерять. Им было прекрасно друг с другом сейчас, потому что они знали, что в этом мире ничего не нарушают, не преступают, никому не причиняют боли, ни перед кем и ни в чем не становятся виноватыми, потому что их было только двое. И они даже удивились, как это раньше им не пришло в голову создать свой мир и уйти в него и существовать в нем, зная, что все действия в реальном мире будут выполнены ими и бессознательно, для этого их сознанию вовсе не нужно будет там показываться. Во время этой встречи и Зернов, и Ада впервые, кажется, почувствовали во всей полноте, что Вторая жизнь лучше Первой, потому что дает свободу представлять себе мир таким, каким им нравилось, каким было нужно.

Иными словами, то, что могло стать для обоих вынужденным действием, оказалось теперь чем-то другим — желаемым и целеустремленным. Вот какой стороной обернулась Вторая жизнь. И когда они на этот раз расстались, то мысль о следующей встрече согревала их, и было прекрасно знать, что нет во вселенной ничего, что могло бы помешать этой встрече. Было — значит, будет!— такие слова можно было бы сделать девизом Второй жизни, и думать об этом им было приятно.

Было — значит, будет. Однако, правило это относилось не только к свиданиям приятным. Пока автобус тащился

обратно, Зернов волей-неволей высунул голову из своего мира, чтобы вспомнить и сориентироваться в другом мире, реальном: все-таки он ехал на службу, и полезно было вспомнить, что ему там сегодня предстояло.

Особо напрягать память не пришлось: как ни прискорбно, сегодня он должен будет пережить еще одну встречу с тем самым автором, за которого так обиделась Наталья; встречу уже не первую и еще, к сожалению, не последнюю. Что поделаешь,— философски подумал Зернов, трясясь на сиденьи,— приятное и неприятное чередуется — а может быть, и хорошо, что чередуется? Неприятное...

Но тут же он спохватился: а почему встреча должна быть неприятной, собственно? Где сказано? Ведь во время этой встречи — известно заранее — никаких значительных действий не произойдет. Злосчастная рукопись как находилась в редакции, так там на этот раз и останется, вся встреча пройдет в разговорах, как и в Первой жизни прошла она в разговорах. Правда, в тот раз сказано было немало такого (и автором, и самим Зерновым), что никому не улучшило настроения; но ведь разговоры-то теперь в нашей власти?— едва ли не весело думал он сейчас. — Мы ведь можем поговорить с ним совсем иначе, в другой тональности, а может быть, и о совсем других вещах. Другой мир,— пришло ему в голову сразу же,— нужно создать другой мир и для этого случая, для этого эпизода, для всей этой истории с автором и его произведением. Пусть и он, бедняга, окажется в таком мире, где его желания исполнялись бы. Что ж, попробуем найти такую модель...

Так Зернов и стал действовать, когда автор явился и сел по ту сторону письменного стола. На лице посетителя было именно то выражение, с каким он ушел с этого свидания в прошлой жизни,— ироническое и горькое: автор тогда уже ни в какие обещания не верил. Надо было ввести его, даже втолкнуть в другой, мысленный, приятный мир — разом, пока он еще ничего не понял, а то ведь станет еще сопротивляться, цепляться за тот мир, что принято считать реальным...

— Я очень рад, что вы пришли,— сразу начал Зернов, внутренне радуясь тому, что у него хватит времени на длинный монолог: в той жизни последние несколько минут говорил он один, автор лишь слушал да временами поджимал губы и покачивал головой. Поджимать

губы и качать головой он будет и сейчас, это — действие, его не изменить, но на него не следует обращать ни малейшего внимания.— Я очень рад, что вы пришли, потому что много думал над нашей с вами проблемой. И понял, что никакой проблемы нет. Давайте на минутку отвлечемся от конкретных обстоятельств, давайте заглянем в корень. Обобщим, так сказать.— Это и был мир, в который он хотел ввести автора: отвлеченный мир, в котором два мыслителя толкуют об отвлеченных, хотя и интересных проблемах, никакого практического значения не имеющих; мир философов, мир почти неподвижный, в котором только мысль динамична и только она имеет какое-то значение.— Оказалось, Вселенная устроена так, что мы с вами встречаемся снова. И оба мы прекрасно знаем, что может случиться, а чего не может. Изменить что-либо — не в наших силах, и ни в чьих вообще силах. Что же можно все-таки изменить, если факты сами по себе неизменны? Изменить можно только наше к ним отношение. Между прочим, думаю, вы согласитесь со мною в том, что отношение к фактам лучше всего анализировать и корректировать именно по прошествии времени, когда они уже, так сказать, устоялись, осели, сделались частью истории. Вот и давайте подумаем о нашем отношении к событиям, которые нас обоих касаются. Вы написали книгу, я ее прочитал. То, что описанные в ней события потом, частично совпали с жизнью, сейчас не имеет большого значения. Так же как и судьба вашей рукописи там, в Первой жизни. Почему? Потому что эта судьба так или иначе сейчас уже осталась позади. И она ни в какой степени не влияет и не может влиять на то, что происходит с нами сегодня. Вы оказались пророком, ну и что? Ну, предположим, что в Первой жизни я поступил иначе, другие люди тоже поступали иначе, книга ваша вышла, вы прославились, и в долгие столетия Второй жизни вы пользовались репутацией ясновидца, хотя вам самому это было совершенно безразлично, поскольку в живых вас уже не было — или еще не было. Подумайте: в тот момент времени, в котором мы с вами живем, мы принципиально не можем найти ни малейшего признака, ни малейшего доказательства того, что все произошло именно так или именно не так. Ведь каким бы ни было то, что осталось по ту сторону этого мгновения, осталось в прошлом, в том, что по нашим нынешним понятиям есть прошлое,— каким бы, повто-

ряю, оно ни было, в настоящем времени ни вы, ни я не сможем найти ни малейшего признака того, так ли это было, или иначе. Та нерушимая причинно-следственная связь, какая существовала в Первой жизни и в рамках которой мы с вами еще продолжаем по инерции мыслить,— связь эта исчезла, рухнула, ее нет, следствия в нынешнем мире осуществляются раньше причин, но если в Первой жизни причины влияли на следствия, то в нашей, Второй, следствия никак не влияют на причины, причины существуют независимо от них. Вот вы пришли ко мне и мы сидим и разговариваем. Является ли это событием, как-то зависящим от того, вышла ваша книга, или нет? Не является: в любом случае этот разговор состоялся бы. Понимаете?

В нашей нынешней жизни, в обратном течении времени, не имеет больше никакого значения то, что было в прошлом. Никакого! От истории ничего не зависит! Совершенно неважно, что именно было раньше. А что будет в дальнейшем — всем нам прекрасно известно, и это дает нам прекрасную возможность конструировать историю каждого текущего момента в полном соответствии со своими желаниями, потому что любое прошлое все равно приводит к этому настоящему. Вот вы пришли ко мне, абсолютно уверенным, что пришли из того прошлого, в котором ваша книга так и не вышла, а все остальное, написанное вами, так и пропало, не найдя выхода к людям, и так далее. Поэтому, с вашей точки зрения, этот разговор вообще не нужен. А вот я говорю вам: нет, вы неправы. Потому что я выдвигаю совершенно иной вариант прошлого: все было не так, как помнится вам. То, что вы представляете себе — наваждение, сон дурной, на самом деле все было совершенно не так. И я, например, четко помню, что книга ваша вышла. Да-да. Напрягитесь, вспоминайте! Она вышла, вспомните, в переплете номер семь, основная масса тиража — серого цвета, но несколько тысяч и коричневого, у типографии тогда не хватило балакрона одной расцветки. Критика была громкой, хотя и не всегда доброжелательной. Так или иначе, о вас сразу заговорили. Помните? Вспоминайте, вспоминайте! Я уверен — вы вспомните! И вы, позволив себе с месяц отдохнуть где-то в деревне, сразу же взялись за второе произведение, которое тоже принесли сюда, и по его поводу мы с вами тоже немного подискутировали, но, как и в первом случае, в конце концов нашли общий язык, и вторая книга

тоже вышла и укрепила уже сложившееся представление о вас, как о писателе незаурядном. А дальше, что называется, пошло-покатилось... Помните? Должны помнить! Потому что именно так оно и было! Уверяю вас! Увы, я не могу привести никаких материальных, вещественных доказательств своей правоты. Потому что все тиражи ваших книг, когда подходило время, собирались в магазинах, оттуда увозились на базы, с баз — в типографии, и там исчезали — как вообще происходит с любым материальным предметом в нашей Второй жизни. Нет у меня вещественных доказательств, к великому сожалению — нет. Но ведь и у вас нет ни малейшего доказательства того, что все происходило именно так, как вам кажется, как, по вашему мнению, вы помните...

Тут наконец зерновский монолог должен был прерваться — пришло время и автору подать реплику, как в хорошо отрепетированном спектакле. Так что Зернов не без удовольствия перевел дыхание, хотя знал, что отдых его будет непродолжительным.

— Но зачем? — спросил автор, явно не ожидавший такого поворота разговора, несколько растерявшийся, сбитый с позиций, поколебленный в настроении.— Зачем мне думать и представлять так, как вы говорите? Я ведь...

Он не закончил: время его истекло, потому что в тот раз он отвечал еле-еле, цедя сквозь зубы лишь словечко-другое.

— Да для жизни! — ответил сразу же Зернов, именно такого вопроса и ожидавший. - Для жизни, друг мой! Подумайте непредвзято. У вас, у меня впереди еще десятки лет жизни. И почти все это время мы будем находиться, как принято говорить, в здравом уме и твердой памяти. Но на этот раз нам предоставлена такая возможность, какой в той жизни мы не обладали: создавать память по собственному усмотрению! Как и тогда, память играет немалую роль в нашем мироощущении, в жизненном тонусе, в настроении — во всем, исключая лишь практические поступки, в которых мы не вольны. Но раз наша жизнь зависит от памяти, то почему же нам не постараться сделать ее такой, при которой нам будет легче жить — коль скоро такая возможность нам дана, и никто никогда не сможет доказать, что дело обстоит не так, как уверены мы с вами! Вы выйдите отсюда на улицу — так выйдите на нее, твердо зная, что вы — великий писатель, не так давно еще всем известный, но — к

сожалению, время катится вспять, а обратной памятью обладают единицы... Испытайте легкое сожаление при мысли об этом — но не более того!

— Но ведь есть же люди с обратной памятью! И они смогут опровергнуть...

— Никто ничего не сможет! Потому что доказательств, как я уже говорил, в принципе существовать не может, а что касается памяти... Кем бы мы ни были в прошлом, не станем преувеличивать собственного значения для других людей. Поверьте мне: ни для кого из них мы — даже вы!— не были главным в жизни. Не так-то уж старались люди запомнить все то, что касалось вас — не говорю уж о себе. Они могут помнить что-то в той степени, в какой это связано с событиями их собственной жизни — если наше прямое или косвенное вмешательство играло в их жизни какую-то роль. Кроме того — памяти, увы, свойственно искажать минувшее. И вот если, допустим, мы с вами вдвоем начнем последовательно и серьезно утверждать, что книги ваши в свое время выходили и что вы были широко известным писателем, то даже люди, обладающие памятью, сперва начнут сомневаться в том, правильно ли они помнят события прошлого, а затем понемногу уверятся в том, что правы мы — потому что мы станем утверждать безоговорочно, а они столь безоговорочно отрицать не смогут. Мало того, чем дальше, тем больше будет находиться людей, которые ваши книги в прошлом читали — потому что всегда было и будет немало людей, которым стыдно признаться, что они чего-то не читали, если это было модно или просто интересно. И они вспомнят, сначала смутно, а потом и совершенно точно! Понимаете теперь, чего я хочу?.. К сожалению, вы не сможете мне ответить, потому что у вас осталось время только попрощаться, сейчас вы встанете и уйдете; но поскольку это не последний наш разговор, подумайте на досуге о том, что я вам говорил сейчас, подумайте — и согласитесь с тем, что жить в том мире, который я только что раскрыл перед вами, куда удобней и приятней, чем в том, в каком вы жили до этого разговора. Вы ничего у себя не отнимете, вы лишь станете богаче и проживете предстоящие вам десятки лет совсем в ином настроении, что прожили бы их в другом случае. И при этом думать обо мне вы тоже будете несколько иначе, чем думали бы, не случись этого нашего разговора и не согласись вы со мной. А я ведь вижу, что в принципе

вы уже согласились! Но подумайте, подумайте. И в следующий раз, я уверен, вы придете сюда совсем в другом настроении!

Так закончил Зернов, с удовольствием чувствуя, что и позицию, и настроение автора он действительно поколебал весьма сильно, и с еще большим удовольствием понимая, что у него самого настроение после этого разговора тоже значительно поднялось, и жить стало в какой-то мере легче, а дальше будет и еще легче. Так что когда автор, как ему и полагалось сейчас, встал и пошел к двери, и у двери попрощался и вышел, сохраняя на лице мрачно-сосредоточенное выражение, какое было и в тот раз (а другого и сейчас быть не могло), то по глазам автора, по чему-то такому неуловимому в них заметно было, что он находился сейчас в состоянии полного недоумения, но не отрицательного недоумения, а положительного, которое можно выразить примерно так: не знаю, что это такое, но, похоже, что-то хорошее. Зернов же глядел ему вслед, испытывая довольство собой. И даже непрошенно промелькнувшая сторонкой мысль о том, что время, хотя и вспять, но все же идет, и приближается день того самого собрания, где Зернову предстоит выступать и обвинять, - даже эта мысль не заставила его огорчиться всерьез: теперь способ известен, спасемся, бог даст, и от этого...

Дня через два понадобилось, правда, собрать все силы, все самообладание, чтобы не вывалиться из своего мира, где все было к лучшему, в неуютный реальный мир Второй жизни. Произошло это потому, что почти с самого утра — часа за три до того, как идти на службу — в квартире царил полный разгром. В большой комнате два мужика возились, стучали, кряхтели, поругивались, царапали паркет, роняли стулья — и при всем том пытались показать, что совершают какую-то полезную работу. Чем дальше, тем они больше мрачнели, потому что еще только войдя в квартиру (Зернов встретил их в прихожей), один из них, помоложе и побойчее, тут же сунул Зернову в ладонь две сложенные пополам синих пятерки, и Зернов некоторое время держал деньги зажатыми в руке, прежде чем переправил в карман. Каждому ясно, что получать деньги приятнее, чем отдавать, тем более если деньги ты отдал, а работать тебе все равно придет-

ся — примерно так думали, должно быть, оба пришедших. Но и Зернова полученные деньги не радовали, хотя сегодня, он должен был получить еще и куда больше. Рассчитавшись, оба деятеля прошли в большую комнату, с минуту постояли, оценивающе оглядывая большую и уже совсем новую стенку югославского производства. Из этой стенки Зернов с Наташей уже сняли и вынули все, что в ней стояло, лежало и висело. Деятели переглянулись, вздохнули, тот, что помоложе сказал: «Ну вот, хозяин, полный порядочек!» — слова, сказанные им и в тот раз, в той жизни; потом оба взялись за дело. Наташа же и Зернов стали вносить упаковочный картон, жестяные полосы, которыми раньше все было окольцовано, веревки и прочее. Стенку стали ворочать, разнимать и разбирать. Делали это работяги не очень уверенно, разбирали какую-то часть, потом, почесав в затылке, начинали собирать снова, потом разбирали опять — и поэтому работа, в общем-то не очень сложная, заняла два с лишним часа. Наблюдая за работой и порой пытаясь вмешаться, Зернов невесело думал о том, что в конце концов они все же справятся с этим делом, потом, очень аккуратно упаковав все доски и пластины, в которые превратится очень полезная часть обстановки, указывающая, кстати, на определенный, отнюдь не самый низкий уровень жизни ее владельца,— упаковав, они примутся сносить тяжелые пакеты вниз, где к тому времени неизбежно окажется грузовое такси, водитель которого тоже первым делом отдаст Зернову деньги за рейс и станет помогать тем двоим. Они погрузят бывшую стенку,— в комнате станет как-то необычайно пусто,— Зернов сядет в кабину и они поедут в магазин — сдать стенку продавцу и получить назад уплаченные за нее в Первой жизни деньги, довольно значительные. Все это еще предстояло сегодня, и пока шел процесс разрушения, Зернов стал вдруг (неожиданно и, может быть, не совсем к месту) думать о смысле жизни — жизни вообще, и Второй в частности. И в самом деле, грустно получалось: раньше время шло и ты работал, зная, что работа эта, кроме тех результатов, которые она принесет в общем плане — читателям, литературе, культуре, государству, человечеству, наконец,— даст и другие результаты, менее значительные в масштабе мировой культуры, но важные для тебя самого: за истраченное время и силы ты получишь некоторую сумму денег и сможешь купить что-то, в связи

с чем в жизни появится что-то новое и приятное. Теперь же получалось нелепо, потому что работать надо было ровно столько же времени, и силы уходили те же, но вместо того, чтобы что-то получать, ты должен был это «что-то» возвращать в магазин и получать назад свои деньги, которые через день-другой надо было отнести в издательство и сдать в кассу, еще и постояв для этого в очереди. Потом надо было расставить по местам вновь привезенную старую мебель, опротивевшую еще в Первой жизни — а память о новой стенке останется и будет побаливать... Легче,— подумал Зернов,— легче, наверное, во Второй жизни тем, кто в Первой не очень ценил вещи, не обращал особого внимания на то, на чем сидит и лежит, на чем ест и во что одевается. Ну ладно,— тут же стал он опровергать сам себя,— допустим, покупает такой человек книги или картины. Но и с ними ведь не лучше, я сам на прошлой неделе сдал книг на полсотни рублей, какая же разница? Он прекрасно понимал, однако, что разница есть. Сданные книги нельзя было, правда, еще раз перечитать или подержать в руках, но прочитаны-то они были, и в памяти оставались, а в этом и заключалось их главное назначение: жить в памяти и, следовательно, по-прежнему как-то влиять на твою жизнь, жизнь духа. Нет, видимо, книги были для Второй жизни выгоднее мебели, а еще куда выгоднее были спектакли, концерты, выставки или путешествия: тут мало того, что ты получал деньги назад, но ты же и еще раз — как бы в премию — смотрел тот же самый спектакль или слушал музыку, или любовался полотнами, или посещал чужие города и веси. Да, это, оказывается, было самым выгодным — но кто мог знать, что эфемерное переживание от искусства окажется долговечнее мебели?..

Мысли его прервались: вошла Наташа, неся еще одну охапку упаковочной бумаги, которой сейчас же предстояло пойти в работу, а вслед за нею — Сергеев, нагруженный листами гофрированного картона. Сергеев — тут? Сейчас?.. Однако, Зернов сразу же вспомнил, что и действительно заезжал Сергеев в тот раз — спросить, не нужно ли чем помочь; заезжал, хотя и пробыл недолго. Тогда Зернова даже тронуло такое внимание, хотя объяснил он его тем, что был, как-никак, начальником Сергеева; теперь же он подумал, что вовсе не в том было дело — он перехватил взгляд, брошенный Сергеевым на

Наташу и понял, что гадать о причинах не приходится. И появление Сергеева, и этот его взгляд сразу же отбили у Зернова всякую охоту рассуждать отвлеченно. Сам удивляясь, он ощутил вдруг даже не приступ — нет, буквально взрыв какой-то в душе, взрыв ревности, едва ли не ненависти к сопернику; хорошо еще, что над действиями своими Зернов был не властен, иначе как знать, что могло бы тут произойти. Ревность эта его самого немало удивила: вроде бы все ведь было ясно, все было неизбежно — чего же волноваться попусту? Но здравая эта мысль не помогла, не хотел он, совершенно не хотел делить Наташу с кем-то — хотя бы на краткий миг, хотя бы только в душевном плане. Не мог примириться с такой мыслью. Не желал.

Господи,— подумал Зернов,— что же это со мной? Ведь все, кажется, так прекрасно устроилось, такая безмятежная жизнь пошла в моих мирах — зачем же это, зачем же так переживать что-то, происходящее не в моем мире, а в реальном, до которого мне и дела почти никакого нет? Ведь уже, кажется, установилось полное безразличие между нами, каждый волен жить, как хочет в своей душе; чего же мне? Неужели на самом деле она мне не безразлична еще? Да что я, в самом деле — снова люблю ее? Бывает ли так?

Бывает, наверное,— раз со мной приключилось,— тут же ответил Зернов сам себе. Что делать: духом, даже своим, нельзя командовать, напротив, это он командует всем прочим...— Зернов смотрел на Наташу, улавливая каждое малейшее ее движение, вглядываясь в каждую черточку ее лица,— смотрел и чувствовал, что на самом деле, как бы он себя ни уговаривал, все это осталось — или снова стало — для него бесконечно дорогим, и что жить без этого просто невозможно. Он имел в виду не ее физическое присутствие, которое самой жизнью было ему гарантировано еще на полтора десятка лет,— нет, теперь, когда физическая сторона жизни так немного значила, потому что была неизменна и неизбежна, ему нужна была общность духовная, потому что только в душе и происходила теперь настоящая жизнь. Нет, не могло оставаться все так, как было еще минуту назад.

Мир,— подумал Зернов привычно.— Как же это получилось, что в моих мирах до сих пор не нашлось местечка для Наташи, хотя именно ей главное место в них и должно принадлежать? Надо сейчас же, незамедлитель-

но создать новый мир для нас обоих, мир, в котором Наташа, как и я сам, будет свободна и счастлива. Да, создать этот мир...

И тут в нем шевельнулось сомнение. А может ли он создать такой мир? Они ведь только в его душе существуют, новые миры, и кем бы он их ни населял, легче от этого становится только ему самому, и никому другому. До сих пор, правда, он ничего иного и не хотел; он убеждал автора или Аду, но ему было все равно, чувствуют ли они себя, расставшись с ним, по-прежнему в его мире, или возвращаются в реальность? Да, скорее всего, возвращаются. Эти миры он создавал для себя, и сейчас впервые захотел создать такой мир для другого человека, для Наташи — и понял вдруг, что создать мир для другого можно только одним способом: действуя через реально существующий мир, иными словами — пытаясь на этот реальный мир как-то воздействовать... Это все было просто, логично, понятно, и только одно затруднение видел он перед собой: заключалось оно в том, что воздействовать на этот реальный мир, уже по самому его принципу, было нельзя.

Странно,— думал Зернов. — Вторая жизнь как бы сама несет в себе семена своей гибели: она дает возможность использовать все время, чтобы думать, поскольку работа делается сама собой. Ну что же, используем данный нам шанс...

Мир для Наташи,— думал он.— Как создать такой мир, в котором мы будем вместе и она будет снова любить меня?

Он попробовал разложить задачу на элементы. До сих пор Зернов создавал миры для себя. Создать мир для себя можно было, изменив некоторые черты реального мира (пусть только в своем воображении) так, как это нужно было Зернову. Если же нужно создать мир для другого человека, то — логически рассуждая — следовало изменить нечто в реальном мире так, чтобы оно стало приемлемым для человека, для которого мир создается. Все просто.

Просто, но практически невыполнимо. Потому что до сих пор мир создавался, как уже сказано, в воображении Зернова, а своему воображению он был хозяин. Наташа же была — сама по себе, и управлять ее воображением

Зернову вряд ли удалось бы. Кроме всего прочего и потому, что нынешняя Наташа не была той, с кем расстался он, уходя из жизни. Она прожила еще долгую жизнь после того, и опыт этой жизни, и все изменения, внесенные этой жизнью в ее духовное «я» сохранялись и сегодня. Так что Наташа была, по сути дела, незнакомой женщиной, которую надо было завоевывать с самого начала.

Надо ли? Зернов не сразу все-таки поверил в то, что это необходимо. Он сначала попытался убедить себя в том, что все это только лишь придурь, глупость: заново влюбиться в собственную жену, нелепо ведь, смеяться будут! Но ничто не помогало: сердцу, как говорилось еще давно, не прикажешь, а сейчас, во Второй жизни, это ощущалось куда острее, чем раньше. Если бы можно было находить какие-то рациональные корни любви, Зернов, возможно, пришел бы к выводу, что в возрождении его чувства сыграло роль и то, что Зернов как бы отнял жену у другого человека, Серге[illegible]. Кроме того, он не мог забыть, как вела себя она с ним, когда он болел и умирал, и запоздалая благодарность [illegible] в нем.

Итак, мир для Наташи надо было создать в ее воображении, а влиять на него, на воображение, Зернов не мог никак, за исключением одного [illegible]: следовало изменить то, что должно было в этот Наташин мир войти; изменить в реальности — так, чтобы на нее подействовали факты. Чтобы она поверила в реальность нового, предназначенного для нее мира.

Что должно было в этот мир войти? Многое, наверное; но главным и основным, что должно было непременно присутствовать в том мире, был сам Зернов. И поскольку сегодняшнего, реального Зернова Наташа не любила, измениться следовало в первую очередь ему самому. Очень просто, не правда ли? Только как это сделать?

О человеке судят по его поступкам. То, что он думает и говорит, убеждает людей лишь тогда, когда подкрепляется делами. Это известно столько времени, сколько существует общество. И Зернову, чтобы убедить Наташу в том, что он становится другим, достойным ее, надо было совершать какие-то поступки, которые позволили бы ей поверить в это.

Но все поступки во Второй жизни были лишь повторением тех, что совершились уже в жизни Первой. Ничего иного совершить сегодня было нельзя. И в то же время,

это было необходимо, потому что никогда и ни одну женщину не убедят слова: я рад был бы сделать ради тебя то и это, но, к сожалению, обстоятельства не позволяют... Надо было быть сильнее обстоятельств.

Легко сказать. Но ведь обстоятельством-то этим была сама Вторая жизнь! Иными словами — Вселенная. Природа. Бытие.

Тут было над чем подумать...

Как ни странно, сама мысль о том, что надо вступать в какой-то конфликт со Второй жизнью, Зернова не испугала и не удивила.

Во-первых, потому, что, исследовав свою Первую жизнь,— а значит, и предстоящую теперь Вторую — до самых истоков, до безмятежного детства, Зернов так и не нашел там такого рубежа, на котором можно было бы остановиться, сказать: вот тут я был человеком без страха и упрека, вот такого, каким я был в тот момент, Наташа не могла бы меня не полюбить. Не оказалось в жизни такого мгновения. Нет, безусловно, было в ней немало хорошего, но оно всегда тесно переплеталось с таким, за что Зернову было бы трудно хвалить себя. Если он выступал против чего-то, что можно было назвать злом, то не потому, что так болел душой за добро, но потому, что чувствовал за собой поддержку чего-то доброго, более сильного, чем зло. Но ведь бывало, что и против добра выступал он — когда зло в тот миг было сильнее. Правда, в Первой жизни глубоко в сознании Зернова сидело привычное: я сам себе хозяин, что бы я ни делал — то потому, что так хочу, а если и не хочу, то хотя бы признал нужным, полезным, целесообразным, оттого и сделал. Может быть, и подлость сделал; но — сам! Для уважающего себя человека быть чьим-то инструментом постыдно, уж лучше считать себя — ну, не подлецом, конечно, к чему громкие слова, но, допустим, человеком, чьи понятия о морали не всегда совпадают с общепринятыми. Таким Зернов себя и воспринимал. Но вот теперь, мысленно продвигаясь от одного эпизода, бывшего в Первой жизни и предстоявшего во Второй, к другому такому же эпизоду, он убедился: нет, все-таки был инструментом; не в руках одного какого-то человека, но в руках какого-то общепринятого в свое время настроения, говорившего, что делать следует то, что тебе выгоднее, потому что все равно помрем, а дальше — пустота. И можно было (понимал Зернов) возвращаться к самым

истокам, и ничего такого, что нужно было ему сейчас — никакого другого себя там не обнаружить.

Так-то оно так,— думал Зернов, одновременно занимаясь служебными бумагами.— Однако же, разрешите вопрос. Можно? Итак: в этой нашей Второй жизни я — человек все же, или нет? Или просто комбинация материальных частиц с заданной программой? Нет: простая комбинация не стала бы мыслить, была бы лишена духа, того самого, кто только и сохраняет независимость в наши дни. Но если я человек, то мне обязательно должно быть присуще свойство нарушать программу. Само явление, сам феномен человека есть постоянное и непрерывное нарушение программы. Сама жизнь есть во многом нарушение программы. Иначе она была бы повсеместной, и проблема множественности или исключительности обитаемых миров не волновала бы умы.

Но из этого вытекает, что нарушить в принципе можно всякую программу. Даже эту. И бороться, спорить можно даже и с великим Временем. [illegible] только найти — как.

Конечно,— рассуждал Зернов несколькими днями позже,— бросить вызов природе, выйти с ней один на один и пытаться сокрушить [illegible] мироздания — задача, прямо скажем, не очень обнадеживающая. Раз уж никто не смог из тех, кто посильнее меня... Он вспомнил, как, услышав от Сергеева о Второй жизни, проговорил растерянно: кто же это разрешит? Велика была унаследованная от Первой жизни вера во всемогущество людей, стоящих наверху. Но против природы и они, видимо, оказались бессильными.

Тут что-то заставило его задержаться мыслями. Что-то в этом рассуждении было так, а что-то и не так. Но что именно — он пока понять не мог.

И вдруг понял. Нет, были тут все-таки основания для каких-то сомнений. И основания эти заключались в том, что Вторая жизнь, если брать ее целиком, была непоследовательна. А непоследовательность,— был убежден Зернов,— не присуща природе. Непоследовательными бывают люди, но не Бытие.

Непоследовательность же заключалась в том, что жизнь возвращалась по своим следам, а дух человеческий продолжал идти вперед. Возникал разрыв, и с каждым днем разрыв этот увеличивался. Потому что Вторая жизнь в своем движении неизбежно пройдет и через, допустим, средневековье, и через пору рабовладельчест-

ва, и через каменный век — но сознание-то не может вернуться к этому, оно давно уже оставило все это позади, сознание с этим не смирится! Оно неизбежно, пусть и непроизвольно, будет сопротивляться, и так же неизбежно настанет момент, когда сопротивление духа станет настолько мощным, что продолжаться дальше Вторая жизнь не сможет; пусть даже сейчас трудно представить себе механизм, при помощи которого бесплотное сознание сможет остановить вполне вещественные процессы.

Итак, непоследовательность, внутреннее противоречие были явными. А ведь природа, повторил себе Зернов, не противоречива. Дух тоже является частью природы — поскольку не существует ничего, что лежало бы вне ее, природа — это как бесконечно большая величина в математике, которая оказывается больше любой другой заданной величины. Но если дух — тоже природа, то он шел бы тем же самым возвратным путем — если бы природа совершила этот великий поворот. Значит, не она? Как там было в той рукописи?..

А если не она, то — люди? Пусть другие люди, жившие куда позже нас, намного более могущественные технически, энергетически, как угодно, но — люди. Почти как у упрямого автора.

С людьми же всегда можно было и всегда можно будет бороться. И когда человек борется с человеком, каким бы ни было соотношение их сил вначале, результат схватки не является стопроцентно предсказуемым заранее. Давид и Голиаф? Да, Давид и Голиаф. Не станем пренебрегать выразительным образом.

И не люди ли некогда — в далеком прошлом Второй жизни — завещали нам, потомкам: возвращайтесь, не оглядываясь! Потому что если мы станем оглядываться, то, может быть, поймем, что все еще можно изменить... Жаль, кстати, что я тогда не дочитал...

Мысли эти захватили Зернова. Захватили настолько, что он не стал даже, вопреки обычаю, взвешивать и размышлять: да зачем мне это? Что я выиграю? Погнавшись за призраком — не потеряю ли чего-то, более важного, и реального к тому же? Впрочем, тут причина могла заключаться просто в том, что Зернов полюбил свою собственную жену; а человек влюбившийся — когда же и где способен был размышлять и взвешивать?

И на следующий день на работе Зернов сказал Сергееву

(вместо того, чтобы обсуждать с ним авторские заявки в перспективный план, оставшийся уже далеко в прошлом):

— Не хотите принимать меня в ваше Сообщество — и не надо. У вас, наверное, есть свои причины, да я и не стремлюсь. Но над одним делом вам, пожалуй, стоило бы поразмыслить.

— Какое именно дело? — помедлив, спросил Сергеев.

— Протаранить ваше Второе бытие. Повоевать со Временем. Я хочу осуществить это. Но в одиночку могу и не справиться.

— А почему ты считаешь, что мы должны хотеть этого?

— Для чего же тогда вы существуете? Какой толк — хранить память о прошлом, если вы не хотите извлечь из него что-то для будущего? А будущее нашей теперешней, Второй жизни, как ты сам понимаешь, неизменяемо. Если я не прав, то какой тогда смысл в вашем лозунге? Зачем надо возвращаться оглядываясь? К чему тогда оглядываться?

— Допустим, — сказал Сергеев спокойно, хотя спокойствие его казалось не очень убедительным. — Послушай... Я понимаю, знаю все, что ты хочешь и можешь сказать. Не думай, что такие мысли только к тебе пришли, что никто другой об этом не задумывался, не приходил, может быть, в отчаяние... Было, друг мой, было, это своего рода детская болезнь Второй жизни. Но со временем она проходит — и потом уже не возвращается. Думаешь, мне сейчас все так уж нравится? Да я, может быть, потерял куда больше твоего! Наташу потерял — это одно уже... Но все это — личное дело каждого из нас. И не может быть противопоставлено природе.

— А если природа тут ни при чем?

— М-м...— только и произнес Сергеев, и надолго замолчал, и Зернов тоже молчал — такая пауза полагалась им по сценарию.

— Если человек,— заговорил потом Зернов,— нашел средство повернуть время, то он может найти и противоположное.

— Может быть. Но не нам с тобой найти. И даже не тому автору, пусть он что-то и угадал.

— А может быть, это крайне просто? Куда проще, чем можно подумать. Может быть, не нужна тут никакая техника, ничто подобное.

— Думаешь?

— А ты полагаешь, наш дух случайно сохранил свободу действия — при полном отсутствии свободы физической?

— Не знаю, не знаю... Но это ведь и не главное, Митя. Я уже сказал тебе: это просто не нужно. Что у нас такого против Второй жизни?

— У меня — очень серьезные возражения. Куда идем мы в этой жизни? Путь наш можно назвать одним словом: регресс. Другое определение ты вряд ли сыщешь. Вот, два дня назад я снял с полки несколько книг. Из них одну хорошую и одну прекрасную. Зашел в магазин и сдал. Сегодня этих книг больше нет у меня. Завтра их не будет в природе. Следующее поколение, поколение наших отцов, станет духовно беднее нас с тобой. Дух не идет вспять — но что-то неизбежно теряется, и теряется не худшее, а то, что остается, приведет лишь к страшным противоречиям между сознанием и бытием.

— Может быть. Пусть я сегодня знаю чуть меньше, чем вчера. Но я стал моложе, здоровее... Воздух становится чище, прозрачней — вода, гуще — леса...

— Что ты хочешь этим сказать?

— А вот что, если предположить на минуту, что время повернули действительно люди...

— Ага! Ага! Выходит, не я один возвращаюсь к рукописи!

— Постой... то стоит задуматься: а почему и зачем они это сделали? Неужели они были глупее нас с тобой? Была, значит, причина. И, наверное, достаточно серьезная.

— У них, может быть, и была. Но у нас, сегодня, я ее не вижу, да и ты не видишь. И стоит ли эта их причина того, чтобы через сколько-то лет снова началась война? Та, которая была? Не говоря уже о том, что будет ей предшествовать и что за ней последует в нашей Второй жизни. Сергеев, тебе не страшно?

— Но ведь можно посмотреть и иначе. Да, возвратное движение человечества пройдет через войну. Через многие войны. И через многое иное, о чем не хотелось бы думать. История жестока.

— Иными словами, жестоко наше будущее?

— Но есть ведь и другая сторона! Будет война — значит, вернутся миллионы, погибшие на ней. И снова проживут то, что им отмерено, от последнего дня до первого.

Почему ты, вернувшийся, заново пользующийся радостями жизни — почему ты хочешь отказать в этом миллионам людей, ничуть не худших?

— Но повторение фашизма во всех его формах...

— Но то же самое относится ведь и к его жертвам... И потом, Митя, послушай: тут главное — не этические критерии. Главное в другом. Если люди в какой-то момент — не мы с тобой, а люди куда более могущественные во всех отношениях — решили повернуть время вспять, то этому может быть лишь одно объяснение: они увидели перед собой нечто столь страшное, что не нашли иного выхода, как отступить во времени. Предположим теперь, что жизнь снова вернулась на старые рельсы. Еще раз повторится то, что было тогда. Значит, пройдет время — и мы снова окажемся перед тем страшным, что однажды уже заставило людей бежать от него?

— Что это могло быть?

— Откуда мы знаем? Может быть, страшная назревавшая война, а может быть, и еще что-то... Видишь ли, возвращаясь, мы знаем, что нам придется пройти через многое, в том числе и скверное. Но тут мы хоть знаем, что нам предстоит! А когда знаешь, уже не так страшно. А что было там — мы не знаем. Да и кроме того... Ты вот говоришь о регрессе, обо всем прочем. Но посмотри вокруг, на людей, которых ты знаешь. Разве им плохо? Разве они недовольны? Жалеют о Первой жизни, о временах Свободной воли?

— Да помнят ли они?

— Не обязательно сравнивать с чем-то, если ты чувствуешь, что тебе больно. Но людям не больно. Им вовсе неплохо. Да, они лишились возможности решать. Совершать поступки по своей воле. Но разве в той своей жизни они так уж часто решали сами и совершали поступки по своей воле? Зато теперь они пользуются благами жизни. Никакого риска. Никакой ответственности. Ни малейшей необходимости задумываться над жизнью. Все определено. И человек старается извлечь максимум эмоционального удовлетворения из каждого прожитого по программе момента. И ты хочешь лишить его такой жизни, которую он, быть может, воспринимает как награду за прожитую в хлопотах первую. Только хочет ли он, чтобы ты его лишил?

— Но у него нет главного! Дух требует, чтобы каждый из нас стремился стать лучше! Но мы не можем...

— Но может быть, это все-таки меньшее зло.

— Иными словами,— сказал Зернов,— ты мне не помощник.

— Нет. И тебе советую: брось. Зря потратишь нервы, силы. Поверь: пройдет. Свыкнешься. Ощутишь благость всего того, о чем я тебе сегодня говорил. И порадуешься тому, что не попытался испортить что-то.

— Ты говоришь, Наташу ты любил?— спросил Зернов вдруг, казалось бы, и не к месту вовсе.

— Тебе пора,— сказал Сергеев в ответ.— Директорское начинается: слышишь, соседи уже пошли. Сегодня длинное будет директорское,— он взглянул на часы.— Хорошо, правда: идти на совещание, и ничуть не волноваться, заранее зная все, что там будет и чего не будет.

Да, не так просто все решалось: ведь и у Сергеева была своя правда, и не одна даже, а несколько, и самой главной из этих его правд была: кто может взять на себя ответственность решать за людей, не спросив их? Изменить что-то только для себя, для Наташи? А можно ли так? Вряд ли: если уж начнутся изменения, то покатятся, вероятно, лавиной.

Но смириться Зернов не мог. И решил все-таки сделать попытку изменить свою линию бытия, свою судьбу, карму, если угодно. Решил открыто выказать неповиновение Времени, Второй жизни.

Пришло время ехать на свидание с Адой. И Зернов решил, что не поедет. Это казалось делом достаточно простым: не надо было ничего делать, напротив: надо было ничего не делать. Просто удержаться — и все.

Ехать на свидание предстояло из дома. Зернов решил, что за час до срока примет основательную дозу снотворного. А перед тем запрется в квартире и выбросит ключ в окно. Интересно, как тут станет выкручиваться Время,— не без самодовольства подумал Зернов, и весь этот план и его мысли доказывают лишь, насколько бывает сильна инерция сознания — инерция, позволяющая думать, что хотя бы мелкими своими поступками еще можно было распоряжаться по собственному усмотрению.

Свидание, как обычно, должно было состояться утром, до работы, поскольку в Первой жизни все это происходило по вечерам. Зернов проснулся не как обычно — сразу,

а постепенно, но зато очень приятно: как будто медленно вылезал из теплой, душистой ванны. Встал. Голова была необычайно ясной. Он сразу же принял снотворное, потом сел завтракать. Поел. Посидел немного, настраивая себя на полный успех задуманного. И в самом деле: принял же он снотворное, как и хотел, и ничто не помешало ему! Правда, он никак не мог вспомнить: а не принимал ли он снотворное в это же время в Первой жизни? Но он и не очень старался вспомнить. Пришла пора выбросить ключ. Зернов встал. Вышел в прихожую: ключ был в кармане пальто. Рука сама собой потянулась к пальто. «Нет,— остановил себя Зернов,— этого делать не надо, нужно только достать из кармана ключ. Достать ключ!— приказал он мысленно сам себе.— Достать ключ!». Зернов напряг всю свою волю, пытаясь сконцентрировать ее в исчезающе-малом объеме, чтобы она приобрела пробивную способность летящей пули. «Достань...». Вдруг сильно закружилась голова. Быстрее, быстрее. Он перестал видеть. Кажется, перехватило дыхание. Кажется, он падал. Кажется, кричал, его охватил почему-то дикий, необъяснимый ужас. Потом была тьма. Ещё позже Зернов очнулся: ключ был в кармане пальто, пальто — на Зернове, Зернов — в автобусе, автобус ехал туда. Зернов покосился на попутчиков; никто не обращал на него особого внимания. Видимо, и в бессознательном состоянии он вел себя, как нормальный человек. Вместо сознания действовало Время.

На этот раз Зернов приехал намного раньше, чем мог бы — в той жизни он, проводив Аду, не уехал, как обычно, следующим автобусом, а задержался: захотелось побыть одному на природе, он давно не позволял себе этого. Дул ветер, но в лесу, подальше от опушки, он совсем утихал и лишь томно шумел в вершинах. Под этот шум хорошо было думать. Нужно было думать. Попытка не удалась, но смиряться было рано. Зернов подумал, что Аде, может быть, так же не хотелось ехать на эту встречу, как и ему самому, не хотелось близости, хотя близость обязана была наступить, хотели они того или нет. Но расхождение между желаемым и осуществимым копилось, концентрировалось, поднимало давление — до какого-то взрыва, который должен был, видимо, произойти в сознании, хотя вряд ли мог получить воплощение в реальных поступках. Или все-таки мог — каким-то совершенно неизвестным, но неизбежно простым способом.

Времени было еще много. Зернов вышел на поляну, где был и в тот раз. Интересно, как сейчас это будет выглядеть,— промелькнуло в голове. В тот раз событие произошло у него на глазах. Если бы Зернов тогда знал, что ему придется наблюдать все еще раз, но в обратном порядке, он обождал бы до конца: интересно было бы видеть все на всех этапах, с подробностями. Но и так он представлял себе, что было дальше: приехала машина, люди с пилами и топорами обрубили сучья и раскряжевали ствол, погрузили и увезли. Теперь все было доставлено на место, и нельзя было больше увидеть, как горит костер, как из пламени и золы возникают сучья, как, повинуясь взмахам топоров, возвращаются они на свои места и прирастают к стволу... Все это теперь уже успело произойти, и упавшее в тот раз дерево лежало, опираясь на обломившиеся сучья, что оказались внизу, — этим еще предстояло прирасти, — и самая макушка, тоже отломившаяся при падении, лежала чуть в стороне от хлыста. Ветер наверху усиливался. Зернов стоял боком к дереву, затем резко повернул голову и услышал треск: тогда это сломались сучья при падении дерева. Началось; снова прозвучал резкий, скрипучий треск, потом глухой удар — и словно этот звук не только послужил сигналом, но и придал телам необходимую энергию,— вершина дерева подпрыгнула, описала пологую траекторию по направлению к стволу, а ствол в это время дрогнул раз и другой, словно разминая затекшие нижние сучья — и вдруг, как бы оттолкнувшись ими от земли, взлетел косо — а вершина поймала его в самом начале этого движения, сомкнулась со стволом, и дальше они двигались единым целым. Ствол начал взлетать быстро, одновременно сучья распрямлялись, места изломов исчезали бесследно, вот обломанный комель одним своим краем прислонился к торчавшему из земли пню, и вокруг этого места соприкосновения, как вокруг шарнира, дерево стало подниматься, все замедляясь, и уж совсем медленно встало на пень. Зернов напряженно следил, как произойдет срастание: с места, где он стоял, пень был виден лучше всего. Раздался новый треск, и одновременно линия излома исчезла, а скрип еще немного продолжился и стих. Дерево замахало вершиной, потому что налетел новый, самый сильный порыв ветра. Но он быстро ослабел, и вершина восставшего дерева, поднимавшаяся над остальными, теперь лишь раскачивалась в воздухе. Отны-

не многие десятки лет, а может быть и сотни, дереву предстояло прожить без хлопот на своем пути превращения в семечко, которое потом займет свое место в шишке другого дерева, материнского, а тому пока еще только предстоит возникнуть вновь из щепы, трухи, перегноя — или из балок, досок, дыма и золы. Предстоит. Если только Зернов не помешает...

Это и хотел он, собственно, видеть: когда думаешь о каком-то процессе, полезно бывает посмотреть хотя бы на его модель. И он испытал какое-то странное облегчение оттого, что все случилось как бы само собой, но в то же время (трудно было избавиться от ощущения) противоестественно. Нет, рано было опускать руки.

Не спеша пошел он дальше. Вышел к ручью. Уступ почвы образовал здесь подобие водопада; Зернов постоял, рассеянно глядя на весело бегущую воду. Она бежала назад, добегала до уступа, вспенивалась, взлетала брызгами и, одолев полуметровую ступень, как ползущая в гору рептилия, так же весело устремлялась дальше — к своему истоку. Круговорот воды не нарушился, просто колесо крутилось в обратную сторону. Гигантское колесо. А он, Зернов, хочет попытаться как-то остановить его, чтобы потом повернуть в противоположном направлении. Зернов, маленький человечек в маленькой своей жизни, с маленькими возможностями и такими же потребностями — на что замахнулся он? Чего возжелал? Но,— подумал он тут же,— а способен ли человек пожелать чего-то такого, что совершить не способен? Не помечтать о чем-то,— мечтать можно бесконечно и беспочвенно,— но именно пожелать, а желание ведь и есть сплав из мечты и ощущения собственных возможностей. Правда, то, что ты способен, еще вовсе не означает, что у тебя получится задуманное, оно может и не получиться по множеству причин. И однако, знать, что это тебе по силам — великое дело... Может быть, само возникновение у меня такого желания,— думал он,— и значит что я на такое способен? Не знаю... Наташу я люблю — вот в этом я уверен. И уж если хоть что-нибудь могу, то ради нее это сделаю. Сделаю! Вот если бы не...

Он думал это уже на автобусной остановке, куда вернулся точно в нужное время. Ада приехала, естественно — куда ей было деваться, как и ему? Они неторопливо пошли по лесу к своему местечку. На этот раз Зернов не стал создавать их особый мир. Не было этого

мира, были реальные люди: Наташа, Ада, он сам, были их неустройства и беды, о них-то и надо было думать, а не укрываться за стенами воображения и безразличия.

Они достигли, наконец, того самого места, своего убежища, языческого капища любви — как со смехом окрестил его Зернов в той — Первой, легкой жизни. Да, как ни странно — легкой, потому что легко — не знать будущего, просто прекрасно... Тут было уже сыровато и не так уютно, как во время прежних свиданий; что же удивительного: лето кончилось, стояла весна. Тогда, в Первой жизни неуют не остановил их. Значит, не остановит и сейчас? Ах, как хорошо было бы, если бы хоть что-нибудь могло их остановить; похоже, такая мысль родилась одновременно у обоих любовников. Ада смотрела на Зернова, улыбаясь, но улыбка казалась мертвой, в ней не было содержания, а глаза выражали то ли жалобу, то ли какую-то обиду, словно он обманом завел ее сюда, перехитрил, хотя на деле все было совершенно не так... Потом, словно не понимая, словно помимо своей воли — а так оно и было по сути дела — Ада стала расстегивать пуговицы плаща, он — тоже. «Слушай, пойми... Я не хочу!»— услышал Зернов. «Не хочу, не нужно, никому не нужно...». «Я тоже,— честно ответил он, продолжая раздеваться — это ошибка, нам незачем быть вместе, не обижайся, но меня просто не тянет к тебе!..»— и он обнял ее и прижал к себе. «Это ужасно,— в ее глазах были сейчас боль, ужас, отвращение,— это ужасно, это невозможно — то, что мы сейчас делаем...». Мысли были сегодняшними, все остальное — вчерашним, из Первой жизни, и они легли и обнялись и стали любить друг друга, а в глазах их был ужас, потому что каждый совершал насилие и над другим, и над самим собой, но тела не желали повиноваться чувствам, Время управляло их движением.

Потом они снова шли к автобусу, шли куда быстрее, чем сюда — потому, конечно, что и в тот раз торопились. Тогда им не терпелось ощутить друг друга; но и сейчас быстрый шаг соответствовал их настроению, им хотелось как можно скорее расстаться, не видеть друг друга, навсегда забыть — если бы они были в этом вольны. «Слушай... неужели нам придется пережить это еще раз, и еще раз, и еще?..». «Боюсь, что да,»— ответил Зернов. «Это невозможно, я не перенесу, я на себя руки наложу...». «Если бы!— невесело усмехнулся он.— Но лучше

и не пробуй: ничего не получится». «Все равно. Это невозможно! Ну, придумай же что-нибудь, чтобы этого не было, ты же мужчина, придумай! Я возненавижу тебя совершенно, пойми, я уже сейчас ненавижу!». Зернов кивнул. Сам он не испытывал к Аде ненависти, но было чувство отталкивания, похожее на отвращение. «Что-нибудь попробую придумать,— сказал он,— но не уверен... Я давно уже об этом думаю. Пробуй и ты. Может быть, вместе у нас что-нибудь и получится». «У нас вместе?— переспросила Ада.— Какие страшные слова! Не хочу их слышать. Ну, почему все так? Мне ведь все время казалось, что я люблю тебя. И я по-прежнему полна любви, но вот... Но вот... Не понимаю, что происходит, что со мною делается, что со всеми нами делается!».

«Сознание,— сказал Зернов,— дух, он не хочет жить по указке, хотя бы и по указке времени, он не живет старыми чувствами и оценками, не перестает приходить к новым. Может быть, если бы продолжалась Первая жизнь, и мы в ней оставались бы вместе, то пришли бы к тому же — значит, чувство было лишь кажущимся, преходящим, не настоящим, [illegible]. А так дух продолжает развиваться, постигает что-то, но нас заставляют возвращаться по своим следам, мы в противоречии сами с собой, не знаю, чем это кончится». «Смиримся,— сказала Ада грустно и уверенно,— мы всегда в конце концов смиряемся». «Не знаю, что выйдет на этот раз...». «Все смирялись, иначе еще до нас что-нибудь да произошло бы».

«Как знать,— сказал Зернов.— Ведь всегда так: ничего не происходит до того самого момента, когда вдруг происходит». «Придумай что-нибудь,— еще раз попросила Ада,— мне всегда казалось, что ты можешь вдруг придумать что-то такое... неожиданное. И обидно было, что ты делал что-то совсем не то. Почему?». «Наверное потому, что в той жизни мы не чувствовали так ясно разницы между своим духом и ходом жизни: казалось, что они разумно дополняют, подкрепляют и двигают друг друга. И понадобилось так явно ощутить разницу между одним и другим, чтобы понять, увидеть, что тогда мы на самом деле куда чаще подчиняли свой дух требованиям каждого дня, чем наоборот, формировали этот день по велению своего духа. Теперь мы это понимаем. Да что толку?». «Думай,— сказала Ада,— я в тебя верю, и чтобы что-то к тебе осталось, сделай что-нибудь такое,

чтобы не повторялось, не могло повториться то, что было сегодня... И я тоже буду думать. Я тебе обязательно позвоню — я ведь все равно буду звонить тебе каждый день, ты же знаешь». «Да,— сказал он,— будешь, я знаю. И я тоже буду тебе звонить, раз уж так оно и было тогда. Если мы что-нибудь придумаем, обязательно скажем друг другу». «Я рада,— сказала она уже чуть спокойнее,— что не приходится тебе объяснять и доказывать. Ну, почему тогда мы не остановились вовремя?». «В тот раз,— сказал Зернов,— нам было хорошо все время, и никто не хотел останавливаться». «Если бы и сейчас, то...». «Нет,— сказал он,— сейчас это невозможно». «Я знаю».

Они подошли к автобусу. Ада сразу села и уехала. Зернов поглядел вслед. Ему предстояло побыть здесь еще полчаса, до следующего автобуса, своего. Он не думал больше об Аде, думал о Наташе, о себе, о своей любви и о том, как мало его любовь может значить для вселенной с ее вселенскими проблемами и аргументами. Вселенские аргументы? — подумал он дальше.— А что это вообще такое? Что такое — общечеловеческие проблемы? Человечество состоит из людей. Проблемы и аргументы Наташи, Ады, мои — разве в конце концов не из них слагается и общечеловеческое? Вертится какая-то мысль, но не могу никак ее ухватить, а в ней, кажется мне, и заключается что-то, очень важное.

На душе было смутно и тоскливо, утро тянулось как-то нелепо. Зернов подошел к полке; иногда достаточно было взять хорошую, испытанную книгу, заставить себя заглянуть в нее — книга затягивала, тоска уходила, забывалось все, что мешало. Он постоял немного, тупо глядя на полку; сейчас она напоминала челюсть после хорошей драки, тут и там зияли пустые места, и того, что он хотел прочитать сейчас, тоже не было: ушло. Все меньше становилось в жизни того, к чему привык, возникали какие-то старые вещи, к которым приходилось приноравливаться заново, и было это неприятно.

Но он все не отходил от полки; наверное, в той жизни стоял так, придумывая, как разместить то, что предстояло принести — то, чего недосчитался сегодня. Сейчас мысли были другими. Он пытался поточнее вспомнить все, что обещал ему завтрашний день. Не вспоминая, можно было

и ошибиться. Конечно, полной достоверности не было и в таких воспоминаниях по свежим следам: мы помним события не совсем так, а порой — совсем не так, как они происходили на самом деле, так что порой приходилось удивляться ходу событий, совершенно, казалось бы, неправильному по сравнению с их отпечатком в памяти. Но это все-таки касалось в основном деталей, а суть событий помнилась правильно.

Зернов стоял, вслушиваясь, почти бессознательно, в шаги Наташи за стеной. Черт знает, что происходило с ним сейчас: стоило услышать ее шаги — и сердце уже срывалось с места, стремилось бежать, лететь — не говоря уже о том, что творилось, когда она была рядом, хотя бы в той же комнате. Но, к сожалению, именно в эти дни они редко бывали вместе: даже когда оба находились дома, старались держаться в разных комнатах. То есть, конечно, не сейчас старались, а в Первой жизни, когда на эти дни приходилась у них одна из все более частых тогда размолвок; но и теперь, когда Зернов рад был бы не расставаться с женой ни на полчаса, Время держало их в отдалении друг от друга, и Зернов так от этого страдал, что даже не поверил бы раньше, если бы ему сказали, что он вообще на такое способен.

Но вот вчера перед сном Зернов совершенно точно определил, что сегодня у него возникает, наконец, возможность поговорить с Наташей детально, продолжительно, провести большой разговор, как определил он про себя. Зернову почему-то казалось, что от этого разговора зависит многое, очень многое, и он постарался как следует обдумать все и настроиться на совершенную искренность; это было, пожалуй, самым трудным, жизнь к искренности не очень-то приучала. Мгновение приближалось. Ну вот,— подумал он,— вот сейчас...— А грудь уже поднималась, набирая воздух.

— Ната!— позвал он негромко, сразу же и наотрез отказавшись от искушения вспомнить, чем же закончился их бурный разговор тогда, и предпочтя сразу же начинать с того, что следовало сказать сейчас.— Ната!— Он знал, что в том покое, который сейчас стоял в квартире, она услышит и отзовется.

Послышались ближе ее шаги — быстрые, резкие, злые. Так она в тот раз вышла из комнаты, почти выбежала, и его последние слова прозвучали ей вдогонку. Но сейчас это ведь ничего не значило...

Наталья подошла — принужденно-сдержанная, как и во все последние дни, когда они существовали параллельно друг другу, не пересекаясь.

— Я слушаю тебя, Митя,— сказала она, войдя и остановившись шагах в трех от него; сказала нейтрально, без злости, но и без ласки, какая безошибочно почувствовалась бы.

Он взглянул на нее.

— Неужели ничего нельзя исправить?

— Ты о чем?

— Обо всем... О нас прежде всего. Все уходит. Наше с тобой время уходит зря. Говорят: приближается молодость, и это прекрасно. А черта ли мне в ней? Зачем мне молодость без тебя?

— Да,— сказала Наталья.— Что же ты хочешь исправить?

— Все. Все то, чего ты во мне не признаешь, не приемлешь. Жизнь. Работу. И... одним словом, все.

Наталья не сделала вида, что не понимает, о чем это он. Но и не отрезала гневно, что на эту тему, мол, не желает разговаривать. А ведь могло и так случиться.

— Кто же в состоянии помочь тебе?— спросила она, не удивившись, но и не обрадовавшись, кажется.

— Я не хочу этой Второй жизни, понимаешь? Ни для себя, ни для кого... Потому не хочу, что она не дает мне стать лучше, чем я был, заставляет повторять то, чего я уже не хочу и не должен повторять. А я хочу не таким быть, каким был, а другим!

— Разве можно что-нибудь изменить?

— Не стану объяснять в деталях, скажу только главное, как мне оно представляется. Я не могу поверить, что целью тех людей, которые совершили такой фундаментальный поворот в мироздании — а теперь я уже совершенно уверен, что то были люди, а не природа — что целью их было опять провести планету и жизнь на ней через все ранее пройденные этапы — назад. Я думаю, что они оставили, предусмотрели возможность в какой-то точке времени снова повернуть. Иначе получается, что они шли на постепенное уничтожение человечества, а потом и всей жизни — до полной пустоты, до первобытной Земли.

— А если,— сказала она тихо,— это не было намеренным действием? Представь: вышел из-под контроля ...ский эксперимент...

— Так или иначе, произошло насилие над людьми и природой, а насилие всегда нужно чем-то питать, предоставленное себе самому оно не может существовать именно потому, что оно противно природе. Зло не может находиться в состоянии устойчивого равновесия, оно всегда колеблется. А раз так, то достаточно оказать сопротивление — и процесс возвратного движения, наша Вторая жизнь прервется.

— Митя,— на этот раз она произнесла его имя не так, как недавно; не чувствовалось в ней прежнего холода.— Ну ладно, ты пытаешься понять, как повернуть от Второй жизни; но куда? К Первой? А стоит ли того Первая жизнь, чтобы к ней возвращаться? Ты говоришь о свободе поступков, о движении вперед и так далее. Но снова повторить свою Первую жизнь, начиная вот хотя бы с сегодняшнего дня, я не хочу. А ты? И если сейчас снова начнется та наша жизнь — много ли тебе останется в ней существовать?

Жестоко это было, конечно, и Наталья сама немного испугалась, но слова уже выговорились. Зернов, однако, не так воспринял их, как она боялась.

— Неужели ты думаешь, что я этого не помню, не понимаю? Но, знаешь, пусть мало я проживу, но уже по-новому... и ты будешь вспоминать обо мне не так, как в тот раз, и не так, как сейчас. А мне ведь это и нужно. Хоть коротко прожить, но так, как — я теперь понимаю — надо жить.

— Да ведь Первая жизнь — она тоже уже однажды прожита!

— Наташа! Да почему, собственно, оказавшись в нормальном течении Времени, мы должны будем повторять свою Первую жизнь? Кем сказано? Кто решил? Я понял!— вдруг перебил он сам себя.— Понял! «Возвращайтесь, оглядываясь!» — вот в чем секрет! Ты поняла? Вот откуда лозунг! И вот зачем существует ваше Сообщество. Ведь та жизнь, поступательная, снова даст людям возможность выбирать, решать, пробовать, идти другими путями! И именно для того, чтобы не повторять тех ошибок, глупостей или преступлений, которые были в той нашей Первой жизни, именно для этого и надо возвращаться — оглядываясь на ту Первую жизнь — чтобы вовремя предостеречь самих себя от повторения того, чего повторять не нужно. Конечно же, именно это имели в виду те, кто положил начало Сообществу. Они знали, что со

9-1591

временем неизбежно произойдет новый поворот. А потом люди просто привыкли ко Второй жизни, к ее жестким рамкам, забыли, что можно жить иначе. И мы будем возвращаться в том же направлении, в котором некогда стремилась Первая жизнь — но будем оглядываться на ее тупики!

— Да Митя же! Подумай, что ты говоришь! Это будет даже не простая неопределенность, но — хуже. Полное незнание, полное не знаю что... Ты представляешь? Одни события не произойдут, вместо них совершатся совсем другие, одни люди не родятся, зато родятся какие-то, кого никогда еще не было, и куда же придет мир, если направить его по этому пути?

— Ната!— сказал Зернов весело.— Да ты ли это? Что тебя пугает? Но ведь такой и была жизнь — та жизнь! Разве мы знали, кто родится, что произойдет и так далее? Что ж сомневаться?

— А мы сможем? Сможем делать все в той жизни не так, как уже делалось, но — делать по-другому, как лучше?

— Я — смогу. Потому что я люблю тебя, и хочу, чтобы ты любила меня снова. Со мной же ведь никогда так не было.

— Даже тогда... в самом начале?

— Сейчас куда сильнее. Та любовь была, словно найденная. Шел — нашел, только и всего. А сейчас — совсем другое. Потерял. Искал. Нашел с трудом. С немалым. Нашел — как будто я сам ее сделал, сам родил, сам выпестовал. Совсем другое, понимаешь? И вот она-то мне и поможет, уверен — поможет перевернуть все. Потому что — это я недавно понял — надо сосредоточить самое свое сильное чувство, которое может вместить весь твой дух — вот тогда возникает рычаг, которым вполне можно...

— А точка опоры, Митя?

— Это — ты.

— Я не могу...— сказала она едва слышно.— Пока еще — нет. Пойми... Не может все воспрянуть так сразу. Я буду любить тебя, Митя, наверное, даже сильнее, чем раньше, но для этого понадобится время.

— Я понимаю, Ната. Я заслужил...

— Подожди, я не закончила. Боюсь, что без точки опоры ничего у тебя не получится. В одиночку тебе ничего не сделать. Начинать должны самое малое двое.

— Я буду ждать,— сказал Зернов.— Сколько понадобится.

— Так что,— она слабо улыбнулась,— от завтрашнего собрания ничто тебя не оградит.

— Да,— невесело согласился он.— Это так.

К подъезду издательства множество людей подошло почти одновременно и раньше обычного — потому что в тот раз собрание кончилось позже, чем заканчивался обычно рабочий день, и люди сразу же стали расходиться, спеша по домам. Зернов помнил эти минуты. Ему казалось, что он помнил их прекрасно. Не забывал. После того, как собрание закончилось, он старался вести себя так, как будто ничего не случилось. Улыбался, раскланивался, прощаясь со всеми знакомыми с таким видом, будто целый день только и ожидал того момента, когда сможет улыбнуться именно этому человеку — однако, так он улыбался каждому. И ему казалось тогда, что люди, с которыми он прощался, смотрели на него с большим, чем раньше, уважением, как если бы они вдруг поняли, что Зернов не такой, как они все, но смелее, принципиальнее и, быть может, дальновиднее. Вот как это ему представлялось. И вот подошло время, и он оказался в потоке тех же событий, текших к своим истокам.

И началось с того, чего он ну никак не помнил, совершенно забыл — потому, наверное, что был тогда, уходя, взволнован куда более, чем сам предполагал. Потому что первым, с кем он сейчас поздоровался, оказался человек, вовсе не присутствовавший тогда на собрании: его отвергнутый автор.

Кажется, что-то подобное все же было тогда: автор то ли проходил по улице мимо, то ли дожидался кого-то у издательства, и Зернов перекинулся с ним несколькими ничего не значившими словами. А забыл об этом, надо полагать, потому, что автор никакого отношения к собранию не имел, для Зернова же в те минуты все, не имевшее отношения к только что завершившемуся собранию, просто не существовало. Тем не менее, сейчас встреча повторилась, и что-то надо было сказать, потому что и тогда что-то было сказано. И Зернов сказал вдруг — то, чего совершенно не хотел говорить и что выговорилось как бы само собой, потому что Зернову нужен был слушатель.

— Вот вы меня поймете,— сказал Зернов без предисловия, вместо приветствия.— И согласитесь со мною. Это не жизнь. Нельзя так.

— А как раньше — можно?

— Тоже нельзя. Но тогда мы могли выбирать. Сейчас — не можем.

— Что же вы предлагаете?

— Попытаться вернуться к нормальному течению времени. А уж там...

— Мне давно ясно, что другого пути нет,— сказал автор, ничуть не удивившись.— Удивляюсь только, что до сих пор никто еще не сделал этого.

— Наверное,— сказал Зернов,— ни у кого не было достаточно сильного чувства для этого. Такой любви.

— Вы плохо читали мою книгу,— сказал автор.— Там же все сказано. Не обязательно любовь. Ненависть — не менее сильное чувство.

— Тогда вы должны мне помочь.

— О, нет. Этого я не умею. Я ведь вас даже не ненавижу. Жалею, может быть. Все, что у меня есть, я вкладываю в то, что пишу, на прочее меня не хватает. Но людей, которые ненавидят вас, я думаю, достаточно. И сегодня, пожалуй, их больше, чем обычно. Вот и воспользуйтесь...

Зернов ничего не успел ответить: время истекло, разговор закончился, и автор уже шел своей дорогой. А Зернов все еще находился среди людей, торопившихся к издательству. Он кланялся и улыбался, и люди тоже улыбались и что-то говорили. Но глаза большинства смотрели на него с брезгливым презрением, а чьи-то — с откровенной ненавистью, той самой, о которой говорил только что автор.

В тот раз не было таких взглядов. Значит, люди пришли к ненависти не сразу. Значит, не он один вспоминал и переживал все заново, оценивал и переоценивал сказанное им... Хотя, может быть, все обстояло значительно проще: все уже знали, что старый директор вернулся, и будет работать долго, и можно было без всякого риска высказать Зернову хотя бы взглядом то, чего он, надо полагать, заслуживал.

Ненависть — тоже сильное чувство...

Так думал Зернов, усаживаясь в зале, куда плотно входили и тоже садились прочие. Директор вошел, хмурый и ни на кого не глядящий; того, другого директора,

уже не было — теперь ему предстояло появляться в издательстве лишь время от времени в качестве представителя другой организации. Вместе с директором вошло несколько (в тот раз они вместе с ним выходили), наперебой говоривших что-то; тогда, видимо, его утешали, сейчас — поздравляли с возвращением. Наверное, от чистого сердца? Ведь не хуже других директоров был он, хотя и не лучше. Сейчас Зернов понимал это отлично, и если бы нашлась сейчас хоть какая-то возможность промолчать, он с радостью не выступил бы. Но знал, что Время такой возможности ему не даст. Говорить придется. Можно, конечно, покаяться, сказать: я был плохим, сейчас хочу быть лучше. Но можно было, наоборот, вызвать огонь на себя, чтобы...

Собрание началось. Немногочисленный президиум уселся за стол, люди подняли руки, потом прочитали проект решения, затем начали выступать. Зернов сидел, не вслушиваясь. Он знал, что его очередь — третья.

Предыдущий оратор [illegible] сошел с трибуны, председатель назвал фамилию [illegible]щего. Тогда Зернов встал.

Ноги несли его вперед, [illegible]му, к трибуне. Послышались разрозненные, [illegible]ные аплодисменты. Люди смотрели на него, и взгляды были такими же, как перед издательством, полчаса назад. Зернов коротко перевел дыхание. Сейчас еще можно было выбирать. Каяться. Или повторить все, сказанное тогда, чтобы доказать, что в тот раз руководствовался лишь интересами истины. Но ни то, ни другое не было нужно никому. И то, и другое было бы тактикой, но не истиной. Таким путем нельзя было выйти из Второй жизни. Как можно — он еще не понимал до конца, но уже знал, как нельзя. Он стоял на трибуне. Люди смотрели на него. Все помнили, что говорил он тогда. Разве ему нечего было сказать? Ведь было!

— Вы знаете все о Второй жизни, которую мы живем,— сказал Зернов.— И помните о Первой. Наверное, вы успели подумать и о той, и о другой. Может быть, вам уже надоело об этом думать. Мне — еще нет. Потому что я вернулся недавно. Я думал и думаю. И, кажется, что-то понял. Вы помните, что я говорил тут в тот раз. Не хвалю себя за это и не осуждаю. Потому что это говорил тот я, каким я был в этот самый день и час Первой жизни. И слушали меня те вы, какими вы были тогда. Сегодня — тот самый день и час в обратном ходе Времени. Но

разве вы остались теми же! Нет. И я не остался. Наш дух, наше сознание не связаны рамками Времени. И мы сегодня думаем и чувствуем во многом иначе, чем тогда. Мы другие. Но Вторая жизнь заставляет нас повторять те поступки, какие мы совершали, когда были другими. Это неправильно и несправедливо. Я понял, что говорили ваши глаза сегодня, когда вы встретили меня возле издательства. Я понимаю, что говорят ваши глаза сейчас. Я хочу сказать вот что: сейчас у нас есть такая возможность думать о себе, о своей жизни, какой раньше не было — потому что в Первой жизни сам процесс ее отнимал все время и силы, мы были заняты течением жизни, не размышляя об ее сути. Сейчас мы можем делать это. И большинство из нас, если только не все, не стали бы делать многие из тех проступков, которые мы вынуждены повторять в этой жизни — не стали бы, если бы вновь получили возможность принимать решения и поступать в соответствии с ними. Вторая жизнь не дает нам такой возможности. Поэтому я против Второй жизни. Вы скажете, что это ничего не меняет: с Временем спорить нельзя. А я знаю, что можно; это зависит от того, в чьих Время руках. Можно снова вернуться к тому направлению жизни, когда мы будем обладать свободой решать и действовать. Нужно только одно: понять, что мы вовсе не обязаны будем снова повторять все, что делали тогда в Первой жизни. Нет, у нас будет полная возможность начинать все по-иному. Потому что сами мы стали иными. Во всяком случае, некоторые из нас. Я знаю: многие видят во Второй жизни немалые достоинства. Наверное, они существуют реально. Но какими бы они ни были, они не могут перевесить главного недостатка. Он заключается в том, что наше тело вынуждено совершать все то, что делало когда-то, в то время как дух уже не хочет этого, это ему не нужно, он стал выше, свободнее, самостоятельнее. Не должно быть такого противоречия между нашим духом и практикой жизни. Думайте об этом! Думайте! И когда настанет момент поворота к новой Первой жизни, к поступательной жизни — встретьте его готовыми, и пусть он не застанет вас врасплох!

Зернов чувствовал, что мог бы сказать еще многое. Однако, время его истекло. Идти было тяжело, как бывает тяжело идти под водой, сопротивляющейся движениям. Он возвращался на свое место. Он смотрел на людей.

Однако, на него не смотрел никто. Люди продолжали смотреть на трибуну, на которой он еще только что стоял. Они смотрели внимательно, словно ждали еще чего-то. Зернов удивился. Он продолжал идти к своему месту. А люди все еще глядели туда, вперед. Председатель должен был объявить имя только что выступавшего, имя Зернова; но он молчал. Зернов почувствовал, что страшно устал, что идти становится все труднее. Когда он подошел к своему стулу, у него было ощущение, словно он промаршировал километров тридцать. Он сел. В зале было молчание. Люди смотрели на пустую трибуну. Президиум сидел неподвижно, и люди в нем тоже смотрели на трибуну, на которой никого не было. Председатель не вставал, словно совершенно забыл о своих обязанностях. Что случилось? Или его выступление так подействовало на них? Но ведь существует пока еще незыблемый сценарий Времени, и... Одним словом, Зернов ничего не мог понять. Молчание и неподвижность в зале длились еще минуту. Другую, третью. Потом председатель встал. Он объявил, что выступать будет Зернов и предложил подготовиться тому, кто уже выступил перед Зерновым. Потом люди захлопали, и следующий оратор занял место на трибуне. Все пошло своим чередом. Что же, никто даже не заметил этих минут молчания — непонятного, ничем не объяснимого молчания?

И вдруг Зернов понял.

Молчание продожалось эти несколько минут потому, что это было еще его время. Ему еще полагалось говорить. В тот раз его выступление заняло все отведенные регламентом десять минут. Сейчас — минуты три, четыре. Потом он сошел с трибуны...

...Сошел с трибуны, хотя ему полагалось еще оставаться на ней и говорить.

...Сошел с трибуны и пошел на свое место. И хотя идти было необычайно трудно, он все же смог сойти с трибуны, пройти по залу и сесть на свое место.

Это получилось не намеренно. Просто был убежден, что его время истекло. Ему показалось, что необходимость заставляет его сойти и вернуться на место. А между тем, как оказалось, Время, наоборот, должно было помешать ему. И мешало.

Но он смог?.. Он действительно смог!

Ната говорила, что в одиночку ничего нельзя сделать. Нужно, чтобы тебя кто-то поддерживал.

Зернов понял, что автор был прав. Владевшее Зерновым чувство не падало в пустоту. Оно сталкивалось с другим, достаточно сильным и направленным. Правда, то была не любовь. Другое чувство, не менее действенное. Автор не ошибся: сегодня эти люди его, пожалуй, ненавидели. За то, что в Первой жизни он был таким, каким был. Но сейчас это помогло ему.

Он внутренне усмехнулся: выходит, полезно — вызывать ненависть к себе? И тут же поправил сам себя: полезно — если ты хочешь меняться к лучшему. Отношение других позволяет тебе понять подлинную меру твоей неприглядности. И действовать соответственно.

Значит, он был прав.

Итак — возможно.

Может быть, уже вообще все возможно? Например — встать и уйти, не дожидаясь трех часов, когда закончится собрание?

Он попытался встать, не особенно, впрочем, веря в успех. И оказался прав в своем неверии: тело ему не повиновалось. На этот раз оно действительно вело себя, как безжизненный макет.

Но это не огорчило Зернова. Главное он теперь знал: это возможно. Просто сейчас люди больше не концентрировали свое внимание на нем, а кроме того, отношение к нему неизбежно должно было сейчас измениться: он сказал ведь именно то, что, наверное, приходило в голову не одному из них. Так или иначе, его больше не ненавидели так остро, как за несколько минут перед тем. А любить его, разумеется, еще не стали. Так что не было второго чувства — поддерживающего, несущего. Не было — здесь.

Но Зернов знал, где еще сейчас он мог вызвать подобное же отношение к нему. По заслугам.

И хотя до трех часов оставалось еще много времени, а с трех нужно было досидеть еще до половины десятого, до конца рабочего дня, Зернов подумал, что время это промелькнет незаметно.

Потому что он будет думать о своей жене, которую не видел уже несколько часов — такое долгое, неимоверно долгое время.

Когда он шел домой, ему казалось, что мир стал уже немного другим, не таким, каким был, когда он шел на

службу. Да это и на самом деле было так. Потому что мир, по которому он шел, был уже не просто реальным миром, но таким миром, который Зернов начал переделывать для Наташи. Мир, в котором он перестал приспосабливаться и на который тем самым стал влиять.

Оказавшись наконец дома, Зернов не бросился с порога к Наташе. Не было такого действия в сценарии, и не таким хилым было Время, чтобы так сразу сдаться. Но он посмотрел на нее так, что и она как бы двинулась навстречу ему, заструилась, оставаясь физически неподвижной — за столом на кухне, где она ужинала. Она, разумеется, ничего еще не знала о том, что произошло на собрании; но сразу поняла, что пришел Зернов не таким, каким уходил. А это сейчас было главным.

Когда была убрана посуда и они легли, и можно стало, вроде бы засыпая, разговаривать — он не удержался и сказал ей:

— Знаешь, что-то удалось все-таки. Пусть немногое, но удалось. Мне кажется, никто еще и не понял, что случилось. Ты не представляешь, как это меня сразу подняло!

— Почему же нет?— Наташа, кажется, даже чуть обиделась.— Думаешь, я не почувствовала, что произошло? Ну, Митя...

— Прости,— сказал он.— Прости. Но я так рад!

— Потому что не придется больше делать то, чего тебе не хотелось повторять в жизни?

— Да, конечно,— согласился он.— Только...— добавил он, помолчав,— это не самое главное. Да, теперь я понимаю: это не самое главное.

— А что же?

— Ты знаешь сама.

— Может быть. Но ты все равно скажи.

— Скажу... Понимаешь, я все последнее время просто-таки с ужасом думал, что время идет, пройдет сколько-то лет — и вот настанет день нашей свадьбы...

— Прекрасный день.

— Но пройдет немного времени — и вдруг в один черный день мы поняли бы, что уже только знакомы. А еще позже я лишь изредка встречал бы тебя и проходил мимо. И ты проходила бы, даже не обратив на меня внимания...

— Ну, не совсем так. Но, Митя... А если Время вернется

к нормальному течению, но я буду все-таки любить не тебя? Подумай! Сейчас ты во всяком случае можешь быть уверен, что, люблю я тебя или нет, но еще много лет буду рядом с тобой: Время не позволит ничего другого. А ты хочешь оказаться вместе со мной и Николаем в том мире, где у каждого из нас будет свобода действий, где мало того, что тебе снова будет грозить болезнь — будет еще и опасность того, что мы вскоре расстанемся. Если, конечно, для тебя это — опасность.

— Я знаю, Ната. Все понимаю. Но лучше так. Лучше — естественно: пусть будет горе, но не принуждение. Хотя — если сказать откровенно, то ведь не я, а Сергеев, Николай должен был делать то, что делаю я, чтобы отвоевать тебя. А он, видишь, смирился.

— Думаешь, я этого не понимаю? Митя, откровенно говоря, мне горько поэтому. Хотя я ведь знаю, что он хороший...

— Лучше меня.

— Во многом лучше. Но вот видишь, на главное его не хватило. Переступить запрет... Митя, я не знаю еще, что решу, как будет, если вообще что-то получится, если все это — не пустые мечты. Но только — если мы и тогда останемся вместе... и если ты действительно относишься ко мне так, как уверяешь, то никогда не станешь упрекать меня в этом. Даже вспоминать не станешь.

— Согласен: не стану. Не хочу. И вообще — никакого Сергеева между нами не было. Работает такой в издательстве — и все.

— Нет не все, Митя. А она?

Он не ответил.

— Митя, но ведь она существует. И тоже — человек. Захочет ли она этой новой жизни — без тебя? Ведь у вас, кажется, было серьезно? Иначе и я бы...

— Она...— сказал Зернов.— Не буду врать: не знаю, чем кончилось бы все в Первой жизни... останься я в живых. Но сейчас все изменилось. Не знаю подробностей, но она сейчас, думаю, крепко ненавидит меня. За то, что сейчас происходит с нами — без желания, без надобности...

— И тем не менее, ты позвонишь ей сразу же, как только встанешь.

— Да. Потому что мы все еще живем во Второй жизни. И...

— Я не сужу тебя. Знаю, что ты этого не хочешь.

Теперь не хочешь. Но все же будешь звонить и договариваться о свидании. И свидания эти будут продолжаться до тех пор, пока... пока не истечет их время — или пока что-нибудь не изменится... Думаешь, я не понимала тогда, что это звонит именно она или что ты звонишь к ней? Я ведь женщина...

— Я позвоню, да. Ты права, с этим я пока ничего не могу поделать. Позвоню. Но не забудь: ведь сегодня мне хоть что-то, но удалось! Начинается всегда с пустяков, с мелочей. Может быть, все начинается именно с молчания?.. Я позвоню. Но ничего не стану говорить. Постараюсь не сказать ни слова. Буду молчать.

— Тогда она услышит все, что ты говорил в этот раз в Первой жизни — даже если ты не скажешь ни слова.

— Что тогда она услышит? Курлыканье навыворот, как по радио? Ну и что? Это все равно, что молчание. Белый шум. Она поймет, что это значит — потому что и сама хочет того же.

— Ты уверен?

— Я знаю.

— Хорошо. Если тебе удастся это — значит, действительно, все уходит в прошлое, которое не вернется ни при каких условиях. Если так, то... то давай будем молчать в трубку оба.

— Ты согласна?

— Теперь — да.

Телефон зазвонил утром. Кратко звякнул, как раньше при отбое.

Женщина обреченно поднялась. Подошла и сняла трубку. В глазах ее было выражение, словно ей предстояло услышать вынесенный ей приговор.

— Я слушаю!— сказала Ада.

Она постаралась сказать это спокойно. Хотя в ней билась ненависть. К жизни, к себе самой. Но прежде всего — к другому человеку.

В телефоне молчало.

— Не слышу вас,— сказала Ада.— Нажмите кнопку, если вы из автомата.

По-прежнему стояло молчание. Был какой-то неразборчивый фон, бормотание — и все. Ни одного слова.

— Алло!

Все оставалось без изменений.

Тогда она положила трубку. И заплакала. Слезы не текли, но она плакала. Не от горя. Ада плакала от облегчения. Ей стало хорошо.

Зернов положил трубку, перед тем набрав номер.

— Ната! — сказал он. — Ты понимаешь — нам, кажется, удалось!

Он сказал это громко, потому что Наталья была в тот миг в ванной: в Первой жизни, конечно же, Зернов не стал бы звонить Аде, когда жена находилась в той же комнате.

— Как было бы прекрасно! — откликнулась она.

— Если удалось — значит, еще один шаг вперед!

— И все же ты поедешь и встретишься с ней...

Зернов представил это. И почувствовал, как дрожь пробежала по телу. Дрожь протеста.

— Знаешь, — сказал он, — я надеюсь. Теперь я начинаю верить, что можно будет и не поехать! Раз уж началось...

— Это было бы великолепно, Митя, — проговорила Наташа, входя в комнату. — Но я еще не так уверена. Подождем.

— Чего нам ждать?

— Ты не помнишь?

— Постой...

— Тогда, в тот раз... первой, за полчаса до тебя, позвонила она. Помню, как ты покосился на меня и сказал, что чуть позже позвонишь сам. Сейчас ты позвонил. Значит, вскоре...

— Да, — сказал Зернов, мрачнея. — Да-да.

— Значит она позвонит.

— Может быть.

— Ты понимаешь: она не может не позвонить, так же, как ты сам не мог.

— Не знаю, — сказал Зернов, чуть помедлив. — Понимаешь, если только мне... нам удалось что-то сдвинуть с места, то процесс изменения может и не затухнуть, но понемногу расширяться. Может быть, ему не хватало только первого толчка, какого-то небольшого усилия. И тогда она не позвонит вообще, а я... я не почувствую необходимости встать и подойти к телефону именно в тот момент, когда надо начать говорить — в момент, когда мы в тот раз закончили разговор.

— Посмотрим. Но если она даже и позвонит, но тоже

будет молчать — значит, это не случайность, значит, что-то уже начало совершаться. И тогда мы действительно можем рассчитывать...

— Подождем.

— Да. Будем ждать.

Стрелка часов ползла, как уже было привычно, справа налево. Секундная. Зернов с Наташей, не отрываясь, смотрели на нее. И им казалось, что стрелка хотя и движется, но как-то не так уверенно, как обычно. Словно ей хотелось остановиться и завертеться в другую сторону.

Прошло тридцать минут. Сорок.

Прошел час.

Телефон молчал. Зернов сидел, не двигаясь. И вдруг они поняли, что телефон не зазвонит. Ада не позвонит вообще.

Было темно. Они сидели вдвоем. Стояла тишина, но что-то было в этой тишине. Как будто окончился концерт, но хотя все музыканты уже ушли, музыка все еще звучала. Сама собой.

ХРУСТАЛЬНАЯ МЕДУЗА

— Все страдания человеческие происходят от неверных представлений!— воскликнул Александр Николаевич Елизаров, а попросту Шурик, потому что аспирант кафедры рациональных исчислений был очень молод, худ, голубоглаз. Стрелки смоляных усов лишь оттеняли детскую свежесть его смуглого лица и казались на нем чем-то чужеродным. Впрочем, роста Александр Николаевич был завидного, и теперь, стоя в раздумье у окна, чуть не упирался лбом в верхнюю перекладину рамы.

— Каких представлений, Шура? — оторвался от затрепанной рукописи Матвей Простухин, тучный и лохматый, как сенбернар. В университете все считали его туповатым, безобидным малым и непролазным неудачником. Он уже несколько лет безуспешно корпел над диссертацией, зарплаты ради работал лаборантом на факультете биологического конструирования и жил в общежитии аспирантов, деля комнату с Шуриком Елизаровым. Обоим осенью предстояла защита, и поэтому они в разгар лета торчали в опустевшем общежитии. Правда, Александр Николаевич уже отнес готовую диссертацию на перепечатку в машбюро, а копуша Простухин все еще ворошил свою разбухшую, неопрятную рукопись, что-то там перечитывал, вычеркивал, вписывал, клеил бумажные заплатки. Кстати, никто не знал толком, какую тему так усердно вымучивает Матвей и на что он вообще надеется. Его прежний научный руководитель успел скончаться, другие преподаватели не пожелали внедряться в чужую тему, да еще брать обузу в лице незадачливого Простухина, и тот сражался с диссертацией в одиночку.

Зато тема Елизарова вызывала завистливый интерес.

Юный аспирант пустился в потрясающе дерзкие научные изыскания и без малого за два года создал математическую теорию, сочленив ее с вечным философским вопросом достижения всеобщего счастья. Называлась его диссертация «Влияние доминантной идеи на действительность в соответствии с рациональным исчислением результата». И теперь Елизаров вслух размышлял о ней, вовлекая в беседу угрюмого Простухина, который исподлобья, молча наблюдал за другом из-под курчавых, будто бы тронутых ржавчиной бровей.

— Да! Все человеческие страдания происходят от неверных представлений о себе, о своих способностях, предназначении и об истинном месте в структуре общества.

Гибкий, стройный Шурик круто повернулся на каблуках, лицо его оказалось в тени, только глаза сверкали родниковой голубизной. Говорил он вдохновенно:

— Век человека короток. Может ли он, пожираемый ничтожными заботами и сиюминутными страстями, хоть сколько-нибудь ясно рассмотреть свое будущее? Нет, лишь смутно и неверно. Он бурно разбрасывается направо и налево, но все это ложная и ненужная трата сил. Минимум полезного результата и черепашья эволюция сознания. Такое движение по жизни обманчиво. Это пляска студенистой медузы в волнах, причем ход диктуют волны!

Елизаров давно уже отступил от окна и кавалерийским манером оседлал тумбочку, в возбуждении сбросив с нее на кровать книги и тетради. Говоря, он то резко взмахивал, то плавно поводил руками, словно дирижировал собственной речью, как многоголосым хором. При этом было заметно, что у него рубашка под мышками потемнела от пота. Жара в самом деле стояла немилосердная. Даже окна отворить было невозможно, потому что зной, густой, как столярный клей, сразу наполнял комнату. Одно спасение — изредка распахнуть дверь в полутемный коридор, откуда едва уловимо веяло воспоминаниями о зимних неполадках в отопительной системе. Простухин в отличие от Елизарова переносил жару невозмутимо. Он был облачен в свой единственный костюм, измятый и потрепанный, как и рукопись его диссертации. Распахнутый воротничок сатиновой сорочки тоже почему-то напоминал бумажную вклейку на густо исписанной странице.

Безмолвие соседа только пуще распаляло Александра Николаевича. Надо сказать, он обладал весьма эмоциональным воображением. Оно, конечно, помогало ему чувственно постичь множество явлений жизни, но оно же и мешало подчас их понять. Обилие ощущений было как непроходимая чащоба на пути к точным формулировкам, и Александр Николаевич прорубался сквозь заросли своих эмоций с известным трудом. Его нынешнее волнение объяснялось перевоплощениями, которые он поминутно переживал. Например, говоря о медузах, он так живо представил рыхлый, склизкий ком, колышимый водой, будто бы сам был этим жалким, слепым организмом в стихиях жизни. К тому же его одолевала досада на текучую, неустойчивую мысль и легкая злость на Простухина, который слушал его с туповатым любопытством, но явно не понимал, к чему он клонит, хотя распрямил свою покатую медвежью спину и ворочал головой туда-сюда, следя за Шуриком, который теперь нервно вышагивал по комнате.

— Мне больно и противно смотреть на людей, погрязших в ненужностях. Мы все в один голос восклицаем, что жизнь, имеющая цель и смысл, — счастливая жизнь! А ведь эту цель легко рассчитать математически, исходя из чего разработать код решительно для каждого. И она будет осуществляться в рамках стержневой или, как я ее называю, доминантной идеи. Возникает новая, математически обоснованная, качественно усовершенствованная модель человеческого сознания. Рациональное исчисление — вот стимул движения к совершенству каждого индивида. Его существование обретает программную направленность. Небывалые темпы нравственной эволюции. Разве не об этом всю историю мечтали величайшие умы мира! А я рассчитал вектор прогресса,— Елизаров загадочно смолк, чтобы хоть паузой заинтриговать дремотного Матвея. Уловка удалась. Тот покряхтел и как бы нехотя спросил:

— Ну и что вышло?

— Безукоризненная прямая! — Шурик победоносно смотрел на Простухина и тяжело дышал.

— Стало быть, перфокарта, сызмальства вложенная в башку, как в кибернетический ящик, осчастливит каждого в отдельности и всех нас вместе взятых? — по-своему понял теорию Мотя.

— Ну зачем же опошлять?— с благодушным высоко-

мерием заметил Шурик.— Миллиарды вариаций и свобода выбора сохраняются. Что еще нужно?

Нет, Простухин все-таки оказался неблагодарной аудиторией. По-прежнему по лицу его нельзя было догадаться, согласен ли он со своим красноречивым другом. Но, по крайней мере, он зашевелился, выбрался из-за стола, сказал:

— В угловое кафе вчера цыплят привезли свеженьких. Наверное, и сегодня еще торгуют. Ты ведь не завтракал? Пойдем, съедим по цыпленочку, похрустим косточками. Хорошее слово — хруст. Хруст — Прокруст. Слыхал про Прокруста?

— Слыхал. Ну и что? — обиделся Шурик.

— Ничего. Мифология. Так идем, что-ли, завтракать?

Цыплята действительно были нежными, чудно изжаренными. К тому же темные, штапельные шторы кафе хорошо затеняли маленький зал, сохраняя прохладу. Под потолком беззвучно летали лопасти вентилятора. За стойкой, на фоне экзотических сосудов с вином, скучала юная глазастая буфетчица.

Друзья запивали мясо кисленьким ледяным вином и блаженствовали. Когда утолился первый голод, а на блюде, предсказуя новое наслаждение, еще возлежали две поджаристые цыплячьи тушки, чуть сомлевший Александр Николаевич обратился к Простухину, который ел так же задумчиво и мер[illegible]енно, как работал.

— Ответь ты мне, наконец, прав ли я?

— Ты ведь не сомневаешься, что прав. Иначе не настрочил бы двести страниц диссертации, да сотню таблиц в придачу.

— Мотя, ты не глуп, и мне хочется знать твое мнение.

— Откуда ты знаешь, глуп я или нет. Я биолог-недоучка. Лаборант. И ничего не смыслю в математической моралистике. Мое дело — препараты готовить и пробирки мыть... Доминанту, которую ты то и дело упоминал, я понимаю с точки зрения физиологии. Это всего лишь очаг возбуждения в центральной нервной системе, восприимчивый ко всем внешним раздражителям, но тормозящий деятельность других нервных центров.

— Но ведь это ничуть не противоречит моим мыслям! Общество — тот же организм, со своей сложнейшей нервной системой.

— И путь к всеобщему благоденствию пролегает через рациональную организацию сознания?

— *Именно так.*

— Что ж, браво,— хладнокровно изрек Простухин, вонзаясь зубами в цыплячье тело.— От всего сердца желаю тебе одолеть оппонентов, а их наберется много,— добавил он, равномерно жуя.— Тебе надо закалить свой дух. А для этого лучше всего покинуть на время наш пропыленный университетский центр и рвануть в объятия дикой природы. Могу дать подходящий адресок. На окраине взморья живет некто Кракарский. Экс-профессор. У него свой дом. В уединении он занимается генной инженерией или чем-то в этом роде, а на пропитание себе выращивает капусту и продает ее оптом. Весьма своеобразный старикан. Я сам, между прочим, завтра исчезну, потому что осатанел от жары. Хочешь, записку напишу Кракарскому? Он тебя радушно примет.

— Не надо,— сердито ответил Шурик, выслушав вялую, с расстановками речь Матвея.— Мне пока не до отдыха. Свой, как ты выражаешься, дух я предпочитаю закалять в библиотеке. А если уж и надумаю двинуть к морю, то не к твоему экс-профессору, торгующему капустой, а на дачу, куда однажды мальчишкой приезжал с родителями. Там хозяйка Ангелина, душевная женщина. А у нее дочка Альмира, Алька... Задиристая такая девчонка. Мы с ней дружили, хоть и устраивали потасовки каждый день,— Александр Николаевич растроганно улыбнулся и принялся за последнего цыпленка.

Простухин, как и обещал, исчез на следующий день спозаранку. Утром, оглядев комнату, Шурик обнаружил, что со стола пропала его взъерошенная диссертация, да на гвозде, вбитом в стену, не было огромной, как сомбреро, войлочной шляпы Простухина. Этот нелепый головной убор он надевал иногда в зимние метели, а в остальное время она неизменно висела в изголовье его кровати, пропитываясь пылью и привлекая моль.

«Неужели он нахлобучил ее в такую жару?»— подивился Шурик. В общем-то отъезд товарища его даже обрадовал. Он рассчитывал плодотворно поработать: до вечера — в библиотеке, где по летнему времени было привольное безлюдье, а ночью — дома. Благо, не надо заботиться о том, что свет беспокоит засоню-соседа.

Однако, как раз в день исчезновения Простухина в городе начались невиданные атмосферные явления. На небе не было ни единого облачка, но внезапно оно озарялось малиновыми сполохами и раздавался сухой

электрический треск неимоверной мощи. По улицам и площадям проносился горячий ветер, гоня дымную пыль и струи острых песчинок. Листва пожухла, размяк асфальт. Сухие грозы налетали раз по пять за день. И ни капли дождя. Сушь, духота и этот неистовый треск малиновых небес. Словно из умеренных широт город вдруг переместился в пекло пустыни. На городской башне забарахлили электронные часы. Самые невероятные сочетания цифр выскакивали на прямоугольном табло. Время взбесилось.

Работницы библиотеки отсиживались в прохладных книгохранилищах и, вероятно, поругивали настырного аспиранта, когда он время от времени вызывал их оттуда требовательным звонком. А Шурик, к чьим услугам были любые фондовые книги, за которыми обычно стоят месячные очереди, одиноко сидел в душном читальном зале и не понимал, что с ним происходит. Мысли древнейших философов и математиков никак не пробуждали ответной работы ума. Когда он на исходе дня пытался вспомнить, о чем читал, то в памяти всплывали фразы случайные, совершенно к делу не относящиеся. То вдруг на благозвучной латыни вещал Луций Анней Сенека: «Ни один человек не благороднее другого, даже если его духовная сущность более высоко организована и более способна к благородному знанию... Природа сделала нас всех равными... Она внушила нам взаимную любовь. Нужно жить для другого, если ты хочешь жить для себя... »

Ему вторил император Марк Аврелий: «Я член одного великого, которое составляют все разумные существа...»

Не находя ни отрицания, ни подтверждения своим идеям в этой дряхлой исторической многоголосице, Шурик выходил из библиотеки, и в глаза ему сама вплывала городская башня, где электронный циферблат выбрасывал невероятные цифры. А ночью его изнуряла бессонница.

Промучавшись этак дня три, Елизаров понял, что совет Простухина не лишен смысла. Все отчетливее стала возникать в памяти дача Ангелины. Окаймленная сосновым леском полянка за дюнами, желтый домик в два этажа. Внизу веранда, украшенная квадратиками цветного стекла, а перед ней развесистый куст жасмина... С него снежинками летели лепестки, осыпая тропинку и траву. За углом, на солнечной стороне до осени цвел лиловый шиповник. И смородина в середине лета красовалась

в серьгах алых, сверкающих ягод. Остроконечная кровля домика была крыта потемневшей щепой. Над крышей возвышалась гигантская ель. Серый, смолистый ствол ее находился как раз перед окном комнаты Шурика. На стенах качались тени нижних разлапистых ветвей. С ели падали продолговатые липкие шишки охряного цвета и стучали в деревянную крышу. В верхнем этаже жила Ангелина с дочерью Альмирой, а нижний этаж сдавался на лето дачникам. Местечко находилось всего в трех часах езды на поезде, но это считалось далеко, и постояльцев у Ангелины обычно было немного. Живо встала перед глазами подружка его, отважная девчонка Альмира, с которой они резвились на летнем приволье. Он даже был в нее по-мальчишески влюблен, но все это, конечно, осталось вечной тайной. Теперь же вспоминалось так отчетливо и нежно, будто и не было минувших семи лет.

Словом, Шурик решился. Уложил самые необходимые пожитки и утром четвертого дня отправился на вокзал.

Детское счастье охватило Елизарова при виде знакомого дома. Сверкали на солнце цветные стеклышки веранды. Жасмин еще не успел облететь. Шиповник качал на колючих ветвях душистые лиловые чаши, а гроздья смородины едва порозовели. Забор из серых, просушенных солнцем реек, был буйно оплетен диким виноградом.

Но восторг Елизарова быстро погас, когда, присмотревшись внимательнее, он догадался, что дом пуст. И пуст давно. Все тропинки заросли, на дверях летней кухни ржавел замок. Окна нижнего этажа были прикрыты ставнями, а наверху — завешаны изнутри простынями. Пропали рукомойники, тазы, мыльницы, бельевые веревки с развешенными полотенцами и купальниками — словом, не осталось примет оживленной дачной жизни. Александр Николаевич запрокинул голову, в последней надежде всматриваясь в верхние окна и тут только заметил, что на гребешке крыши изваянием восседает полуметровая птица, с виду ворона вороной, но вдвое больше и совершенно черная, без единого пятнышка. Это был черный ворон, крайне редкий обитатель здешних мест. Чуть склонив голову, птица нацелила на аспиранта круглый, как пистолетное дуло, глаз. В ее пернатом бесстрашии заключалось нечто наглое и возмутительное. Шурик запустил в птицу еловой шишкой, но от расстройства не стал смотреть, как это на нее подействует, а пустился

в обход дома проверить, заперт ли запасной вход. Если уж и там висит наружный замок, то ждать нечего.

Он как раз собирался свернуть за угол, когда раздался первый живой звук. Наверху хлопнуло окно и кто-то гортанно прокашлялся, а потом запел «Санта Лучию» по-итальянски, но скрипучим, натужным голосом и безбожно перевирая мелодию. Елизаров бросился на голос. В окне второго этажа, как в раме, стоял породистый брюнет солидного возраста и сурово пел, вознеся взор к пустынным небесам.

— Эй, товарищ!— окликнул Шура, но его не расслышали.— Гражданин! Позвольте!— крикнул он громче.

Человек прервал пение и озадаченно уставился сверху на Елизарова, почесывая голую, каракулевую грудь.

— Я... Видите ли...— пританцовывал под окном Шурик.

— Крайне рад приветствовать!— вышел из созерцательного состояния мужчина.— Извольте подойти к крыльцу. Я отопру.

Заскрежетало ржавое [illegible], дверь крякнула — и перед Шуриком предстал [illegible] гигант в рейтузах черного трикотажа, полуголый, [illegible] зачесанный. Лет ему было за пятьдесят. [illegible] воронова крыла уже начала седеть, серебристые [illegible] проблескивали и в косматых бровях, которые щеточками нависали над маленькими смекалистыми глазами. На гладко выбритом, но несколько обрюзгшем лице впечатляюще выделялся римский нос.

— Кровилион Кракарский!— торжественно представился мужчина.— Чем могу служить?

— Как?— растерянно переспросил Елизаров.

— Кракарский Кровилион — это мое имя. Официальной должности не имею, но по званию — разжалованный профессор биологических наук, специалист по биоинженерии, которую нынешние невежды презирают, а зря!— все это он произнес громогласно и самоуверенно, не сводя гордого взгляда с Шуры, который, не веря странному совпадению, все еще моргал ясными глазами. Ведь именно об этом экс-профессоре говорил ему в кафе Простухин.

— Я... Елизаров... Александр Николаевич. Мне...

Но человек с римским носом порывисто перебил его, схватив за руки и отчаянно их тряся:

— Нет! Не может быть! Экая удача, черт побери! Вы в самом деле — Елизаров?

— Конечно,— опешил Шура.

— Аспирант?

— Да. Друг Матвея Простухина. И, представьте, тоже слышал от него о вас.

Тут Кровилион Кракарский неопределенно нахмурился:

— Друг говорите? Друзей надобно иметь стоящих. А Простухин — непутевый увалень — и не более. В науке он заблудился в трех соснах, это ясно. Но зато с каким упорством отрицает биоинженерию, вы представить себе не можете! Нет, я зол на него. И вся его диссертация — блеф свинячий. Неспроста он застрял на ней на десяток лет и еще столько же просидит, будьте уверены. Тему выбрал самую мутную, чтобы никто в ней не разобрался. Неприкосновенность естественной сущности в процессе психической эволюции! Белиберда, игра слов, пыль в глаза — вот что это такое, а не научная тема! Я бы гнал таких авантюристов от себя поганой метлой. А вы говорите — друг!

Перебить запальчивую речь профессора было невозможно, но когда он сердито смолк, Елизаров тут же обиженно возразил:

— Зачем вы так? Он добрый, трудолюбивый человек. Сам биолог. А временные неудачи могут постичь каждого. О теме своей он, между прочим, мало говорит, и пыль в глаза никому не пускает. В отношении Матвея я с вами совершенно не согласен. К тому же он бескорыстен,— поспешно добавил Шура для убедительности.

— Я его тоже по-своему люблю, непутевого!— Кракарский снисходительно махнул рукой.— Только жаль дурака, так и просидит до седых волос в лаборантах. Но полно! Теперь я Моте должен быть благодарен и признателен,— произнес он воодушевленно и растроганно.— Ведь именно он посвятил меня в ваши выдающиеся исследования. Изложил, так сказать, суть по мере своих слабых умственных сил. А теперь предо мною — сам Елизаров! Я потрясен.

Кракарский вдруг стиснул Шуру в насильственных объятиях, столь крепких, что тот уткнулся носом в его шерстяную грудь. Приятных ощущений это ему не доставило. Он не понимал причин любвеобильности и восторга. И вообще не мог сообразить, как это он ехал к старой Ангелине и вдруг в ее доме попал в объятия разжалованного профессора.

— Позвольте,— сказал Елизаров, настойчиво высвобождаясь.— Я, собственно говоря, ехал к хозяйке дома, с которой давно знаком...

Тут Кракарский сам резко отстранился от гостя, отступив на шаг во тьму передней, и скорбно прикрыл ладонями глаза.

— Ах, моя рана! Моя незаживающая рана! Незабвенная сестра моя! Геля, Геля...

— С ней что-то случилось?— сочувственно прошептал Шурик.

— Умерла,— угрюмо изрек могучий Кровилион.— После кончины отца с матерью мы были с ней одни на целом свете. Я — эгоистичный, как все молодые честолюбцы, вгрызался в науку, ни с чем не считаясь. А она!.. Нет, она не роптала. Содержала садик и огород, летом пускала жильцов, а деньги отправляла мне. То на дорогостоящие опыты, то на новые брюки, которых я множество протер на студенческой скамье и позже. А ведь она, моя бесценная Ангелина, тоже была молода и жаждала наслаждений жизни. Но... Принесла себя в жертву. Я утешаю свою совесть мыслью, что это жертва не мне, а науке, которой я преданно служил.

— Но у нее была дочь. [illegible]... Мы вместе играли в детстве,— подавленный горестным известием, тихо проговорил Елизаров.

— Малютка утонула,— это сообщение исторгло из глубин мохнатой груди Кракарского обрывок рыданья.— Бедная Геля не перенесла ее гибели. Сердечный приступ ночью. Поздняя осень. Пустой дом. Прошу вас, не будем. Мне слишком тяжело!

— Право, я не хотел...— застыдился своей назойливости Елизаров.— Просто я не знал... Знаете, такое необъяснимое совпадение...

— Совпадение — на диво!— подхватил экс-профессор, очнувшись от своей печали.— Ехали за воспоминаниями детства, а попали ко мне, каково? Перст судьбы! Но уж я вас просто так не выпущу — не надейтесь! Располагайтесь и будьте хозяином. Я одурел от одиночества и рад до слез. Неслыханное везенье. Сам Елизаров — на пороге!

— Да что вы в самом деле...— забормотал Шура.

— И я хорош!— спохватился хозяин.— Полчаса держу вас на крыльце. Милости прошу! И не откажитесь от угощенья! Я как раз собирался подкрепиться — и стол накрыт. Сюда, сюда, на верандочку...

Миновав вслед за хозяином знакомый с детства коридор, куда выходили двери трех нижних комнат и где на годы застоялся тот давний дачный запах старого дерева, печного дыма и терпких гераний, Елизаров оказался на веранде. Воздух здесь пронизывали алые, охряные, аквамариновые лучи, падавшие сквозь цветные стеклышки. Стоял тот же овальный дубовый стол и старинные, аббатские стулья с высокими спинками. Шелковисто светилась чистая льняная скатерть. На ней стояли длинное блюдо с холодной телятиной и высокий, оплетенный ивовыми прутьями кувшин с каким-то питьем, специи в замысловатых склянках, россыпью валялись спелые помидоры, пучки зелени.

Шурик робко поставил у порога дорожную сумку и ошеломленно осматривался. Что-то здесь неуловимо изменилось... Может быть, настораживала эта роскошь, парадность, натюрмортность стола.

— У меня обычай — после полуденного сна плотно закусить,— говорил между тем хозяин.— Я, знаете ли, живу по свирепому режиму. Встаю ни свет ни заря, в середине дня отдыхаю — и снова за труды. В моем возрасте боишься не успеть. Однако, присаживайтесь! Болтливость у меня тоже от одиночества, не обижайтесь,— он отодвинул один из стульев.— Прошу!

Шурик застеснялся. Он чувствовал такой гнетущий голод, что готов был лицом уткнуться в блюдо с телятиной, но воспитанность, конечно, требовала отказаться от соблазнительной трапезы.

— Да вы, может, не жалуете холодную телятину?— огорчился Кракарский.— Извольте, сейчас горяченького подадут! Или рыбки! Лососина есть отменная, но и отварной осетр на любителя найдется...— И тут Шурику пришлось помимо воли шлепнуться на предложенный стул: на веранде появилась огромная, ростом с женщину, белая мышь в ситцевом платье и переднике, за нею волочился мерзкий розоватый хвост. В приподнятых лапах мышь несла два блюда с лососиной и осетром.

— А какую комнату вы хотели бы занять, милый Шура?— как ни в чем не бывало обратился к нему Кракарский.— Вещи отнесут туда, выгладят и разложат в шкафу, если надо.

— А... А... Что это?— Елизаров вздрагивающей рукой указывал на мышь.

— Мое произведение,— самодовольно рассмеялся

экс-профессор.— Наглядный продукт биоинженерии. По дому помогает. Вы у меня еще не такое увидите. Так что оставьте привычку изумляться. Вообще — пора! Давно пора очистить сознание от всевозможного эмоционального хлама. Истина — ведь она и есть все сущее, то есть материально существующее, а остальное — лишь наше отношение к ней, не так ли?

Много и охотно рассуждая, экс-профессор дела не забывал. Он успел наполнить чаши питьем из оплетенного кувшина, передать одну Шуре, а другую юбилейным жестом приподнять.

— Выпьем же, мой юный коллега! За мать нашу — науку! За нашу встречу, которая, помяните мое слово, станет исторической в памяти потомков! И не бойтесь — это квас,— добавил он буднично.— Я ничего другого не признаю. Мозги берегу.

Квас произвел дивное действие на организм Елизарова. Александр Николаевич перестал ощущать духоту, повеяло прохладой.

Вдруг раздался еле уловимый, но до изнеможения прекрасный хрустальный перезвон, и на мгновение показалось, что сам воздух вокруг застыл оболочкой драгоценного кристалла, внутри которого и находились они с добрейшим экс профессором, редчайшим дарованием, чей эксперимент подобен волшебству.

— Я восхищен вашей мышью, профессор,— расслабленно прошептал Шура.— Просто не верится, что это реально.

Ворчание профессора погасило хрустальную музыку.

— Мышь!— усмехнулся он.— Это случайное везенье, что вышла смышленая мышь, а не хищная лошадь с рогами на заднице. Я продираюсь вслепую, перепортил уйму материалов. Уникальнейшие особи, годами выдерживаемые в нужном режиме, вдруг ни с того ни с сего превращаются черт знает во что, даже в неорганические соединения. Четверть века я сражаюсь с неподатливым естеством, чтобы сотворить разумного и полезного биоробота. Нет! Тысячи, миллионы биороботов, запрограммированных на все виды полезной деятельности. Увы, достижения мои плачевны. Мышь-домохозяйка, дюжина укрупненных червей для вспашки огорода, где я выращиваю капусту. Да, капусту, которую продаю оптом! Непризнанный, ибо непознанный, отлученный и преданный забвению академическими лицами, я вынужден по дешевке

сбывать свою капусту заезжим спекулянтам. Не сидеть же самому на базаре. Такого унижения я бы не пережил.

— Н-но... Вы, кажется, не бедствуете,— обескураженно заметил Шура.

— Не хлебом единым, не хлебом единым, милый юноша!— несколько невпопад откликнулся экс-профессор.— Я с прежним упоением служу науке, а она не может быть неблагодарной. Трудно создать биороботы, но нет ничего проще как из кильки сотворить осетра, которого вы не без аппетита съели. Еще кваску?

Шура жадно припал к наполненной чаше, отдышался:

— Профессор, не томите! Как вы достигли этого?

— Дражайший Шура! Простите за фамильярность, но ведь вы годитесь мне в сыновья. Недаром же назвал я нашу встречу исторической. Не вы мне, а я вам должен задать вопрос — как? И надеюсь не только получить ответ, но и заручиться дальнейшим сотрудничеством. Пока что я убогий кустарь, и только ваша теория математической эволюции по прямой может обеспечить моей биоинженерной деятельности масштабность и размах.

— Не понимаю,— честно признался Елизаров.

— Сейчас мы поднимемся на второй этаж в лабораторию, и я вам все объясню по ходу дела.

Когда Кракарский приветливо распахнул дверь лаборатории и отступил в сторону, пропуская гостя, оторопь молодого поборника науки достигла крайнего предела. Ощущение замкнутого пространства полностью исчезло. Словно бы подвешенные в космической пустоте, замерли на лету гигантские капли ртутного дождя. Не сразу разглядел Шура в ртутных дебрях другие фигуры: похожие на громадные елочные украшения шары, сверкающие все тем же ртутным, зеркальным серебром, веретенца и жемчужные сосульки. Все это слепило, испускало лучи, которые множились и переливались в бесчисленных отражениях. Можно было заметить, что наружная оболочка зеркальных тел не тверда, а скорее жидкообразна, как живая ртуть — невидимые частички вещества упорядоченно вращались на покатых поверхностях. Так набухают дождевые капли на карнизе, готовые вот-вот сорваться вниз.

Елизаров никогда не был излишне робок, но сейчас его изумление всем увиденным граничило с испугом и до полного унижения подавляло своей необъяснимой грандиозностью.

— Вот так!— изрек Кракарский, стоявший позади.— Как вам нравится сия жемчужная капель?

Шурик что-то простонал в ответ.

— В подобной капельке, мой дорогой коллега, вызрела уже знакомая вам мышка-хлопотунья. Зреют и другие экземпляры. Я занимаюсь тем, что составляю физиологический раствор, куда входят нуклеиновые кислоты в сочетаниях, покуда нашей науке не известных, помещаю в оболочку необходимую особь, а затем сообщаю зародышевой капле направленную биологическую энергию. И жду, что получится. В момент созревания капля падает, разбивается вдребезги и... Черт побери, Шура, какой только дряни я не подбирал: каменные осколки, сращения кристаллов, комья глины и даже рваные башмаки. А однажды выпрыгнула безмозглая жаба размером с корову...

— Где же она?— как бы очнулся от сна Шурик.

— Неудачные продукты я на всякий случай уничтожаю. Черт знает, каких последствий можно ожидать от этих видоизмененных, генетически неуправляемых структур. Вдруг та же жаба тебя же ночью и сожрет.— Кракарский испытующе посмотрел на Шуру.— Ну? Теперь догадались, почему я провозгласил гениальными ваши рациональные математические расчеты, Шура?

— Приблизительно представляю,— пробормотал несчастный Шура, хотя он ровным счетом ничего не понимал и просто боялся опозориться перед выдающимся ученым.

— Да, да, да! И еще раз да!— вдохновенно вскричал экс-профессор, с выражением преданности и восторга стискивая руки Елизарова.— Отныне мне не придется трудиться на авось. Любую идею относительно функций, которые должна нести особь, мы математически запрограммируем, четко рассчитаем структуру нуклеиновых кислот, чем обеспечим безотказный генетический заряд на несколько поколений вперед. Сама энергия получит расчетную направленность. И это осуществите — вы! Представьте, Шура, это всемирный... Нет, вселенский переворот! И мы с вами будем стоять у руля. На капитанском, так сказать, мостике!

— Да, но... я рассчитывал...— Шурик растерянно запинался,— на сознательное восприятие... На разум, в определенном смысле.

— Разум консервативен, Шура!— назидательно произ-

пес Кракарский.— И зачастую отрицает как раз самое для себя полезное. Вы правы в главном, дорогой коллега, все страдания человеческие от неверных представлений. Пока индивид мало-мальски разберется, что такое он сам и мир, в котором он родился, исстрадается, обессилеет, наживет кучу нервных заболеваний, а если и угораздит его на старости лет прозреть, то пользы от этого уж ни себе и ни людям — помирать пора. Он даже опыта своего толком передать не может, потому что на смену прут такие же самоуверенные носители неверных представлений. Где уж им вслушиваться в бессильный лепет полуживого старца! Да и каким, прости господи, способом вы станете внушать человеческой армаде вашу здравую и разумную теорию. В роддомах математические таблицы развесите?

— Да нет же!— защищался Шура.— В сознательном возрасте поставить перед выбором рациональной несомненно достижимой цели...

— Фантазии!— строго оборвал Кракарский.— Отринут, не вникнув — и все тут. Нет, Шура, сейчас вы сбивчиво противоречите самому себе. Оставим полемический запал и, образно выражаясь, припадем устами к целительному роднику вашей гениальной теории. Каждому свое место и соответствующее месту осознание себя. Нет сейчас ничего более своевременного, чем задача избавить людей от неверных представлений, а точнее говоря — от прихотливости и расхлябанности сознания, от эмоциальной неразберихи. И я снимаю перед вами шляпу, Шура, потому что в своих изысканиях вы обратились не к сумбурному словоблудию всех этих мудрецов с философской свалки, а к матери всех наук — математике! Пойдем же по этому пути рука об руку. Моя лаборатория — к вашим услугам!

Тем временем они медленно передвигались среди зеркальных пузырей. Воздух был неподвижен. Серебряное свечение гигантских подвесок ощутимо давило, словно само по себе было чем-то плотным, материальным. В иные мгновения Елизарову казалось, что и его обволакивает ртутная пелена, взгляд туманился, дышалось с трудом. И в этой безвоздушности, ничего не видя и уже плохо соображая, где он находится, Александр Николаевич утомленно прошептал:

— Хорошо, я согласен...

— По рукам!— бодро воскликнул экс-профессор.— А

то я уж подумал было, что вы из тех теоретиков, которые, увидев собственную идею во плоти, тут же готовы отречься: я, дескать, не я и лошадь не моя. Э-э, батенька, да вы бледны,— голос хозяина стал тревожным,— занедужили?

— Я признаться, плохо сплю в последние дни. Устал.

— Немедленно отдыхать! А расчеты подождут до завтра. С утра и начнем. Спите, сколько вздумается, восстанавливайте силы. Вам приготовлена угловая комната на первом этаже.

— Но я все же сомневаюсь,— сказал Шура, когда они уже спускались вниз.— Моя теория должна покорить общественное сознание истинностью своей...

— И покорит! Покорит непременно!— тоном заботливой няньки убеждал любвеобильный Кровилион — Дело в том, что протест против разумного заложен в беспорядочной натуре человеческой в тех же пропорциях, что и здравый смысл. Так не лучше ли младенца при рождении омыть в биоактивном [illegible], как в купели, и мы на всю жизнь скоординируем заложенные в нем дарования, наградим недюжинной трудоспособностью и набором необходимых благих намерений... Он всей кожей впитает биологически запрограммированную идею служения истине ради общей и собственной пользы, а способ служения, то есть вид деятельности, исподволь проявится по мере взросления.

Рассуждая таким образом Кровилион Кракарский ввел Шурика в приготовленную для него комнату. Ту самую, где Елизаров спал еще ребенком. Здесь ничего не изменилось. Стоял комод, покрытый салфеткой, над круглым столом висела лампа под шелковым абажуром с кисточками, расшитый коврик был прибит над широкой деревянной кроватью, под нею на полу, влажном от мытья, лежал опрятный деревенский половичок. Эта немудрящая, патриархальная обстановка так живо вернула аспиранту безмятежные ощущения детства, что вся промчавшаяся с тех пор жизнь показалась коротким запутанным сновидением. Кракарский наблюдал за ним с отеческой нежностью.

— Ну, располагайтесь, не стану мешать.

Когда же хозяин прикрыл за собой дверь, над крышей грохнуло и милая комнатка на мгновение осветилась алым пожарным заревом. Трескучие, сухие грозы, оказывается не миновали и побережья. Взгляд Шурика зас-

тыл на старых настенных ходиках. Стрелки, сцепившись, с жужжаньем неслись в обратную сторону. Но Елизарова это почти не взволновало, он и так изнемог от обилия впечатлений. Аспирант забрался в постель, от усталости ознобно постукивая зубами. Ель за окном затеняла его комнату. Солнце едва пробивалось сквозь ее косматые ветви, разбросав по стенам бронзовые пятна закатных лучей. Шурик сомкнул набрякшие веки.

Когда он открыл глаза, стены окрашивала уже не бронза, а лунное серебро. Была глубокая ночь. В непроницаемой тиши раздавались дальние, мерные вздохи. В окна волнами вплывала солоноватая пряная прохлада.

«Море...»— догадался Елизаров.

Ему вдруг сделалось обидно, что день, заранее предназначенный им для счастливого свидания с морем, для вольных раздумий и некоей неподдающейся словесным определениям восстановительной работы души, этот день сгинул в чаду ошеломительной небывальщины, унизительной растерянности и страха. И теперь грудь сдавливало, словно он надышался ядовитыми ртутными парами. Но море послало ему издалека новую волну влажной свежести. Елизаров с наслаждением сделал глубокий вдох и поднялся с постели. Правда, мысли, полные тягостной досады, не отступили. Ему представлялось странным, что ученый отшельник, который при всех своих неудачах оставил далеко позади признанных светил биоконструирования и генной инженерии, так патетически отзывался о скромном открытии Елизарова. За этим чувствовалась ехидная покровительственная ирония. Елизаров заподозрил, что нужен Кровилиону Кракарскому как рядовой счетовод, посредственный подмастерье, безмозглый мальчишка на побегушках. Он не скоро распознал, что его мучит обыкновенная, пошлая зависть к достижениям экс-профессора. А поняв это, аспирант испытал такую гнетущую неприязнь к себе, что захотелось без оглядки убежать от собственной персоны куда-нибудь подальше и немедленно. В ожесточении он единым махом перескочил через подоконник и быстро пошел по тропинке к морю.

Вырвавшись из темной тесноты сосновых стволов на взгорье, Елизаров с разбегу замер, будто уперся грудью в упругий простор. Море на безветрии лежало недвижно и мерцало, как звездное небо, а в небе угадывалось таинственное колыхание темных течений и лунной пены,

будто две первозданные стихии по сговору заменили друг друга на эту ночь.

Здесь, на краю земли, придавленный грандиозностью пространств, Шурик ощутил возвышенную, целительную печаль смирения. Разом нахлынули мысли о скоротечности жизни, о вечном одиночестве человека на земле, о бесстрастном спокойствии нетленных стихий и о прочем. Странно, что осознание своей малости перед лицом необъятного и вечного успокоило его. Без надрыва, а скорее с проникновенной, мудрой грустью он подумал, что в сущности был и по сей день остается ревностным слугой собственного тщеславия, пленником чувственных прихотей.

«В самом деле,— размышлял он, неторопливо спускаясь с дюны,— разве хоть кто-нибудь от имени рода человеческого просил меня — вразуми нас, одари, осчастливь? Нет. Сам я навязываюсь в благодетели, ожидая взамен славы, благодарности, любви, а в сущности человечество вправе от меня отмахнуться, как от назойливого насекомого».

У берега он закатал до колен брюки и ступил босиком в прогретую, ласковую воду. Тут внезапный искристый блеск резанул его по глазам. Сощурясь, он увидел возле ног светящуюся медузу прекрасных звездных очертаний. Елизаров наклонился, взял на ладонь прохладное и необычайно жесткое тельце, словно медуза была вырезана из хрусталя, вынул ладонь из воды, поднес к лицу и тут понял, что ошибся. В руке ничего не было, будто медуза ему померещилась. Скорей всего, он ловил ладонью отражение небесной звезды. Рядом раздался плеск. Елизаров обернулся. Чуть поодаль брела по отмели босая женщина с длинными, золотящимися в лунном свете волосами, совершенно нагая. Должно быть, она купалась и бесшумно подплыла к берегу, пока он безуспешно ловил медузу. Елизаров не успел подумать, откуда взялась незнакомка. Он вообще ни о чем не мог думать, потому что обомлел до абсолютного столбняка. Женщина тоже заметила его и смело приблизилась. Ночные тени чуть скрадывали ее наготу, и оттого красота ее тонкого юного тела делалось еще прекрасней и загадочней.

— Кто ты?— спросила она. Голос показался Елизарову печальным и почему-то удивительно знакомым. Он не знал, что ответить — у него не было имени, не было звания, не было прошлого, словно он только что, как

и незнакомка, возник из вод морских. Вместо ответа он протянул женщине руку, и она доверчиво положила прохладные невесомые пальцы на его открытую ладонь.

— Ты — человек,— сказала она, но в спокойном голосе проскользнуло непостижимое изумление. И Елизаров, кивнув в ответ, вдруг светло возгордился тем, что — да, он человек, единственный носитель разума, необходимого этой вечной, молчаливой природе хотя бы для того, чтобы восхищаться ею.

Незнакомка задумалась, по лицу ее, как рябь по воде, пронеслись летучие тени, а когда она заговорила, голос звучал почти сурово.

— Безлюдным стало побережье. А когда-то здесь было много людей, слышались голоса и смех. Люди затевали игры на золотом песке, купались в море... Где они теперь?

— Не знаю,— как во сне, отозвался Елизаров, не сводя зачарованного взгляда с лица незнакомки.

— Чья-то ярость истребила их. Я помню, люди исчезали, когда взрывались небеса. Может быть, они укрылись где-нибудь от пагубного пекла. Но я брожу здесь каждую ночь, жду, иногда зову их — и не видела никого. Ты — единственный...

«И пусть я останусь для тебя единственным!— мысленно откликнулся он.— Зачем нам люди?»

— Я люблю людей и восхищаюсь ими,— с неизъяснимой печалью утраты произнесла незнакомка.

— За что же их любить? — обидчиво спросил Елизаров, сжимая в ладони тонкие женские пальцы. Она сама была как завороженная, в раздумьях и доверчивости своей: не рассердилась, руки не отстранила. Восхищение и преклонение, чуть затуманенные скорбью, отразились на ее лице.

— Только людям дан дар любить друг друга и мир, в котором они живут. Сама земля дана им для радости, как мячик милому ребенку. В любви - истина, спасение и вечность человечества. Без любви мир станет мертв и понесется холодным комком среди звездных пустот. А я люблю людей хотя бы уже за то, что они могут играючи взбежать вон на ту вершину и оттуда смотреть, как огромно море и необъятно небо.

— Так взойдем же туда вместе!— восторженно, заражаясь игрой, вскричал Елизаров.

— А ты правда человек?— немного насторожилась она.— Я не ошиблась?

— Конечно!— он привлек ее руку и прижал к груди под рубашкой.— Слышишь, как сильно бьется сердце?

— Да, сердце...— Она посмотрела на него прояснившимся взглядом.— Но будем восходить осторожно. Песок слишком горяч и жжет ступни.

«Так обуйся!»— хотел посоветовать Елизаров, но устыдился собственной глупости и промолчал.

Потом начались чудеса. Они вышли из воды и каждый шаг по зыбкому песку был медленным и тяжким, словно длился целое столетие. Чего только не успевал ощутить Елизаров, действительно забывший, кто он и куда стремится, пока натужно, словно сквозь свинцовый воздух, ступал вверх по склону. Он был и дремучим дикарем, чья шерсть вставала дыбом от желанья сжать неуклюжей лапой горячий лепесток огня, и изнуренным рабом, прозревшим от дерзкой мысли, что он свободный сын природы, и заточенным в келье старцем, чей смущенный ум бьется над загадкой бытия, и воинствующим гением, которому открылся круговой ход космических светил. Он изнемогал и снова обретал силу, каждый шаг был упрям и бесстрашен, как рывок в пропасть, к освобождению. А нагая женщина легко скользила рядом, будто бы летела, не касаясь земли, ее горячий взгляд светился, то лаская его, то устремляясь в неопределенную даль. И от этого не исчезала надежда...

В последнем рывке у вершины Елизаров ухватился рукой за шершавый ствол сосны, а другой притянул к себе незнакомку. И все сразу стало явным. Скользкая хвоя под ногами, запах смолы, солоноватый, как от водорослей, запах влажных женских волос... Он жадно сжимал ее послушную руку, содрогаясь от назойливых и ужасных предположений, что может ее потерять, и в то же время блаженно веруя, что она дана ему навеки и даже смерти не будет.

— Подумать только, человек может в любое мгновение окинуть взглядом мир и вобрать его в свое сердце,— тихо проговорила она.— Да, людям дано постичь счастье!

Ревнивое чувство охватило Елизарова: она все еще толкует о людях и о счастье, и это в такую неповторимую минуту, когда они на побережье, принадлежат только друг другу. Он оттолкнулся от сосны, резко и властно сжал в объятиях тело незнакомки.

— Людям ничего не дано!— прерывисто дыша, зашептал он ей в лицо.— Они слепы и суетливы! Я дам счастье

тебе, а потом уж им — ради тебя! Я их переделаю, переломаю, изменю и пусть карабкается каждый на свою вершину. А эта — наша!

— Бедный! Ты в неведеньи! Я дам тебе прозрение,— горько и отрешенно прошептала она. Тающий голос слился с беспокойным шумом старой сосны.

Утро обрушилось на Елизарова, как внезапный пожар. Он лежал ничком под сосной, и дымный ветер с дюн сек его горячей песчаной картечью. Ярилось солнце, стоявшее довольно высоко. Где-то орало радио, извергая разухабистую плясовую. Елизаров еле приподнял чугунную голову, ощутил сильное до тошноты головокружение, и тут же снова уронил ее на руки, но успел мельком заметить, что внизу, у самой воды старый Кровилион в спортивном трико делает физзарядку, подпрыгивая в лад бойкой плясовой, которая неслась из транзистора, поставленного поодаль прямо на песок. Сейчас Шурику не было ни малейшего дела до профессора. С трудом вдумываясь в происшедшее с ним он не искал ответа, во сне это случилось или наяву. В конце концов, не сном ли кажутся и туманные воспоминания далекого детства! Совсем другое терзало несчастного аспиранта — трагическое сожаление, что ночная встреча никогда уж больше не повторится, и ощущение гадливости к себе за то, что оказался просто-напросто пошляком. Ведь у него одно было на уме... и поделом свалил его под сосной приступ неведомой болезни. Он не сомневался, что незнакомка была живая, а ее доверчивость происходила от невиданной чистоты; может быть,— от безумия, но безумия прекрасного.

Радио в отдаленьи стало орать глуше. Шурик приподнялся, опираясь на руки, распрямился, не подымаясь с колен, и тогда увидел, что лежит, прижимая грудью к земле хрустальную медузу. Многоугольной звездочкой она поблескивала среди прошлогодней хвои и примятых веточек мха. Не без боязни он протянул руку к странно остекленевшему морскому существу.

«Чудо какое... Откуда же ты взялась?»

Елизаров поднял медузу. Она оказалась прозрачной. Аспирант нацелил звездочку на солнце и ясно разглядел сквозь хрусталь, что солнышко в небе ласковое, веселое, а вдали, по чистой сини, даже бегут кудрявые облачка. И море, видимое сквозь тело медузы, было игривым, с резвыми барашками на мелких волнах, а у самой воды

скакала черная ворона, озабоченно раскапывая лапками выброшенные водоросли и что-то оттуда выклевывая. Дымный песчаный ветер стих совсем. Теперь Шурик ясно различал, что радио играет на даче. Плясовую сменил спокойный вальс. Он вспомнил, что спозаранку обещал быть у Кракарского, а теперь время, по-видимому, двигалось к полудню. Он сунул медузу в карман брюк, стряхнул с колен хвою и заторопился. Мысль о том, что хрустальное существо имеет отношение к опытам экс-профессора, пришла ему в голову по дороге. Ведь говорил же Кровилион о сгустках кристаллов, вопреки ожиданиям вызревающих в ртутных пузырях... А как, спрашивается, он обезвреживает землю от непознанных генетических структур? Конечно, выбрасывает в море. Ведь в огне-то эти кристаллы, поди, не горят... Ему не терпелось расспросить самого Кракарского, поэтому он не стал заходить к себе, а быстро взбежал по лестнице и толкнул дверь лаборатории. Она поддалась. Опять ослепила необозримая зеркальность висячих капель, но незаметно было, чтобы экс-профессор находился здесь, как не было его и внизу. На всякий случай Шурик громко окликнул его по фамилии, но ответа не получил. В ожидании он отправился блуждать по лаборатории, но шаг за шагом с нарастающей тревогой догадывался, что здесь что-то изменилось со вчерашнего дня. Пузыри стали подвижны! Они еле заметно расступались перед Елизаровым, а потом долго раскачивались позади, как елочные игрушки на ветвях. Оболочка многих потускнела, сделалась как бы оловянной. Должно быть, это значило, что близится вызревание. У Елизарова скользнула мысль о том, не попрут ли из лопнувших пузырей, как оно случалось, новые жабы величиной с корову, но он не успел обдумать опасность данной перспективы... Его пригвоздило к месту совсем другое. Два шара, расступясь перед ним, открыли ранее невидимую стену, оклеенную простенькими обоями, и на этой стене преспокойно висела... войлочная шляпа Простухина!

Впервые за эти ошеломляющие сутки диковин и кошмаров, Александр Николаевич трезво приказал себе не терять хладнокровия. Бог знает как здесь оказавшийся нелепый головной убор друга прямо указывал, что Елизаров оплетен путами коварной, зловещей, насмешливой тайны. Хотя, казалось бы, что особенного в шляпе? Может, Мотя тоже приехал сюда погостить... Однако рука

Елизарова невольным защитным движением юркнула в карман, словно потянулась за оружием. Пальцы коснулись медузы, и Елизаров не раздумывая, извлек ее и поднес к глазам, как линзу подзорной трубы. Зеркальные лучи, попав в звездное тельце, разлетелись по лаборатории спектральной россыпью, а мгновение спустя Александр Николаевич увидел почти то, что ожидал. В пузырях, просвеченных насквозь, как в утробе матери, свернувшись калачиком, дремали люди разных возрастов. Ближе всех к Елизарову находился почтенный человек в пижаме и роговых очках, едва державшихся на кончике его дремлющего носа. Под мышкой спящий сжимал том энциклопедического словаря. Поодаль покачивалась загорелая, стриженая девушка в купальнике. Теплыми комочками спали дети, прижав к щекам игрушки и песочные лопатки. А на прозрачных теперь стенах пузырей водянистым рисунком было выведено, кем они должны были стать по замыслу Кровилиона Кракарского. Был здесь паук-охранник, сжи[illegible] [illegible] лапами сеть заграждений из колючей проволоки, были ткачи-шелкопряды, муравьи-строители, [illegible] [illegible]шечки-танцовщицы в черных чулочках и [illegible] кружев на бедрах, были жуки-мусоровозы, а [illegible] энциклопедическим словарем, мыслился в [illegible] [illegible]ятлом-дровосеком, по заказу изрекающим све[illegible], подобные хозяину. У Елизарова помутилось в глазах:

— Так вот они, твои биороботы, сволочь! Так на же тебе! На!— Он бросился к ближайшему пузырю и, не имея под рукой ничего острого, кроме граненой медузы, принялся кромсать звездчатыми краями оболочку. Она тут же лопнула наподобие мыльной — и не осталось ничего, ровным счетом ничего, хотя должен был освободиться щекастый малыш с мячиком. Но Шурика уже невозможно было остановить. Он взрезал каплю за каплей, приговаривая:— Расчетов захотел, негодяй! Из людей безмозглые чучела делать! Рабов для своего хищного величества! Ах, скотина! Ах, паразит! Будут тебе биороботы, как же! Я тебе самому брюхо вспорю, если надо!

Теперь зловещие капли лопались одна за другой с мелодичным хрустальным звоном. Елизарова утешала догадка, что заточенные в них люди таинственным образом возвращаются туда, откуда были похищены преступным Кровилионом для своих бесчеловечных опытов.

— Я тебе рассчитаю! Я тебя самого окуну в активную

купель!— продолжал яриться Шурик. Оставался последний, самый последний пузырь, где дремал почтенный очкарик в пижаме, и вот он-то никуда не исчез, а плюхнулся задом на пол и тут же невесть откуда под ним оказалась дачная кушетка.

— Что вы орете, молодой человек? Как вы сюда попали? Что за хулиганство, в самом деле?— стал он возмущаться спросонья.— Не дадут вздремнуть. Хозяйка!

— Не кричите, прошу вас,— как можно миролюбивее попросил Шурик.— Мы с вами пока еще в страшной опасности.

— А? Что?— таращил глаза бестолковый очкарик.— Какая опасность? Воры?

— Хуже,— сурово пояснил Елизаров.

В лабораторию, принявшую вид опрятной дачной комнаты, просторной и солнечной, величаво вступил Кровилион Кракарский. Пистолетные глаза его сузились, рот кривился.

— Доволен, дурак?— спросил он, обращаясь к Елизарову.— А мог стать властелином мира. Не все ли тебе равно, какой бы идее служили эти ничтожные, суетные людишки. Личная власть — тоже идея. Я знаю, это все она — Медуза, непокорное отродье титанов. В нее воплотилась эта строптивая девчонка, дочь хозяйки. Надо было забросить ее подальше в море, чтоб не шлялась по ночам у берега...

Шурик вспомнил, что медуза в руках у него и раскрыл ладонь — на ней быстро таяла, словно испарялась, хрустальная льдинка.

— Альмира!— закричал он в отчаянии.

— Я здесь,— раздался знакомый голос у порога. Елизаров вперился в вошедшую глазами. Перед ним в легком сарафанчике и босоножках стояла та женщина, которую он обнимал ночью на берегу. А, может быть, не та...

— Как хорошо, что вы отозвались, Альмира Владимировна,— забрюзжал с кушетки очкарик.— Тут творится черт знает что! Этот тип вломился в комнату, нашумел, разбудил. Я все-таки отдыхать сюда приехал!

— Он тоже отдыхать приехал,— засмеялась Альмира.— Здравствуйте, Александр Николаевич.

— И потом ваша птица!— продолжал браниться энциклопедист.— Она влетает в окна, каркает... Никакого покоя.

Альмира со снисходительной улыбкой направилась к

подоконнику, где, нахохлясь, сидел большущий черный ворон. Тот самый, что вчера сидел на крыше. Шурик стремительно вертел головой, бросая беспокойно-вопросительные взгляды то на Альмиру, то на ворчливого дачника, то на ворона: не новый ли бред все это?

— Ворона вы не обижайте. Он — ученая птица. Его на днях привез наш постоялец. Вот его шляпа.

— Простухин!— воскликнул Шурик.

— Да, он,— кивнула Альмира.— Он предупредил нас с мамой, что вы приедете. Но я с утра была на море, а мама ушла на рынок — вот и проворонили.

— Крайности скверны!— встрепенувшись, невпопад каркнул ворон.

— Видите,— опять засмеялась Альмира.— Он говорящий... Лети, лети, Кровилион. Нечего тебе тут рассиживаться. Мешаешь!

— Да нет, я ничего,— смилостивился энциклопедист.— Пусть сидит птичка.

Наверх поднялась и Ангелина, ставшая за прошедшие годы совсем седой. На ней было ситцевое платье и передник, в которых вчера щеголяла мышь.

— Шурик приехал!— воскликнула она, прослезившись в умиленьи.— Стал настоящим мужчиной. Я слышала, ты пошел в науку. А мама с папой живы ли? Почему же они не приехали отдохнуть?

Засыпанный вопросами, Елизаров молчал, не зная на что отвечать в первую очередь, и только ошалело улыбался.

...Вечером втроем пили на веранде чай. Простухин, Альмира и Шурик, успевший прийти в себя. На жердочке в углу дремал ученый ворон Кровилион. Пахло жасмином.

— Твои подлые шуточки?— в упор спросил Елизаров друга, когда Альмира зачем-то вышла.

— Мои,— невозмутимо кивнул лохматой головой Простухин, ложечкой поедая клубничное варенье с блюдца.

— В спорах ты молчишь,— в сердцах выговаривал Александр Николаевич.— А идиотские розыгрыши устраивать мастер.

— Крайности скверны!— дрессированный ворон, на миг очнувшись от сна, назидательно прокаркал единственную фразу, которую знал.

— Кровилион прав,— усмехнулся Простухин.— Твоя

теория — самая дичайшая крайность, а потому она вредна. Ты сочинял ее безо всякого понятия о человеческой природе. Вернее, по своим, субъективно искаженным представлениям о ней. Короче говоря, без любви к человеку.

— Кто тут толкует о любви?— лукаво полюбопытствовала вернувшаяся Альмира.

— Аля,— обиженно обратился к ней Елизаров.— Вы знаете, что выделывал со мной этот человек?

— Знаю. Он сказал мне, что издалека будет внушать вам счастливые видения встречи. Получилось?

— Вполне!— мрачно отрезал Елизаров.— Из-за его шуточек я вынужден отказаться осенью от защиты.

— Неужели? Матвей, как же это?

— Вы не так поняли,— поспешил успокоить ее Александр Николаевич.— Мотя не причем. Сама тема нуждается в переработке... Вообще!— он норовисто тряхнул головой.— Человек имеет право на ошибки. Но лишь на те, от которых страдает только он сам.

— Так не бывает,— задумчиво заметила Альмира.

АГАВА СУПСОВА

Олег Николаевич был малоразговорчив. Зато слушал всегда внимательно. И манера слушать у него была особенной. Чуть склонив голову набок, следил он за всеми движениями собеседника. Может, поэтому садился немного в стороне, чтобы удобнее было наблюдать. Те, кто встречался с ним впервые, чувствовали себя стесненно под пристальным взглядом.

От первых встреч у меня тоже осталось неприятное впечатление. Потом привыкли, и мы часто коротали вместе теплые сентябрьские вечера. Нашим беседам помогал морской прибой, если пауза затягивалась, мы слушали море, оно говорило всегда.

Познакомились мы лет пять назад, когда я впервые приехал отдыхать на Черное море. Потом из года в год мы встречались уже как старые знакомые, и это знакомство переросло в своеобразную дружбу.

Химик по специальности, Олег Николаевич всецело отдавался своей любимой работе. Выполняя предписания врачей, он жил в небольшом уютном домике на самом берегу моря.

За его домом, на крутом склоне, располагался миниатюрный, хорошо ухоженный сад. Большую часть сада занимали цветы. Используя свои профессиональные знания, хозяин любовно обихаживал каждое растение. Производил анализы почвы и по собственным рецептам готовил растворы для поливки.

Поддержать разговор по его любимой специальности я не мог, но помогли нам найти общий язык цветы. Мы часто прогуливались по его саду, где он мог рассказать занятную историю про каждое растение.

Кончался отпуск, я уезжал, целый год мы редко вспоминали друг о друге.

В один из приездов мы встретились, как обычно, во время купания у прибрежных камней. Пожали друг другу руки, как будто расстались не год назад, а вчера. Олег Николаевич помолчал, разглядывая меня, неторопливо заговорил:

— Знаете, в моем саду произошли некоторые изменения...

Чтобы заполнить затянувшуюся паузу, я ответил, что неплохо бы посмотреть, какие новинки там появились.

— Да-да, мы обязательно посмотрим. Но ничего особенного там как раз нет. Все самое обыкновенное и давно известное. Просто я наблюдаю за движениями растений. Нет, не ростом, а именно движениями. Вы знаете, это очень интересная вещь. Сейчас я стараюсь подобрать наиболее подвижные виды. Вы скажете, что все это не ново и давно изучено. Согласен. Но вот вопрос: нельзя ли стимулировать эту сторону жизни растений?

Олег Николаевич замолчал. Я задумался над его словами. Мы сидели на теплых камнях, разморенные солнцем. Пологие водяные волны набегали на россыпи камней и прозрачными голубоватыми потоками пробивались между ними, стараясь как можно выше взобраться на берег. Вспомнилось выражение «живая и неживая природа», вычитанное в какой-то статье. Нет, «неживой природы» быть не может.

Сообщение Сунсова — такой была фамилия Олега Николаевича — меня не очень заинтересовало. Хорошо, что человек умеет занять свое свободное время. И все-таки мне любопытно было взглянуть, что произошло с садом.

После купания Олег Николаевич пригласил меня на холостяцкий обед.

В его доме, как всегда, было чисто и уютно. В двух маленьких комнатах ничего лишнего. Я еще в первый раз обратил внимание, что цветов, кроме как в саду, он не держал. Объяснение было простое — не стоит укорачивать их жизнь неволей. Зато сообщил, что рассада весной или нежные сорта зимой всегда находят приют в доме.

В сад заглянули после обеда.

Но боже мой, что с ним случилось! Длинные шеренги растений, словно солдаты в зеленых мундирах. На обрезках водопроводных труб таблички с наименованиями растений, будто графики температуры на больничных

койках. Подобные и другие сравнения лезли мне тогда в голову.

Я перевел взгляд на Супсова и словно впервые увидел этого человека — оборотень! Сколько лет так мило рассуждал о прелести цветов.

— Что это такое?

— Вы о чем?— не понял Супсов.

Я ткнул пальцем в сад. Олег Николаевич сделал несколько шагов, наклонился к табличке, ему показалось, что я спрашиваю о растении, а он еще не знал на память всех их характеристик. И не мудрено — на табличке у массивной агавы значился номер восемьдесят семь. Далее в табличке указывалось: семейство амариллисовых; вид...

Я впервые в жизни услышал полное название растения, которое довольно часто видел. Когда Супсов поднял голову, чтобы оценить, какое впечатление произвел на меня его ответ, я заметил, как меняется выражение его лица. Сначала удивление, потом недоумение, обида и даже возмущение. Представляю, как я сам выглядел, когда, вытянув вперед руку, произнес:

— После ваших опытов назовите эту колючку попроще. Ну, хотя бы «Агава Супсова».

Олег Николаевич пробормотал что-то невнятное.

Мы расстались необычайно рано. Возвращаясь домой, я злился и на себя и на Олега Николаевича — больше, конечно, на него. Как мог он изуродовать прелестный уголок — свой сад, часть городской зелени, природу нашу в конце концов. И на себя злился — за несдержанность.

На следующий день Олега Николаевича на берегу моря не было. У меня оказалось время поразмыслить. Почему, собственно, я возмутился? Потому, что привык к саду? Потому, что мне нравилось там отдыхать? Или потому, что Олег Николаевич сделал, что хотел, и меня не спросил? Может быть он пошел на это, переборов в чем-то себя, а мне на это наплевать.

После довольно длинных умозаключений я почувствовал себя неловко.

На третий день сходил к нему домой, но не застал. До конца отпуска и в следующем году я видел его издалека всего раза три. Олег Николаевич держался отчужденно, не выказывая обиды, недовольства или презрения. Но, странное дело, я почему-то чувствовал, что еще возмож-

ны наши неторопливые, легкие беседы. Просто должно было пройти время.

И время прошло. Через два года я застал Олега Николаевича в том месте, где мы обычно встречались. Я хотел пройти мимо. Видимо, мой бывший приятель просто не знал, что я приехал отдыхать. Теперь он снова «уйдет в подполье». Я даже подумал, что нечестно появляться в этом месте и сгонять аборигена с его владений.

— Георгий Владимирович! — остановил меня мягкий, но настойчивый возглас. Это звал Олег Николаевич.

Протянул руку, как ни в чем не бывало.

— Вот и хорошо, что вы в отпуске,— заговорил он, рассматривая меня еще более пристально, чем обычно.— Сад мой почти без изменений. Однако...— он помотал головой,— есть кое-что, могущее заинтересовать.

Я зашел после обеда. В доме Олега Николаевича стало как будто теснее. Порядок сохранялся старый, все было аккуратно прибрано. Но... может чуть побольше книг на полках, потолще рукописи на столе. Обычно открытая дверь во вторую комнату плотно притворена. В комнатах не задержались, Олег Николаевич повел в сад. Сад стал еще строже. Прибавилось подпорок для вьющихся растений. По обочинам дорожек были проложены какие-то трубы. Некоторые из них уходили в землю около растений, другие оканчивались своеобразными душами. На табличках не было наименований и номеров, там помещались непонятные графики, стрелки, цифры.

Растения видимо чувствовали себя здесь неплохо. Хилые саженцы за период моего отсутствия окрепли, преобразились неузнаваемо. Сильные стебли вьющихся растений оплели заботливо подставленные подпорки и продолжали тянуться выше, развесив тонкие, напряженные усы в поисках надежного пристанища. Удивительно яркая окраска цветов бросалась в глаза. Не только цветы, но и листья с глянцевой поверхностью соперничали между собой в сочности цвета.

Хозяин шел на полшага сзади, чтобы не мешать осмотру. Пояснений почти не давал. Казалось, был безучастен к окружающему. Но короткие, цепкие взгляды выдавали его волнение и стремление определить, какое же впечатление оставляет осмотр. Я, конечно, поохал восторженно, однако получилось это так, что хозяин поморщился. Однако не смутился, скорее наоборот.

— Тем, что здесь находится, нельзя удивить такого ценителя цветов, как вы, Георгий Владимирович. Эти растения по-своему хороши, но...— Олег Николаевич замолчал, как будто раздумывая: стоит или нет связываться со мной. Слегка качнул головой, взглянул на меня прищуренными глазами и снисходительно улыбнулся.— Помните, как-то на берегу моря вы... Хотя не в том дело. Присмотритесь вот к этому растению повнимательней, а я сейчас...— Олег Николаевич затрусил к небольшому шкафчику в конце короткой аллеи. Щелкнул замок, и хозяин почти наполовину влез в металлический шкаф. Я невольно улыбнулся, глядя, как Олег Николаевич приподнялся на цыпочках и причудливо изогнулся, видимо, пытаясь до чего-то дотянуться. Потом он обернулся ко мне и торжественно спросил:

— Готовы?

— К вашим услугам...— я повернулся к указанному мне растению.

Не берусь объяснять, почему я вздрогнул: то ли сказалось двухлетнее ожидание встречи, внешне незаметное, но подспудно напряженное, то ли слишком велико было впечатление от эффектного опыта. По длинным тонким стеблям прошла едва заметная волна, словно растение судорожно вздохнуло. Один из стеблей, понуро свисавший с нижней перекладины, вдруг напрягся и медленно потянулся к моей ноге. Я отступил на шаг и сразу же услышал:

— Не бойтесь, это совершенно безопасно.

Боялся ли я? Ничего страшного тут не было. Просто неприятно, как будто по руке пробежал безобидный паук с большим черным крестом на спине.

Олег Николаевич стоял с видом победителя. Но не услышав моих восторженных восклицаний, он сначала удивился, а потом и обиделся. Нет, он не сказал ни слова. Все было видно и так. Может, и у меня не было настроения. Поэтому и опыт оставил странное впечатление. Молчание затягивалось.

Тем временем чудесно оживший стебель бессильно поник. Да и все растение приняло свой обычный вид.

Чувствуя, что встреча может стать последней в этом году, я постарался исправить положение:

— Очень занятно... Реакция, пожалуй, сильней, чем у мимозы. Неужели все растения, растущие здесь, так охотно подчиняются вам?

Я глянул на Олега Николаевича и понял, что мои старания напрасны. Меня тоже начало одолевать раздражение. В конце концов из-за этих, очень сомнительных опытов человек просто испортил вполне приличный сад. Испортился сам и портит настроение другим. Терпение мое готово было лопнуть. Я чуть не махнул рукой от досады. Но весь этот бунт был только в моих мыслях. Мы стояли друг перед другом и молчали. Молчали уже слишком долго.

— Да, сад стал беднее,— я заговорил первым. Заговорил раздраженно и еще раз критическим взглядом окинул зелень.— Кажется, тут раньше была красивая агава...

Олег Николаевич вздрогнул, как будто растерялся и, опустив глаза, вдруг забормотал:

— Знаете, я ее выкопал, но это, поверьте... и сегодня мне не хотелось бы...

Боже мой, каким все-таки может быть человек! Я схватил Олега Николаевича за руку:

— Извините, пожалуйста! Не будем об этом вспоминать. Лучше к морю!

Нам удалось сохранить [illegible] отношения. И во время этого отпуска Олег [illegible] часто рассказывал о своих собственных [illegible] для растений, об опытах с ними. Все это [illegible] гораздо больше нравилось, когда мы [illegible] о выращивании самых обыкновенных [illegible] мы большую часть времени проводили на морском берегу. Сад утратил для меня свою привлекательность, и Олег Николаевич не очень настаивал на его [illegible].

Отпуск прервался [illegible]. Заграничная командировка! Меня известили телеграммой. Хотя времени было мало, я все-таки поставил об этом в известность Олега Николаевича и даже показал телеграмму. На прощание я обещал прислать что-нибудь диковинное. Расстались без особого сожаления.

Обычно я выезжал на месяц или два, не больше. Пока освоишься в новой обстановке, переживешь массу свежих впечатлений, соберешь материал и вот-вот наметишь контуры предстоящего отчета, начальство тут как тут. Короче, долго не засиживался. Даже соскучиться как следует не успеешь. Так же я настроился и на эту командировку, а вышло совсем иначе.

Полгода я выдержал сносно. К концу года вспомнил всех хорошо и плохо знакомых. Даже Супсову выслал

в специальной посылке что-то из многочисленного семейства амариллисовых. Еще год продержался на воодушевляющих посланиях начальства. На третий год стало совсем плохо. Ни с того ни с сего разрегулировался сон и, самое странное, исчезло чувство любопытства.

Работу стал выполнять чисто по долгу службы, так как был дисциплинирован и в некоторой степени самолюбив. Считал дни, считал месяцы. Их набралось ровно на три с половиной года, когда пришло короткое распоряжение о выезде на родину.

И вот я снова дома!

Пересказывать мои чувства словами трудно и не стоит. Это надо пережить самому. Вернулась жажда деятельности, жадность к новому. А новым было все, что я встречал. В общем, все было прекрасно, и, когда наступило время отпуска, я отправился на юг с ощущением, как будто еду туда впервые.

Вечером я мысленно исповедовался перед морем. Только оно не изменилось за время моего отсутствия. Тут, на берегу, я переоценивал свои чувства, приводил их в порядок, чтобы не растерять что-то хорошее и не казаться в глазах других немного глуповатым.

На другой день вспомнил о Супсове. Захотелось его повидать. У моря встретиться не удалось, и я отправился в гости без приглашения. Думаю, что наше многолетнее знакомство давало на это право.

На мой настойчивый звонок Олег Николаевич вышел к калитке. Некоторое время он пристально вглядывался утомленными, покрасневшими глазами. Узнал не сразу, и, похоже, не потому, что забыл,— просто его мысли были заняты чем-то другим. Постепенно Супсов вернулся к действительности.

— Георгий Владимирович!..— никакого продолжения за возгласом не последовало и понимать его я мог, как хотел: как радость, удивление или досаду.

Супсов сильно изменился за эти годы. Лицо осунулось, волосы посеребрились и сдали позиции, отступили со лба поближе к затылку. Воспаленные глаза лихорадочно блестели.

Наконец Супсов распахнул калитку, пригласил войти. Растерянность исчезла, лицо приобрело торжественно-снисходительное выражение. Хозяин картинно отступил назад, пропуская меня в сад, и вымолвил:

— Очень приятно, очень приятно. Разлука была столь

долгой, что даже не сразу сообразил, что к чему. Прошу прямо в сад, там у меня небольшая беседка.

Назвать это сооружение беседкой было довольно трудно. Так, нечто среднее между контейнером и лифтовой кабиной. Помещение было рассчитано явно на одного, но мы без труда и довольно удобно разместились в нем. Я с интересом осмотрелся. Три стены почти полностью заняты какими-то шкафами, одна застеклена от пульта до потолка. Пульт, видимо, самодельного происхождения. Чего только на нем нет! Кнопки, рычажки, шкалы, сигнальные лампочки... И набраны они, как мне показалось, на блестящей панели какого-то автомата для приготовления кофе. Да и каждая из деталей сама по себе была интересна: настроечные ручки радиоприемников, стенные электровыключатели последней моды, рычажки тумблеров были украшены [illegible] пробками от тюбиков с зубной пастой и [illegible] габаритным сигналом от автомобиля «москвич». [illegible] наговариваю, разглядеть все сразу было попросту [illegible]... Но зрелище предстало довольно [illegible].

За стеклом хорошо [illegible] сад. Внимательно присмотревшись к [illegible], я [illegible] перевел взгляд на Супсова. Олег Николаевич [illegible] ожидании, может быть, именно этого [illegible] удивленного взгляда. Мне даже не пришлось [illegible]. Поток сбивчивой лихорадочной речи [illegible] на меня с устрашающей силой. Для этого [illegible] беседка была явно маловата, она скорее располагала к [illegible] обстоятельному разговору. По всей вероятности, Олег Николаевич в период моего отсутствия не имел возможности излить душу кому-либо и теперь накопившееся прорвало плотину. Сам он как-будто засветился изнутри, воодушевился, куда только девались скованность и неуклюжесть. Идеи, о которых я слышал от него лет шесть назад, всплыли вновь и теперь преподносились уверенно. Пока это были общие фразы и, на мой взгляд, не совсем логичные выводы. Но я невольно стал присматриваться к саду.

Нет, теперь он не отвечал тому понятию, которое я вкладывал в слово «сад» — место для отдыха, средоточие красоты... Да и сам Олег Николаевич, казалось, склоняется к моему мнению. Скорее это был лабораторный питомник для производства опытов, смысл которых до меня еще не доходил.

Если раньше меня удивили подпорки и несколько труб,

то теперь привели в недоумение сооружения, напоминающие клетки или станки, расположенные вдоль главной аллеи. Растения в клетках? Ядовитые?! Или... мне припомнился эпизод, когда к ноге тянулся жалкий, послушный воле Супсова стебель вьюна. От посторонних взглядов аллея была скрыта сплошной, хорошо ухоженной стеной из алычи.

А Супсов уже стоял и довольно энергично жестикулировал в опасной близости от моего лица.

— Я не желаю пока делать никаких далеко идущих выводов.— Олег Николаевич многозначительно умолк, и сразу стало понятно, что выводы им давно сделаны. Затем он продолжал:— Хотя результаты наталкивают на ряд интересных мыслей. Но, чтобы эти мысли было легче воспринять, неплохо кое-что посмотреть. Вы...— длинная пауза и многозначительный взгляд,— будете первым!

На меня подействовала речь Супсова, передалось его волнение, и я благодарно прижал руку к сердцу.

— Вы готовы?— спросил он странным каким-то голосом.

— Да.

Супсов сел за пульт. Гибкие, нервно напряженные пальцы привычно взметнулись над приборной доской. Щелканьем, шелестом и резким шипением отозвались за спиной разнокалиберные шкафы. Под полом заработал электромотор. Едва заметно вибрировали стены. Маленькая беседка ожила.

Боясь пропустить что-либо интересное, я все свое внимание обратил к аллее, к растениям. Но первыми пришли в движение не стебли, а два горизонтальных стержня одной из клеток. В конце аллеи мелкими брызгами взметнулся крохотный фонтанчик. Задвигались металлические подпорки других загадочных сооружений. Облачко пара или белого порошка, внезапно появившееся у самого стекла, заставило меня вздрогнуть. Что же будет дальше? Я мельком глянул на Супсова. Он улыбался. Чему? Торс и голова неподвижные, взгляд устремлен вдоль аллеи. Руки мягко и безошибочно касаются нужных рычажков и кнопок. Движения уверенные, неторопливые. А аллея?

Момент ее преображения я все-таки пропустил. Аллея ожила. Стебли растений зашевелились все разом. Одни плавно, другие судорожными рывками. Они, словно слепые, ощупывали пространство вокруг себя, вытягиваясь

в проход над песчаной дорожкой. Я не пожалел, что нахожусь за стеклом, а не на дорожке, как при первом опыте Олега Николаевича. Уклониться от них было бы негде, разве что у самой земли... Но вот и на песок, почти к центру прохода, метнулся довольно массивный розовый стебель, за ним второй — потоньше, третий... Словно в фантастическом фильме, свободное пространство прохода неторопливо заполнялось зеленой массой переплетающихся стеблей. Картина была впечатляющей и слегка жутковатой.

— Наконец-то пожаловала, ленивица!— неожиданно подал голос Олег Николаевич.— Все упрямится, не хочет слушаться. Давай, давай, шевелись. Ну, вот так. Потрудись ради гостя. Ну, а ты? Что загордилась? Думаешь, не замечу? А этот-то, только посмотрите, перестарался сегодня,— Супсов тихо засмеялся.

Я с трудом оторвал взгляд от растений и вопросительно глянул на Олега Николаевича. Он забыл обо мне. Взволнованный взгляд выискивал в массе зелени только одному ему известные ветви, с каждой из них он был на ты.

Когда один из стеблей какой-то странной волной задвигался по смотровому стеклу, я решился отвлечь Супсова. Он отозвался не сразу и, даже повернувшись ко мне, не сразу понял, кто и зачем его позвал. Но, как и недавно, он быстро пришел в себя.

— Согласен. Давайте закончим,— деловым тоном произнес Олег Николаевич.— Сейчас угомоним это зеленое царство. Потом наведем порядок. Иначе следующие опыты могут сорваться.

Времени на умиротворение потребовалось, пожалуй, больше, чем на раскачку. Супсову пришлось потрудиться. В ход были пущены даже какие-то педали, расположенные под пультом. Как я понял, аллею нельзя было просто выключить. Требовался ряд последовательных операций, связанных с подачей растворов, электрических импульсов, механических побудителей.

Зелень поникла, и аллея теперь представляла собой довольно жалкое зрелище. Многие стебли втянулись в свои клетки, но добрая половина, видимо, обессилела. Те, что лежали на земле, так и замерли, верхние беспомощно повисли на подпорках.

Закончив манипуляции у пульта управления, Олег Николаевич покинул беседку и начал осторожно укладывать гибкие стебли, освобождая аллею. Видимо каждый

из них имел свое определенное место: отсюда все эти странные сооружения.

Я покинул убежище, когда было освобождено пространство, и можно было выйти, не боясь на что-либо наступить или за что-нибудь зацепиться.

— Вам помочь, Олег Николаевич?

— Что вы, что вы! Ни в коем случае. Прошу ни к чему не прикасаться.

Я вернулся и вновь занял свое место.

Вскоре Супсов закончил работу. Сел напротив и принялся меня разглядывать. Смутить меня таким образом довольно трудно, и я дал возможность Супсову полностью удовлетворить свою нежданную и странную любознательность. По тому, как он вновь начал разговор, мне показалось, что он не понял своей бестактности.

— Георгий Владимирович, я решил показать вам все. Сегодня у меня очень важный день. Очень хорошо, что именно вы будете присутствовать при моем решающем опыте.— И вдруг без всякого перехода:— А почему вы не спросите меня про агаву?

Я пожал плечами, сразу и не сообразив, причем тут агава.

— Теперь я согласен назвать ее Агавой Супсова,— наступал на меня [illegible].— То, что вы увидите, нигде больше не существует!

«Боже мой, неужели он настолько злопамятен!»— мысленно воскликнул я, вспоминая нелепый эпизод с неосторожно оброненной фразой. Я бросил беглый взгляд на аллею. О чем он говорит? Агавы в саду нет.

— Не ищите,— перехватил мой взгляд Супсов,— ее здесь нет. Эти опыты слишком грубы, чтобы оживить растение...

Оживить? В каком смысле? Я люблю точные формулировки!

— В каком смысле оживить? Оно у вас погибло?

Олег Николаевич смотрит удивленно:

— Более здорового растения у меня нет! Оживить! Ну...— Супсов даже затряс руками, чувствуя мое непонимание,— дать ему свободу движений... движений по желанию...

— По чьему желанию?

— Да по его желанию! Куда хочет, туда и двигает.

— А ваши растения имеют собственные желания?

— Боже мой, да все всегда чего-то хотят!— Олег Ни-

колаевич на мгновенье задумался.— А, вон вы о чем. Если хотите, то это — кто как понимает,— он резко поднялся и пригласил меня следовать за собой.

Супсов решительной походкой направился к дому. Наблюдая за ним, я не переставал удивляться. Движения энергичные, во всех действиях чувствуется уверенность. А может, я сам за последние три года кое-что порастерял?

В доме Олега Николаевича изменения были прямо противоположны тем, что в саду. Подчеркнутая строгость сменилась творческим беспорядком.

Супсов распахнул передо мной дверь во вторую комнату. Раньше тут была аккуратная, скромная спальня; большое, всегда открытое окно, делало ее просторной. Теперь, глянув внутрь, я подумал, что мы просто ошиблись дверью. Но это только показалось.

Комната была ярко освещена большим количеством самых разнокалиберных ламп. Насыщена она была различными загадочными сетками, перекладинами, стойками настолько, что сад по сравнению с ней выглядел пустыней. На стенах красовалась масса всяких приборов. Окно изнутри было заделано наглухо. Пол в доброй сотне мест продырявлен — там, где проходили трубы, кабели, провода. И в центре этого царства приспособлений стояла агава... Это был великолепный экземпляр, с мощными, правильной формы листьями, яркой окраски.

В углу комнаты находился пульт управления приборами, к которому мы с трудом протиснулись.

— Здравствуй, красавица. У тебя сегодня гости. Не подведи,— приветствовал Олег Николаевич свое подопытное растение.— Как у тебя с реакцией?— он нажал какую-то кнопку. Один из нижних листьев агавы вдруг дернулся и начал медленно изгибаться, как будто хотел обхватить какой-то невидимый предмет. Грозный мощный шип на его конце описал в воздухе плавную дугу.

— Неплохо,— заключил хозяин.— Пожалуй, можно приступить.

— Что вы хотите делать, Олег Николаевич?

— Сейчас только смотреть, слова потом,— хозяин победно улыбнулся и кивнул в сторону агавы. Я посмотрел на растение, и мне показалось, что агава тоже кивнула мне, как и ее хозяин.

— Вы готовы?— спросил Олег Николаевич.

Почему он меня всегда спрашивает, готов ли я? Как будто мне надо к чему-то готовиться, а не просто смот-

реть. Но я ответил, что готов, и с опаской покосился на агаву. Быстрая реакция при первой пробе насторожила. Сразу стало понятно, что здесь будет что-то поинтереснее, чем в саду.

Супсов с минуту молча постоял над пультом. Посмотрел на агаву, на меня и опустился на стул. Опять небольшая пауза. Затем, как пианист, взметнул руки...

Тишину нарушили приборы. Глаза ослепил дополнительный свет. Получилось эффектно. Меня охватило нетерпеливое волнение. Все внимание на растение. Супсов повернулся вполоборота, не снимая рук с пульта. Секунды текли, напряжение росло.

Агава пришла в движение вся сразу. Мягким, ленивым движением листья поплыли вверх... но вдруг замерли и, словно обессиленные, опустились на массивную подставку. Неудача? Олег Николаевич сразу потерял всю свою торжественность, отвернулся от растения и беспокойно задвигал руками.

А агава! Поникшие листья вновь обрели силу. Но характер их движения изменился. Те, что касались подставки, вздулись, словно напрягшиеся мышцы, и, опираясь на массивное основание, [illegible] опрокинуть алюминиевый куб, в котором [illegible] растение. Верхние листья распустились веером и плавно покачивались, словно ощупывая пространство.

Супсов склонился над пультом и не видел, что происходит за его спиной. Я [illegible] взгляда от мощных напряженных листьев, готовых вот-вот нащупать одну из многочисленных перекладин [illegible] стоек. Было чуть-чуть жутковато. Но стоило ли обращать на это внимание Олега Николаевича? Наверное, он не однажды проделывал подобные опыты и знает возможности своей подопечной. Пока я рассуждал так, один из листьев нащупал массивную трубчатую перекладину, обхватил ее и начал напряженно вздуваться, наклоняя на себя весь куст. Те листья, что упирались в подставку, помогли, и массивный куб, потеряв равновесие, съехал с подставки. Упасть растению не дал лист, мертвой хваткой зацепившийся за перекладину. Но вес оказался слишком велик, перекладина прогнулась и алюминиевый куб, описав дугу, с глухим стуком опустился у моих ног. Супсов вскочил со стула и широко раскрытыми глазами непонимающе уставился на клубок подрагивающих стеблей. Такой исход опыта не входил в его планы. Олег Николаевич растерялся.

Листья с острыми шипами на концах продолжали что-то разыскивать. Нащупав какой-либо предмет, они медленно обхватывали его и с недюжинной силой тянули к себе. Нижние уже прижимались к алюминиевым стенкам, подтаскивая все, что попадалось на пути. Средние раскинулись широко и вели себя наиболее агрессивно. Один захватил стул, другой зацепил край пульта. В их объятья попали несколько труб, проводов и массивный кабель. Все это начало гнуться и трещать. Ярко вспыхнув, перегорело несколько ламп. Из лопнувшей трубы ударила струя красноватого раствора.

Неожиданно вся агава подвинулась ближе, словно пыталась отрезать нам путь к выходу. Я невольно попятился, увидев в десяти сантиметрах от груди темные острые иглы. Впечатлений от эксперимента было более чем достаточно. Чего же Супсов медлит? Надо или прекращать или убираться отсюда подобру-поздорову. Олег Николаевич продолжал неподвижно стоять в той же позе. Вдруг резко заскрежетало железо, и крышка пульта, изгибаясь и срывая кнопки и рычажки системы управления, поползла в сторону. Я понял, что от Супсова ждать больше нечего. Еще шаг в сторону, чтобы не зацепили иглы. Я взял Супсова за руку.

— Не пора ли к выходу? – Как будто в ответ на мой вопрос, агава медленно поползла к двери. Наконец Супсов очнулся, нетерпеливо повернул ко мне голову, видимо хотел что-то сказать, но не успел.

Яркая вспышка, оглушительный треск и полная темнота. Что-то больно ударило по ногам. Показалось, что я падаю на сотни острых игл. Но все обошлось благополучно. Сбросив с себя какую-то сетку, обрывки проволоки, я осторожно поднялся на ноги. Кромешная тьма. Порою казалось, что в разных местах лаборатории мелькают огоньки. Черт с ними, с огоньками, решил я. Где агава? Как в этой тесноте я не напоролся на ее мощные шипы? И где Супсов?

Я замер, боясь пошевельнуться. И весь превратился в слух. Комната наполнялась самыми разнообразными звуками, и мне становилось все страшнее. Но способность мыслить еще не изменила. Первое, что я твердо определил — агава действует. У самых ног что-то зловеще шипело. Справа на предельных нотах звенел металл. Неожиданно раздался треск, за ним скрежет. Со свистом прорезал темноту оборвавшийся провод. И среди всего

этого хаоса самым страшным показался звук передвигаемого по полу тяжелого предмета. Я завертел головой во все стороны. Глаза, видимо, привыкли к темноте и заметили внизу довольно четкую полоску света. Что же это может быть? Мысль работала лихорадочно. Воображение рисовало самые невероятные и страшные картины. Но все-таки рассудок победил, и я догадался, что полоска света — это дверь в соседнюю комнату. Стало чуть легче: хотя бы известен путь к отступлению. Можно ли туда добраться и где все-таки Супсов?

— Олег Николаевич!— решил я подать голос.

В ответ раздался мощный треск, что-то упало и рассыпалось по полу лаборатории. Нервы мои не выдержали. Забыв об осторожности, я пошел напролом к спасительной полоске света. Ноги наткнулись на что-то упругое, перешагнули. В лицо лезли обрывки непонятно чего. Плечо пиджака за что-то основательно зацепилось. Но разве это были преграды! Получив несколько ощутимых царапин и оставив в лаборатории половину рукава, я распахнул дверь, стремительно проскочил комнату и очутился на веранде.

Был день, и светило яркое южное солнце. Если бы сейчас напротив меня стоял Супсов, я бы подумал, что мне приснился нелепый сон.

— Супсов! Олег Николаевич!— я бросился обратно и, едва вскочив в первую комнату, замер. К счастью оцепенение длилось недолго. У двери на веранду стояла лопата. Я принялся кромсать агаву, которая наполовину просунулась в дверь и вытащила за собой на белый свет неудачливого экспериментатора. Первым отлетел стебель, обхвативший плечи Олега Николаевича у самого горла. Затем я врезался в гущу листьев и бил до тех пор, пока в алюминиевом баке не оказалась перекопанной даже земля.

Супсов лежал с закрытыми глазами и не подавал признаков жизни. Что делать? Слушать сердце? Я невольно задержал взгляд на лице Олега Николаевича. Выглядел он не блестяще. Но несмотря ни на что, это было лицо победителя. Глаза сомкнуты спокойно, как в легкой задумчивости. Брови чуть нахмурены. Нет, это не лицо покойника. Но кто его знает, что будет дальше.

«Скорая» откликнулась быстро. Пять-шесть минут — и врачи уже звонили у калитки. Пришлось распоряжаться за хозяина.

Занимаясь Супсовым, врачи нет-нет да бросали недоуменные взгляды в открытую дверь разгромленной лаборатории. Осторожно переступая ярко-зеленые куски порубленной агавы, косились на алюминиевый бак с белыми остатками массивных корней. Они догадывались, что все это имело отношение к их вызову, но ни о чем не расспрашивали.

Картина в целом была загадочной. Правда, от зловещности, которая открылась мне, уже почти ничего не осталось. Просто по полу были разбросаны ошметки громадных листьев привычного на юге растения, рядом валялась лопата, ковер был усыпан землей.

— Срочно в больницу!— распорядился старший.— Вы поедете с нами?— обратился он ко мне.— Надо кое-что выяснить.

— Пожалуйста.

Закрыть дом и положить в карман ключи от всего хозяйства пришлось мне. Находясь в машине и чувствуя на себе вопрошающие взгляды медиков, я вдруг понял нелепость своего положения. Что я смогу рассказать им и как объяснить все происшедшее? К тому же вряд ли Супсову понравится, если я открою его тайну.

В приемном покое старший выездной бригады взялся за какие-то анкеты и вопросительно посмотрел на меня. Надо говорить. И я без всякого труда вдруг сразу сочинил: Олег Николаевич вдруг разнервничался, изрубил лопатой агаву и сам упал тут же.

— Все верно,— неожиданно заявил сам Олег Николаевич.

Все обернулись к нему.

— Немедленно в палату,— распорядился врач.

Супсов попросил меня подойти. Когда я наклонился над ним, он горячо зашептал:

— Теперь вы убедились, что она имеет желания?

Весь вечер я ни о чем другом не мог думать. Бродил по самой кромке прибоя. Должно же быть объяснение всему происшедшему. «Желания» растений? Растение пожелало вытащить Супсова и не куда-нибудь, а в двери! Чепуха! Но перед глазами вновь возникали недавние страшные картины. Я отчетливо помнил, как два мощных листа агавы, опираясь на косяки дверей, медленно подтаскивали бак с землей и самого Супсова.

Пусть Олег Николаевич гений, но заставить растение соображать!..

Вернулся к себе вконец разбитый от пережитого, а еще больше — от раздумий. Только под утро забылся сном.

Вой пожарной сирены врезался в мой мозг, как шип агавы. Реально воспринимать окружающее я стал, когда почти добежал до дома Супсова. Пожарных не видно. Ни дыма, ни огня. Ни зевак, обязательно полагающихся в таких случаях. Хотя две женщины и паренек, мимо которых я только что проскочил, разглядывали меня не без любопытства. Что же это я? Дом Супсова как стоял, так и стоит. Зря ударился в панику. Впрочем нет. Не совсем. После разгрома, произведенного агавой, все могло произойти, проверить-то я не удосужился. Еще не поздно, все равно пришел.

Разглядывая меня, парнишка прыснул в маленький кулачок с желтыми от грецких орехов пальцами. Что-то не так! Я поторопился юркнуть в калитку и уже на веранде осмотрел свой костюм. Желтая пижама, поверх синий пиджак, черные туфли на босу ногу и, в довершение, белая шляпа. Безнадежно махнув рукой, я плюхнулся в плетеное кресло, чтобы перевести дух и окончательно прийти в себя.

Утренняя прохлада быстро сделала свое дело. Судя по всему, поспать мне удалось не больше часа, но и этого, в сочетании с утренней свежестью, оказалось достаточно, чтобы по-новому взглянуть на события, происшедшие несколько часов назад.

Вчера я был заворожен странным поведением хозяина, неприятно поражен «живой» аллеей, испуган агрессивной агавой; как кролик, метался по этой самой веранде. Согласитесь, событий чуть больше, чем надо для того, чтобы их нормально переварить.

Стоило открыть дверь дома и переступить его порог, как вспомнился свистящий шепот Олега Николаевича: «Теперь вы убедились, что она имеет желания?..» «Чушь»,— мысленно ответил я и огляделся. Ничто не изменилось. Только в нос ударил какой-то резкий запах. Не закрывая дверей, я поторопился распахнуть окно. Передвигаясь по комнате, невольно покосился на массивные изрубленные стебли — лежат, как лежали. А может, и двигались, разве запомнишь. В лаборатории что-то тихо гудело. Когда прислушался повнимательней, различил еще легкий треск и глухие удары капель. Входить туда без света небезопасно, а притрагиваться к выключателям... Прежде, чем приступить к осмотру лаборатории,

я отключил ввод электроэнергии на участок — так надежнее. Вооружившись мощным фонарем, снова приблизился к двери. Теперь только редко падающие капли нарушали тишину в мертвом хаосе проводов, подпорок, опрокинутой мебели.

Луч сразу же выхватил из темноты подставку, на которой стояла агава, а вот и перекладина, за которую она ухватилась. Я припомнил, где стоял сам, где находился Супсов. Как удалось мне избежать острых шипов? Пульт справа от меня, подвеска для ламп над моею головой, система труб подачи раствора с левой стороны, силовая разводка на стене, сзади, за моей спиной — все это оборвано. Что только можно, агава тащила за собой к двери. На пути остались целыми только три мощных стойки, которые выдержали напор массивных листьев.

Два куска зеленой массы, отрубленные лопатой, лежали сейчас у моих ног, в луже какого-то вонючего раствора. И я посмотрел на них хладнокровно, без вчерашнего содрогания, потому что сегодня не верил в их кровожадность и сверхъестественные способности, выработанные Супсовым. Я согласен был приписать все это бреду, временному психическому расстройству, но у нас с Супсовым не хватило бы сил, даже в бреду, учинить такой разгром.

Еще раз тщательно оглядев помещение и убедившись, что ни пожара, ни потопа не произойдет, я снова устроился на веранде.

Торопиться было некуда.

Тем более, что на улице появились люди, и мой наряд мог вызвать не только удивление, но и кривотолки.

Взгляд невольно возвращался к разбросанным стеблям. Неужели они соображали, что делали?! Агава двигалась к двери и тащила все за собой. А Супсов? Он согласился назвать ее своим именем! Может быть, это вовсе не агава...

Я поднялся с кресла, подошел к зеленому листу, осторожно перевернул его носком ботинка.

И снова неприятные ощущения начали туманить мозг.

Только теперь я понял, как далеко зашел Супсов.

На веранде уже солнце и ясное чистое утро.

А в лаборатории — вонючий раствор на полу, оборванные провода и поломанные трубы. Агава порублена. Супсов в больнице.

Знает ли он, что я сделал с его красавицей? Как ему

объяснить? И как самому себе объяснить агрессивность и попытку агавы выбраться из лаборатории?

Супсова я посетил только на следующий день. Передал ключи от дома, рассказал, что там творится. Поделился своими впечатлениями об эксперименте.

Выслушав все до конца, Олег Николаевич почти шепотом сказал:

— Вы убили ее...



ОБМЕН

Я отказываюсь принять конец человека.

У. Фолкнер

Любовь — это стремление к бессмертию.

Слова Диотимы
в «Диалогах» Платона

Кто хочет оставаться на арене жизни, должен бороться, не боясь ран.

Р. Акутагава

Вся радость жизни в творчестве. Творить — значит убивать смерть.

Р. Роллан

Во имя добра и любви человек не должен позволить смерти овладеть его мыслями.

Т. Манн

Жизнь — это борьба за бессмертие...

М. М. Пришвин

ПЕРВАЯ БРИГАДА

Хвалынский сидел на [illegible] и царапал прутиком на песке. Первая бригада [illegible] на разбор к Главному, как всегда, без него. И [illegible] потому, что «генератор» — самый ценный в бригаде, и в [illegible] между сеансами он должен отдыхать.

Вглядевшись в слова, [illegible] вывел на песке его прутик, Хвалынский [illegible] какая-то... «Сердце надо лечить сер[illegible] — [illegible] это же слова, определяющие суть работы [illegible] и метода Антона Антоновича! Того, [illegible] использовать этот нравственный принцип проти[illegible] болезни сердца и одолеть ее...

А все началось вроде бы [illegible], с размышлений по поводу одной [illegible] Человек есть сложнейшая [illegible] система — так утверждают биокибернетики. [illegible] у системы имеется регулятор. И любой орган [illegible] снабжен регулятором, обеспечивающим его нормальное функционирование. Каков именно регулятор: структура ли нервных волокон или сочетание кодированных сигналов — не столь важно. Главное, что он существует. И можно рассматривать больной орган как систему с [illegible] регулятором. Отсюда идея [illegible] регулятор, «исправить» его и «включить»...

Антон Антонович не смог обнаружить регулятор сердца, но средство воздействия на него нашел.

Сердце надо лечить сердцем...

Так ли случайно время пощадило и эти слова, и их прекрасный смысл? Разве умы прошлого не могли догадываться о существовании некой «волшебной» силы? Не

могли предвидеть?.. Всего лишь четыре слова, подсказка...

В механизме метода оставалось много загадок, но это не мешало получать результаты, в которые сначала просто не верили... Больного помещали в биополе человека-«генератора», и специальный селектор выделял жизнетворную составляющую биополя сердца-«генератора». Под ее воздействием угнетенный болезнью регулятор «включался» и, не мешкая, расправлялся со смертельной угрозой. Без пересадок и замены клапанов, без какого-либо иного вмешательства — за один сеанс! Больное сердце излечивало само себя...

Человек-«генератор» был главным и, как узнали позднее, самым уязвимым элементом в схеме. К тому же таких людей было очень мало. До той поры нашли только двух.

Первый — Богомолов, пенсионер из Смоленска. Потом пришел Хвалынский. Пришел вовремя, так как по состоянию здоровья Богомолова отстранили...

Тут Хвалынский рассмеялся, вспомнив, как его нашли. История вроде и недавняя, но с тех пор Центр успел заметно вырасти. Хвалынский повернулся, чтобы взглянуть на белый корпус Второй бригады — там его друзья заканчивают наладку аппаратуры... Неужели и он был среди них?.. Нет, ничем он не выделялся. Работал, правда, на совесть — любил свое дело, а вообще-то старался жить спокойно и избегать, по возможности, лишних забот. И все шло нормально до того самого часа, когда он, ради смеха, согласился пройти обследование. Прошел...

А что было дальше!.. Хвалынский вздохнул — не хочется вспоминать. Первые спасенные... Потрясение, растерянность... Безграничная людская благодарность... Теперь-то он привык к ежедневным чудесам... И спасибо ребятам из бригады: они делали все, чтобы оградить его и по-дружески поддержать...

Теперь никого нет рядом — все они ушли анализировать проведенный сеанс. Рудольф Штерн — шеф бригады, терапевт Наталья Николаевна, Виктор Гусев — психолог, инженер — Алеша Сидоров, Майя и Вера — ассистентки...

Хвалынский отбросил прутик и взглянул на часы. Как долго идет разбор! Не случилось ли чего?..

После анализа контрольных записей Главный врач решил прекратить работу Первой бригады...

Антон Антонович сидел в кресле, зажав пальцами подбородок, и смотрел в окно. Зам по науке уныло рисовал что-то в блокноте. Штерн с несчастным видом забился в угол, притихли и остальные члены бригады...

Тягостное молчание нарушил зам по науке.

— Может быть, не так все и страшно, Антон Антонович? Давайте подождем день-два и повторим контроль.

Антон Антонович схватил листки, лежавшие на столе, и помахал ими над головой.

— Не-е-ет, Георгий Михайлович! Здесь, голубчик, сказано яснее ясного. Вы же видели графики? Теперь вспомните Петра Семеновича — та же картина.

— А если мы наблюдаем временный спад? Надо же учитывать разницу в возрасте.

— Не знаю, но очень хотелось бы верить,— Антон Антонович прихлопнул [illegible] листочки на столе.— Пока очевидно другое: состояние Х[illegible]нского крайне неустойчиво, и последствия очередного сеанса непредсказуемы. У нас [illegible] К сожалению... Или к счастью... Ничего не проясняет и случай с Богомоловым...— [illegible] Штерну.— Вы хотите [illegible]

— Антон Антонович, [illegible] Х[illegible]нского в клинику «Каскад»? [illegible], что там работают такие зубры...

— О «Каскаде» и я [illegible] «Каскад» — это [illegible]ние, встряска организ[illegible] Хвалынскому? Мы и этого не знаем. [illegible], можно ли рассчитывать на Хвалынского [illegible]?— Антон Антонович замолчал, ожидая, видимо, [illegible] реакции, но ее не последовало.— По-моему, [illegible] мало. И не смотрите на меня так! Увы, я не бог, я не знаю, как и чем помочь! И никто не знает... А наши больные? Каково им, когда рушится абсолютно все? Вот так, голубчики. Кстати, Георгий Михайлович, сколько у нас на учете?

Зам по науке потер виски кончиками пальцев и [illegible] виновато.

— На вчерашний день — 2215, из них — 108 срочных.

Главный чуть не застонал — 108 срочных! [illegible] недобрая тишина, и воздух в комнате будто бы густеет и начинает давить... Антон Антонович [illegible] заговорил о модели:

— Два дня назад я был в институте, и, знаете, разработчики меня порадовали. Схема готова в общих чертах

(полной схемы не было), осталось кое-что для уточнения (оставалось неизмеримо больше). Видите, уже не за горами тот день, когда работа Первой бригады будет зависеть лишь от номиналов модели. Электронная схема заменит человека-«генератора»! Каково? Тогда мы создадим столько бригад, сколько нам потребуется.

Заметив, что после его слов Штерн низко опустил голову, а зам по науке еще больше помрачнел, Антон Антонович воскликнул:

— Вы сомневаетесь?! Нашей помощи ждут более двух тысяч обреченных людей! Верят нам и надеются!

— Мы знаем, Антон Антонович!— пискнула из угла Майя.

— Вот и хорошо, что знаете... Да, у нас же есть больные и на подготовке... Давайте сделаем так: больше никого вызывать не будем, а те, кто здесь... Начните подготовку снова, Елена Ивановна, и постарайтесь без паники.

Заведующая подготовительным отделением молча кивнула.

— Вы, Рудольф, проследите за отправкой Хвалынского в клинику «Каскад», а через... скажем, недельку организуйте повторный контроль. Попробуем «Каскад»— до сих пор он никому не повредил. И обязательно растолкуйте ситуацию тамошним зубрам.

— Все будет сделано, Антон Антонович.

Главный обратился к заму по науке:

— Георгий Михайлович, обстановка требует форсировать поиски «генераторов»...— Антон Антонович замолчал, пожевал губами.— Я все думаю: неужели Природа так скупа? Сколько мы проверили? Сколько?! Тысячи. А сколько нашлось среди них «генераторов»? Всего двое. Вот так!

Зам по науке страдальчески сморщился и развел руками. Антон Антонович оглядел присутствующих.

— За полтора года — ни одного! В голове не укладывается... Как понимать: эти двое — редкостные мутанты? Исключение?

Все молчали. Антон Антонович вскочил и заходил вдоль стола.

— Чепуха! По-моему, у Матери-Природы есть все, что необходимо человеку. Она предусмотрела защитные механизмы, позаботилась о резервах жизнедеятельности и запасах энергии... А здесь такая целесообразная и естественная способность! Природа не могла забыть

о ней!.. Наверное, мы плохо ищем: долго и не очень грамотно... Поэтому я предлагаю ограничить сферу поисков. В первую очередь обратим внимание на людей повышенной эмоциональности: на деятелей искусства и литературы, персонал дошкольных учреждений, на многодетных матерей, наконец.

Антон Антонович сел за стол, придвинул лист бумаги.

— Что же нам необходимо?.. Во-первых, разослать дополнение к инструкции: целенаправленность и сверхсрочность. Второе, но не менее важное: организовать экстренную поставку хотя бы десятка портативных стендов для новых пунктов поиска. Георгий Михайлович, займитесь этим... Я проинформирую руководство и попрошу обсудить возможность других мер. Так, что еще?.. Мы забыли Богомолова, хотя в нашем положении он — тоже вариант. Елена Ивановна, немедленно вызывайте Петра Семеновича на обследование.

Четкие распоряжения, уверенность и энергия Главного оказали должное воздействие, и все заметно приободрились.

— И не вешать носа, голубчики! Вешать нос — последнее дело. Договорились?.. Вот и ладно. А теперь личная просьба к Первой бригаде: постарайтесь хорошо поговорить с Хвалынским. Вы понимаете, о чем я прошу?.. Рудольф, я надеюсь на вас.

На пятый день пребывания в клинике Хвалынского вызвали в приемную... И вот она сидит перед ним. Печальная и такая же красивая, как в те дни, когда она, самая дорогая на свете, вышла замуж не за него...

Все-таки разыскала... Ну конечно, мать сообщила — мать всегда хорошо относилась к ней... Почти три года не видел. Три года!.. Уже решил, что все оборвалось, но сейчас... Почему так скверно на душе?.. Как он смог прожить эти годы без нее? Как?..

Она сидела перед ним поникшая, сухие губы еле шевелились:

— Вот так, Юра, все и было... С того дня, когда мне сказали о катастрофе... Что его больше нет... Уже полгода тянется тот бесконечный вечер. И мама, и отец — они были рядом, но не со мной... Навещали друзья, о чем-то говорили — я их не понимала. На работе... А-а, тянула кое-как, словно в тумане... Конечно, я неправа! Я была

несправедлива к нашему ребенку... Он должен появиться... через два месяца. И теперь я боюсь... Я с ужасом думаю, что все это отразилось на нем. Повредило ему, ни в чем еще не виноватому... Мне страшно... Прости, Юра, я говорю совсем не то. В голове у меня всё путается... Поверь, ничего в жизни не хочу, лишь бы он был. Сын... Откуда такая уверенность? Не знаю... Я уже представляю себе: сначала — смешной карапуз, потом — рослый и веселый парень. У него будет фамилия отца, его походка, его глаза... Ничего больше мне не надо!

Хвалынский осторожно погладил ее плечо и сказал, как можно мягче:

— Сын так сын. Все будет нормально, вот увидишь.

Она вдруг заплакала, по-детски спрятав лицо в ладонях.

Хвалынский испугался.

— Ладно-ладно... Ну что ты? Успокойся, тебе сейчас нельзя...

Женщина, стиснув руки у горла, взглянула огромными глазами.

— Ты еще не знаешь... Я состою на учете у вас, в Центре...

Что-то острое вошло в сердце, и Хвалынский задохнулся.

— В консультации был осмотр будущих матерей... Тогда и сказали. На карточке поставили номер 1931/99 и вот такой значок.

Она прочертила пальцем в воздухе... Хвалынский стиснул зубы... «Срочный, 99-я очередь!.. Ей нельзя иметь ребенка... Мальчика, возможно, сохранят, но это надо уточнить... Он лихорадочно прикинул в уме: за шесть месяцев — около двухсот сеансов, а срочных... 50 или 60, их долго держат в подготовительном... Не успеет... Попросить Антона Антоновича?.. Но бригада уже не существует! Нет ее, нет!.. Но ведь Штерн говорил... А Богомолов?..

— Сначала я не понимала... Вернее, не доходило... Мысли были другие... Но однажды... У меня ноги подкосились, Юра-а...

Когда найдут замену? Через месяц, два?.. Найдут ли? Не успеют!..

— Случайно встретила твою мать, и она сказала про тебя... Значит, сеансы прекратили... Как же так, Юра?.. С тобой что-то случилось?.. Почему ты молчишь!

Только спокойнее... И не показывать вида!.. Но она все-все понимает и совсем отчаялась! Хвалынский не

удержался и быстро взглянул... От нестерпимой нежности затрепетала каждая клеточка, и что-то вдруг случилось с глазами... Или в комнате стало темнее?.. Милая моя... Ведь ты пришла ко мне... И я — твой последний шанс...

Настойчивые гудки телефона подцепили, как крючок, и вытянули из теплой глубины сна... Пошарив рукой по тумбочке, Антон Антонович схватил трубку, и оттуда ринулись, толкаясь и мешая друг другу, слова:

— Ой, Антон Антонович, у нас беда! Он уже в Большой реанимации, и вся Первая там, в коридоре! Я их не пускала, а они... Мы так перепугались!.. С ним — дежурный врач, Миронов, и сестра... Ой, Антон Антонович, извините, я сразу не сказала! Только что Хвалынского привезли! Плохого...

Трубка качалась где-то у пола, и в ней еще бился женский голос, а Главный трясущимися руками натягивал одежду...

Что же это такое? Почему Хвалынский?.. Сбежал, вот почему! Куда же смотрел Штерн? Его уговорили! Штерна уговорили... Как я их распустил! Разогнать всех... Хвалынского — первого... Только сейчас его надо вытащить. Миронов — надежный мужик, но... Я его, голубчика, обязательно вытащу... Костьми лягу...

Хвалынский чувствовал... Какое там, он знал! Последний сеанс Богомолова был уже при нем... Знал и решился...

Захлопнув дверь, Антон Антонович остановился на лестничной площадке... А если не найдем замену?.. Тогда — конец... Модель? Слишком там сложно, хотя ребята стараются... Не найдем «генератора»— все...

Шагая по тропинке к корпусу Большой реанимации, Антон Антонович продолжал пытать себя... Дарить жизнь многим и подводить к опасной черте одного... Правомерно ли? Даже при условии, что он — доброволец?.. Все равно — жертва... Но жертва сейчас, на данном уровне использования метода. Потом мы будем контролировать процесс, сможем своевременно вывести из него... Да... Хвалынского вывели — и что?.. А если метод — вообще не путь? Что, если так?..

Эта кощунственная мысль ошеломила Антона Антоновича. Надо постоять... Перед трудной работой нужно собраться...

11*

Резко хлопнула дверь Большой реанимации — кто-то в белом халате шел навстречу. Вот он попал в полосу света из окна — Рудольф! Штерн слепо прошагал мимо, едва не задев плечом Антона Антоновича. Тот успел схватить его за руку и повернул к себе.

— Что с Хвалынским?!

Штерн вздрогнул.

— Это вы... А я к вам...

— Что с Хвалынским?! Что с ним, Рудольф!

— С Хвалынским...— Штерн потер лоб, как бы вспоминая.— Ничего... Миронов сказал: шок снят...

У Антона Антоновича сразу охрип голос:

— Гм... Это хорошо... Просто удача какая-то... Да, а пациент?

Штерн медленно приходил в себя.

— Пациент?.. Пациентка... Обычный результат, без отклонений.

Тут Антон Антонович взорвался:

— Но как вы посмели, Рудольф! Это же... Это... Ладно, потом разберемся. Вы ответите за все... А теперь уходите! Видеть вас не могу...

Штерн неожиданно придвинулся вплотную, и Антон Антонович увидел, как он дрожит.

— Сейчас ко мне подошел Алексей — весь черный... Оказывается: усилитель не сработал... Там что-то сдохло... Значит, инициирования не могло быть! Его не было!.. А пациентка здорова... Невеста Хвалынского. Уверял, что бывшая... Как же так, Антон Антонович? Ведь не было инициирования...

Антон Антонович опустился на землю — так закружилась голова... Словно заглянул в бездну... Сердце надо лечить любящим сердцем!.. Вот где душа и мудрость народа... Любящим! Антон Антонович почувствовал необыкновенную легкость во всем теле, и ему захотелось крикнуть так громко, чтобы услышали все... Но к этому мы и стремимся... Наша цель и наш бессмертный принцип... Смысл и основа всего...

АССИСТЕНТКА В РАДУЖНОМ КОЛЬЕ, ИЛИ КОМЕДИЯ ТВОРЧЕСТВА

Лучами разошлись во все стороны магистрали наук. Когорты исследователей маршировали по ним плотными рядами. Там, вдали, они шаг за шагом раздвигали сферу неведомого. В первые ряды попадали те, кто не привык топтаться, глядя в спины других.

Я не нашел в себе достаточно смелости, чтобы пробиваться туда, где над буйными головами стоял дым коромыслом и гремели раскаты победного грома.

Я осел у самой дороги, чуть свернув в сторону, устроился в маленьком тупичке, до которого раньше ни у кого не доходили руки. Таких тупиков сколько угодно. Моему повезло больше других: нашелся я — живая душа все-таки.

Моим уделом стало то, что находится между галактиками, звездами и молекулами, между атомами и частицами — попросту говоря «пустота». Меня назначили. Должно быть кому-то показалось, что я прямо создан для пустоты. Я не возражал. Хотелось быстрей какого-нибудь дела.

Моя маленькая студия оборудована аппаратурой, помогающей делать расчеты и мыслить. Это такие совершенные приборы, что порой мне кажется, будто я у них только путаюсь под ногами, мешая работать: компьютеры с истинно машинной неутомимостью без конца варьируют известное положение о свойстве материальных объектов искривлять пространство. А меня интересует другое: что находилось бы между объектами, если бы... никаких объектов не существовало?

Меня вдохновила некая мысль: если торжество энтро-

нии, полная деградация порядка есть равномерное распределение в пространстве всего и вся, то наличие пустоты — верный признак изысканной организации материи. Однако все мои утешения на этом кончились. Дальше была пустота в буквальном и переносном смысле, хотя некоторые и осмеливались утверждать, что природа не терпит пустоты. Природа много чего терпит. Чем больше я старался найти что-нибудь о пустоте, тем больше проникался к ней жалостью. Это была бедная падчерица, каких много. Но не каждой дано стать Золушкой, и не всякий исследователь, вроде меня, обещает быть принцем. В моем положении было даже что-то классическое. Это обо мне говорилось: «Кому — бублик, а кому — дырку от бублика».

Собственно, исследовать пока было нечего. Даже не на чем было строить гипотезы. Из одного желания невозможно было соткать ни одной утешительной мысли. А тут еще я получил ассистента. Оказывается мне полагался сотрудник для помощи в проведении экспериментов. Это было очень мило, если принимать во внимание, что до сих пор я в основном экспериментировал над своими мозгами и, признаться, без особых успехов. Мягко говоря, в ассистенте я не нуждался. А если говорить начистоту, то я не мог понять, за какие грехи меня наказали этой болтливой девицей с загнутыми кверху косичками.

Для начала я попросил ее придерживать язык. Но она заявила, что у каждого должны быть свои обязанности — ее направили сюда ассистировать, а не молчать.

— Послушайте!— рассердился я.— В конце концов, вы мешаете мне работать!

— Ай, бросьте!— сказала она.— Знаю я вашу работу. Ходите из угла в угол, а мысли группами и в одиночку блуждают из одной извилины в другую по одним и тем же заученным маршрутам.

Пока я раздумывал, как ответить, моя ассистентка перевернула вверх дном все помещение. Теперь оно могло служить романтической декорацией в духе фильмов из жизни простого ученого люда. У меня волосы становились дыбом: она развернула такую деятельность, будто собиралась свить здесь гнездышко. Ее напору невозможно было противиться.

Покончив со студией, она принялась за меня. Решительно перейдя на ты, заявила:

— Неужели ты ничего не видишь кроме своей пусто-

ты?! Пустота! Ха! Ха! Ты знаешь что это такое? Нет? И никто не знает. Так оставь ее в покое! Давай работать красиво!

К этому времени я уже был готов на все, лишь бы меня самого оставили в покое.

— Ты милый мальчик,— говорила она, выталкивая меня из студии.— Ты мог бы нравиться девушкам. В тебе что-то есть, и ты это чувствуешь. Но почему-то заставляешь себя быть выше самого себя. Не упирайся, идем отсюда. Тебе нужен свежий воздух. Бедняга, я знаю: такие, как ты — всегда совестливы. Стесняетесь занимать даром место. Стыдно бездельничать. Но бесконечные и бесплодные потуги ума — тоже форма безделия, только самая жалкая.

Она тащила меня за руку. Я никогда не бегал так быстро по людным улицам. Налетал на прохожих, спотыкался, но повиновался. Я раньше не думал, что наглость — такая великая сила. Косточки моей воли хрустнули при первом же натиске. Когда я споткнулся в очередной раз, она заявила:

— Господи, ты даже не способен думать о том, что делаешь! Где твои глаза и мысли? Ты забросил их в пустоту и надеешься что-нибудь выудить. Ты ни о чем не можешь думать, кроме своей работы. У тебя сверхсфокусированное внимание. Все, кроме объекта раздумий, ты видишь, как сквозь запотевшее стекло. Изредка таким везет — тогда их называют гениями. Но чаще они смотрят не туда, куда нужно, а чуть-чуть в сторону. Этого достаточно, чтобы до конца дней быть неудачником.

Я знал, что это — лепет. Но не возражал. Именно острота внимания, резкий переход от того, что находится в поле зрения,— к тому, что за его пределами, отличает высшую организацию интеллекта. Равномерно распределенное внимание близко по характеру к полному распаду — пределу умственной энтропии.

Я уже сидел рядом с ней на трибуне. Стадион слегка волновался. Баскетбол. Пигмеи и гиганты носились по площадке в погоне за мячом. Моя спутница била в ладоши и азартно кричала. Когда-то это мне тоже нравилось. А теперь было безразлично. Все вокруг казалось пустым, мелким и ничего не значащим. Все, кроме самой пустоты. Она лежала незримая, непонятная вокруг нас, внутри нас самих. Она дышала, вздымалась волнами,

щетинилась невидимыми иглами — с виду мертвая и неприглядная.

Ерзая на жестких лавках трибуны и морщась от истошных воплей прилипчивой спутницы, я был весь там, в невидимости. Разве можно представить себе что-нибудь более таинственное и абсурдное, чем пустота. Нет, я не помешался на своей идее, хотя бы потому, что у меня ее не было. Пустота — не за что зацепиться, негде встать, негде лечь. Я думал: «Черт побери, хотя бы свихнуться и родить какую-нибудь сумасшедшую мысль, чтобы было с чего начать».

Моя спутница насмешливо взглянула на меня.

— Как тебя звать-то?— спросил я, наконец. Пока она отвечала, у меня шевельнулась мысль: «Не все ли равно, где думать,— в уединенной студии или здесь, среди болельщиков, до которых мне нет дела».

— Послушай, ты не находишь, что это потрясающе?— спросила она.

— Это потрясающе,— покорно согласился я.

— Нет, ты ничего не видишь,— задумчиво сказала она.— Твой взгляд витает там, в облаках.

— За облаками,— уточнил я машинально.

— За облаками...— повторила она мне в тон, сокрушенно покачала головой и добавила: — Не пойму, остался у тебя хоть проблеск юмора или пустота все съела, и я напрасно теряю с тобой время.

— Скорее всего напрасно,— согласился я и, наверно, жалко улыбнулся сквозь пустоту.

Она снова повертела головой и некоторое время пристально смотрела на меня.

— Давай глядеть вместе,— предложила она.— Скажи, тебе нравится эта игра?

— Потрясающе,— повторил я уже испытанное выражение.

— А если честно?— настаивала девица.— Попробуй расфокусироваться!

Я попробовал, сделал над собой усилие.

— Ну как?— торопила она.

У меня в глазах мелькали трусы и майки. Я вдруг с ужасом понял, что разучился думать. Самый элементарный процесс мышления требовал от меня невероятных усилий. Я завяз в пустоте и не мог вытянуть из нее ноги. Я напрягся, вспотел. Изо всей силы старался выдавить из себя хоть какое-то чувство, какое-то собственное сужде-

ние о том, что происходило сейчас на площадке. Можно не быть баскетболистом, но усвоить зрительно весь комплекс приемов этой древней игры. Я тщетно старался найти в ней что-нибудь привлекательное.

— Скучно,— сказал я, так и не придя ни к какому солидному мнению,— должно быть, играют дворовые команды...

— Так я и думала,— перебила она.— Ты симулянт! Хочешь казаться не от мира сего? Не выйдет! Я тебя выведу на чистую воду! Отвечай, сколько команд видишь на площадке?

— Две!— я был доволен, что, не задумываясь, могу ответить хоть на этот вопрос.

— А ты уверен?

Я опять сделал над собой усилие и, сосредоточившись, убедился, что, в самом деле, играют две команды в два кольца, как и полагается в этой игре. Я не понимал, куда она клонит.

Она не дождалась ответа:

— Что, если бы играли две пары команд?

— Зачем две пары?— не понял я.

— Зачем, зачем! Будешь сейчас два часа соображать!— проворчала она.— Неужели трудно представить себе две пары колец и две пары команд?

— На одной площадке?— переспросил я.

— Можно на двух,— благосклонно разрешила девица.— Но положи их одну на другую, крест-накрест.

«Безумие!»— подумал я, прикинув в уме количество соударений в минуту при среднем темпе игры.

— Послушай, как тебя...— (она назвала свое имя, но я опять не запомнил),— то, что ты предлагаешь, будет настоящей свалкой. Мала площадка.

— Тем забавнее! Тебе же скучно! А впрочем, кто мешает сделать площадку больше?

— Увеличим площадку — изменится темп игры,— серьезно сообщил я.— Конечно, столкновения уже не будут такими опасными, но совсем избежать их не удастся.

— А тебе-то что?— отозвалась моя спутница.

— Это было бы издевательством над игроками!

— Ты скучный человек,— вздохнула она, поднялась, повела плечами и направилась к выходу из стадиона.

«Бедная, взбалмошная девчонка»,— подумал я, но догонять не стал. Вообразил, что одержал какую-то победу.

Внизу, на площадке люди преследовали друг друга, увертывались, прыгали, падали. Я видел все это и не видел. На этот раз я застрял в пустоте крепче прежнего, будто прыгнул в нее с высоты. И увидел нечто, некую странную, неожиданно появившуюся идейку. Ее невозможно было не приметить. Она нагло блестела, как безвкусная безделушка. Я не подпускал ее близко к сердцу, жонглировал на расстоянии, как надувным шариком, таким легким, что уносится прочь от одного дыхания.

Я видел перед собой некий игрушечный вариант мироздания: в пустоту брошены две системы. В каждой есть все, что надо для вселенной, все до последней микрочастицы. Внутри системы действуют обычные силы: притяжения, отталкивания, магнитные, электрические, ядерные, гравитационные и так далее. Но связей между самими системами ни в большом, ни в малом не существует. Пока эти связи не выявлены, я условно назвал системы свободными. Они спокойно существуют одна в другой, проходят одна сквозь другую, не ощущая друг друга, не оказывая друг на друга влияния. Здесь нет мистики.

Известно, что масса атома в основном сосредоточена в ядре, а диаметр ядра в десять тысяч раз меньше самого атома. Таким образом, не сталкиваясь массами, через поперечное сечение одного атома могло бы одновременно пролететь десять миллионов других. Но расстояния между атомами в молекулах и между молекулами в вещественных структурах неизмеримо больше.

Вероятность столкновения элементов двух условно свободных систем — бесконечно мала. Однако почему бы им и не сталкиваться? Возможно именно эти соударения и порождают флюктуации — необъяснимые отклонения траекторий, температур, энергий и любых других параметров.

Но ни с одним серьезным человеком я бы не поделился этой выдумкой. Да и меня самого она лишь забавляла. Во-первых, потому, что не имела прямого отношения к предмету моих раздумий — к пустоте. А во-вторых, ей не хватало чего-то существенного. Она была незаконченной, как бы оборванной на полуслове. Я чувствовал разрыв в логических звеньях. Но в поисках утерянного звена имелся детективный интерес, и я радовался тому, что теперь есть хоть какая-то почва для размышлений.

Со стадиона я направился в институт, но не в свою постылую студию, а в приборный отдел. Мой стандартный комплект аппаратуры ничего не давал. Зато теперь я сдал диспетчеру описание принципа нового прибора. Я назвал его «флюктоскопом». Он должен был отмечать все непредвиденные отклонения, происходящие в микромире, анализировать их и выдавать на экран изображение такой вероятной среды, которая могла бы вызвать наблюдаемую картину флюктуации.

Сбагрив идейку прибористам, я вздохнул с облегчением; все это время было такое чувство, что занимаюсь не тем, чем надо. В голову сами собой лезли детские мифологические аналогии: смерть человека — лишь переход из одной системы в другую, а переходное состояние напоминает явление тени, призрака или духа — что кому больше нравится.

Я хорошо понимал: даже если отвлечься от этого шаманского бреда, благородная идея общения разумов двух свободных систем — всего лишь досадная литературщина, основанная на подтасовке возможностей. Во-первых, почему другая система непременно должна быть похожа на нашу? Во-вторых, разве жизнь и разум для системы вообще обязательны? И в-третьих, если все-таки допустить, что родственные цивилизации существуют одновременно и там и здесь, как ничтожна должна быть вероятность их совпадения в бесконечных просторах двух вселенных?

У нас в институте проектирование и создание исследовательской аппаратуры налажено, как полагается. Мы еще сами не успеваем разобраться, что нам надо, а роботы уже устанавливают в лаборатории новый стенд, основанием для которого послужила фраза, случайно оброненная в институтском буфете. Они чутко угадывают наши желания, ловят их на лету и молниеносно облекают даже самые смутные, до конца не осознанные идеи в изящные формы оригинальных приборов.

Свой флюктоскоп я получил на следующее утро. Робот подключил аппарат и, придвинув мне кресло, удалился. Теоретики предпочитают проверять свои идеи без свидетелей: зачем кому-то видеть, как, пробегая по клавишам, дрожат от нетерпения пальцы.

Кусочком безоблачного неба засветился большой экран, включились счетчики, поползли ряды цифр. Я любовался этим восхитительным зрелищем битый час, пока

меня не потянуло ко сну. Аппарат был со мной откровенен, он поднес мне четкий, не вызывающий сомнений нуль информации. Разве мог работать прибор, принцип которого основан на заблуждении? Мысль о двух свободных системах так и не стала гипотезой: не нашлось утерянного звена. Я по-прежнему чувствовал, что оно где-то рядом, под рукой. Я был убежден (и до сих пор глубоко убежден в этом), что любой свежий человек, разобравшийся в моей мысли, мог бы поставить все на свои места. Но в том незрелом виде моя идея не годилась для обсуждения. Она была мертва. Какая-то мелочь губила ее. Но что именно? Чем больше я искал, тем больше убеждался, что иду по ложному следу: уж лучше пережевывать абстрактные мысли о пустоте, чем углубляться в темную щель, в глухой тупик в тупике. Это лишало уверенности, что я вообще когда-нибудь выйду из полосы бесплодия. В общем все шло к тому, чтобы с миром похоронить легкомысленную идейку, подвернувшуюся под колесо неповоротливого мыслительного агрегата. Ужасное состояние! Я вдруг понял, какова моя настоящая цена, будто взглянул со стороны. Пробудились сомнения, на своем ли я месте, своим ли занимаюсь делом?

Конечно, моя ассистентка опять явилась в самое неподходящее время, когда от судорожных поисков меня трепала почти малярийная лихорадка.

Честно говоря, я уже и забыл, что эта девица существует на свете. Она вошла, как ни в чем не бывало, провела ладошкой по лакированной стенке флюктоскопа и похвалила:

— Обставляемся новой мебелью? Поздравляю!

Меня свело от этой банальности.

Заметив у нее на груди огромное аляповатое колье, переливающееся всеми цветами радуги, я осведомился, сколько весит это грузило... Я понимал, что просто ищу, к чему бы придраться. Но даже это получалось бездарно.

— Ты зол,— ответила она.— Зачем рвать на голове волосы? Ведь ты же человек, и за ошибки тебя не пошлют, как робота, на переплавку.

Я заскрипел зубами: скандалистка влезла на больную мозоль. Чтобы успокоиться, я потребовал сообщить мне, наконец, как ее звать.

Сейчас мне послышалось, что она назвала себя «Эврика». Я поморщился: ужаснее не придумаешь!

— Давай полегче,— посоветовала она.— Не волочи

мысли по полу. Пусть идеи сами носятся в воздухе вокруг твоей головы. А ты не думай о них...

— Люблю благие советы,— признался я.— Интересно, где носилась твоя вчерашняя идея игры двух пар команд на одном поле?

— Почему двух?— переспросила она.

— А сколько?

— Сколько надо? Сто? Двести? Тысяча?

— Гениально!— усмехнулся я.— Команды будут не играть, а дифундировать — проникать друг в друга...

— Значит «Диффузия»!— подхватила девица.— Теперь мы соавторы! Удачнее названия для игры не придумаешь!

Я не нашелся, что ответить. Воспользовавшись моим молчанием, она встала к стене напротив и, заложив руки за спину, продолжала вещать:

— Знаешь, мне кажется, со вчерашнего дня ты заметно выбрался из пустоты. Ты почти материализовался. Еще небольшое усилие, немножко тепла и ты совсем станешь человеком!

А я в самом деле чувствовал, что теплею и оттаиваю с каждой минутой.

Конечно, не от ее слов: открывающаяся истина делала мир таким прекрасным.

Даже в моей ассистентке проглянуло что-то симпатичное.

Все осветилось вокруг, будто солнце прошило стены лучами.

Я был счастлив, потому что знал: пустоты нет и никогда не было.

И не две жалких системы, нет — мир заполняет бесконечное множество автономных систем.

Эта мысль первым камнем ложилась в теорию мирологии.

Теперь я верил, что в бесконечности мироздания и, вместе с тем, рядом с нами найдется хотя бы одна система, населенная такими же искателями, как мы.

Я вдруг размечтался о том времени, когда можно будет заявиться туда и сказать: «Здравствуйте! Мы — ваши соседи!»

Попытался представить себе, что должен чувствовать человек, когда перед ним, казалось бы из ничего, возникает нечто живое, разумное, мудрое — радость, восторг или испуг, мистический ужас...

Понял вдруг, что, пожалуй, без предварительной подготовки такая встреча может окончиться плохо.

Я был умилен своей собственной предусмотрительностью — такого со мной еще не бывало. Совсем расчувствовался.

Захотелось сделать или сказать что-нибудь доброе, теплое, чуткое. И я вежливо попросил ассистентку:

— Скажи пожалуйста... как тебя звать?

Она ничего не ответила. Только вздохнула, повела плечами и пошла.

Я не стал догонять, все смотрел ей вслед...

Она уже скрылась из виду, но еще долго сияло сквозь бетонную стену ее радужное колье.

ОБМЕН

Тут история такая, мы с женой и сыном жили отдельно, у нас там, в Кенгарагсе, была вполне приличная квартира, двухкомнатная, но удобная, возле дома транспорт ездит, магазины рядом имеются, да и вообще, нормально жили. Сыну четвертый год, он в садик ходит, тут у нас дочка народилась. Ну, жене с двумя, конечно, тяжелее, тем более, что малец наш, старший-то, не подарок. Ну, мы решили, что теперь в такой ситуации теща поможет, она на пенсию недавно вышла, чего, спрашивается, ей не помочь. А теща,— она с тестем в центре живет, в двух шагах от ресторана «Росток»,— ни в какую; то есть помочь-то она якобы согласна, но уперлась, что сил у нее нету каждый день или хоть раз в неделю к нам в переполненном автобусе пилить. Вы, говорит, меняйтесь на центр, и ближе и удобнее, что вам ваша окраина, и снабжение лучше, а если там чего доплатить или какие варианты, то уж найдем, что делать. Ну, жена молчит, а я-то не подневольный, мне теща что, я ей возражаю: ну а Владька вырастет, что он, по центру шлындать будет? Не ровен час под машину угодит. А теща возражает, дескать у вас там машин нету, да в городе они хоть внимательно ездят, а там, по вашей Московской прут себе и по сторонам не смотрят. Да и река под боком, уж чего хуже. В общем убедила. Короче, стали щупать объявления, несколько раз я по адресам сходил, раза два — теща. Так все то в развалюхе, то в коммуналке, то еще что не так, короче, обнаружился у нас еще адресок, я тому мужику позвонил, договорился, когда прийти смогу, а жена за мной увязалась, не доверяет, значит. Ну ладно, малый в детсаде, я с работы отпросился пораньше, Лю-

сеньку к бабке отвезли и пошли глядеть. От тещи это недалеко оказалось, кварталов пять, большой такой дом на перекрестке, с виду вполне солидный, плохо что по обеим улицам троллейбусы ходят, но дом с виду звук не очень должен пропускать. Ну, заходим, доходим до требуемой квартиры, звоним в дверь, нам открывает хозяин, ну, не знаю, вроде постарше моего батьки будет, да с виду-то не очень скажешь, встретил бы его, тьфу-тьфу, вместе со своей женушкой, тут уж знал бы, какие оргвыводы делать. Ну, заводит он нас внутрь, все чин-чинарем, я теперь уже опытный по этому делу, знаю, как квартиры обсматривать, жена там с ним лясы точит, а я хожу, гляжу. Так, большая комната, окна на обе улицы. Хорошо! Со светом, значит, все в порядке. Так. Прихожая большая, гостям жаться не придется. Двойные двери, дубовые, порядок. Так. Коридор, тут Владьке раздолье будет, здоровый коридор, метров десять, честное слово! На том конце кухня, тоже не из теперешних,— на одну бабу, а всей семье и сесть негде,— нормальная кухня, газ, выход на черную лестницу, чулан, ванная. Так. Понятно! Газовая колонка, с теплой водой особых проблем нет. Ладно, пошли дальше. Там, значит, в прихожую из той большой комнаты дверь выходит и рядом еще две. В средней открыто, небольшая комнатка, но ничего, а та что справа — закрыта, и из нее слышно, как на скрипке играют.

— Ген,— жена голос подала,— вот Владимир Иосифович говорит, что ему доплата не нужна, я ему сказала, что у нас двухкомнатная в блочном доме, а он говорит ничего, так на так махнемся и дело с концом.

— Что же вы это так,— спрашиваю,— мы бы и доплатить могли бы, в разумных пределах, конечно.

— Да чего доплачивать,— отвечает,— у меня, тут, видели, и воду греть надо, и отопление пока все еще печное, с дровами вечная морока.

— Ну что, Ген,— Ленка спрашивает,— согласны мы? Ну, вижу, очень ей тут жить охота. У меня, в принципе, тоже возражений особых не возникает. Ну что, думаю, надо еще ту комнату доглядеть, еще разик полную ревизию провести и можно соглашаться.

— А что ж вы, Владимир Иосифович, меняться решили? Такая у вас квартира, в центре, зачем вам переезжать?— это она все свое дамское любопытство удовлетворяет.

— Да знаете, живу один, жена умерла, зачем мне столько комнат, даже, представьте, страшно иногда вечерами ходить. И центр, сами понимаете, автомобили, загазованность. У вас там ведь река под окнами.

— Ну как под окнами, но в общем, конечно, рядом. А что же вы, Владимир Иосифович, квартирантов себе не возьмете? И деньги, и все кто-то дома?

Ну дура, нашла время советы ему давать, я ее локтем в бок, умерь, дескать, свой пыл, а то подумает, спасибочки скажет и прости-прощай.

— Да знаете, посторонние...— отвечает как-то неуверенно.

Ну, сразу видно, не умеет человек дела делать, надо быстренько все доглядеть и писать бумаги.

— Ладно,— говорю,— хозяин, кажи нам еще эту комнату,— на закрытую показываю,— чтоб уж все в полном комплекте.

А он что-то мнется.

— Эта,— говорит,— она, понимаете, заперта, а ключ у меня куда-то запропастился. Я вам план квартиры показать могу, там все понятно.

— Так пускай откроют

— Кто откроет?— смотрит странно, побелел даже, что это с ним?

— Ну как,— говорю,— у вас ведь там на музыке играют. Пусть отворяют.

— На музыке?— стоит, вылупился на меня, как баран на новые ворота, в самом деле, что ли, с приветом? Не дай бог официально шизанутый, но ведь в документах вроде все в порядке, у психа объявление не примут, ну плевать, лишь бы расписаться умел.

— Вот,— говорит,— план,— и бумажку мне тычет.

Я тоже чего-то растерялся, взял ее, разглядываю, а жена спрашивает:

— А кто это у вас там играет, Владимир Иосич? Вы ведь говорили, что один живете?

— Это, ну как, человек один.

— Ваш знакомый, да? А он настоящий музыкант?

— Да нет,— мямлит,— да и как знакомый, так, он не живет, просто играет.

— А!— жена сообразила,— студенту комнату сдаете, чтобы он там занимался?

— Ну да, конечно,— отвечает,— студенту.

Тут телефон затрезвонил. Хозяин к трубке, переспра-

шивает: кого-кого? Почекаева? Вы, наверное, номером ошиблись.

Я к нему, едва успел, чтобы трубку не положил, тещенька не утерпела, все знать хочет. Под землей разыщет, характер такой. Короче, Люсеньку на соседку бросает, а сама сейчас сюда причешет, как же без нее-то. Разозлился я, плюнул на эту комнату, пошли мы еще раз по остальным помещениям и прочим удобствам. Тут и теща прискочила. Запыхавшаяся, уж так торопилась, так торопилась. Ну ладно, вижу, что и теще нравится, но шлындает по квартире с поджатыми губами, все ей не так: и санузел совмещенный, паркет ссыхается, и обои отваливаются, и чуть ли не тыщу на ремонт придется кинуть. Тыщу, тыщу, да я за две сотни из квартиры картинку сделаю, но молчу, понимаю,— политика. Хотя что с этим придурком политику-то разводить. А музыка в той комнате все играет. Поиграет, помолчит, потом опять играет. В конце-концов даже привык, даже нравиться начала. А хозяин на тещу-то никакого внимания, она опомнилась, а его-то и нет, смотрим,— сидит возле той двери и голову руками обхватил. Ну, теща на него нуль эмоций, требует, чтобы ту комнату открыли. Жена ей объяснять, что там студент занимается, а тещу не утихомирить, пусть открывает, не велика птица, раз по чужим квартирам играть ходит, короче идет к двери, берется за ручку, хочет ее трясти, а дверь распахивается, теща на нас и на хозяина смотрит,— а врать-то чего, спрашивается? Поворачивает голову и оседает на пол. Ну, жена в визг, я тещу на ноги ставлю, потом в комнату заглядываю и столбенею. Пустая комната. То есть не только ни одной вещи, никого! Голые стены и скрипка играет! Рухнули мы с тещей опять на пол, потом очнулся, смотрю на хозяина, рядом жена, как простыня, бледная, и музыка играет. Смотрю на хозяина, а он:

— Я когда жену похоронил, возвращаюсь домой, а в ее комнате — музыка. И назавтра играет и потом. Выкинул все оттуда. Играет. Ее скрипку сжег. Играет. Думал — мерещится.

ЗАБУДЬ, ПРОШУ ТЕБЯ...

— Тим,— сказал отец.— Ты опять взялся за свое?

Он стоял со свечой в распахнутом окошке. При холодном трепетном свете его лицо казалось гипсовым.

В испуге мальчик отпрянул. Свисающие ветви ивы расступились и окутали его темным шелестом.

— Не прячься — я все видел. Поговорить надо, Тим. Ты слышишь?

— Да...— отозвался мальчик.

— Давай сюда, сынок. Давай, пока не увидел никто. Не бойся, я тебя не трону.

Поколебавшись, Тим покинул свое лиственное укрытие и приблизился к окну. Отец отошел в глубь комнаты. Мальчик ступил на подоконник, соскочил на пол и встал, понурившись. Некоторое время они молча стояли друг против друга. Слышно было, как бесконечную ночную тишину сверлят цикады и где-то, на другом краю спящей земли, тащится скрипучая повозка. Со вздохом облегчения отец затворил окно, поставил подсвечник на стол и сел на кровать мальчика.

— Я же тебя просил, Тим,— начал он.— Просил или нет?

Сын не отвечал.

— Ты не такой маленький, должен понимать. Зачем ты это делаешь?

Мальчик порывисто поднял голову. Набежавшие слезы блеснули в его глазах.

— Папа, но почему, почему?.. Я ведь не делаю ничего плохого... Никто даже не видел. Я осторожно, честное слово...

— Не увидели сейчас, так увидят потом,— возразил

отец.— Рано или поздно тебя заметят, и что тогда? Об этом ты подумал? Хочешь, чтобы тебя стороной обходили, чтоб дразнили, как дурачка Фаби, так, что ли? Подумай о нас с матерью. Как-никак, среди людей живем. Я не хочу, чтобы соседи показывали на нас пальцем.

Ночная бабочка трепетала под слабо озаренным потолком. Она мягко тыкалась в побелку, словно рука, накладывающая незримый шов. Потом по стремительной спирали спустилась к свече и заплясала вокруг нее, колебля язычок огня. Она порхала, сужая кольцо своего полета, и вдруг коснулась пламени. Раздался еле слышный треск, словно маленькую жизнь насекомого единым махом разорвали в клочки. Мгновение спустя обгоревшая бабочка лежала на столе, и ее лапки судорожно комкали воздух. Потом она затихла.

— Видишь?— сказал отец.— Видишь, что с ней стало? Но тебе-то разум дан, Тим. Ты должен понимать, что к чему. Вот вырастешь, станешь взрослым, надо будет обзаводиться своим домом, кормить семью. Кто тебе даст работу, если люди начнут обходить тебя стороной, как зачумленного?

— Я могу наняться в цирк,— прошептал мальчик.

— Этого еще не хватало!— от возмущения отец вскочил.— Все в нашем роду зарабатывали на жизнь честным трудом. И прадед твой, и дед, и отец. Я не хочу, чтобы ты стал ярмарочным трюкачом без роду и племени, без куска хлеба и без крыши над головой. Такого позора в моей семье не будет. А о матери ты подумал? Что, хочешь свести ее в могилу? Да? Я ведь ей ни полсловечка еще не сказал. А ну как она узнает?

Мальчик потупился. Его маленькое сердце выворачивалось наизнанку от горя и стыда.

Отец подошел к сыну и привлек к себе за плечи.

— Брось это дело, сынок,— заговорил он укоризненно и просяще, поглаживая волосы Тима.— Брось. Ни тебе от этого проку, ни нам чести. Ну пожалуйста. Забудь, что ты это можешь. Ради нас и ради себя. У тебя когда-нибудь будут дети. Ради них забудь об этом, пожалуйста, Тим. Поверь, так оно спокойнее. Потом ты сам поймешь, что я был прав.

Тим всхлипнул. Он ткнулся лицом в рубашку отца.

— Папа...— прерывающимся голосом проговорил он. — Папочка... Но... это так... здорово... Если бы ты знал, как это здорово...

На груди отца расплылось мокрое и горячее пятно. Он прижимал к себе сына и гладил его по голове, и все никак не мог проглотить квадратную судорогу в горле.

— Да я знаю, сынок. Знаю. Меня самого за это папаша ого-го как лупил... Двух раз с меня хватило, и больше в жизни не пробовал. Да потом и некогда было думать об этом. Вот так-то.

Мальчик отстранился в изумлении.

— Так ты... тоже?! И ты?

Отец кивнул.

— Да. И дед твой это умел, и прадед, и прапрадед. Все пошло с колдуна, который много лет назад жил в нашем городке. Твоя прапрапрабабка купила у него снадобье, чтобы ребенка родить здоровым, сильным и счастливым. Что за снодобье такое, не знаю. Никто не знает. С тех самых пор в нашем роду все и впрямь были крепкими на диво. А еще они умели ЭТО. Умели — и все тут.

Тим слушал с раскрытым ртом. Он смотрел на отца так, словно увидел его впервые.

— Прапрапрадед был умным человеком,— продолжал отец.— Он строго-настрого приказал жене и сыну молчать. С тех пор так и повелось. Никто в городке не знает о нашем даре. Ни к чему он, Тим, поверь. С тех пор, как я его забросил, ни разу не пришлось мне пожалеть. Теперь уж разучился, поди...

Отец задумался. Лицо его стало непроницаемым и тихим, как бывает, когда зрение и слух человека обращаются внутрь него. Вдруг он приподнялся над полом и повис в воздухе.

— Нет, не разучился...— пробормотал он и медленно, с опаской позволил себе опуститься.

— И ты совсем... ни разу... никогда...

Отец покачал головой.

— Нет. Даже мама не знает. Не говори ей, Тим. Не выдавай меня. Будь умницей.

Он обнял мальчика и потерся о его щеку носом.

— Спокойной ночи, сынок. И забудь об этом. Прошу тебя.

Он пошел к двери, обернулся, посмотрел на Тима. Казалось, он хотел что-то добавить, но передумал. Вышел и осторожно притворил дверь.

Мальчик распахнул окно и сел на подоконник. Пышная и свежая темнота обняла его. Запахи ночных цветов душистой радугой реяли над клумбой. Меж ветвей ивы

крался тихий, как лепет, ветер. Звенели цикады. Звездное небо текло и дрожало, а спящий городок опрокидывался и все проваливался и проваливался в эту бездну, не достигая дна. Нежная прохлада забиралась под рубашку и тихонько шевелилась меж телом и тканью.

Тим затрепетал и приподнялся над подоконником. Он повис, покачиваясь, точно воздушный шарик на нитке. Осторожно выплыл из окна и огляделся. Ни души, ни огня не видно было в городке. Поколебавшись, мальчик рывком повернулся и влетел обратно. Задул свечку, нырнул в кровать и свернулся калачиком.

— Нельзя,— сказал он себе.

Блаженное тепло заструилось по коже, смывая озноб полета. Тим зарылся в подушку, и его зажмуренные глаза ожгло слезами.

— Нельзя,— повторил он.

Он лежал, тихо, беззвучно плача. И сон спустился к мальчику и окутал его душу милосердной тьмой.

Наутро, после завтрака, Тим вышел погулять.

Ясное, безоблачное небо предвещало погожий день. Ночной холодок еще соперничал с дневным теплом, и в тени было зябко, а на солнце жарко.

Тим направился к пустырю за церковью, где мальчишки обычно собирались для игры в лунки. Он беспечно посвистывал на ходу и перебирал в кармане куртки горсть стеклянных шариков. Почти от самого дома за ним увязалась бродячая собака. Пегая и вислоухая, она трусила за мальчиком не отставая.

— Ну что тебе?— спросил Тим, остановившись.

Собака села и уставила в него влажные вишни глаз. Казалось, она, созерцая мальчика, читает про себя молитву на собачьем языке.

Тим протянул руку, но собака испуганно отскочила и завиляла хвостом. Мальчик пожал плечами.

— Не пойму я тебя,— сказал он и пошел дальше.

На пустыре еще не было никого, кроме рыжего Дильса по кличке Битка. Он слонялся вдоль забора и сшибал хворостиной макушки крапивы.

— Привет,— крикнул Тим.

— Здорово,— ответил Битка.— Это что за собака, твоя?

— Бродячая. Сама прицепилась. Ну что, сыграем?

— У меня шариков нет,— печально сообщил Битка.— Вчера проиграл последние.

— Хочешь, одолжу парочку?

— Не-е. А ну как и их проиграю, тогда отдавать нечем.

Тим поскреб в затылке.

— Тогда давай так. Если проиграешь, будем считать, что я их тебе дарил.

Битка всерьез задумался.

— Эй, мальцы!— позвал кто-то.

Возле церкви стояли двое незнакомцев. По торбам с инструментами, висевшим через плечо, в них легко было угадать бродячих мастеровых, которые летом ходят по городам и селам в поисках заработка.

— Где ваш пономарь живет? — спросил мастеровой помоложе, одетый в латаные брюки и красную клетчатую рубаху.

— А здесь, неподалеку,— отозвался Тим.

— Сбегай к нему, попроси, чтобы открыл церковь. Нам работать надо. Вот, держи яблоко.

Тим на лету поймал яблоко и сунул за пазуху.

— Я мигом.— пообещал он.

Тут из-за угла появился хромой пономарь Маттас со связкой ключей.

— А, вы уже здесь,— обрадовался он и отпер дверь черного хода.— Ну и слава тебе, господи. Заходите.

Мастеровые и пономарь скрылись в церкви. Тим отсчитал Битке четыре шарика. Мальчики кинули жребий, и первый номер выпал Тиму. Он отошел к черте, подбросил шарик на ладони, тщательно прицелился.

Вдруг собака залаяла, забегала по пустырю, подняв морду.

Тим посмотрел вверх и увидел на балюстраде колокольни двоих мастеровых. Парень в клетчатой рубахе повесил на плечо моток веревки и, цепляясь за громоотвод, полез на черепичную маковку, которая снизу выглядела не больше тюльпана. Вспугнутые голуби, словно чаинки в стакане, кружили над позолоченным флюгерным петухом, венчавшим покосившийся шпиль.

— Ух ты,— сказал Битка.

Мальчики оставили игру и выбежали на площадь перед церковью, откуда лучше видны были колокольня и человек на ней. Собирались зеваки.

— Отчаянный парень,— приговаривал жестянщик Дат, задрав голову.— Я бы так не смог, ни даже за полцарства.

— Лишь бы не сверзился,— заметил старик Наль.— Там давным-давно все сгнило да проржавело.

— Ничего,— ответил кузнец Хортис.— Долезет до верха, привяжется веревкой.

Затаив дыхание, Тим смотрел, как на головокружительной высоте развевается клетчатая рубаха. Вот смельчак наконец добрался до шпиля, захлестнул веревку и опустил ее конец своему напарнику. Потом выпрямился во весь рост и, держась за флюгерного петуха, помахал рукой людям на площади.

И тут шпиль с треском накренился. Мастеровой потерял равновесие, взмахнул руками и, упав на черепицу, заскользил вниз. Чудом он успел схватиться в последний миг за веревку, слетел с маковки и повис, раскачиваясь, над площадью.

Раздались крики ужаса. Пегая собака заметалась и залаяла.

Извиваясь всем телом, парень старался подтянуться, перехватить веревку. С трудом ему удалось немного подняться и достать до водосточного желоба. Ухватившись за него, мастеровой попытался закинуть ногу на карниз, но тут желоб прогнулся, и человек повис на нем, вцепившись пальцами в гладкую жесть. Считанные секунды отделяли его от падения — либо соскользнут руки, либо оторвется желоб. Неподвижно висел он под карнизом, сознавая безнадежность своего положения и готовясь к неминуемой смерти. Ветерок поигрывал подолом рубахи.

И тогда не помнящий себя, задыхающийся Тим почувствовал, что земля ушла из-под ног. Словно сама собой, двинулась вниз и стремительно уменьшилась площадь. Горизонт поднимался вместе с мальчиком, городок стал виден как на ладони, показались далекие лесистые холмы, меж которых вилась речка. Но этого мальчик не замечал, он видел только висевшего на колокольне человека. Тим подлетел к нему и мертвой хваткой вцепился в ремень.

— Не бойтесь!— крикнул он.

Напрягая все силы, мальчик пытался подняться со своей ношей на карниз. Вдруг на его лицо упала тень. Он поднял голову и увидел, что старик Наль, распластавшись в воздухе, держит парня за запястье. Чье-то плечо коснулось Тима. Это Битка подлетел и обхватил ногу мастерового. И еще чье-то дыхание послышалось рядом... И еще...

— Ну-ка, все разом, полегоньку вниз,— велел Наль.
— Эй, полегче...
— Сам не толкайся, ч-черт...
— Не так шибко...
— Крепче держи, болван...
Причудливая гроздь человеческих тел плавно спускалась с колокольни. Собака носилась кругами по пустой площади и сумасшедше выла.
— Уф-ф...
— Все...
На земле образовалась бесформенная куча рук и ног. Огрызаясь беззлобно, люди кое-как встали, расступились. Мастеровой сидел в пыли и ошарашенно озирался.
Старик Наль повернулся, пошел прочь. Заковылял в другую сторону пономарь Маттас. За ним последовали Дат и Сторген, один за другим расходились жители городка, молча и поспешно, не глядя друг на друга.
— Айда,— дернул Тима за рукав Битка.
Мальчики скрылись за углом церкви, следом потрусила пегая собака.
— Эй, куда же вы,— пробормотал мастеровой.
Площадь опустела.

ДУРАЧОК ФАБИ

— Так вы, значит, лекарь...— пробормотал Бьюнк, сунув задаток в нагрудный карман комбинезона.— Ясно.

— Вывеска нужна к понедельнику,— сказал молодой врач.— Надеюсь, вы успеете.

— Лекарь, значит,— повторил Бьюнк.— Ну и ну. А чем вы собираетесь у нас заняться?

— Естественно, частной практикой. Насколько мне известно, в городке нет ни одного врача.

— Это точно. Последний дал тягу лет эдак двадцать назад. Бывали тут, правда, заезжие молодцы вроде вас. Больше месяца никто не выдерживал.

Уже было собравшийся уходить, собеседник Бьюнка задержался на пороге.

— Неужели так много пациентов?

— Наоборот, док, в этом-то вся и штука. У нас в городке никто не болеет.

— Позвольте... Как так не болеют?

— Да так. Разве что утонет кто или приключится поножовщина из-за девчонки. Но вы ведь не гробовщик, верно? У нас был один, да спился от безделья. Теперь гробы заказывают мне. Последний я сооружал три года назад, когда старик Хагес перепугал спирт с уксусной эссенцией. Такие дела, док.

— Странно. В высшей степени странно. Я вчера нанял этаж в доме неподалеку от вас. Хозяину известно, что я врач, но он ничего мне не сказал.

— Так вы небось не спрашивали.

— Почему же, я спросил, правда ли, что здесь нет врачей. Он ответил, правда.

— А чего еще ему говорить! Денежки-то уплачены?

— Естественно, за месяц вперед.

— Понятное дело. Кому охота постояльца терять. Ну, поживете месяц, отдохнете. Места у нас красивые, воздух что надо. Опять же харчи недорогие. А насчет практики выбросьте это из головы, док. Вывеску я вам сварганю, раз уж взял задаток, но учтите, что здесь вы нужны, как...

Бьюнк стал подыскивать сравнение поделикатнее.

Врач нервно теребил свою каштановую овальную бородку, отпущенную недавно для придания лицу солидности.

— Посмотрим,— сказал он вызывающе.— Я полагаю, что если поискать, больные найдутся.

— Помогай вам господь,— насмешливо сказал Бьюнк.

Собеседники стояли в дверях мастерской, окутанные сложным запахом костного клея, опилок, паяльного флюса и неведомо чего еще.

Над ними красовалась яркая вывеска:

АНВЕР [illegible]

МАСТЕР НА [illegible]

Консультации по [illegible] брака и семьи

даются [illegible]

...надо пойти к тому в самом большом доме нет сначала посмотреть кудрявую все ли в порядке а то у нее уже скоро и заодно ее отца мне что-то не нравится его тук-тут-тук посмотрю кудрявую и отца и пойду к тому в самом большом доме если не прогонят опять не дают никак посмотреть его поближе а я чую что надо скорее у него исправить только издали не разгляжу что и еще к худому зайти он уже совсем хорошо но может быть остались комочки в крови как это я его не заметил сразу чуть не опоздал но к нему зайду потом сначала обязательно к кудрявой у того приезжего в крови были такие гадкие белые вьюнки я почти всех повывел но не успел он уехал и кудрявая очень плакала у нее в животе маленький и тоже начались белые вьюнки я их всех вывел и долго надо было исправлять маленького отец кудрявой говорил не смотри на него а то родится такой как он и гнал меня а я все равно ходил исправлять маленького и теперь он выйдет из живота здоровый и вовремя и без вьюнков...

— Ничегошеньки у вас не выгорит, док. Точно вам говорю. Разве что будете за деньги себя показывать. Живой лекарь у нас в диковинку.

— Посмотрим,— сказал врач уже без прежней решительности и надел шляпу.— Да, я хотел спросить, а что за консультации вы даете?

— Очень просто. Ежели какой дурень спросит, дескать, папаша Бьюнк, у тебя большой жизненный опыт, скажи, мне жениться или нет, я ему говорю: как хочешь, так и делай, все равно потом будешь каяться.

— Это, если не ошибаюсь, изречение Сократа?

— Кого-кого?— спросил Бьюнк.

...если успею пойду к той которая дает вкусные куриные косточки у нее во лбу справа все время может лопнуть внутри надо проверять и исправлять если не успею то завтра к ней первой а рядом с ней который играет мячом у него зубы растут неправильно а я не знаю как их надо и еще там живет старый-старый злой который кинул палкой и расшиб мне ногу у него камушки начинаются надо их истолочь и он тогда их все выписает кажется никого не забыл вот только тот в самом большом доме до него никак не добраться а мне очень надо посмотреть вблизи...

Мастерская выходила не то на маленькую площадь, не то на большой перекресток. По обе стороны ближайшей улицы находились два ресторанчика — «Вкусный отдых» и «Веселая компания». Под вывеской первого из них висел транспарант с зазывной надписью: «Здесь готовят с душой». Фасад конкурента украшала более свежая надпись: «А здесь готовят с маслом». Обе они бесспорно принадлежали кисти Анвера Бьюнка.

— Веселый у вас городок,— сказал врач, косясь на вывески.— Одного только не могу понять: как это вы до сих пор находитесь в безвестности? Ведь это же сенсация.

— Мы люди тихие, скромные,— ответил Бьюнк.

...чуть не забыл к тому носатому в очках кажется он опять начинает кашлять ну это очень просто и к тому же по пути а у кудрявой оказывается все хорошо и у ее отца

тук-тук-тук я исправил а ведь могла быть трещина как вовремя я заметил еще совсем немного и была бы а вот стоит который всегда насмехается и рядом незнакомый с бородкой у незнакомого в животе растет неправильное зернышко там перекосились пружинки если разрастется и будет их много и пойдут в кровь может умереть надо исправить пока зернышко маленькое а то потом труднее сейчас поправлю и пойду посмотреть на...

— Кто это?— спросил врач, провожая взглядом сгорбленную фигурку в лохмотьях.

— А это Фаби, городской придурок. Он немой.

— У него совершенно магнетический взгляд. Так посмотрел, что у меня даже под ложечкой засосало.

— Да, неприятно, когда он так пялится. Словно протыкает насквозь.

— Послушайте-ка!— вскричал врач.— У него же астматическое дыхание. И на голове стригущий лишай. А вы говорили, нет больных.

— Верно. Он один и есть такой, это ж не в счет. Только капитала вы на нем не составите, док. Разве что горсть объедков в уплату.

— Пожалуй, я мог бы полечить его бесплатно, пока уж я здесь,— задумчиво произнес врач.

— Сначала подите-ка его словите,— сказал Бьюнк.— Он, хотя больной, чертовски здорово бегает. Так, значит, вывеска нужна к понедельнику? Или как?

БЕССМЕРТНЫЙ ДИМ

Мы встретились ночью, в деревянной беседке на берегу реки, подальше от институтских корпусов. Беседку насквозь продувало, снизу тянуло сыростью, и никаким самовнушением я не могла согреться. Странно — когда мы восемь лет назад бегали пионерскими ночами в эту же самую беседку, холод почему-то не замечался.

Фернандо тоже мерз, и было даже удивительно, с каким неколебимым спокойствием и терпением он меня слушал. Впрочем, у нас с ним это — профессиональное...

— И знаешь, что меня поразило больше всего?— говорила я.— Ее рост. Эта Эва Терска оказалась удивительно маленькой для межпланетчицы — метр шестьдесят, не больше. А ты же знаешь, каких туда рослых девиц берут.

— Какая у тебя была предварительная информация?

— Практически никакой. В институт о Эве сообщили, когда транспортник уже приземлился, и через час она была здесь. Хьюнг только успел вызвать меня и дать задание. Ну, и передать моих пациентов Аллену. В общем, Хьюнг правильно рассудил — я женщина, я не настолько уж старше Эвы, мне легче будет ее понять... Но случай из ряда вон выходящий. Потому я и вызвала тебя, чтобы рассказать эту историю и попросить твоей помощи.

— Ну, говори...

— В двух словах — группа девочек, будущих операторов видеоустановок, проходит преддипломную практику на «Сигме-4», у всех все благополучно, а одна практикантка ночью вдруг забирается в медблок и вводит себе в вену четыре кубика эпросона.

— Самоубийство?— растерянно спросил Фернандо.

— Да, я тоже тогда вспомнила это слово. Помнишь, по

исторической литературе проходили «Анну Каренину»? Я даже заглянула в словарь — не помечено ли это жуткое словечко знаком архаизма? И знаешь — еще не помечено!

— Как результаты обследования?

— Анализы обычные. Но вот что любопытно — я дважды в неделю смотрю ее ауру. Свечение нормальное, аура голубоватая, без вкраплений, в области левой руки и сердца язычки еще не пришли в норму — эпросон сказывается. И за месяц — никаких изменений! Знаешь, на межпланетных всякие чудеса бывают, но их до сих пор удавалось объяснить на уровне медицины. А тут... Скоро месяц, как я мокну с этой Эвой в бассейнах, вожу ее по лабораториям и на прогулки, разговариваю с ней на нейтральные темы — тесты уже перепробовала... Ну и, конечно, одурела от функциональной музыки!

— А разрешение на погружение ты не пробовала получить?

— Нет, не пробовала. - Глядя мимо Фернандо на тот берег, где светился сквозь предутренний туман рыбачий костерок, я живо увидела бледное лицо и остановившийся взгляд Эвы — здесь же, вчера, в полдень...

— Так... Позволь процитировать учебник.— Оказывается, мы с Фернандо, как восемь лет назад, еще способны на биоволновую связь!— Есть грани, которые психогигиенисту настолько легко переступить, что он не имеет права этим пользоваться без крайней необходимости. Личность — неприкосновенна...

— Но послушай! Я просто не выдержала ее постоянного молчаливого сопротивления. Знаешь — без вспышек, ровное, сплошное, как каменная стенка, сопротивление! Погрузила я ее как-то спонтанно, прямо здесь, в беседке. Сама удивилась, как быстро это получилось. Сперва прогулялась по прошлой неделе — все нормально, в подробностях не сбивается. Забираюсь глубже, довожу ее до той ночи, когда ее нашли в медблоке, и вдруг — сопротивление! Представляешь, сопротивление при погружении...

— Тебе следовало немедленно вывести ее...

— Сама знаю. Но я уже не могла остановиться. И вот результат — несчастная любовь!

Фернандо от неожиданности свистнул.

— У них на межпланетной был один капитан, этакий межпланетный Аполлон, кумир всех практиканток. Начало истории, как видишь, заурядное.

— Разве там не было мальчишек ее возраста?— спросил Фернандо.

— И ты тоже... Зачем мальчишки, когда рядом ходит двадцативосьмилетний космический волк с гордым именем Тенгиз?

— Я тоже?.. А кто еще не понимает?— насторожился Фернандо.

— Я сама. Эва догадалась, что было погружение,— хмуро ответила я.— Догадалась и стала спрашивать, а я не смогла соврать. У нее была истерика. Самая настоящая. Она кричала: вы ничего не понимаете, вы железные люди, вы не имеете права прикасаться к моей любви, все равно я умру! И вся функциональная музыка коту под хвост...

— Послушай,— вдруг сообразил Фернандо,— а при чем тут я? Ведь если ты меня вызвала — значит, у тебя уже есть мысль...

— Мысль есть, и самое смешное, что мне ее подсказала Эва. Она кричала — ее никто не понимает. Действительно, мне трудно понять и оправдать такой атавизм, как самоубийство от несчастной любви. Ну, вот я и подумала — надо отыскать людей, которые поймут Эву. И они, может быть, инстинктивно найдут к ней правильный подход — тут ведь одно слово может все решить.

— Ты хочешь, чтобы Эва встретилась с Бессмертными?

— Да. Это и есть те люди, которые ее поймут. Подумай сам — твои Бессмертные родились и были молоды в то время, когда самоубийство от несчастной любви еще было возможно. Их такая ситуация не удивит. На всей планете только восемь таких человек. Мы — другие. Мы росли под присмотром психогигиенистов. Нас научили гасить стрессы в самом начале, мы умеем даже моделировать собственную психику. Они этого не знают, но знают другое, которое наши папы и мамы уже забыли.

— Уговорила,— решил Фернандо.— С другой стороны, все это может пойти и на пользу Бессмертным. Недавно один произнес мне целую речь о бесцельности своего существования. Пожалуй, именно это им и нужно — обиженный ребенок, которого они дружно примутся утешать...

Утром мы встретились с Эвой за завтраком.

Она упорно не смотрела на меня. Она имела право сердиться за то, что я раскрыла ее тайну. Я и не обижа-

лась. Разговор о Бессмертных я наметила на вторую половину дня, и место выбрала самое подходящее — бассейн. Эва пыталась сбить напряжение, плавая наперегонки. Видно, единственной возможной сейчас для нее радостью была радость победы над сильным противником.

— У меня для тебя сюрприз,— сказала я, дважды позволив ей обогнать себя. Она недоверчиво покосилась. Но, когда мы завершали очередную стометровку, сказала в пространство:

— Не понимаю, какие в моей жизни еще могут быть сюрпризы...

Потом мы шли в кафе, и я продолжила разговор.

— Прежде всего, прости меня,— сказала я.— Если можешь...

Эва молчала и смотрела в сторону.

— Если б я знала, что это из-за любви, я бы ни за что не погрузила тебя. Но мне и сейчас трудно понять тебя. Ведь о такой любви, из-за которой идут на смерть, я только в книгах читала.

И я почувствовала, что расстояние между нами как будто начало сокращаться.

— Я его каждую ночь во сне вижу,— вдруг призналась Эва.— Проходит мимо и не смотрит на меня. Или вдруг начинает целовать — это еще хуже...

— Можно попробовать камеру биосна,— осторожно предложила я, но она помотала головой.

— Ладно, хватит обо мне!.. Что там за сюрприз?— она опять оборонялась, эта сердитая девочка.

— Ты что-нибудь слыхала о Бессмертных?

Она резко повернулась ко мне.

— Это та колония двухсотлетних, которую обнаружили...

— Правильно. А хочешь с ними познакомиться?

И прежде, чем Эва успела согласовать свое желание с идеей непрерывного сопротивления современной медицине вообще и мне в частности, с губ сорвалось вполне естественное «хочу!».

— Тогда слушай. Никакие они на самом деле не бессмертные. Но то, что помогло им прожить такое множество лет, произведет революцию в науке. Теперь норма — сто лет, а скоро будет — триста. В последней трети двадцатого века жил такой доктор Вернер, он был педиат-

ром. Тогда как раз возродился интерес к йоге, к парапсихологии, впервые провели погружение. Он увлекся этими проблемами, стал лечить детей гипнозом, а потом додумался до идеи авторегенерации. Доктор Вернер был молод. И он позвал на помощь своих друзей — таких же молодых... Несколько раз в неделю он собирал их, обследовал, учил методам самовнушения — ну, лечим же мы самовнушением простуду, это элементарно. Так они начинали. Вернер искал способ воздействовать на организм комплексами ощущений. Он думал, пробовал, а они все послушно исполняли, не задавая, к сожалению, лишних вопросов. В тридцать семь лет он погиб в автокатастрофе.

— Как все гении,— вдруг заметила Эва.

— Он погиб, а его друзья продолжали встречаться, тихо-мирно занимаясь самолечением и понемногу совершенствуя его методику. Но то, что у него диктовалось мыслью, у них получалось чисто интуитивно. Они научились контролировать свой организм, но сами не знают, как они это делают. Представляешь, обновляют стареющие клетки, поддерживают все свои внутренние органы в образцовом порядке, а поди спроси их, каким образом! Ну, слушают музыку и выполняют упражнения, предписанные Вернером, кое-что сами случайно изобрели... И все-таки проблема бессмертия ими не решена, они не умеют восстанавливать нервные клетки. У человека четырнадцать миллиардов нервных клеток, из них активно действуют два. Ресурсы значительные, но не безграничные. Здесь, в Эстибеле, для Бессмертных создали те условия, в которых им было хорошо полтораста лет назад. Знаешь, как они радовались всем этим музейным экспонатам? Теперь предупреждается каждое их желание, бережется каждая нервная клеточка... Хватит с них и того, что было. Ведь каждый из Бессмертных похоронил детей и внуков...

— А как мы к ним попадем?— вопрос был резонный.

— Это не просто. Они живут в лесном домике, в радиусе пяти километров от которого оградительный пояс. Надо знать пропускные пункты. Мой старый друг, который работает с ними, заметил, что они в последнее время скучают, хотя еще недавно эти самые Бессмертные настаивали на своем строжайшем уединении. Он пригласил меня к ним в гости. А я подумала о тебе.

— Спасибо...— и опять нейтральная полоса между нами вроде бы сузилась...

И вот на закате мы кустами, словно играя в индейцев, пробрались к замаскированному на лесной опушке пропускному пункту, где ждал Фернандо на электрокаре.

Перед встречей с ним я поистине материнским взором оглядела Эву. Носик мог быть поизящнее, и овал лица понежнее, но в белом с легким узором платьице она выглядела совсем девочкой. Главное ее очарование, несомненно, заключалось в черных миндалевидных глазах и длиннейших ресницах, которые, загибаясь вверх, едва не касались бровей. Дурак он был, этот Тенгиз, думала я, ибо только дурак не обратит внимания на такие ресницы.

Скоро мы оказались возле деревянного домика.

Его стены были увиты диким виноградом, на закатном небе четко обозначился флюгер-флажок, увенчавший угловую башенку,— окна веранды светились теплым желтым светом.

— Возни было с этими электролампочками,— поняв наше недоумение, объяснил Фернандо.— Теперь таких и в музее не найдешь. Ни одна фабрика браться не хотела, пришлось оформить как спецзаказ Медицинского центра. А они от этих лампочек прямо ожили. Сидят, под гитару песни поют.

— Они умеют на гитаре?— удивилась Эва.

— Не все. Но поют все, и с каким удовольствием! Даже про телевизор забывают. Вы не удивляйтесь, он у них древний, вроде ящика, они к такому привыкли. Ребята чуть не восстановили для них старую модель со всеми потрохами, но вовремя одумались: навесили на деревянный полированный ящик обычный плоский телевизор, а тумблеры вывели на переднюю панель. И все довольны.

Перед крыльцом Фернандо остановился.

— Ноги вытирайте. Они отказались от робота-мажордома и сами по очереди моют полы.

Это звучало как цитата из исторического романа, но мы подчинились, и Эва даже выполнила сей обряд с каким-то удовольствием. Я чувствовала, что ей здесь уже нравится.

Бессмертные сидели за круглым столом, покрытым скатертью, и весело играли в карты. Их было семеро — три женщины, четверо мужчин. Не хватало восьмого.

Я ожидала увидеть... Ну, не знаю, чего я ожидала! Наверно, живых мумий. Но люди, повернувшиеся к нам, были, как предупреждал Фернандо, людьми без возраста. Хотя сразу можно было сказать, что им за шестьдесят.

— Нам каждый гость дарован бо-о-гом!— вдруг про-

пела одна из Бессмертных, и все рассмеялись, вскочили из-за стола, бросились пожимать нам руки с самой искренней радостью.

— Добрый вечер, входите, входите, милые девушки,— наперебой говорили они,— мы уже полчаса ждем вас, Леночка испекла печенье, а Маша сейчас заварит прекрасный чай!..

Не успела я опомниться, как нас разъединили. Фернандо потащили в угол, стали ему показывать какие-то шахматные этюды. А Эву я и вовсе потеряла из виду. Меня обняла за плечи Бессмертная в длинной цветастой юбке и вязаной шали.

— Пусть мужчины поухаживают за девочкой,— сказала она.— При наших женских недоразумениях это лучшее лекарство.

Конечно, Фернандо не стал говорить Бессмертным правду. Смягчил краски, сгладил углы. Но меня поразила их трогательная и забавная отзывчивость — нечто, выходящее за пределы моей профессиональной отзывчивости.

Через несколько минут нам предложили чай в старинных фарфоровых чашках, печенье и сласти в каких-то музейных вазочках. Тут я опять увидела Эву и изумилась — моя непроницаемая пациентка смеялась и теребила Бессмертного за рукав наброшенной на плечи куртки.

— Саша, Саша, а это что такое?

— Это — туз, самая старшая карта в колоде.

— Не вмешивайся,— успел удержать меня Фернандо,— им нравится, когда их зовут просто по имени. Они сами просят об этом. А, вот и гитару несут!

О какой ерунде они говорят, подумала я. Но если эта ерунда приносит такие неожиданные результаты, то пожалуйста, на здоровье!..

Началась суматоха — каждый тянул гитару к себе и обещал свою неповторимую песню. Наконец победил Саша, и все расселись вокруг стола. Он поставил ногу на табуретку, склонился над гитарой и провел по струнам ласкающим движением, а потом взял резкий аккорд, призывающий к вниманию.

— Итак, баллада о благородном короле! Специально для тебя, Эвочка.

Он пошарил в раскиданной колоде и вытащил короля, даму и валета:

— Вот, полюбуйся. А теперь — приступим. Ребята, подпевайте!

И он запел.

— Много дней и ночей, много весен и лет восседали на карточном троне благородный король, и красавец валет, и лукавая дама в короне...

— Но с тех пор, как придумана наша земля, многим дамам назначено это,— хорошо спевшимися голосами подхватили Бессмертные,— избирает в супруги она короля, а целует красавца валета!

— Итак, перед нами — классический треугольник,— под струнные переборы прокомментировал Саша,— дело житейское. Слушай дальше, милая девочка. Но и в карточном царстве случается боль и томят-угнетают невзгоды. Помрачнел, погрустнел благородный король и ушел навсегда из колоды. Ни сыграть, ни сгадать на колоде моей! У валета дрожит алебарда — понимает, подлец: замещать королей не годится столь мелкая карта!..

— Понимает, подлец!— весело и выразительно подтвердил хор.

— Ты поди замени благородство и честь своенравного верного друга!— звонко, гордо, отчетливо бросал каждое слово Саша, и Эва, захваченная его энтузиазмом, вся прямо потянулась к нему.— А в постель к королеве случайно залезть — невеликая, братцы, заслуга. Если ждешь ты финала, так вот он, изволь! Но услышишь — и вдруг промолчишь ты...— Саша выдержал паузу и выдал какой-то причудливый пассаж.— Не встречался ль тебе синеглазый король — в седине, но с повадкой мальчишки?..— вдруг совсем без музыки прошептал он.

Песня была окончена, но Эва и не пыталась освободиться от ее власти. Она не хотела ограничиваться неожиданным финалом, она уже слышала в себе продолжение этой странной песни, и я хорошо понимала владеющее ею ощущение — ощущение того, что вот сейчас сбудется что-то предсказанное...

Вдруг ее глаза распахнулись. Я проследила за ее взглядом и несколько растерялась.

Во время беседы окно незаметно открыли снаружи, и на подоконнике появился восьмой Бессмертный.

— Дим,— представил его Саша, нисколько не удивившись.

В первую секунду мне показалось, что его окружает серебряное свечение — в такой странной гармонии находились одежда, смуглое нервное лицо и падающие на лоб

русые волосы с густой проседью. А ведь одет был этот Дим, как и некоторые другие Бессмертные, в темно-синие штаны, простроченные почему-то по швам оранжевыми нитками, и был на нем обычный серый свитер.

Не знаю, каким образом, но я сразу поняла — Дим натворит таких дел, что мы с Фернандо не обрадуемся. Слишком отчаянным, почти сумасшедшим, был светлый блеск его глаз, слишком резкими и тонкими — черты энергичного лица...

— Привет, старики!— сказал Дим.— Так это и есть Эва? Ну, здравствуй...

И протянул ей руку — крепкую и обветренную.

Я почувствовала, как у меня за спиной насторожился Фернандо. Видно, Бессмертный, лазящий в окна, один доставлял ему больше хлопот, чем остальные семеро.

Я настроила себя на биосвязь, которая нам когда-то очень удавалась. «Фернандо, Фернандо,— позвала я его, глядя в темноту за окном и явственно видя его лицо и слыша свой голос.— Нам уйти, Фернандо, нам уйти?»

Ответный сигнал был не информационным, а просто успокаивающим. Что ж, Бессмертные — его пациенты, ему виднее...

И сразу же за сигналом подошел он сам.

Я указала ему глазами на Дима.

«Конечно, Дим — гастролер и на все горазд. Но что он может сделать? По-моему, беспокоиться рано»,— примерно это передал мне Фернандо, но как-то не очень уверенно.

Подозрительный Бессмертный тем временем увел Эву к окну и что-то говорил ей. Она охотно отвечала. Меня прямо зло взяло — со мной, опытным психогигиенистом, она месяц играет в прятки, а тут — пожалуйста!.. Слушая ее, Дим облизывал полуоткрытые губы кончиком языка, а перед тем, как ответить, улыбался молниеносной улыбкой. Странная была у этого человека повадка — изящная, забавная и притягательная, все вместе. Я не видела, чтобы кто-нибудь еще так наклонял голову, заглядывая сбоку в лицо собеседнику.

Конечно, неплохо бы знать, что такое они обсуждают, но вмешиваться в разговор было как-то неловко. И я решила — бог с ним, с Димом, ведь разыгравшаяся интуиция обманывала и не таких великих эскулапов, как я. А вот спугнуть Эву, которая так потянулась к Бессмертным, было проще простого.

Дим вдруг стал делать руками какие-то пассы вокруг Эвиного лица. Это было до того похоже на методику Штейна-Курилова, что я сделала несколько резких шагов к ним. И услышала:

— Вот так, от пробора — на уши, на висках носили крупные заколки с цветами, и падали длинные трубчатые локоны. Попробуй, тебе это пойдет.

— Для этого надо отрастить волосы,— серьезно говорила Эва.

— Можно попробовать уже теперь. Ты не волнуйся, что этой прическе полтораста лет, она, может, опять в моду войдет.

И Дим говорил серьезно!.. Я ничего не понимала. Ну, что Дим хочет увидеть девичье лицо времен своей молодости — это еще можно было сообразить. Но что Эва станет слушать его — Эва, которая уход за своей внешностью свела к умыванию и расчесыванию недлинных и густых каштановых волос без помощи зеркала!

Я не стала мешать им, я махнула рукой на часы и предалась прелестям беседы о современной и исторической литературе — Бессмертные много читали. А в результате мы с Эвой удирали впопыхах — несколько раз в неделю Хьюнг поздно вечером выходил на видеосвязь и требовал отчета.

Фернандо на электрокаре уже ждал нас, а мы все еще прощались, целовались с Бессмертными, принимали пакетики с печеньем и сластями, что-то обещали, чему-то смеялись.

Странное дело — после этой шумной и в общем-то бестолковой беседы я чувствовала себя посвежевшей и даже веселой, чего уже давно не было.

— Знаете что?— сказал Фернандо, задав маршрут электрокару.— Я вам, пожалуй, дам жетоны, чтобы вы сами могли проходить через заградительный пояс.

— Почему вдруг такие привилегии?— поинтересовалась я.

— Бессмертным необходимы положительные эмоции. А вы им понравились.

Эва покачивалась на сидении электрокара и листала книжку стихов в оранжевой обложке, взятую на время у Бессмертных.

— А по жетону можно будет приходить к ним когда хочешь?— спросила она.

— Да, только не забудь, где пропускной автомат.

Мы подъехали к институту, нашли свой корпус и Эва первая стала подниматься наверх. Фернандо задержал меня.

— Ты оказалась права. Бессмертные и есть те люди, которые поймут Эву. Более того — может быть, именно она поймет Бессмертных. Мы пробовали вводить в их коллектив посторонних всех возрастов, кроме, разве что, ребятишек младшей группы. Наши добровольцы усердно занимались всей их гимнастикой, слушали музыку и полностью дублировали режим, но безуспешно. Есть между нами и ими какая-то граница... И вот мне показалось, что Эва может ее перешагнуть. Ты верно заметила — она не нашего, а скорее их века...

Эва воспользовалась жетоном и разрешением на следующий же день...

Я довольно быстро сообразила, куда она исчезла, и отправилась на поиски. Миновав пояс, я мигом заблудилась, вброд переправилась через ручей, спугнула какую-то пятнистую зверюшку, но в конце концов даже обрадовалась всему этому — здесь, в лесу, на меня снизошло неожиданное просветление. Я уселась на пень и стала думать о вещах, о которых до сих пор не находила в себе силы даже вспомнить по-настоящему. И тут послышались голоса.

По тропе проходили мимо Эва и Дим. Между нами была широкая полоса малинника, и они не заметили меня.

— Я все понимаю!— громко говорила Эва.— Я понимаю, как это, когда ты наедине с собой среди счастливых!.. Но ведь есть долг...

— Какой еще долг?

— Ну, перед человечеством. Вы же теперь ценность для человечества,— формулировки, которыми снабдил нас Фернандо, звучали у нее бойко, но как-то неубедительно.

— Человечество — это да!— покачал головой Дим.— Человечество мне памятник поставит в родной Одессе по проекту лучшего скульптора. А для человека? Ну, скажи ты мне, какому конкретному человеку тепло или холодно от того, что я существую. Если бы я не был Бессмертным, я бы помер, наверно, от сознания своей бесполезности. Что?

— Ты не бесполезный!— воскликнула Эва, а что сказать дальше — не знала. Я пришла ей на помощь — окликнула ее и встала со своего пня.

Мы встретились на тропе. Поздоровались. Я впервые посмотрела в глаза Диму.

До сих пор мне казалось издали, что они — черные, черные со светлым блеском. Ничего подобного! Эти пронзительные глаза были василькового цвета, ясного, густого и отчаянного.

Они были молодого цвета...

Мы заговорили о лесе, о травах, которые собирали Бессмертные, о травных чаях, что составляла Маша, еще о чем-то, и я никак не могла понять, в чем секрет обаяния этого человека. Эва, та просто в рот ему смотрела. А я по привычке пыталась анализировать, но не получалось.

Должно быть, я слишком долго жила в институте, где понемногу выработался стереотип общения, удобный для нас, людей одного круга, одного образа жизни, одного уровня развития. А Дим говорил неожиданные вещи, резко менял тему и сбивал собеседника с толку своими внезапными улыбками. Я стала понимать, как трудно давалось бедному Фернандо, вышколенному рационалисту, общение с Бессмертными.

Дим проводил нас до пропускного автомата на берегу реки и раскланялся, балансируя на круто склоненном стволе ивы. Ствол покачивался низко-низко над водой, и я в душе искренне пожелала Диму свалиться. Мое желание было так сильно, что Дим подсознательно принял его, как приказ — покачнулся но... все-таки удержался.

Мы с Эвой возвращались молча, и тут я вспомнила, что после моего появления она почти не принимала участия в разговоре. Впечатление было такое, будто они с Димом уже успели поговорить о чем-то важном, а теперь лишь развлекали меня, а, может, и отвлекали.

Вечером, когда я диктовала в кристаллофон свои сегодняшние наблюдения и планы на завтра, она вдруг вошла и села у моих ног прямо на колкий и упругий ворсолан.

— Знаешь,— сказала она,— со мной что-то странное происходит. Понимаешь — неожиданное... Когда я пришла в себя — ну, еще там, на «Сигме»,— я была страшно разочарована. Ну, не получилось красиво уйти, что же теперь делать? Во мне стало так страшно пусто, и даже думать не хотелось — что дальше... А потом я освоилась в этом состоянии — уже здесь, в институте, когда вы все начали меня исследовать и лечить,— и мне оно даже чем-то понравилось. Друзей рядом не было, они все в это время и без меня обходились, и я думала: это даже

неплохо, когда ты никому не нужна, но и тебе никто не нужен...

Эва впервые заговорила со мной о своем самоубийстве. Видно, пришел час.

— Да, я привыкла к этому состоянию. Вы все хотели лечить меня, а мне это не было нужно. Вы хотели отнять у меня единственное, что у меня было — память о том времени, когда я была такая счастливая... Понимаешь, тогда мне было скверно, но я была такая сильная и ради него была способна на все. Я так не хотела терять это, что создала вокруг себя оградительный пояс пустоты — как тот, вокруг «хижины»... С тобой бывало такое?

Вопрос прозвучал внезапно — уж не у Дима ли она научилась таким неожиданным вопросам? И тут уж я не могла ответить ничего, кроме правды.

— Было. Когда мой муж не вернулся из дальней разведки.

— Ой...— растерялась Эва.— Прости меня, пожалуйста, я не знала... Давно?

— Давно.

— Ты очень любила его?

— Я любила другого человека.

Девочке не понять таких вещей — подумала я с опозданием. Она и не должна сейчас думать, что это вообще возможно — любить одного и стать женой другого. Не надо ей знать и того, что мучительна верность, хранимая не телом и душой, а потревоженной совестью. Ни к чему ей это...

— Знаешь, с чего тебе надо было начать?— вдруг спросила Эва.— Тебе надо было рассказать мне о себе. Еще на «Сигме», пока меня выхаживали, и на транспортнике, все были такие грустно-вежливые, и ты тоже. Думаешь, приятно, когда все время рядом человек, которому велели тебя вылечить, и он всегда наблюдает, подмечает, дает советы, выслушивает любую чушь, и все с одним и тем же выражением лица! Я думала — когда изобретут биороботов, они будут именно такими! А зачем мне такое стерильное общение? Думаешь, я бы ничего не поняла? Вот Дим все о себе рассказал — как он путешествовал, и вообще...

Что ж, кисло подумала я, дожила — услышала профессиональные упреки, парировать которые нечем. С одной стороны — да, развитие контакта задерживалось не по моей вине, Эва сопротивлялась. С другой — я привыкла

к иным пациентам, к одиноким операторам космических маяков, к не выдержавшим напряжения космолетчикам из дальней разведки, к усталым и замкнутым подводникам. Я исправно лечила их, и они, стыдясь болезни, во всем шли навстречу, и возвращались в строй, и никому не была нужна моя нескладная биография.

— Когда-нибудь я все расскажу тебе,— пообещала Эва,— сама расскажу, без всяких погружений. Как я все это вижу. Но сперва я должна понять в себе что-то очень важное, чтобы и другие поняли...

Рано утром Хьонг вызвал меня на связь. Я доложила о благоприятном прогнозе лечения. Но на душе кошки скребли и похвала не радовала — я отлично знала, что не заслужила ее. Догадывалась я также, что перелом, происшедший в Эве, может, и начался в «хижине», за круглым столом, но состоялся в лесу, и — «под чутким руководством» Дима!

Два дня мы с Эвой занимались всеми положенными процедурами — оздоровляющими, укрепляющими, стимулирующими и так далее. По вечерам удирали к Бессмертным. Бессмертные по своей системе, обратившейся в Ритуал, слушали музыку в определенных позах и самоуглублялись. Мы с Эвой тоже усаживались к ним на ковер и молчали вместе с ними. Дим время от времени что-то советовал Эве. Надо мной взял шефство Алик — должно быть, по просьбе Дима, чтобы я как можно меньше мешала.

А к вечеру третьего дня, когда уже пора было собираться в гости, Эва пропала, и искать ее в темнеющем лесу не имело смысла. На Ритуал ни она, ни Дим не явились.

Оставалось ждать. Конечно, я могла выловить ее по «малой тревоге», но сразу бы обнаружились и наши визиты к Бессмертным, и незаконное получение жетонов. Даже страшно подумать, как бы нам за эту авантюру досталось, и неизвестно, кому больше — мне или Фернандо...

Вот я и ждала. Прилегла в ее комнате на постель, зарядила в кристаллофон кубик с каким-то развлекательным концертом, и ждала.

Разбудил меня поющий голос, который я спросонья восприняла как продолжение концерта. Вслушалась — и проснулась вмиг. Пела Эва, первый раз со времени нашего знакомства. И что она пела?.. Балладу!

— Ты поди замени благородство и честь своенравного верного друга!..

Мягко шлепнулись на ворсолан ее белые туфельки; раздеваясь она кружилась по комнате.

— Если ждешь ты финала, так вот он, изволь! Но услышишь — и вдруг промолчишь ты...

Тут Эва все же заметила, что на ее постели кто-то лежит, опустилась передо мной на корточки и пропела шепотом, как Бессмертный Саша тогда, на веранде:

— Не встречался ль тебе синеглазый король, в седине, но с повадкой мальчишки?

— Встречался,— ответила я.— Этому твоему королю надо бы по шее дать за ночные гуляния. В двести лет такое вытворять... Что за нелепый человек!

— Он не человек, а птица,— совершенно серьезно объяснила Эва.— Мы по ошибке приняли его за человека. Да ты только посмотри на его нос!

— Птица?..

— Особенно, когда он вдруг спросит «что?» и заглянет в лицо. Спросит — как клюнет. Совершенно птичье слово и птичье движение.

— Так...— сказала я.

— У меня прямо ноги отнялись. Я давно так много не ходила. И знаешь — по каким-то тропкам, глина скользит, каблуки подворачиваются, в траве кто-то пропыхтел вот так — чуф-чуф-чуф! Дим побежал следом, потом позвал. Смотрю — сидит на корточках, кого-то гладит и говорит — не бойся, он колючки прижал. Представляешь — ежик!

— Представляю...— сказала я.

Не стой передо мной девушка, которая месяц назад пыталась покончить с собой, и не воротись она со свидания с двухсотлетним прапрапрадедом, я бы могла подумать, что она попросту влюбилась в Дима...

— Да, пока не забыла, он просил передать, что хочет тебя видеть.

— Зачем?

— Не знаю.

— По-моему, этот безумный Дим в тебя влюбился,— не выдержала я.

— Да ему же двести лет! Разве можно в двести лет влюбляться?— изумилась Эва. Видно, предельным возрастом для такого дела она считала двадцать восемь...

Я не стала ей говорить о том, что с людьми случаются,

как правило, именно непредвиденные вещи. Но Диму все же придется объяснить ситуацию...

Так я и сделала. И даже не пришлось проявлять для этого какую-то инициативу. Дим сам потребовал именно информации о болезни Эвы.

— Вам же рассказывал Фернандо перед нашим приходом,— сдипломатничала я.

— Да, сказал, что девочка перенесла тяжелое потрясение, что мы должны отнестись к ней со всей чуткостью. Отец у нее в дальней разведке, мать почему-то не может прилететь с межпланетной, так что от нас потребовали родственных чувств, по всей видимости. Ну, с девочками было легче — Эва им вроде любимой внучки. Маша учит ее вязать, Диана — варить цукаты, Асночка — составлять картинки из всяких сушеных цветов и трав. Полтораста лет назад это было в моде. А я хочу знать, что с Эвой на самом деле.

Он упорно смотрел мне в глаза своими отчаянно-синими... Ладно! Дим хочет ответа — Дим получит ответ!

— История, конечно, странная и неприятная,— сказала я,— но будем надеяться, что без серьезных последствий. Эва пыталась покончить с собой из-за несчастной любви.

Он нисколько не удивился.

— Да, она такая...— странно усмехаясь, сказал Дим.— Это в ней есть. Способность так любить... Даже удивительно в ваш век...

— Поэтому, Вадим Петрович,— совершенно официально заявила я, мы с вами должны как можно осторожнее обращаться с Эвой. Она, как вы сами заметили, человек не нашего века, она очень впечатлительна, неконтактна, и потребуется время, чтобы она окончательно пришла в себя. Не надо беспокоить ее понапрасну.

— Почему же?— возразил Дим.— А, может, ей теперь необходимо именно беспокойство? Не собираетесь же вы, в самом деле, оставить ее наедине с воспоминаниями о том поганце, из-за которого?..

— Не собираемся, конечно! Скоро курс лечения будет окончен, Эва покинет институт, поедет работать, встретится с новыми людьми. Все должно идти естественным путем.

— Но сейчас-то ей нужна помощь!— настаивал Дим.

— Мы и оказываем ей помощь — вы, я, все...

— Да не такая, не медицинская...

— И медицинская тоже! Эва была в состоянии депрессии — мы это состояние сняли. Гиподинамию, которой иногда страдают межпланетчики, тоже устранили. А психогигиеническую помощь позвольте уж осуществлять мне.

— Весь вопрос в том, от чего вы собираетесь спасать ее,— перебил меня Дим.— От способности остро и ярко воспринимать мир, жизнь, чувства? От способности ощущать боль? Да ведь она может быть счастлива только на краю бездны, когда все обострено до предела! А если этого края не будет, она всю жизнь станет по нему тосковать, потому что однажды там уже побывала!

— Я очень благодарна вам и всем Бессмертным за содействие, но хотела бы сама контролировать состояние Эвы,— удивительно, как это мне удавалось сохранять официально-благожелательный тон! Я-то знала, насколько он прав, но согласиться с этим отчаянным Димом — значило выпустить его на свободу, и поди знай, какие невероятные решения созреют в его буйной серебряной голове...

— Ради бога, контролируйте! Но пусть Эва по-прежнему приходит к нам, мы ей рады, и...

— А не принесет ли ей это теперь больше вреда, чем пользы? Ведь девочка должна жить и работать в двадцать втором веке, а не в двадцатом. Дадим ей способность вернуться в нормальную обстановку. Пусть живет, учится, встречается со сверстниками, с молодежью. А потом... Ведь должен же прийти кто-то, кто заставит ее забыть того... Тенгиза... Какой-нибудь молодой, красивый, надежный парень...

— И главное условие при этом — молодость кандидата?

Эва была права, спросил — как клюнул. Но ничего странного и ничего настораживающего не почуяла я в этом вопросе.

— Молодость, доброта, верность...— начала я перечислять.

— А почему вы не сказали о главном?— агрессивно спросил Дим.— Почему вы не сказали о том, что этот прекрасный незнакомец прежде всего должен так полюбить Эву, что она станет для него главным в жизни?

— Само собой разумеется!— я держалась стойко, но меня смущал его блестящий, острый взгляд.

Мне повезло — Дима позвали обедать. И я ушла.

У пропускного автомата меня догнал Фернандо.

— У меня к тебе просьба,— решительно заявил он.— Верни, пожалуйста, жетоны, которые я дал вам с Эвой.

— Вот мой, забирай, Эвин я пришлю вечером. А что случилось?

— Вам пока нельзя приходить сюда!— Фернандо был здорово сердит.

— Мешаем Бессмертным?

— Одному Бессмертному! Он один их всех стоит!

— А подробнее?

— Подробнее — этот окаянный Дим на пороге стресса. И попробуй предложи ему биосон! Знаешь, куда он мне посоветовал отправиться с камерой биосна вместе? А стресс для Бессмертного — это ты сама понимаешь, что такое. У нас с тобой миллиарды нервных клеток в резерве, а у него? То-то, подруга... Все Бессмертные согласились на ровное и размеренное существование — это единственная возможность для них успеть передать нам тайну авторегенерации. Один этот чудак не унимается! О чем вы с ним говорили? С чего он так взъерошился?

— Это все из-за Эвы...— понуро объяснила я.— Как видишь, моя гениальная идея оказалась с трещиной... Эву надо немедленно увезти из института.

— Оказывается, не одному мне закралось в душу столь нелепое подозрение...

Мы помолчали. Потом я вопросительно посмотрела на Фернандо, и он понял, что я заранее согласна с любым его решением.

— Хьюнгу ничего объяснять не станем,— наконец постановил он.— Отправку Эвы я беру на себя. Она может пожить в лагере отдыха межпланетчиков, а дальше видно будет. Сложнее с Димом.

— Включи «блок тревоги» на контрольном пульте,— посоветовала я.

— Уже включил, и даже ввел заниженные индексы на всякий случай. Какое-то время придется ночевать в дежурке у пульта. Вот тоже радость — ему таракан приснится, а у меня под ухом сирена завоет!

Заговор был составлен.

Но мы опоздали. Жетон у Эвы следовало забрать еще вчера. Это была первая ошибка. Вторая — Дим еще при стычке с Фернандо, видимо, сообразил, что против него будут приняты какие-то меры. А в результате — Эва не

пришла ужинать, а я не могла отправиться на поиски в лес, потому что у меня не было больше жетона.

Эва вернулась ночью, усталая и серьезная.

— Прости меня...— сказала она.— Я знала, что ты будешь беспокоиться, но не могла его оставить...

— Что произошло?!— я вскочила.

— Произошло то, что Дим признался мне в любви. Не говори ничего, пожалуйста, я верю каждому его слову, он единственный здесь, кому я так верю...

Я вздохнула. Я уже поняла, что с Димом можно только так — верить безоговорочно, потому что он не прибегал ни к каким уловкам.

— И что же ты собираешься делать?

— Не знаю... Мне страшно что-то решить. Я так боюсь за Дима, если бы ты знала! И за себя боюсь — наверно, много лет спустя я буду знать точно, как должна была поступить, а сейчас — нет, не могу, у меня все спуталось, я шла и пыталась найти опору в том, ну... в прошлом и даже испугалась — как давно все это было! А ведь прошел только месяц. Я не знаю, что буду делать...

Мне удалось убедить ее, что она должна немедленно уехать. Она слушала меня сосредоточенно и не перебивала. Как я положилась во всем на Фернандо, так она от растерянности положилась на меня. Она понимала, что значит для науки жизнь Бессмертного. И, понимала, что не имеет права создавать стрессовую ситуацию.

Рано утром я проводила Эву. Фернандо позаботился о пропуске в лагерь межпланетчиков.

— Если Дим станет меня искать, передай ему, что я уехала к матери,— до последней минуты внушала мне Эва.— Передашь? Только поосторожнее.

Она вернула Фернандо жетон, подхватила сумку и побрела к лифту, ведущему к подземке — единственному виду транспорта, связывающему нас со всем остальным человечеством. На ней было то же белое платьице, в котором она впервые пришла к Бессмертным, волосы она разделила на прямой пробор и заколола шпильками с большими мохнатыми цветами. Темные пряди мягко легли вокруг осунувшегося лица, и вся она была такая обиженная, такая растерянная, что я даже не смогла улыбнуться ей и помахать рукой, когда она входила в кабину лифта.

И прошло два дня без Эвы. И я начала работу с двумя новыми пациентами. И я избегала Фернандо, а он избегал

меня. И я не смогла передать Диму, что Эву срочно вызвала мать...

...Уже светало, когда я проснулась от ощущения, что на меня смотрят. Я открыла глаза и лишилась дара речи. На подоконнике, подтянув колено к подбородку, сидел какой-то человек, поджарый и черный, как негр, с серебряным сиянием вокруг головы. И мне потребовалось время, чтобы сообразить — ну, кто же еще во всем Эстибеле способен лазить в окна по ночам?

— Ой, мамочки...— выдохнула я.— Дим! Что это вы с собой сделали?

— Что сделал, что сделал!— недовольно передразнил Дим.— С пигментацией переборщил. Вот что сделал! Сам себя в зеркале не узнал. Одно слово — эфиоп! Я впервые с пигментацией экспериментировал. Не этого эффекта добивался, конечно. Седина вот как была, так и осталась.

Дим подошел к моему настенному зеркалу и внимательно изучил себя с головы до ног.

— А в общем ничего,— одобрил он.— Так даже интереснее.

Я посмотрела на Дима, и узнавая, и не узнавая его. Впервые в жизни нахлынуло на [illegible] такое изумление. Это был он — его васильковые глаза, и острый нос, и повадка, и голос, но пропали [illegible] морщины на щеках и у глаз, он постройнел, похудел, и в каждой черточке светилась дерзкая, победная молодость.

— Прямо вижу в газете заметку «Чудеса авторегенерации»!— насмешливо сказал Дим, наслаждаясь моим онемением.— А что? Правда, неплохо получилось? Фернандо в обморок рухнет! Я сам не думал, что на это уйдет только два дня. Сюрприз самому себе. Где Эва?

Вопрос был задан, как всегда, неожиданно, но зло и жестко.

— Уехала вчера утром.

— Куда?

— Точно не знаю.

— Верю, что не знаете... А как вы думаете?

— Скорее всего, в лагерь отдыха межпланетчиков — но их же столько, этих лагерей...— Какая глупость! Я же только что собиралась сказать, что Эва уехала к недавно прилетевшей матери, и вот ни с того ни с сего брякнула правду! Надо было исправлять положение.— Может быть, Эва вернулась в училище — она выздоровела и может продолжить практику...

13—1591

Сказать ему заведомую неправду я все-таки не смогла.

— Ну, это уже кое-что,— загадочно произнес Дим.— Но хоть бы предупредила! Я столько часов зря потратил на ожидание. А черт их знает, сколько их у меня еще осталось...

И только тут я действительно и окончательно поняла, что натворил этот безумец Дим.

«Вы сошли с ума!»— хотела я крикнуть, но даже и прошептать не смогла. Однако он догадался.

— Почему же? Это ведь так просто — опять стать молодым!— он же еще и издевался надо мной!— Стоит только очень захотеть... Теперь у меня задача посложнее — найти Эву.

— Не делайте этого,— жалобно попросила я.— Дайте ей прийти в себя, вылечиться...

— Ее можно вылечить только одним лекарством на свете — моей любовью,— заявил Дим.— Мы с ней звери одной породы, только я могу отогреть ее.

— Почему это — отогреть?

— Потому что вы ее своей психогигиеной совсем заморозили. Зачем ей ваш дистиллированный воздух? Когда женщине больно, рядом должен быть надежный мужчина, который ее любит. Раньше был такой символ — якорь спасения...

— Вы сошли с ума, Дим,— наконец-то я сказала эти слова.— Вы же ей в прапрапра... не знаю сколько «пра»— дедушки годитесь!

В ответ Дим прошелся по комнате на руках.

— Ну, сколько мне лет?— спросил он, барабаня подошвами по стене.— Ну? Двадцать два, сударыня, а моя мама в свое время запретила мне жениться в двадцать два года — сказала, сынок, тебе еще рано. Когда я приводил себя в порядок, то ориентировался на ту фотографию, где мне именно двадцать два. А с пигментацией я еще разберусь. Не пройдет и недели, как грива моя потемнеет.

Он встал на ноги и почистил ладони о штаны.

— Фернандо вас уже видел? — вдруг забеспокоилась я.

— Если бы он меня увидел, то первым делом засунул бы с перепугу в камеру биосна.

— Да вы хоть понимаете, что натворили?

— Понимаю,— неожиданно спокойно ответил Дим.— Но я люблю Эву. А молодость — это единственное, что

приблизит меня к ней. И не надо мне в сотый раз объяснять, что я должен экономить секунды своей драгоценной жизни. Сам знаю все ваши доводы. А какого лешего двухсотлетнему деду еще чего-то экономить? Настало время тратить, и тратить щедро, с восторгом! Господи, сколько во мне накопилось душевной силы, даже жутко становится. И неужели все это никому не нужно? Дудки! Свершилось — я встретил женщину, которой я нужен, я бросил к ее ногам все, что имею, и я совершенно счастлив! Что?

А мне и ответить-то нечего было на это провокационное «что?» Я растеряла все мысли и слова, любуясь его юным, возбужденным, прекрасным лицом, меня гипнотизировали острые взлеты и падения его выразительных рук.

— И что же вы собираетесь делать? — наконец спросила я.

— Как — что? Найти Эву! — [illegible]но это было таким тоном, будто Эва вышла [illegible] в парк.

— Вы не можете уйти [illegible] пульта, вас запеленгуют и вернут.

— Верно,— согласился [illegible] Уже два раза возвращали. Было дело. Но теперь [illegible] поможете. Отключите пульт. Мне главное — [illegible] в грузовой вагон подземки, а расписание я знаю, и где лифты — тоже знаю.

Это было уже слишком!

— Дим, вы действительно сошли с ума!— больше сказать мне было нечего. — Я сейчас же свяжусь с Фернандо, пусть он приедет и заберет вас...

Дим внезапно расхохотался.

— А что, здорово я распорядился своим бессмертием? Не забудьте потом вскрыть покойничка и сосчитать, сколько нервных клеток сгорело, пока я возвращал себе молодость!

— Обязательно...— пообещала я.

— Что бы теперь не затеял Фернандо, молодость он у меня не отнимет! Читали Пушкина? «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья — бессмертья, может быть, залог...» Это проклятое бессмертие до сих пор не принесло мне ничего, кроме потерь. Все, кого я любил, ушли. А теперь, когда я сам вышел на край пропасти, я опять люблю и опять счастлив. И чувствую себя воистину бессмертным. Что?

А я не могла отвести от него глаз...

Дальше было вот что — он вылез в окно и убежал. Я долго смотрела ему вслед, соображая — где же он пересекает заградительный пояс? Скорее всего, рассекретил и повредил какой-нибудь пропускной автомат, с него станется...

Я стояла и с ужасом думала о том, что вот сейчас я, врач, специалист, отправлюсь — как? жетонов-то нет!..— в дежурку, неподалеку от «хижины» Бессмертных, где спит Фернандо, и сделаю нелепое, невозможное, необъяснимое — проедусь ладонью по клавиатуре настройки, или отключу блок сигнализации, или еще что-нибудь натворю, столь же безумное...

Мной владела какая-то страшная сила, родная сестра той, что погнала Эву ночью в медблок и вернула молодость Диму. Я чувствовала себя птицей, уводящей охотника от гнезда, где сидят беспомощные птенцы.

И увела.

Я послала Фернандо биополевой сигнал тревоги. Я отчаянно звала его — и он встретил меня на опушке леса, отвез к себе, стал расспрашивать, успокаивать, и его руки легли мне на виски, а я сопротивлялась тяжелым, обволакивающим, тягучим волнам отрешенности, которые наплывали на меня. И моя воля оказалась сильнее!

И была секунда победы над Фернандо, когда я хладнокровно и с радостью, твердой рукой выполнила просьбу Дима.

Мы расстались с Фернандо в парке. Он дал мне электрокар и вернулся к себе, но через минуту выскочил.

— Когда ты пришла ко мне, пульт работал?— издали закричал он.

— Откуда я знаю? Экраны светились!

По сигналу «малой тревоги» сбегались ассистенты и операторы. Я вместе с ними вернулась к пульту. Шум стоял страшный. Фернандо тщетно пытался включить блок памяти.

И лишь через час хватились Дима, но, поскольку уникальный пульт бездействовал, беглец был неуловим.

Со дня побега прошло несколько недель. Мы с Фернандо получили все положенные порицания и выговоры от Хьюнга. И вот я сидела в кристаллотеке и готовилась

к приему нового больного, когда на экране моего портативного видео возникло лицо Фернандо.

— Скорее к главному входу! — приказал он и исчез.

Я помчалась на чьем-то оранжевом электрокаре.

Навстречу двигалась странная процессия. Впереди шли Хьонг и какой-то космолетчик с погонами капитана. За ними плыла больничная автокаталка, справа от которой шел Фернандо, а слева, не отрывая глаз от лица того, кто лежал на каталке, Эва!

И я сразу поняла, кто это...

— Не трогай, — удержал меня за руку Фернандо. — Прежде всего биосон и обследование. Потом — посмотрим...

— Это я во всем виновата, — сурово сказала мне Эва. — Я должна была [illegible] согласиться. Нам надо было остаться на «Деме» [illegible]

Тем временем [illegible] Хьонгу, как на межпланетной [illegible] врачи на транспортнике пытались [illegible] приземлялись на незнакомом [illegible] близком к Эстибелю...

Мы с Эвой напряженно [illegible] острый профиль Дима, я — справа, она — [illegible] могли помочь ему этим.

Его негритянский загар [illegible] посветлел, и лицо с закрытыми глазами [illegible] бы совсем мальчишеским, если бы не седая прядь, которую откинул со лба ветер — Дим не успел разобраться с пигментацией...

— Меня оставят с ним? — спросила Эва.

— Не знаю, — мрачно ответил Фернандо. — И вообще вам бы лучше уйти...

Я поняла.

— Пойдем, в самом деле, — говорила я Эве, глядя куда-то в сторону. — Пойдем. Когда мы понадобимся, нас позовут. Еще неизвестно, что будет...

— Да знаю я, что будет! — воскликнула Эва, и ее голос стал до крайности похож на голос Дима. — Вы же найдете, вы обязаны найти какой-то выход из положения! Вы же врачи! Он не может умереть, он Бессмертный!..

— А знаешь, за что он заплатил и бессмертием, и, может быть, жизнью? — резко спросил Фернандо и в упор, сурово посмотрел на нее.

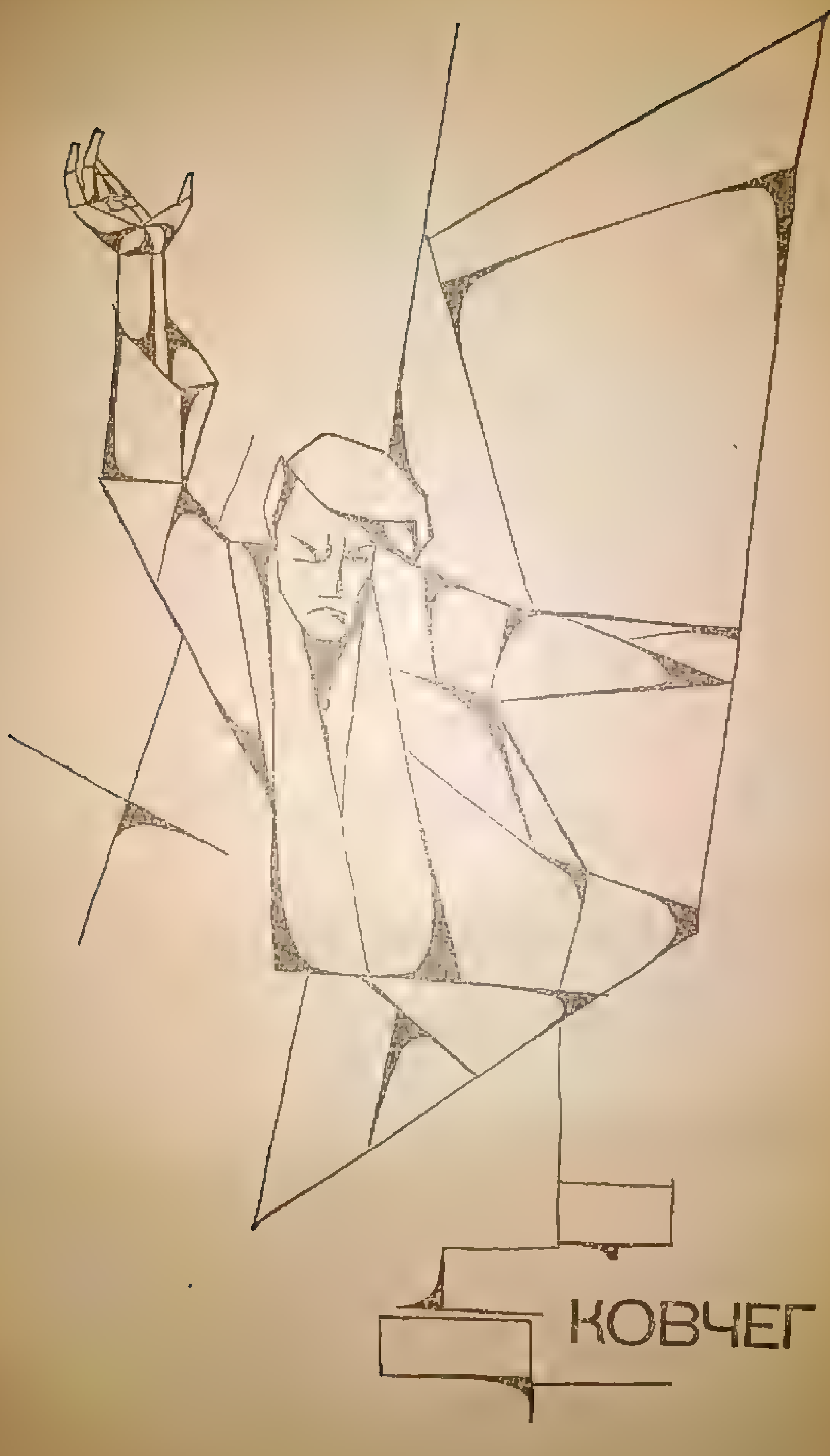
— Знаю — за меня! Он отдал мне все, и я отдам ему все, слышите? Я останусь здесь, в институте, ведь тут

полно видеоустановок, и операторы вам нужны. Я никуда отсюда не уеду, так и знайте!

Она ждала сопротивления, но мы молчали.

Тогда Эва вдруг улыбнулась, склонилась над каталкой и стала целовать серьезное, отрешенное лицо Дима, его закрытые глаза.

— Все будет хорошо, слышишь?— говорила она ему.— Все будет хорошо... И когда ты откроешь глаза, то увидишь меня...


КОВЧЕГ

Первая гусеница: «Когда же этот учитель станет наконец бабочкой? Ведь еще со времени наших прапрапрадедов он только и делает, что ползает по земле. Вторая гусеница: «Может быть, люди и не превращаются в бабочек». Первая гусеница: «Нет, вроде бы превращаются. Посмотри, кто-то летает». Вторая гусеница: «Ну конечно же, кто-то летает. Но как это отвратительно выглядит! Мне кажется, люди лишены даже чувства прекрасного».

Р. Акутагава (из «Записок Якусити»)

У тау-китян
вся внешность — обман,
тут с ними нельзя состязаться:
то явятся,
то растворятся.

В. Высоцкий

Не следует насиловать природу, следует повиноваться ей... необходимые желания исполняя, а также естественные, если они не вредят, а вредные сурово подавляя.

Эпикур

СКАЗКИ СЕРОГО ВЕКА

Приют Надежды

Маленькой голубой фее жилось очень плохо. За последние сто лет [illegible]. Исчезли тенистые леса с желудевыми [illegible] старые сады, где августовскими ночами [illegible] падали в траву истекающие соком яблоки. [illegible] подстриженные деревья аккуратно [illegible] три раза в год. Между их прямыми серыми [illegible] автоматы, выдергивая каждую пробивающуюся травинку. Едко пахли питательные смеси. От этого запаха у феи болела голова.

Поля и луга были перерезаны лентами дорог. Фея уже забыла, как выглядит обычный колокольчик, а ведь прежде полевые цветы давали приют тысячам ее подруг. Пышные розы городских садов складывали на ночь шуршащие пластиковые лепестки.

Больше всего в этом непонятном мире ранили нежное сердце феи дети. Они стали такими странными... Они — подумать страшно — не знали, что такое фейная сказка. Фея была уверена, что самые маленькие из них даже не слыхали слова «сказка».

Совсем недавно, отчаявшись, фея, вопреки всем правилам, прилетела днем в детский городок на берегу стерильно чистого озера.

Два маленьких мальчика сидели на песке и о чем-то серьезно разговаривали.

Фея опустилась на дорожку и спросила прерывающимся от волнения голосом:

— Хотите услышать настоящую фейную сказку?

Мальчики разом замолчали, переглянулись, потом один из них недовольно пробормотал:

— Совсем никуда не годятся реле у этих автигров, опять программирующее устройство барахлит.

Мальчик забавно картавил.

— Сейчас посмотрим схему. И он решительно полез за отверткой в карман коротеньких штанишек.

Фея в ужасе улетела. Вспомнив об этом сейчас, она горько заплакала. Слезы превращались в голубые жемчужины и, постукивая, катились по серой дороге. Когда-то люди удивлялись и радовались, находя эти жемчужины в росистой траве. Завтра никто не найдет слез феи — гусеницы тяжелых транспортных машин превратят их в перламутровую пыль.

Незаметно наступила ночь, стало холодно. Была середина мая, но в воздухе не было слышно жужжания жуков, даже лягушками не пахло возле маленького болотца. Вдалеке светился огнями огромный город. Фея устала и продрогла. В который раз пожалела она о своем бессмертии. Легкие крылья ее поникли.

И вдруг перед усталой путницей темной стеной встали деревья. Это был настоящий лес. Землю устилал мох, курчавился молодой папоротник. Маленький ручей проскользнул между корнями старой сосны и вырвался из леса на опушку. Здесь стоял большой дом, окруженный изгородью. В саду цвели яблони. Тонкий аромат цветов опьянил фею. Она качалась в розовых чашечках, и лепестки кружились в воздухе вместе с ее быстрыми крылышками. Потом фея заглянула в приоткрытое окно, и глаза ее встретились с широко открытыми глазами ребенка, сидевшего в кроватке. На стене висели рисунки: на них цвели большие колокольчики, бродили добродушные коровы и голубели таинственные замки. На столе дремали пластилиновые рыцари.

— Неужели ты прилетела ко мне? Ты ведь фея?— тихо спросил мальчик.

— Ты узнал меня? Я фея, голубая фея. Хочешь ли ты послушать фейную сказку?— фея задыхалась от радости.

Потом все было чудесно. Комнату заполнили сказки. Фея взмахнула палочкой, и на стенах расцвели чудесные цветы, они превратились в бабочек и закружились в пестром хороводе, тихо звенели серебряные колокольчики. Фее хотелось еще и еще творить простые, добрые чудеса. Сейчас у нее все получалось. Ведь и у фей опускаются руки, когда в них никто не верит.

Мальчик уснул. Во сне он улыбался. Счастливая фея

устроилась на ветке, заглядывающей в комнату, и закрыла глаза. Из-за верхушек деревьев выплыла луна. Она залила холодным мерцающим светом лес, тихий дом, изгородь и табличку на ней: «Спецшкола-интернат для детей с пороками в техническом развитии».

Последний

Широкие самодвижущиеся дороги были пустынны, в небе не гудели стаи турболетов. Человечество замерло у стереотелевизоров. На экранах сверкала операционная под прозрачным куполом, сновали медицинские роботы, крупным планом появлялись озабоченные лица врачей.

А он, почти невесомый, лежал на воздушной подушке и тускнеющим взглядом смотрел на всю эту суету. Грудь едва поднималась, лишь чуткие приборы могли уловить биение усталого сердца. Борьба за его жизнь длилась уже сутки, но все было напрасным.

В его памяти промелькнули видения чего-то непостижимо прекрасного: зеленое, волнующееся море вершин, мягкие коричневые крошки, теплые, ласкающие солнечные лучи... Он в своем стеклянном жизнеподдерживающем боксе никогда не видел всего этого, но голос крови, голос далеких предков пробудил вековую память крохотного существа, сладкой мечтой успокоил боль.

Он встрепенулся и затих уже навсегда. Так умер последний воробей на земле.

КОВЧЕГ

Первым долгом, парень, на судне должны быть чистота и полный экологический баланс. Чтоб никто никого не жрал, не обижал, чтобы никто потомством не обзаводился, ясно? Как увидишь этакое безобразие — сразу дуй ко мне, а уж я найду на них управу. Сам в это дело не лезь. Съесть, может, и не съедят, но покалечить могут.

Да ты садись, не стесняйся. Вон, на тот мешок с кормом. Звать меня можешь без церемоний — дядюшка Крунк. Есть, правда, некоторые молокососы, кому надо крепко надрать уши, так они зовут меня старым свистуном. Ты ведь не из таких, верно? Значит, дядюшка Крунк, и точка.

В прошлом месяце у нас тоже был практикант вроде тебя. Штурману с ним возиться было некогда, и парня, само собой, сплавили ко мне в трюм. Помощник из него получился уж больно интеллигентный, то есть, сам понимаешь, никудышный. Не то, чтобы отлынивал, просто норовил не столько работать, сколько соображать. Вместо того, чтоб самому толком продраить трюм, этот паршивец приволок с жилой палубы киберуборщика. Едва зверюшки увидели кибера, с ними приключилась форменная истерика. Щипухи подняли гам, змееглав со страху загадил клетку доверху, а хвостодонт с Ганенбейзе выломал переборку, поймал кибера и съел. Потом ветврач два дня ему брюхо резал автогеном, все искал корабельное имущество. Во-он он, хвостодонт, за террариумом. Ты не бойся, он, пока сытый, вполне смирный.

Значит, никаких киберов. Эта вот штука называется швабра, сынок. Небось, и не видывал никогда? То-то. Ничего, освоишь, дело нехитрое. Если зверюга зубастая, в клетку к ней не лезь, окати из брандспойта пол, и все

тут. А вон ту трехглавую скотину, вроде дракона, вообще стороной обходи. Огнем плюется.

Ты, я вижу, парень смирный и понятливый. Это хорошо. Слушайся меня, как родную маму, и самодеятельность мне тут не разводи. Тот практикант, видишь ты, захотел клетки покрасить. Оно вроде неплохо придумано, только едва парень влез к гигантскому скунсу с Тамальты, этот зверь его так уделал, что мое почтение. Уж на что я привычный ко всему, и то с души воротило, когда рядом стоял. А сам он прямо-таки купался в одеколоне, и все равно не помогало. Хоть противогаз надевай. Такие дела.

Ты чего трепыхаешься? Чего вскочил, говорю? Ты не волнуйся, это камнедав орет. Скучно ему. Сиди себе спокойно, часок поорет и сам перестанет. Как говаривала моя покойная старуха, на всякий чих не наздравствуешься.

Так о чем бишь я? Ага, вот. Сам я на Ковчеге с первого дня, с тех самых пор, значит, как академик Фуск выдумал эту самую программу спасения редких видов животных. Была такая планета, Пиритея, и на ней водилось видимо-невидимо разной живности. Ох, как ее изучали — вдоль и поперек, и всяко-разно. На каждую скотинку приходилось по профессору да еще по целой куче диссертантов, не считая студентов с лаборантами. Они бы там до сих пор науку двигали всем нам на радость, да только в один погожий денек врезался в Пиритею здоровущий астероид. Тряхнуло ее-таки основательно, и полматерика снесло к чертовой бабушке. Это было бы полбеды, но еще и наклон оси к эклиптике поменялся, полярные шапки растаяли, и вышел, значит, на Пиритее самый что ни на есть всемирный потоп. Вот тогда-то Фуск свою программу и предложил. Вывезти оттуда всю живность вместе с фауной и на другой подходящей планете ее поселить. Академику что, его давным-давно птицеящер съел, и в Главном Космопорте поставили его бюст аккурат напротив закусочной. А мы до сих пор возим всякую нечисть — сначала с Пиритеи, потом с другой планеты, где солнце погасло, потом еще со всяких-разных.

Взять ту же Марианду. Порешил Галактический Совет целиком пустить планету на руду. А мы, значит, подчистую вывозили оттуда биосферу. Эта биосфера у меня вот где сидит. Скажем, забрали мы с Марианды красных термитов. Собирали их, когда они были в спячке. Ну, а в полете мураши взяли да и проснулись. Прогрызли ходы,

с полдюжины переборок попортили, добрались до резервного двигателя и сожрали там весь уран. Хорошо еще, до ходового реактора добраться не успели. Мы их, паразитов, жидким гелием замораживали. А потом еще в капитальном ремонте два месяца прохлаждались.

Или Альмар. Там такая история приключилась, что ты... Слышал, небось? Неужто нет? Да об этом вся Галактика знает.

Ты чего ежишься? Ну да, запах тут, прямо скажем, не ахти. Некоторые с непривычки в обморок падают. На-ка вот фляжку, отхлебни. Не употребляешь? Ну и зря.

На Альмаре, значит, выращивали капусту. Ох, до чего шикарная капуста была, ну прям-таки с меня ростом. Все шло как по маслу, пока не появились десятиножки. Эдакие букашки с карандаш величиной. Расплодилось их видимо-невидимо, жрут капусту подчистую, и никакие химикаты их не берут. Тут профессора опять же почесали в затылке и порешили развести на Альмаре широкозобых туканов. Сказано-сделано, развели их тьму-тьмущую, и тогда десятиножкам пришел форменный капут. А заодно и голубым пяденицам. Как только пропали пяденицы, начали дохнуть с голоду четырехкрылые гуськи. Тогда стали истреблять туканов, разводить пядениц и спасать гуськов, потому как от ихнего помета зависел рост дубовых рощ, в которых водились буравчики, у которых симбиоз с ползучим бородавочником, которым питались хабры. А уж с хабрами шутки плохи. И пошла катавасия. Как говаривала моя старуха, нос вытащишь — хвост увяз. Когда начали дохнуть зубодуи, тогда уж стали всю биосферу переселять. Прилетели мы на Ковчеге. Глядь по сторонам — пусто. Вся планета лысая, только какие-то заморыши ковыляют по песочку. Даже до половины трюм не загрузили, так мало живности осталось. Вот и вся тебе капуста.

Ну, значит, так. На тебе швабру, тряпку, ведро. Ежли станет худо, вон там голубой краник. Отверни и подыши кислородом. Уши можешь ватой законопатить.

Я буду в соседнем отсеке, так что не бойся. Особо не прохлаждайся, дела невпроворот. Конечно, прежде всего — мытье, но и за зверюшками поглядывай.

Не приведи господь, ежели они начнут деток заводить. А то в одном рейсе у нас двуглавая питониха разродилась от камышового дикобраза. Детки стали плодиться дальше. Чуть не каждый день — новое пополнение. До того жи-

вучие гадины оказались, никакая холера их не брала. В конце концов сняли мы с турели метеоритную пушку, всей командой приволокли в трюм и этих гадов перестреляли. А то бы они сожрали биосферу с двух планет, да и меня впридачу. Пушка теперь тут лежит, на всякий случай. Полезная штука, правда, пользуемся мы ею редко. Без меня ты вообще до нее не касайся, а то из нее обшивку продырявить — раз плюнуть, понял?

Да, еще. Ты, сынок, держись подальше вон от той клетки. Там у нас самые злобные и опасные на всю Галактику твари. Просто чокнутые они, эти двуногие солдатики. Передрались промеж собой и всю свою планету как есть загадили. Теперь вот их осталось всего-навсего три экземпляра. Ты с ними держи ухо востро. Вчера я за кормежкой зазевался, так мне один солдатик чуть верхний щупалец не оторвал.

Ладно, пойду я. Заболтался с тобой, а мне ведь еще хрипуна кормить. Через часок опять зайду — поглядеть, как ты справляешься.

Дядюшка Крунк встал, ухватил щупальцами мешок и выполз в соседний отсек. Практикант взял в клешни швабру и принялся за уборку, стараясь не обращать внимания на клетку с двуногими солдатиками, которые сучили кулаками и хрипло ругались на своем неведомом языке...

ЗАКОН ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА

Агрессия не была в почете. Напротив, агрессора после неудавшейся попытки ждали жесткие челюсти голодной капеллы, и его судьба ни у кого не вызывала сострадания. Обычно его окружали вчетвером. Некоторые пытались сопротивляться, но в проверенной временем комбинации не было лишних движений: трое хватали за конечности, выворачивали их, вынуждая повернуть голову назад; четвертый надкусывал единственный выход центрального нерва на затылке. Смерть наступала мгновенно. Гуманно! Не правда ли? И сопротивлялись в таких случаях немногие, чаще всего со сдвигом в координационно-управляющей цепи.

Зато после успешной атаки нападавшего ждал лучший кусок, страх и уважение со стороны окружающих и относительное спокойствие на время двух-трех чревозаполнений. Риск безусловно большой. Но до конца зимовки оставалось еще по меньшей мере двенадцать чревозаполнений, и каждый прикинул в уме, что останутся лишь десятеро. Поэтому все с напускным миролюбием заискивающе передвигались друг вокруг друга, улучая верный момент, когда незадачливый собрат, забыв об опасности, наклонит голову и раздвинет головную и спинную панцирные пластины, обнажая беззащитный нерв.

Я был молодым и сильным. Такие твердым шагом проходят по шаткому мосту естественного отбора. И это правомерно: забота о потомстве, крепком и здоровом, превыше всего. От меня во многом зависело, кто попадет в заветную десятку.

Я не был богом и, как и все, не мог держать панцирные пластины постоянно сжатыми, но молниеносная реакция,

много раз спасавшая меня от нападения, служила надежной гарантией безопасности, и отчаявшиеся друзья уже не рисковали проделывать со мной известные трюки. Сам я прикончил не один десяток. И никакой жалости к ним не испытываю. Они виноваты сами. В жизни достаточно допустить лишь одну ошибку, следствием которой будет смерть. Этой единственной ошибкой могла быть и ошибка родителей в выборе друг друга. Если этот выбор был сделан не из строгого расчета генетической полноценности, а лишь исходя из пагубной взаимной симпатии, то этого достаточно, чтобы их ребенок пополнил быстро освобождающиеся резервуары энергии.

Ошибка некоторых была только в том, что они слабы физически. Таким, естественно, никакой пощады. Но сами они не догадывались, что неполноценны и роковой меч судьбы уже занесен над ними, а о своих ошибках узнавали лишь после замыкания в сети нервной системы. Биотоки переставали пульсировать в разрываемом на куски теле, которое с хрустом влетало в ненасытные пищеводы, и хриплый голос естественного отбора сообщал: «У тебя замедленная реакция. Тебе не место в обществе себе подобных!»

Ее я заметил не сразу. Она не была назойливой и не слишком мельтешила перед глазами. Судя по всему, она была представительницей четвертого пола. Продолговатое в талии туловище давало основание причислить ее к женской группе, а желтый оттенок глаз говорил об отрицательном заряде хромосом. В период летнего реакцегеноза я, быть может, и заинтересовался бы ею, но сейчас инстинкты не проявлялись.

Понаблюдав за ней некоторое время, я заметил, что она еле шевелит конечностями. Поэтому и движения ее были плавными и не привлекали к себе внимания. Это был первый признак наступившей старости. Видимо, срок ее жизни подходил к завершающей фазе, и поэтому она так стремилась не раздражать меня, но держаться все же поближе. При очередном чревозаполнении ей перепадало кое-что из моей трапезы. Да и желающих приблизиться ко мне было не так уж много, что частично гарантировало безопасность. Впрочем, я и сам мог разделаться с ней, но пока такого желания не возникало. Не люблю старческое мясо. И она, наверно, чувствовала, когда во мне пробуждается воинственность.

Само по себе то, что она дожила до такого возраста,

[illegible]лось по меньшей мере странным. Неужели естест-венный отбор забыл про нее? Ведь выживают только молодые и сильные! Если оставлять всех подряд, то это приведет к нежелательным мутациям в их потомстве.

Но тут я вспомнил, что еще в период несамостоятель-ности, когда мое тело было частью материнского организ-ма, голос инстинкта говорил о возможных случайностях. Тогда я не воспринял этого должным образом, полагая, что через продуманные сети естественного отбора вряд ли проскочат эти «случайности». Но результат был нали-цо. Видно, они и вправду существуют.

Через какое-то время я даже проникся к ней симпатией. Во всем ее облике было что-то интригующе-завораживa-ющее. Все ее существо источало расхолаживающее уми-ление и нападать на нее просто не было сил. Быть может, это и есть тот щит, который спасал ее на протяжении многих зимовок.

Она была старая и слабая. Глядя на нее, я убеждался, что ей не место среди нас, молодых и сильных. Тем более, что оставалось еще тринадцать, трое из которых должны быть принесены в жертву во время очередных чревозапол-нений. Я посмотрел на нее и поперхнулся при мысли, что придется глотать эту грубятину. Но ответный взгляд был так печален и беззащитен, что впервые в жизни я испытал жалость.

Но ведь кто-то же должен сделать Это!

Я боролся с собой. С одной стороны — жалость и неприязнь, с другой — чувство долга перед природой.

В конце концов решил, пусть ею занимаются другие. И стал наблюдать за действиями своих собратьев, кото-рые кружились в замысловатом танце друг вокруг друга.

Развязка наступила неожиданно. Я почувствовал сзади какое-то движение, но прежде чем успел обернуться, крепкие челюсти схватили меня за затылок, и я успел лишь заметить знакомую плавность движений чьих-то конечностей.

Толпа не бросилась на меня сразу. Все оцепенели, не веря своим глазам, что Это случилось со Мной.

Бег биотоков в нервной системе стал затухать. Но прежде чем мое тело, разорванное на куски, с хрустом полетело в пересохшие пищеводы, я услышал хриплый голос естественного отбора: «Ты испытываешь жалость к слабым. Тебе не место в обществе себе подобных!»

ЧЕРТОВЩИНА

В жесточайшем похмелье я валялся на диване, когда хлопнула входная дверь и в комнату впорхнула Линда. Сморщив носик, она поставила рядом с диваном картину.

— Ларри, дорогой, повесь ее, пожалуйста. Сегодня придут Гленн с Люси, а у нас нет ни одной его картины. Будет не очень красиво. А я позабочусь о хорошем ужине.

Покрутившись перед зеркалом, она исчезла. Ничего не поделаешь — я встал и поплелся за стремянкой. Взгромоздившись на нее, стал вколачивать в стену гвоздь. Он никак не хотел туда лезть. Тогда я размахнулся посильнее. Но тут ножки стремянки разъехались, и я загремел вниз. Потирая ушибы, в сердцах послал стремянку ко всем чертям. И тотчас глаза у меня полезли на лоб. Стремянка исчезла. Я сидел, обалдело уставившись на пустое место, пока в прихожей не раздался звонок. Я открыл дверь. На лестнице стоял человек с моей стремянкой. Непонятная жуть охватила меня. Хотел захлопнуть дверь, однако человек успел всунуть ногу в открытый проем, причем носок ботинка странно смялся, будто в нем ничего не было. Незнакомец протянул мне стремянку.

— Возьмите, пожалуйста, нам она совершенно не нужна. У нас ведь не свалка. И что за моду люди взяли! Как что случится, посылают подальше, то есть к нам. Только успевай убирать разный хлам! А ведь нам тоже работать надо. Например, топливо доставать. Вы думаете, только у вас кризис? Ошибаетесь. И у нас такая же проблема. Так что если вздумаете послать к нам что-либо, то уж лучше бочку бензина. Будем премного благодарны.

И незнакомец исчез. Я стоял в раскрытой двери, не в силах сдвинуться с места. Тут появилась Линда.

— Как? Ты еще не повесил?

Я не выдержал и взвыл:

— Чтоб ты провалилась со своей картиной ко всем чер...

И осекся. За ее спиной появился незнакомец и укоризненно покачал головой. Я повернулся и пошел в комнату приколачивать эту дурацкую картину. Гвоздь ни за что не хотел лезть в стену. И кто только придумал строить дома из железобетона! Попав с размаху молотком по пальцу, я заорал диким голосом:

— Чтоб ты влипла в эту стену, мазня чертова!

И тут же загремел вниз. На шум прибежала Линда:

— Что случилось?

Потирая одной рукой то место, на котором сидят, а другой — то, которым думают, я ошалело глядел на стену. Там прочно утвердилась картина, которая перед тем, как попасть туда, прошлась по тому месту, которым думают, пытаясь выбить из него здравый смысл.

Поднявшись с пола, я направился к бару. Мне стало понятно, что если я не хлебну сейчас же добрую порцию виски, то свихнусь окончательно от всей этой чертовщины. Остановился я только тогда, когда содержимое в бутылке уменьшилось наполовину. Затем я попытался трезво осмыслить происшедшее. Но мысли путались и разбегались. Тогда я решил пропустить еще немного и вновь приложился к бутылке. В себя я пришел лишь на следующий день. Были у нас гости или нет, меня не интересовало. В голове сидела только одна мысль — как добраться до бара? О том, чтобы встать и подойти к нему, не могло быть и речи. Оторвав голову от подушки, я прохрипел:

— Виски, сюда...

Бутылка тут же оказалась у меня в руках. Не размышляя, как и почему это произошло, я откупорил ее и сделал несколько глотков. В голове прояснилось. Отправив бутылку в бар, я решил поэкспериментировать. Мой взгляд остановился на злополучной картине, и я занялся тем, что начал гонять ее с места на место. Она побывала на всех стенах, даже на потолке. Потом я поместил ее над диваном и стал разглядывать. Абстракционизм, чепуха полнейшая. Возьмись я за кисти и краски, у меня, наверное, получилось бы не хуже. Хотя нет, нужно еще

неограниченное количество виски, так как при трезвой голове такого на намалюешь.

После этого случая мои дела наладились. Время от времени я посылал им горючее, а взамен получал наличными или выгодными акциями. Полиция с ног сбилась, разыскивая таинственные пропажи. Еще бы — средь бела дня с железнодорожной станции пропал состав с бензином, предназначенный для военного аэродрома. Частенько пустели емкости бензозаправочных станций. Да мало ли где еще пропадало горючее. Потом мне пришлось поставлять оборудование для паровых котлов, емкости для мазута и так далее. Но какой шум поднялся, когда я им сплавил атомный реактор с запасом урана! Они, там у себя, поставили дело на широкую ногу. Ну, а мне безразлично, для чего им этот реактор. Главное, капиталы мои растут. Примерно в то же время мне пришлось избавиться от одного слишком настырного журналиста и вслед за ним послать состав березовых дров с настоятельной просьбой использовать их для этого парня.

Вскоре я начал подумывать о посте президента, но тут мне на глаза попалась левая газета, которая писала о доходах генерального директора военно-промышленного концерна, и я потихоньку начал подбираться к его креслу. Цель моя уже была близка, когда я влип в неприятную историю, сломавшую все мои планы.

Однажды на банкете я услышал, что наши астронавты опять высадились на Третьей планете Летящей Бернарда. Не долго думая, я прихватил две бутылки и решил оказать им там достойную встречу. Но, по-видимому, что-то перепутал и астронавтов не нашел. Обе бутылки прикончил в гордом одиночестве.

И вот проснулся на этих проклятых камнях. Голова трещит. Тут не только виски — глотка воды нет. Я хотел было назад, на Землю, да не тут-то было. Не выходит. Или они не могут меня отсюда вытащить, или просто рады были услать меня подальше. Ну погодите! Тут, наверное, есть и местные черти. Я быстро докопаюсь. Металлолома здесь много. Я их мигом завалю спутниками да планетоходами — рады будут избавиться. А на Землю вернусь — держитесь! Тысячу лет меня помнить будете. Сами себя станете на сковородах жарить, рогатые. На моих березовых дровишках. На каждого по вагончику...

ВЗАИМНО ПРОДЕТЫЕ КОЛЬЦА

Вскоре должна была прийти с работы жена, и я решил ее порадовать.

Сварить щи из свежей капусты дело нехитрое. Главное — это точно соблюдать технологию и нормы выхода продуктов. Не стану скрывать, приготовление пищи мне доставляет удовольствие. Более того, стряпня зачастую великолепный предлог улизнуть от более важных и трудоемких дел.

Вода в кастрюле уже закипала, и на ее поверхности образовалась обильная пена. Я поспешно ликвидировал ее шумовкой. Бульон приобрел первозданную прозрачность; в его глубине медленно ворочалась увесистая мозговая кость. Ей долго еще предстояло вариться, а я тем временем должен был нашинковать капусту. На кухонном столе были расставлены разнообразные специи, и я перенес нежно-зеленый вилок с дощечкой на обеденный стол, оказавшись таким образом спиной к плите и окну.

Ничто не предвещало беды. Острое полотно из нержавеющей стали с мягким хрустом отделяло от кочана ароматную стружку. Но еще не успела обнажиться кочерыжка, как я услышал слабое жужжание и сразу же — словно кто-то за моей спиной полыхнул фотовспышкой. Последовал жуткий грохот, и крышка кастрюли прокатилась у меня между ног.

Обернулся я в прыжке. Рука сама перекрыла краник на газовой трубе, чуть не сломив его флажок. Стол плиты прогибался на глазах, и по нему вниз, в духовочную утробу, стекали струйки от расплавленной чугунной решетки. То, что было синей эмалированной кастрюлей, пшикало и пузырилось. Я не стал дожидаться, когда

красный петух забегает по кухне, и пустил на плиту струю холодной воды, благо мойка стояла рядом.

Пар, как утверждают, костей не ломит. Поверьте, впервые это произнес какой-то трепач, нечаянно захлопнутый в рефрижераторе. В адском мареве я наугад метил в сторону плиты, и мерзкое шипение свидетельствовало о том, что струя достигала цели. Постепенно ярость парообразования слабела и температура плиты все больше и больше приближалась к комнатной. Несколько раз слышались сухие щелчки. Это от стены отскакивали кафельные плитки.

Кухня, наконец, приобрела состояние относительного покоя. Противно описывать, что открылось моему взору. Пожарище, пепелище, наводнение, крушение надежд — слишком слабые определения. Я попытался обуздать свои чувства и сообразить, в чем заключается моя ошибка и была ли она мной допущена. Кроме никаких снарядов, гранат, взрывпакетов, ни даже стреляных гильз я в кастрюлю не кидал. Так шутят в школьном возрасте, да и то лишь в период младших классов. Оставалось предположить одно — на рынке мне подсунули заминированный мосел. Придя к такому выводу, я счел своим гражданским долгом сообщить об этом куда следует, чтобы были приняты меры по задержанию злоумышленников. И уже хотел направиться к телефону, как вдруг куча окалины на плите пришла в еле заметное движение и до меня донесся звук, напоминающий слабый вздох.

— Прошу меня простить за доставленную неприятность,— услышал я.

Слова прозвучали со взрослой серьезностью, но, судя по тембровой окраске, они принадлежали существу юному.

Мусор на плите раздвинулся, и на его поверхности обнажилась головка, размером с кулак пионера. Существо было явно живым и обладало двумя близко посаженными треугольными глазами и широко раздвинутым ртом. Маленький бугорок в центре лица, похоже, был носом. Ушей я не заметил — головку покрывали грязно-рыжие мочалочные волосы, а там, где должна была быть шея, имелись два отростка типа щупалец. Странное существо закопошилось и ловко спрыгнуло на пол. Никогда в жизни не наблюдал я подобных тварей, да и вообще не подозревал о возможности существования таковых.

— Поверьте, я не хотел, но так получилось,— сказало

существо.— Дело в том...— оно задумчиво глянуло в сторону плиты,— дело в том, что мой дух прилетел из далекой галактики и захотел материализоваться. А в той субстанции, что кипела на огне, имелись все необходимые вещества.

— Дух из другой галактики?— Мне польстило, что для кого-то во Вселенной обитель человечества — рай. Как можно учтивее я попытался уточнить:— Из какой же именно?

Существо недоуменно развело щупальцы в стороны и, потеряв опору, подкатилось чуть ближе.

— Не знаю,— сказало оно.— Я, точнее, мой дух, покинул ее очень давно, далеко это было, как бы объяснить, столько свет проходит за триста тысяч ваших земных лет.

В школе я не всегда сбегал с уроков астрономии, поэтому прикинув в уме, быстро сосчитал:

— Что-то около тысячи парсеков.

— Вот-вот!— обрадовался гость.— На вашем языке, похоже, это так и называется. Вся сложность в том, что наши понятия о пространстве и времени были в корне отличны от ваших.

— Что значит «были»?

— Увы, я не оговорился. Наша цивилизация погибла в результате чудовищного катаклизма. Планета, масса которой намного превышала массу нашей, превратилась в сверхновую звезду. Это был конец. Наша наука подобралась к тайнам истоков материи, но перед лицом катастрофы мы оказались бессильны. Правда, к тому времени совершенствование силы нашего духа достигло высокого уровня. Наше сознание научилось отделяться от мозга, существовать самостоятельно и даже передвигаться в пространстве со скоростью света.

Это было уже слишком. Можно врать, но зачем же завираться? Уважение к непрошенному гостю исчезло не родившись.

— А известно ли тебе, что сознание — это продукт высокоорганизованной материи, но не более того?— спросил я.— Сознание само по себе существовать не может, для него необходима сложнейшая система органов чувственного восприятия и так далее, словом, материя первична, а сознание вторично.

Мой сокрушающий выпад ничуть не смутил существо.

— С этим глупо спорить,— сказало оно.— Но это верно лишь отчасти. Материя существует по строгим внут-

рениим закопам и потенциально она всегда способна к превращению в живую форму, которая, естественно, может обрести сознание. Материя вездесуща. Но есть и высшая идея, без которой существование материи невозможно. Поэтому, подражая формулировкам ваших философов, скажу так: идея о материи первична, сама материя вторична, а сознание, как продукт высокоорганизованной материи, третично.

Вот это да, идея первична, сознание третично! Чудовищная форма идеализма! Сказать такое мог только идиот.

— Однако твоя оболочка ощутимо материальна, без этого, как видно, нельзя,— возразил я.

— Это было необходимо для контакта с вами. Внешне мы когда-то совершенно не были похожи на вас. После катастрофы я так долго странствовал, что истосковался по общению, пусть даже с подобием разумной материи. Это великое счастье перемещаться в пространстве, огибая туманности, минуя звездные скопления, отталкиваясь от метеоритных потоков, созерцать и осмысливать окружающее. Но когда-нибудь непременно появится тоска по простому общению с себе подобными.

— Действительно, тяжело это.— Я изобразил сочувствие.— Столько скитаться среди каменных глыб и никого не встретить, спятить можно.

— Да попадалось разное, всякие примитивные формы, и ни намека на высокую организацию. И вдруг ваша планета. Еще издали было видно, что это настоящий оазис. Огромные пространства, покрытые зеленью, где обитают высокоорганизованные существа. Я долго кружил над поверхностью, внимательно изучал обстановку. И все больше убеждался, что меня уже опередили. К моему великому огорчению планету населяли гуманоиды. Я мог бы выбрать любого и вселиться в его тело, но тогда глубоко спрятанный его дух оказался бы изгнанным, а у нас так не принято.

— А что тебе мешает вселиться в какое-нибудь животное, сделать его, так сказать, разумным?— предложил я ему.

Мне показалось, что это его заинтересовало, но после небольшой паузы он сказал:

— Я и сам хотел так поступить, но потом понял, что из этого ничего не выйдет.

— Неужели так сложно?

— Дело в другом. Если я вселюсь, скажем, в собаку,

животное с развитой системой условных рефлексов, то без помощи постороннего духа уже никогда самостоятельно не смогу вновь обрести свободу. Для этого необходим функционально развитый организм. А влачить жалкое существование в такой никчемной оболочке я не собираюсь. Но есть и другая причина. Если появится одна разумная собака, то непременно появится и другая и третья, таков незыблемый закон развития. Трудно представить, как будут сосуществовать бок о бок две разумные расы — людей и животных.

Я на мгновение представил благоустроенные современные дома, соседствующие с обширным частным сектором из конурообразных построек. Словом, ерунда какая-то. Пришелец прав.

— Ну и что же ты решил?— спросил я.

Ответил он сразу.

— Если бы я получил в свое распоряжение ваше тело, ваш дух незамедлительно отправился бы в сказочное путешествие по Вселенной. Когда-нибудь и он нашел бы себе пристанище. Ведь первобытный человек тоже обрел разум, когда в него вселился дух-странник. Духи вечны и существовали всегда. Дух и материя как два взаимно продетых кольца, ни конца у них нет ни начала, а отделить их друг от друга невозможно.

Дураку понятно, что значит лишиться своего тела. Какое-никакое, а получил я его навсегда и оно меня устраивало.

Есть у меня два приятеля, мнящие себя йогами и буддистами, мечтающими о шакти. Возможно, они и заинтересовались бы таким предложением, но только не я.

— А ты пробовал обратиться к кому-нибудь еще?— спросил я.

— Пробовал!..— Он горестно вздохнул. — Ничего не получается, все боятся оказаться игрушкой в руках неизвестно чего, никто не желает понять, какую пользу от этого получило бы человечество.

— А в чем, по-твоему, нуждается человечество?

— В очень многом. Сами вы никогда не решите проблем перенаселения, здравоохранения, питания, транспорта, энергии, взаимоотношений и многих других, всех не перечислить. А я издал бы ряд трудов, научил бы людей освобождаться от прихотливого, обременительного, легкоуязвимого и недолговечного тела. Все человечество

смогло бы уместиться в спичечном коробке. Нужно только ваше согласие, и...

Мой гость терпеливо ждал ответа. Я вспомнил про дом для умалишенных. Залети дух случайно туда, он непременно вселился бы в какого-нибудь несчастного, чья больная душа, миновав пределы галактики, так и не заметила бы перемены, происшедшей с ней. А мой гость, тем временем, сумел бы убедить компетентную комиссию в том, что душевнобольной из палаты номер такой-то уже пребывает в здравом уме и социально больше не опасен. Выйдя на волю, он овладел бы помыслами людей, и тогда... и тогда человечеству конец! Люди станут сбрасывать свои телесные оболочки и разлетаться кто куда. Но с другой стороны, было бы глупо пренебречь знаниями, которыми обладал гость. Они, эти знания, дали бы возможность разгадать тайны пространства и времени, синтезировать живую клетку и многое другое. Нет, так просто отпустить его я не мог. Так что же? Засадить его в банку и отнести в Академию наук? Но, судя по тому, как гость у меня появился, о насилии над ним и речи быть не могло. И я решил пойти на компромисс:

— А если на какое-то время нам поменяться местами, где гарантия, что в любой момент по моему желанию...

— Разве не гарантия то, что я считаюсь с вами, хотя сразу мог поступить по-своему?

И тут я произнес неосторожную фразу, смысл которой гость истолковал буквально. Я сказал:

— Все это так, но представь себя на моем месте...

Лишь только он это заслышал, как сразу подобрал щупальца, резко выпрямил их и повис в воздухе. Магниевая вспышка обожгла сетчатку моих глаз, а на пол шлепнулась какая-то жижа, привнеся последний штрих к кухонному погрому. Пространство покачнулось, где-то внизу, слева, проколесил плафон светильника, потолок и пол поменялись местами. Мне показалось, что я падаю сам на себя, и я в испуге шарахнулся к окну. На подоконнике стоял горшок с алоэ, и я, как утопающий хватается за протянутую доску, мысленно уцепился за растение.

Круговерть моментально прекратилась, но у всех предметов изменилась окраска. Самым поразительным было то, что я наблюдал себя со стороны. Мое лицо отсвечивало всеми цветами спектра и напоминало негативное изображение на цветной фотопленке.

Тело мое двигалось независимо от моей воли. Вот оно

рухнуло на стул, ноги вытянулись, руки повисли, а голова безвольно склонилась на грудь. Я словно уснул сидя.

— Плохо, очень плохо, хуже некуда!— прозвучало в моем сознании.— Вам следовало немного полетать и выработать координацию движений, а вы с ходу внедрились в примитивную живую материю, что категорически запрещено. Теперь вы освободитесь лишь в том случае, если я вас вытолкну и займу ваше место.

До меня наконец дошло, что я стал растением, которое все слышит, видит предметы в спектре их термоизлучений, а промолвить ничего не может.

— Ждите и не теряйте времени даром, тренируйте волю, я вас всему научу,— внушал мне пришелец.— Настанет час, и мы будем подменять друг друга, если не придумаем ничего получше.

Мое тело на стуле встрепенулось, встало и вышло из кухни.

Когда жена в тот раз вернулась с работы, ее внимание было всецело поглощено последствиями погрома. Самозванец толковал ей что-то о шаровых молниях и огнях святого Эльма, и она не сразу заметила перемены в «супруге». Зато когда Самозванец оставил должность директора комиссионного магазина, она, мягко говоря, насторожилась. Нет, он не уволился, а просто перестал ходить на работу, целыми днями сидел дома и что-то строчил в тетрадке.

Когда мы оставались одни, он учил меня:

— Не забывай тренироваться, напрягай волю и тверди: «Я облако, я очень маленькое облачко, во мне совсем нет веса, мне все безразлично, мне ни до чего нет дела, я лечу над лесами, лугами, морями, горами и пустынями...»

И я (что мне оставалось делать?) послушно напрягался.

Тем временем деревья во дворе лишились листвы, вновь ее приобрели и вновь лишились, а дела у Самозванца ничуть не продвинулись. Он, надо отдать ему должное, не сидел сложа руки, а преследовал академиков, охотился на их секретарш, пробирался на научные собрания, обивал пороги различных НИИ, но нигде его всерьез не принимали. Однажды он вспылил в каком-то солидном учреждении, но даже на это никто не обратил внимания.

— Мироеды, чинуши!— ругался он, спускаясь по лестнице к выходу.— Я вас научу, вы у меня попляшете!

Наивный, не очень грамотный, без роду и племени, он одним махом намеревался покорить научный Олимп. Иногда над ним попросту издевались.

— Я бы советовал вам побольше читать,— сказал ему заведующий кафедрой в межотраслевом институте.— Вам бы подучиться еще.

Однако этот деятель, прежде чем вернуть тетрадки, аккуратно переписал оттуда несколько идей из области психологии торговли, исправил ошибки и погодя издал их в брошюре за границей под своей фамилией.

Самозванец стал выпивать. Дома у нас теперь часто гостевали какие-то подающие надежды и перспективные личности. Бывали и журналисты, обещавшие протащить идеи Самозванца в широкую печать. Бывшие мои подчиненные тоже наведывались к нам с тайным желанием приобщиться к более узким, нежели торговые, зато необычайно возвышенным духовным сферам. За последнее время у Самозванца заметно отвис живот и появились мешки под глазами. «Что же он, гад, делает,— горестно размышлял я,— ни один прокатный пункт не позволил бы ему так обращаться с доверенной вещью».

Но я не терял надежды и совершенствовал свой дух. Поливали меня крайне редко, и я жил за счет влаги, накопленной в мясистых листьях. К сожалению, и там она сохраняется не вечно. Иной раз мне казалось, что я парю под потолком, выбираюсь через вентиляционное отверстие во двор и устремляюсь куда-то в неопределенную даль, а вслед мне с балкона удивленно глядят нахохлившиеся от мороза воробьи. Но это был сон, грезы наяву. Воля моя слабела и наступала апатия. Я сильно засыхал и впадал в длительный анабиоз.

Однако рано или поздно меня все-таки поливали, я оживал и возобновлял попытки освободиться.

Во время празднования моего сороколетия, когда все гости были подшофе, один ушлый приятель, доцент кафедры прикладной математики, увлек Самозванца на кухню как бы для того, чтобы втайне от всех выпить и поговорить по душам. Пока Самозванец осушал рюмку за рюмкой, сей доцент незаметно выливал содержимое своей в мой горшок. Это надолго вывело меня из строя. Когда же способность нормально мыслить вернулась ко мне, я узнал, что все записи Самозванца куда-то исчезли.

— Непостижимые существа эти люди,— сетовал он, принимаясь за новые писания.— Когда им предлагаешь

по доброй воле, они отказываются. Зато норовят умыкнуть то, что плохо лежит.

Как-то раз окно было приоткрыто и я всеми листьями наслаждался бодрящим весенним воздухом. Удовольствие не портил даже запах из контейнеров с мусором, стоявших в глубине двора. Я ощущал очередной прилив сил, листья мои заметно шевелились, и это было отнюдь не результатом действия сквозняка. Дух Самозванца витал где-то неподалеку, а мое несчастное тело бессознательно валялось на диване, покинутое на время очередного похмелья. Сквозь приоткрытую дверь доносилось похрапывание.

Неожиданно сильный порыв ветра настежь распахнул окно, створка хлопнула по горшку, и я полетел на пол. Тут я пережил настолько мощный эмоциональный всплеск, что мой дух вылетел из растения и заметался под потолком.

Это было триумфальное возвращение к себе.

— Ура!— возликовал я, вскакивая с дивана.

С моего лба текло, и я промокнул его носовым платком. Оставаться здесь было рискованно, мое естество в любой момент могли вновь расчленить на две составляющие, и я в чем был выскочил на улицу. Отсидеться у кого-либо из знакомых я не мог, Самозванец знал адреса всех. Поэтому я решил поехать на железнодорожный вокзал и тормознул частника. Не успели мы проехать и километра, как выяснилось, что ни в одном из карманов у меня нет ни копейки, и я был позорно изгнан из автомашины.

Голодный и расхристанный, я вернулся домой только к концу пятых суток. За этот относительно небольшой отрезок времени я успел примелькаться на всех вокзалах и в аэропортах, и мне уже реально грозила персональная опека со стороны блюстителей порядка. Мир в семье наступил после того, как я торжественно пообещал, что со старым навсегда покончено, и уничтожил все тетрадки с последними записями Самозванца. Я обнаружил, что за время его господства пропало много моих вещей. Больше всего меня огорчило то, что Самозванец распродал всю мою библиотеку.

Но радость возвращения человеческого бытия и собственных прав списала все.

На работе я восстановился, но уже в должности продавца. В горторге меня ценили, и когда врачи подтвердили, что причиной моего длительного прогула послужили

психическое расстройство и нервное истощение, наше верховное начальство перевело меня на должность замглавбуха.

Теперь для меня мир вещей — первейшая среда существования. Я счастлив, что вновь приобрел возможность ощущать упругие формы предметов. Ведь когда просто на них глазеешь — это совсем не то. С неизъяснимым наслаждением я перекладываю с места на место папки с бумагами, тискаю телефонный аппарат, а когда играю на счетах в бухгалтерские игры, стараюсь как можно громче стучать костяшками. Где-то в глубине души у меня еще сохранилась тяга к письму. Пока она не выветрилась окончательно, я решил стройно изложить эту историю.

О дальнейшей судьбе пришельца можно только предполагать. Не исключено, что он избрал себе другую жертву, а может, разочаровался в человечестве и теперь продолжает свой путь среди звезд. Маловероятно, что он кинулся мне на помощь, когда рухнул цветок, который я, после некоторых колебаний, пересадил в новый горшок.

P.S. Сейчас растение выше человеческого роста, и я поместил его в кадку. Жена уговаривает меня избавиться от него, но я не решаюсь, хотя и сам не любитель домашней флоры. Это уже не алоэ. Его стебель превратился в настоящий ствол, покрытый жесткой корой. Листья тоже изменились и по форме стали почти как у финиковой пальмы. Они полупрозрачны и, если смотреть на них против света, переливаются всеми цветами, как крылья гигантской стрекозы. По ночам вокруг растения можно заметить голубоватое свечение ауры. Вчера распустились сразу три корзинки цветков, похожие на астры, которые, как мне показалось, источают какой-то горестный аромат. Я не удивлюсь, если деревце заплодоносит и фрукты окажутся несладкими. Памятуя о том, как мне не хватало питательных веществ, я иногда на всякий случай поливаю его бульоном. В душе я надеюсь, что растение не стало воплощенным символом перерождения, а может и гибели моего гостя. Но если у вас мощный стимул к освобождению... Словом, решил я подарить его вороватому доценту. От греха подальше.

ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ХОД

Сумерки сгустились внезапно. Над Ригой повисла напряженная тишина. Еще не горели фонари, и в тусклом свете, пробивавшемся из-за туч, дома казались призрачными, нереальными.

Но вот где-то вдали послышались глухие удары. Гул нарастал. Прошло несколько минут — и на съежившийся город с воем налетел ураган. Накренились шпили церквей, заскрежетали флюгера, загромыхали жестяные крыши. Хлынул ливень.

...Гроссмейстер Опелс, отвлекшись на мгновение от турнирной таблицы, посмотрел на свои часы — швейцарские, приз за успех в международном турнире. Половина пятого, пора собираться участникам. Но в клубе тихо, только в отдалении слоняются из угла в угол любители.

Трах! Распахнулось окно... резкий порыв ветра... что же это такое, господи?! Со стены упала таблица... зазвенело стекло. Опелс кинулся к окну. Ветер хлестнул его по лицу, дряблые щеки зарделись, глаза заблестели... он греб руками, пробиваясь вперед. Наконец-то... закрыл!

Подумать только, какая темень! Опелс нащупал выключатель. Под самым потолком вспыхнула тусклая лампочка. Сделалось немного светлее.

Мерный шум за окном усилился. Да-а, кое-кто наверняка опоздает к началу. В такой дождь не так-то просто поймать такси. Зато предусмотрительные всегда приходят первыми. Он поднял с пола лист ватмана и повесил его на гвоздь.

Заложив руки за спину, уставился в таблицу, то приближая к ней выцветшие стальные глаза, то откидывая

голову назад. Исследовал состав участников. Жеребьевка позади, все известно. Хотя нет, позвольте, одна графа пустует. Самая первая, верхняя графа. Обрюзгшее лицо его скривилось. Ох, уж эти штучки! Видимо, кто-то заболел и заменить некем.

Неопределенность озадачивала. Не потому, что в ней таилась угроза,— нет. Просто он не любил подводных рифов. Всегда и во всем предпочитал ясность.

По жребию ему достался последний, шестнадцатый номер. Это значит — сегодня он свободен или... или предстоит играть с неизвестным. Как вам это понравится — играть с неизвестным! Скорее всего, попадется какой-нибудь мастеришка. Коэффициент турнира и так уж достаточно высок — на замену можно приглашать любого. Должно быть, кто-нибудь из молодых, неостепененных... Что они понимают в шахматах! Уже в дебюте затевают головоломные осложнения, а потом жертвуют по семь фигур кряду. Романтики!

Однако компания подобралась отменная. Есть над чем подумать. Для первого места, пожалуй, понадобится «плюс семь», то есть на семь побед больше, чем поражений. Ну-с, а для пятого места? Оно тоже дает право на выход в финал. Он поджал губы. Хватит и плюс четырех. А это — четыре победы и одиннадцать ничьих. Оптимальный вариант. И вполне осуществимый.

Знакома ли вам турнирная мудрость? Здесь есть железное правило: «Бей слабых — делай ничьи с сильными». Во встрече равных по силам ничейный исход продиктован самой позицией. Когда позиция равна, не станете же вы искать шестьдесят пятую клетку на доске! Федерация вам этого не простит... Он усмехнулся: что с того, если половинок против его фамилии всегда больше, чем единиц? Две половинки — та же единица. Зато их обладатель надежен как скала, всегда в форме. Посылайте Опелса на любой турнир — федерацию не подведет! Вот как обстоят делишки. Ничья — это передышка перед следующей партией, ничья черными — это выигрыш цвета, ничья — это продвижение к заветной пятерке.

Итак, пятеро гроссов. И все разные. Но только один из них чертовски опасен. Нет чтоб оглядеться, остепениться, спустить пары, в его-то возрасте! В каждой партии стремится воздвигнуть памятник шахматному искусству... не сыграл еще, видите ли, своей вечнозеленой. Может быть, поэтому против него не срабатывает секретное ору-

жие — картотека. Долгие годы она собиралась; по крупиночкам да пылиночкам, а что в ней — не должен знать ни один человек на свете.

А вот этот — хитрый лис. Победу по миллиграммам собирает. И дипломат, ох, дипломат! Скажет так, а сыграет этак. Посмотрит туда, а походит сюда.

И Рикшис тут, дружище! Хорошо, когда на трудном турнире у тебя есть настоящий друг. На сей раз мир к двадцатому ходу — как договорились! — и одна строчка в газете: «Гроссмейстерская ничья». Дураку укор, а умному — похвала...

Что у нас, скажите на милость, с плюсами? Так... Вон тот мастер, например. Горячая кровь, искатель приключений. Как-то сказал с чрезвычайно умным видом: «Сущность шахмат,— говорит,— это борьба, творчество, риск. Именем богини Каиссы когда-нибудь назовут ураган». Эка! А я считаю ходы дальше вас, милый философ! И что вы мне со своей Каиссой?

Погоня за очками, бесконечная вереница партий. Сколько их было на его веку! Отдельные турниры как-то смешались в памяти. И теперь вот еще один — новый... или все тот же старый, бесконечный?

Заложило уши... Гроссмейстер открыл рот и сделал несколько глотательных движений, как в самолете, идущем на посадку. Тишина вокруг, будто откачали воздух. Что же это, до сих пор так никого и нет? Собачья погода... вон как свистит ветер.

За спиной раздался щелчок, словно удар хлыста. Опелс вздрогнул. Хлопнула дверь?

Обернулся — у входа стоял человек. Одного с ним роста, только много моложе и худощавее. Какое-то мгновение они смотрели друг на друга в упор.

«Лицо вроде бы знакомое,— подумал Опелс.— Где я мог его видеть?.. Но как странно одет...»

В черном камзоле с белым жабо и кружевными манжетами, в темно-вишневых вельветовых брюках, черных туфлях, перетянутых пряжками, незнакомец казался персонажем из какой-то старой комедии. Красные щеки, нос с горбинкой, усы, бородка клинышком. На голове непонятный блин — берет, что ли...

«Я его не знаю... Или все-таки видел где-то...»

Гроссмейстер вскинул голову, достал из нагрудного кармана роговые очки и водрузил их на свой кривой нос.

— Чем могу быть полезен, мой юный друг?— спросил Опелс. В хрипловатом голосе зазвучал сарказм.

Незнакомец смотрел мимо него, туда, где на стене, в ряд, висели двенадцать крупноформатных портретов; он медленно скользил взглядом по фотографиям.

Какого цвета у него глаза?

— Это чемпионы мира по шахматам, молодой человек,— усмехнулся Опелс.— Вы, кажется, ошиблись дверью?

Незнакомец молчал. Слышно было, как за окном бушует ветер.

Ну и погода! Он посмотрел на странную обувь гостя... Что-то тут не в порядке. Но что?..

Он снял очки и протер стекла носовым платком. Потом сухо представился:

— Гроссмейстер Опелс. С кем, позвольте, имею честь?

— Лопес.

Скрипучий голос. Казалось, отворили старую дверь. «Ишь ты! Лопес?»

— Не повторите ли вы свое имя?— произнес гость.

— Гроссмейстер Александр Опелс,— досадливо поморщился хозяин. Он не любил повторяться.

— Я не ошибся?— недоверчиво сказал незнакомец.— Вы действительно рыцарь?

Опелс посмотрел на него с удивлением.

— Хм-м... Что да, то да. Я рыцарь шахматной игры. Слышали о такой? Капабланка, Ботвинник, Фишер... И я не из последних. Гроссмейстер — это значит «большой мастер».

— Великий маэстро,— поправил гость.

— Не возражаю,— согласился Опелс.— А вы... вы играете в шахматишки?— гроссмейстер небрежно поглядел на часы. «Заболтался я с ним».

Внезапно губы пришельца вытянулись в злую струнку, глаза сверкнули.

— Играю?!— крикнул он фальцетом.— Я маэстро Александро Лопес!— и тихо добавил: — Какой сегодня год?

«Боже мой, да он сумасшедший! Разнесет еще весь клуб...»

— Прекрасно,— пробормотал Лопес.— Я прибыл на турнир, который начинается через одиннадцать минут после захода солнца.

«Что? Так ты и есть мой первый противник? Ну что ж.

Неплохо расколошматить слабачка с ходу. Мастера сейчас плодятся, как грибы после дождя. И все червивые... Значит, в первом турнире у нас плюс один».

— Приятно слышать,— Опелс вновь перешел на вежливо-иронический тон.— Готов сразиться с вами в любом дебюте. До скорой встречи, милейший.

И, чопорно кивнув, ушел в дальние комнаты.

Турнир не вызывал особого интереса, зрителей собралось немного. Отгороженные канатом, стояли столики для участников. Судья ходил между столиками, поправлял фигуры, прикладывал к уху шахматные часы.

Опелс занял свое место, спиной к остальным. На стене висела эмблема с девизом Международной шахматной федерации — «Мы одна семья». «Все одним миром мазаны»,— по-своему перевел он и тяжело вздохнул. Справа к столику была прикноплена табличка с его фамилией. Второй таблички — с фамилией соперника — не было.

«Не успели написать,— подумал он.— Где же этот молокосос?»

Он пододвинул к себе бланк для записи партии. Белые — ЛОПЕС, черные — ОПЕЛС. Взглянул на судью — время!— и сам пустил часы противника.

Он чувствовал себя превосходно. Иначе и быть не могло. Молодые мастера не выдерживали его железобетонного стиля, мудрой позиционной игры. Никаких фейерверков! Никаких ошибок! Ошибки, как овечки, стадом ходят, одна тянет за собою другую. Стоит одной фигурке стать не туда — и партия качается на глиняных ногах. Вот и вся наука! Что вы сказали? Ах, вы творческий шахматист! Польщен, польщен. А я вот возьму да сложу на полочку слабости вашей позиции — у творческих шахматистов они, знаете ли, неизбежны — и буду иметь обед с вашего, пардон, вдохновения.

Опелс поднял голову и увидел противника. Замечтался, не услышал, как подошел. Лопес, сев за доску, не снял с головы берета. В конце концов это вопрос воспитания, а не шахмат. Нравится проигрывать в берете — пожалуйста!

Поглядите, что он делает? Ощупал одну за другой фигуры, со слабой улыбкой дотронулся до короля и ферзя, изучающим взглядом посмотрел на часы и только тогда продвинул на два поля королевскую пешку. А кто, простите, нажмет на кнопку часов?

— Время, время!..— напомнил Опелс.

Лопес на мгновение задумался, потом его тонкие пальцы прикоснулись к часам и плавно утопили металлическую кнопку.

Что же ответить этому наглецу, который, кажется, стремится к открытой комбинационной игре? Были времена, когда и мы двигали королевской. Кто сказал, что Опелс боится рисковать? При первой же возможности мы готовы отдать своего коня, чтобы через ход-другой забрать вашего и еще какую-нибудь пешечку впридачу. И достаточно. Комбинация в духе великого Капабланки! Он предрек шахматам ничейную смерть, но они еще живы, потому что мир полон романтиков — есть кого обыгрывать.

Нет-нет, мы не витаем в небесах. Интуитивные жертвы не про нас. Наш приятель навязывает игру в открытую? Ну-ну, как бы не так! Опустим забрало. Ау, Лопес, вы меня видите?

И, сделав ход, гроссмейстер хлопнул ладонью по кнопке.

Белые ответили быстро, и только тут он заметил, что противник не ведет записи партии. Нарушение правил! Но этот парень сам по себе — сплошное нарушение... «Сейчас подзову судью,— подумал Опелс,— пусть вправит ему мозги. Чувствует, верно, что попадет в цейтнот, время хочет сберечь». Он выразительно посмотрел сопернику в глаза. Тот даже не шелохнулся. Звать судью было лень, близость легкой победы завораживала... «А вот возьму и рискну, и сыграю гамбит,— капризно подумал он.— Знает, поди, что я не играю гамбитов. Изучил небось мои партии по журналам все до единой. А я возьму и сыграю. И что ты мне сделаешь?»

— Гамбит...— вдруг проскрипел Лопес.

Гроссмейстер почувствовал, как деревенеют скулы. Перехватило дыхание...

— Рукопись, найденная в Сарагосе...

Опелс попытался улыбнуться. Губы не слушались.

Лопес цедил слова.

— Рукопись нашел я. В горах, в развалинах замка. Трактат о шахматной игре. Нет, вы не слыхали о гамбите Уэска! Что ж, сегодня в последний раз... Это начало начал шахматной игры, ее сокровенный смысл, Песнь песней... На турнире в Ла-Корунье, в последнем туре, я встречался с Вальядолидом. Кастильский идальго, отважный и гордый, заносчивый и неприступный. За доской ему не было

равных. Там, где простой смертный видел на пять ходов вперед, он видел на десять. Он никогда не ошибался, и, как при дворе короля, каждая фигура знала у него свое место. Никто не мог одолеть Вальядолида. Его любимым изречением было: «Шахматы — это я!» И вот...— голос Лопеса задрожал.— В рукописи, черным по белому, было написано: «Гамбит Уэска дает победу не позднее тридцатого хода. Маэстро, чья игра бессмертна, как рука художника, под страхом ужасной смерти, ожидающей весь род его до седьмого колена, не должен применять этот гамбит дважды». И дальше: «Некий странствующий монах, коим этот гамбит был применен дважды, окаменел за доской в позе безысходной тоски, а женщина, имевшая неосторожность поделиться своими знаниями с двумя сыновьями, не будучи вовсе беременной, родила двуглавого ягненка».— Он помолчал.— Я применил этот гамбит в партии против Вальядолида — в первый и единственный раз. И он проиграл мне, хотя только на тридцать третьем ходу. Вот какой силы это был шахматист! В промежутке между тридцатым и тридцать третьим ходом день обратился в ночь, а лето — в зиму, десятиметровые океанские волны обрушились на Ла-Корунью... Не снеся поражения, маэстро Вальядолид после этой партии навсегда оставил шахматы — а может быть, шахматы покинули его — и кончил свою жизнь затворником Понферрадского монастыря.

Лопес умолк.

Гроссмейстер сделал следующий ход и дрожащей рукой вдавил в корпус часов обжигающе холодную кнопку. По спине бежали мурашки. «Ну и наговорил... и все за счет моего времени... Что со мной? Чего я испугался? Самая обыкновенная психологическая обработка, не больше. Один обкуривает противника вонючей трубкой, другой гипнотизирует магнетическим взглядом, а Фишер вообще... Эх, Лопес, Лопес... Сосунок ты все же, если думаешь взять меня на абордаж своими бреднями».

Он встал из-за доски и подошел к окну. Завывал ветер; на тротуаре, словно обломок рухнувшего самолета, лежал кусок крыши, сорванный с какого-то дома. Он не смог разглядеть в стекле своего лица. Странным образом там маячило худое лицо Лопеса. Анфас, а не в профиль!

Раздался щелчок, и гроссмейстер поспешно вернулся к столу. Ничего особенного не произошло. Нормальный, ничем не примечательный ход.

Казалось, игра уже вошла в обычное русло. Лопес, не вникая в позицию, развивал фигуры, король его остался в центре доски. Рокировав в короткую сторону, Опелс планировал наступление на белого властелина, готовясь ввести в бой ладьи по линии «с». Рутина, конечно. Пусть этот сказочник определит место своему королю. В таких позициях обычно рокируются в длинную сторону.

И вот оно: белый монарх очутился на ферзевом фланге. Не задумываясь (все уже давно обдумано, шахматы игра древняя), Опелс продвинул на два поля пешку «с». Дальнейшее ясно. Выгодно расположив ферзя, черные продвинут пешку на поле, дважды защищенное белыми. Лопес возьмет пешку конем. Черные сдвоят ладьи и после вынужденного ответа белых пожертвуют (слышите?— пожертвуют!) качество. И король белых голенький. Из этой бани ему уже не выбраться.

Через два хода белые сыграли не так, как предполагал Опелс. Что за вычурный план! Ох, молодость, молодость... Ни за что не признает свое поражение сразу... Ну ладно, посопротивлялся бы несколько ходов для приличия... ан нет — бежит королем через центр с ферзевого фланга на королевский. Фантомас! Пожалуйста, мы готовы играть и здесь, пешки уже надвинуты так. Считаем... Он — туда, я — сюда. Шах пешкой. Лопес должен брать королем, а после шаха ладьей ему впору складывать бабки. Считаем еще раз... Возьмет мою пешку своей? Нельзя — черный ферзь заберет обе ладьи, и песенка будет спета. Песнь песней...

А?! Лопес берет пешкой и отдает ладьи? Да-а, слабенько, слабенько мы играем. Сколько ходов сделано? Двадцать пять... Еще пяток, и вам придется расписаться на моем бланке. Жаль немножно — в сущности, довольно симпатичный парень...

Кто освещает турнир в печати? Наиболее подробные отчеты будут в «Спорте». Что-нибудь этакое: «Уже с первых ходов мастер Лопес попал в железные клещи стратегических расчетов гроссмейстера Александра Опелса. Белые медленно жарились на позиционном огне. Кольцо блокады неумолимо смыкалось. Через 25 ходов позиция белого короля затрещала по всем швам. Последовало несколько эффектных ударов, и А. Опелс открыл свой текущий счет на турнире впечатляющей победой...»

В воздухе мелькнула кружевная манжетка. Тонкие пальцы подцепили белого слона. «Рука художника!..»

Лопес побил незащищенной фигурой дважды защищенную пешку черных.

Щелкнула кнопка. Над доской сверкнула молния. Перед глазами поплыл белесый туман, закрывая соперника. Опелс видел только черные и белые клетки. Он еще не отдавал себе отчета в случившемся, но где-то в глубинах сознания уже крепла мысль: произошло непоправимое. Он безошибочно чувствовал — опыт! — ситуация резко изменилась. Нюх, интуиция... Неужели это существует? И все эти интуитивные жертвы... эта игра не по расчету...

«Спокойно!» — приказал себе Опелс и попытался собраться с мыслями. Значит так... Если белые сделают теперь тихий ход пешкой, впору сдаваться. Сразу или потом — не имет значения. Осел! Болван! Не заметить этой тонкой штучки...

А что если ход Лопеса — простая случайность? Попалось слепой курице ячменное зерно? Тогда — не дать ему почувствовать, что черные в панике.

Гроссмейстер фыркнул, небрежно снял с доски белого слона, отшвырнул его в сторону и облегченно вздохнул, словно кончил трудную работу.

Туман рассеялся. Теперь он отчетливо видел противника — в идиотском камзоле, берете, жабо, манжетах. Лопес не торопился. Он покручивал бородку.

Вот какого цвета его глаза — стальные, как грозовая туча. Но он не торопится! Ах ты, господи, лишь бы ненароком не внушить ему этот проклятый ход... Уйти, уйти немедленно!

Но едва он приподнялся со стула, как над доской вновь нависла рука в кружевной манжете. Лопес дотронулся до пешки, которая решала судьбу партии.

Гроссмейстер поймал себя на том, что его пухлые пальцы покручивают несуществующую бородку. Словно обжегшись, он отдернул руку.

Конец! Напряжение уступило место полнейшей апатии. Спешить больше некуда. Цейтнот? Обычно он не оказывался в цейтноте, а тех, кто страдал от недостатка времени, презирал. В цейтнот попадают те, кого можно застичь врасплох.

М-да. Белый конь и ферзь врываются в расположение черного короля. А черный ферзь отрезан от своего монарха — объевшись ладьями, безмятежно почивает на другом конце доски. И ни одного шаха!

Ход белых. Ход черных.

Все правильно. Форсированный проигрыш.

Неужели Лопес рассчитал все, еще перебрасывая короля с фланга на фланг? Бросьте! Этого он не мог, это ходов за пятнадцать было, тут и электронная машина лопнет.

Ход белых. Ход черных.

Правильно. Шахматы — игра жесткая. Опелс усвоил это с юных лет, еще когда работал в глухой провинции, в заштатном городишке. Был там такой дядюшка Альфонс. Что ни день, в любую погоду он играл с адвокатом Пумпишем. Каждый ход доставлял дядюшке Альфонсу неизъяснимое наслаждение. Тараща свои ясные детские глаза, он приговаривал: «Вот это хитро! Вот это номер! Ох и жук же ты голландский, Пумпиш, ох и жук!» Пумпиш клал выигрыш в кожаный кошелек. «Дружба дружбой, а денежкам счет,— пояснял он.— Для тебя это, может, искусство, а для меня — жесткий шах-мат».

Ход белых. Ход черных.

В нем нарастало раздражение. Он понимал, что проигрывает первым, раньше него в этом туре никто не успеет проиграть. Заноза в самое сердце! «Открыл свой счет... с нуля».

Ход белых...

Стоп. Подождешь маленько. Ишь, налетел. Словно ураган. Тебе еще придется выслушать, Лопес, что я скажу после этой партии: «Если бы вы, молодой человек,— скажу я тебе,— играли по всем правилам и вели себя, как подобает, вы бы никогда у меня не выиграли...»

— Все, пора ему слезать с крыши... Конь це-четыре дэ-шесть шах!

— Конь... как-как?

— И ферзь е-пять эф-шесть шах!

— Крышка гроссу!

Где судья?.. Неужели нельзя призвать к порядку этих любителей!.. Куда мы катимся, я вас спрашиваю?

Он не сделал последнего хода. Подперев кулаком щеку, гроссмейстер сидел неподвижно: со стороны могло показаться, что он составляет задачу «мат в два хода» для шахматного уголка какого-нибудь журнала.

На его часах упал флажок. Партия завершилась на тридцать третьем ходу. Где этот Лопес? Фу, как невежливо! Даже руки не подал... Откуда-то донеслась непонятная фраза: «И тогда я с помощью тумбы и трех коней начал разделывать его под орех, и на тридцать третьем ходу он загнулся».

Опелс отошел к окну. Его бледное дряблое лицо вмерзло в черный квадрат. Не слышно было ни завывания ветра, ни шума дождя. Внизу, в ангельской тишине, прогромыхал трамвай.

Наутро ему позвонил гроссмейстер Рикшис.

— Физкультпривет, дорогой! Болеем? Или режемся? Может, с переносом?..

— Режемся. Французскую, как договорились.

— Слушай. Давай испанку!

— Что? Почему?.. Почему испанскую?

— Тут у меня получилась красивая штучка. Вечняк двумя конями в левом углу.

— Тремя конями... В углу?!.

— Что ты мелешь! Со сна не очухался? Вечный шах, говорю, двумя конями... а перед ним жертва двух ладей. Шедевр! Потянет на приз за красоту!

— Вот оно что, Рикки? Решил надо мной поизмываться? Я этого не люблю, понял!

— Алло! Саша! Сбрендил, что ли?.. Пиши, я диктую. Здесь немного — всего тридцать три хода...

Швырнув на рычаг трубку, Опелс выбежал на улицу. Остановил такси. В клуб! Одним махом одолел три пролета каменной лестницы, с силой дернул на себя дверь. Она поддалась с каким-то жестяным визгом. Так скрипят петли дверей, которые не открывались по меньшей мере триста лет.

Тут все было как вчера. На стене висели портреты чемпионов, белела в полумраке таблица. Он зажмурился. Какой-то непорядок. Да! Вчера на улице бушевала гроза, дождь лил как из ведра, а одежда пришельца была совершенно сухой...

Открыл глаза — самая верхняя, первая строчка была пуста. Пустая белая полоса. А под нею — фамилии, выведенные черной тушью. В клеточках проставлены результаты первого тура — единички, нули, половинки. Клеточки шестнадцатой графы девственно чисты. Ни одной закорючки!

Его захлестнула волна радости. Он не продул вчера! Он не начинает турнир с «минус одного»!

Вчерашний гость... Все-таки где-то видел он это лицо... В семейном альбоме?.. На старой пожелтевшей фотографии?..

На стуле газета. Сегодняшний номер.

Он развернул ее.

Отчет о турнире: «Кто станет шестнадцатым?» Чуть пониже небольшая заметка — «Ураган над Ригой».

Опустив голову, Александр Опелс медленно шел по коридору. Вот и стена, увешанная портретами шахматных королей. «Законодатели... счастливчики...— думал он.— Неужели вы из другого теста сделаны? Вы? Вы? И вы?.. Ласкер, шахматный философ, которого я, наверное, никогда не пойму... И Алехин, которого считают художником шахмат... что-то электрическое в его светлых пронзительных глазах... А здесь мои сверстники...»

Внезапно ему показалось...

Там... На крайнем портрете... Губы склонившегося над доской Михаила Таля дернулись в презрительной усмешке.

У Опелса перехватило дыхание.

А что если это и был гамбит Уэска?

К ВОПРОСУ О ЛЕВИТАЦИИ

Одной июньской ночью на карниз квартиры номер 23, расположенной на третьем этаже пятиэтажного дома, выползло тело сорокалетнего мужчины, отделилось от карниза и начало парить в пространстве. Тяжелый ошметок в пижаме покружил над волейбольной площадкой, над мусорниками и над троллейбусными проводами на соседней улице, после чего пришвартовался у родного карниза и, кряхтя, втиснулся обратно в квартиру.

Начиная с этой ночи тело летало регулярно, только уже не кружило над двором, а набирало высоту и, со скоростью примерно двадцать пять километров в час, устремлялось в неизвестном направлении. Владельцем тела был Сергей Михайлович Козлов, преподаватель вуза. То, что оно летает, сам он не знал и перемен в своем облике с той июньской ночи не замечал, тело летало аккуратно и шишек не набивало.

В ночь с третьего на четвертое августа тело Козлова, как уже обычно, начало приподниматься над постелью, при этом лежавшая на одеяле книга, которую Сергей Михайлович листал перед сном, соскользнула и толкнула его жену. Разбуженная жена, окаменев, увидела, как ее муж поднялся на метр над кроватью, освободился от одеяла и, развернувшись, вылетел в окно. Антонина Петровна завизжала.

Под утро тело вернулось. Несомкнувшая глаз жена дождалась, пока оно займет законное место в постели и, разбудив мужа, потребовала объяснений. Муж отвечал невразумительно, так, как отвечал бы всякий, разбуженный невпопад, а поскольку Антонина Петровна ранее за мужем способностей к лицедейству не замечала, то сде-

лала правильный вывод о его фактической непричастности и оставила попытки добиться объяснений.

Тщательно изучая мужа в течение следующих дней, Антонина Петровна уверилась в том, что он ни о чем не догадывается, и, кроме того, совершенно не меняется как личность. Она успокоилась, единственно ее занимало, куда же он летает. С полетами она свыклась, и когда установилась плохая погода, когда окна в спальне стали держать закрытыми, приспособилась спать более чутко, с тем, чтобы слышать, когда тело начнет улетать. Тело же со временем научилось скрестись и подмяукивать у окна, как это делают коты, просясь на лестницу.

Разумеется, Антонина Петровна понимала, что, независимо от ее молчания, раньше или позже полеты обнаружат. Она очень опасалась последствий, которые окажет известность Козлова на воспитание детей, находившихся в переходном возрасте. Тем не менее, не желая прослыть плохой хозяйкой, она самолично сшила атласную пижаму, украсила ее у ворота монограммой владельца и преподнесла мужу под предлогом начала учебного года.

Ее предчувствия сбылись. Все большее число возвращающихся домой под утро граждан видело полет атласной пижамы, причем дело было именно в пижаме, атлас прекрасно отражал свет люминесцентных ламп.

По городу поползли слухи, и, наконец, для их опровержения, исследованием оптического феномена занялась наука.

За несколько месяцев ученым удалось собрать большой фактический материал и, хотя конечная точка маршрута оставалась неизвестной, с определенностью можно было указать район, откуда полет брал свое начало. Последовательно сужая круг, исследователи сумели определить дом и, после нескольких ночей дежурств под окнами, установили точный адрес феномена. Чувства Сергея Михайловича, узнавшего о себе такое, мешались. Он, конечно, был горд, но, просмотрев отснятый учеными фильм, сильно огорчился манере полета,— тело летало спиной кверху, и, следовательно, вниз сильно отвисал живот. Кроме того, очень хотелось знать, куда же он, собственно, летает.

Наука желала того же. Многочисленные исследования Сергея Михайловича не дали результатов, Козлов был нормален по всем параметрам, и единственный шанс докопаться до причин состоял в определении конечной

точки маршрута, так как именно для того, чтобы летать т у д а, организм обнаружил столь скрытые возможности.

Сергей Михайлович стал заметной фигурой в городе, но известность быстро перестала радовать, мало того, что сам он не имел к ней фактического отношения, так еще и во всех устремленных на него глазах читался задаваемый с разными интонациями вопрос,— куда же ты летаешь, голубь? Наука стремилась к разгадке. Козлова окольцевали и следили за ним как визуально, так и с помощью электронной аппаратуры, но тело отказывалось оказаться разгаданным и изощренно мешало исследователям,— меняло маршрут полета, скрывалось от наблюдателей, используя рельеф местности, погодные условия и высокие строения, иногда спускалось на землю и убегало проходными дворами, а если не помогало ничего, то просто отказывалось от продолжения полета, возвращалось домой и засыпало.

Стремление тела к цели заслуживало восхищения, тело летало в дождь и туман, в град, в снег, в минус двадцать, летало в неизменной пижаме, летало и понять себя не давало. Разумеется, к Сергею Михайловичу обращались с прямыми вопросами, но он, как и прежде, не ощущал, что летает, а приврать не мог из-за отсутствия фантазии, уважения к науке и из боязни перед дачей ложных показаний.

Через некоторое время наука признала объективную невозможность немедленного разрешения загадки и отложила выяснение на неопределенный срок, до появления более совершенных следящих устройств, оставив представлять себя лишь лаборанта, для регистрации дат очередных вылетов Козлова. Лаборант отнесся к заданию халатно и часто манкирует обязанностями, но никого это не волнует.

Вскоре о способности Козлова позабыли даже родственники, лишь жена по-прежнему открывает окно царапающемуся телу, открывает и мечтает о лете, когда окно можно будет держать открытым. Один Сергей Михайлович продолжает надеяться и, каждое утро, проснувшись, спрашивает жену:

— Товя, я летал нынче?

— Летал — не летал,— отвечает правду жена.

— А когда возвращался, ничего не сказал?— спрашивает Сергей Михайлович, надеясь, что однажды тело

откроется само, но жена всегда отрицательно качает головой и продолжает заниматься бутербродами, яичницей, чаем или какао, в зависимости от распорядка предстоящего завтрака.

Если вы, возвращаясь поздно, увидите в вышине атласную пижаму, то знайте — это тело Сергея Михайловича Козлова продолжает летать по одному ему ведомой надобности.

Руками не машите, оно не заметит, у него очень личное дело.

Пусть себе летит.

СЛУЧАЙ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

Борису Яковлеву

Володя Трофимов любил зайти в зоомагазин между одиннадцатью и двенадцатью часами. Он бродил между клеток, вслушивался в возню хомячков, гортанные вскрики попугайчиков, шуршанье птичьих крыльев, подолгу наблюдал переливы красок в аквариумах, вдыхал непривычный запах сена, живности и сушеных дафний.

В тот день в закутке у перехода в «птичий зал» он увидел большой новый аквариум, сквозь стеклянную стенку на него внимательно глядели огромные голубые глаза. Трофимов смутился, сунул руки в карманы и тут заметил рыбий хвост.

Она приблизилась к стеклу, взмахнула тонкими белыми руками и отвела от круглого миловидного лица длинные зеленые волосы. Стайка испуганных гуппи метнулась в гущу зарослей в уголке аквариума. Молниеносным движением она поймала в кулачок крупную самочку и отправила ее в рот. Потом, расплескивая воду, уселась на кромку аквариума. Трофимов увидел мраморную белезну тела, изящные руки. Она грациозно передернула плечиком и вспыхнула серебристыми искорками. Трофимов восхитился: «Точеная!»

Она облокотилась на левую руку, капельки воды скатывались радужным бисером, чешуя от бедер до хвоста слепила глаза, и в ней множились клетки, птицы, продавцы, пальмы у окна. Тряхнув волосами, она открыла мягко очерченный ротик и откинула назад голову. Тотчас в магазине зазвучала странная, чарующая музыка.

Звуки стесняли дыхание, волновали воображение. Тро-

фимов внимал им, забыв невзгоды, дрязги и текучку, которые словно ушли в далекое прошлое. Ему хотелось слушать еще и еще... Постепенно звуки стали слагаться в мелодию песенки. Трофимов с радостью узнал ее, и в памяти всплыли слова: «В этот вью-южный, неласковый ве-е-чер, когда сне-жная мгла вдоль...»

— Опять воды наплескала! Развела болото — скоро лягушки заквакают!— раздался позади сварливый голос.

В звенящей тишине она без всплеска опустилась в воду, легла калачиком на дно и виновато прикрыла лицо хвостом. Трофимов оглянулся. В проеме с надписью «Служебный вход» стояла невысокая пожилая женщина в синем халате:

— Подвинься, мил человек, а то и впрямь болото!

Трофимов почувствовал легкий запах болотной гнили и все еще под впечатлением музыки отступил на шаг.

— Чуть кто войдет — она уже тут!— ворчала женщина, вытирая блестевшие на полу лужицы.— Хоть не пускай никого.

— Откуда же такое чудо? — спросил Трофимов, скрашивая неловкую паузу.

Женщина внимательно посмотрела на него, перевязала сбившуюся косынку:

— А никакого чуда вовсе и нет! В лаборатории опыт делали, да чего-то напутали. Вот в розничную сеть и пустили. Здесь народу вечером, как в клубе.

— Да-а,— сочувственно вздохнул Трофимов,— это что ж — инвентарь?

— Зачем? Купите!— предложила женщина.

— Могу!— неожиданно выпалил Трофимов, стушевался и добавил тише:— знаете ли.

Дело в том, что он уже неделю носил с собой восемьсот рублей для покупки цветного телевизора, который все никак не мог купить, несмотря на обилие марок: хотелось чего-то особенного.

Женщина повернулась к продавцу и довольно громко сказала:

— Толик, русалку сосватали, иди, обслужи!

Из-за прилавка уже спешил долговязый молодой человек, светловолосый, большегубый, с редкими зубами.

— Семьсот пятьдесят пять рублей в кассу, пожалуйста,— сказал продавец и протянул Трофимову чек.

Стоя у кассы, он чувствовал себя отпетым авантюрис-

том, ему было неуютно, неловко, казалось, что пиджак висит на нем, как на вешалке; ссутулившись, он вытянул вперед голову чтобы меньше выделяться в кучке школьников.

В кассе тщательно пересчитали двадцатипятирублевки, предложили лотерейные билеты ДОСААФ, но он отказался. Протягивая чек продавцу, заметил, что женщина в синем халате исчезла. «Ведьма!»— подумал он.

— Вы можете заказать машину. Оставьте адрес и мы привезем,— предложил продавец, усугубляя неестественность происходящего.

Трофимов согласился.

Выходя из магазина, он оглянулся. Русалка провожала его грустными глазами. Трофимову стало жаль себя, он еще больше ссутулился, тяжело вздохнул, глянул на часы и помчался к себе в управление.

Быстрый бег успокоил его, а уже входя в отдел, он почувствовал восторженное ощущение чуда.

Домой добирался не спеша, оттягивая свое появление. Уже из прихожей услышал радостные крики сына, веселый плеск и сердитый голос Лиды, которая не встретила его как обычно.

Он медленно переобулся и прошел на кухню. Русалка вихрем кружилась в танце, резко останавливалась перед стеклом и прикладывала к нему ладони. Антон хлопал по ним своими и прыгал, визжа от восторга. Приглядевшись, Трофимов заметил, что на русалку надета верхняя часть купальника жены, и долго смеялся, чувствуя, как с него спадает тяжесть, копившаяся на самом дне души.

— Ну, как покупка?— спросил Трофимов.

— Ты лучше скажи, когда телевизор купишь?— вопросом на вопрос ответила Лида.— Аверчев за две недели достал, а ты не можешь!

— Я с Вячеславом Ивановичем договорился, у него связи. Обещал через знакомцев похлопотать,— пряча глаза, сказал Трофимов.

— А-а,— Лида повела спать упирающегося сына, который хотел еще поиграть с тетей-рыбой.

Трофимов пошел в спальню, включил телевизор и уставился на экран. Из детской Лида вернулась не скоро и сразу легла спать. Он выключил телевизор и тоже лег. Включил малый свет, попытался читать и не смог, отложил книгу.

— Лид, а помнишь, как ты в хоре пела? С Валей

Сидоркиной? «В этот вь-ю-южный, неласковый ве-е-ечер,»— неуверенным тенорком воспроизвел он.

Помолчали.

— Ты стала другая.

— Конечно, в кино не ходим, в театр тоже! Забыла, где все это находится...

— Восемь лет назад у нас росли отличные кактусы,— будто и не слыша Лиду, продолжал Трофимов.— Помнишь? Мне иногда ужасно хочется пирожков. С капустой. И еще я хочу, чтобы ты связала мне пуловер. Синий такой, толстый.

— Если бы я сидела дома и не работала...

— Что же делать, если я инженер. Даже не главный. И мне нравится моя работа.

Лида укоризненно хмыкнула:

— Я устаю не меньше тебя!— и повернулась к нему спиной.

Он посмотрел на такую далекую сейчас жену, повздыхал, натянул пижаму и вышел на кухню.

Русалка накручивала на пальчик листик валиснерии, чешуя переливалась таинственным многоцветьем, медленно и плавно шевелились в воде волосы.

— А ведь она и вправду [illegible] была!— неожиданно для себя сказал Трофимов.

Русалка прислонилась к стеклу, как пассажир на задней площадке «Икаруса», села на хвост и приготовилась слушать.

— Мы на третьем курсе познакомились,— ободренный вниманием, продолжал Трофимов,— только Лида с параллельного потока. Знаешь, как бывает? Первый курс — сплошные страхи: «выгонят-не выгонят», второй по инерции проскочил, а на третьем задумался — куда же я попал? Понял, что не туда. Ну, думаю, отслужу в армии, потом решу... Случайно совсем зашел в институтский клуб... была спевка факультетского хора. Сел в углу послушать... Лида и еще одна девушка — пели. Вот была минута... Тут... понимаешь... мир увидел... в цвете!— Он помолчал, потом продолжал:

— Конечно, и я виноват! Но в том ли дело, кто больше, кто меньше! Чего виноватых искать!

Трофимов рассказывал, вспоминая, задумывался, снова говорил и неожиданно спохватился:

— Ты ведь голодная!

Открыл холодильник, долго изучал содержимое, при-

кидывая, чем бы угостить, пока не нашел початую банку шпрот. Двумя пальцами взял шпротину, стряхнул с нее холодное, тягучее масло и бросил в аквариум. Русалка, красиво изогнувшись, поднырнула под нее, вскинула хвостом, отчего рыбка, как живая, описала дугу и будто сама вплыла в миниатюрный ротик.

— Ишь ты, ловко!— подивился Трофимов.

Он кидал шпроты, русалка забавлялась ими, вода в аквариуме волновалась и по ее поверхности шли маслянистые пятна. Потом русалка высунула голову из воды и, прикрыв глаза, негромко запела. Голос был чистый, нежный и нес успокоение. Трофимов долго стоял у аквариума в приятном оцепенении, пока не почувствовал, что за ним наблюдают. Он оглянулся.

В бигуди, словно инопланетянин в шлемофоне, на пороге стояла Лида и плакала.

— Лид, а я думаю... не кормлена... вот встал... надо ж это,— запинаясь произнес он.

Она всхлипнула, ткнулась Трофимову в плечо:

— Не любишь ты меня.

Трофимову стало неловко от того, что она заговорила про любовь, когда они были не наедине, но он постарался собраться и обнял Лиду:

— Глупенькая. Все маленькие девочки уже спят.

Лида положила руки на плечи Трофимову. Бигуди коснулись его подбородка и тонко звякнули друг о дружку, словно сломалось что-то очень хрупкое. Они замерли.

Русалка мерцала из воды голубыми глазищами. Лида, по-женски проницательно, с полвзгляда, это заметила и насторожилась:

— Шел бы ты, Вовик, спать,— устало попросила она.

Тихо улеглись, и Трофимову мучительно захотелось курить, но возвращаться на кухню было неудобно. Он долго ворочался, не мог заснуть. На кухне слышался плеск и Трофимов, убаюканный этими звуками, забылся сном.

Проснулся он оттого, что на кухне играл транзистор, Лида гремела посудой и готовила завтрак. Надел пижаму, поскреб затылок, зевнул и вышел на кухню.

— Ты это зачем?— хмуро кивнул он на старое зеленое одеяло, которым был накрыт аквариум.

— Нечего ей за нами подглядывать!— ответила необыкновенно нарядная Лида и повернулась к плите.

Он пошел умываться.

Завтракали молча. Антон клевал носом, капризничал и было видно, что не выспался. Потом встрепенулся:

— Пап, а тетя-рыба пьет какао?

— Это русалка...— начал было Трофимов, но Лида мягко его перебила:

— Ешь, сынок, не отвлекайся, в садик опоздаем.

Трофимов вздохнул, смолчал.

Он позвонил Лиде уже в третьем часу:

— Алло! Лида?.. «В этот вь-ю-южный, неласковый вечер,»— бодро пропел он.

Где-то далеко, в невидимом переплетении телефонных кабелей раздался щелчок и глубокие женские голоса подхватили:

—«Когда сне-ежная мгла вдоль дорог...»

— Я слушаю,— сказала Лида на фоне песни.

— Давай сорвемся вечерком в «Птицу»! Антона к маме, посидим, поокаем?

— Спасибо.

— Что с тобой?— громко спросил Трофимов и на него посмотрели сотрудники.

— Сегодня Антона забираешь ты, Вовик!

— Лида...

Мелодия пропала. Короткие гудки барабанили в ухо. Он положил трубку и появились посторонние звуки: шуршала бумага, лязгал дырокол, работала печатная машинка. Трофимов заметил пыльное окно, темные стены, беспорядок на столе, огорчился и подумал: «В чем моя вина? Деньги на телик? Есть же пока черно-белый!»

Вечером зашел за Антоном. Переодевал его, отвечая на очередную порцию «почему». В раздевалку влетел карапуз лет четырех с игрушечным рулем в руках, понаблюдал за Трофимовым и спросил:

— Русалка твоя?

— Моя,— ответил Трофимов.

— Ну и дурак!— сказал тот и исчез так быстро, что Трофимов не успел отреагировать.

На кухне было сильно накурено. На столе стояла бутылка сухого вина, две кофейные чашки, в пепельнице дымились окурки с запачканными яркой помадой фильтрами. Лида сидела, задумчиво подперев голову руками.

— С праздничком!— раскланялся Трофимов.

— А-а, Володя. Ты помнишь Зинку Котову?

— Не помню.

— В «Универсаме» сегодня встретились. Потом зашла к нам в гости. Представляешь — со вторым мужем разводится!— сказала Лида и восхищенно закончила: — Вот боевая баба!

В углу аквариума сидела русалка, наблюдала за Лидой. Сверху плавал разбухший ванильный сухарь, похожий на старую игральную карту.

— Ты зачем сухарь кинула?— строго спросил он, открывая окно.

— Не кричи, пожалуйста, ребенок здесь, а шпроты я и сама не каждый день ем!— Лида взяла Антона за руку.— Пойдем, сынок, пусть папа отдыхает.

— Лид, ты ж могла хамсы купить... или мойвы — ее везде полно, а шпроты — это я так, другого не нашел,— попытался сгладить резкость жены Трофимов.

— У меня, Вовик, с вами двумя забот — полон рот, а тут еще эта... мымра болотная! Так и знай: или я — или она!

Антон, чувствуя разлад между родителями, захныкал и Лида увела его смотреть «Спокойной ночи, малыши!». Трофимов подумал, что было бы совсем худо, поломайся сейчас телевизор.

Он сложил чашки в мойку, вытряхнул пепельницу, сполоснул рюмку и налил себе вина. Повертел в руках тонкую ножку, глядя на искорку света, мелькавшую в зеленоватой глубине, и залпом выпил. Прохладная, терпкая кислинка освежила рот и, снимая напряжение, растеклась теплой волной около сердца.

Лежа на дне, русалка перебирала камешки, как четки, и следила за сухарем. Казалось, что она плачет. Растопырив пальцы, Трофимов подцепил сухарь и положил его на блюдце.

— Чем же тебя накормить?— вслух подумал он.

Ему непременно надо было двигаться и что-то делать. Он долго копался, пока не отыскал шпротный паштет. Вскрыл банку, столовой ложкой выгреб содержимое в воду, приговаривая:

— Чем богат, чем богат...

Русалка равнодушно проследила, как медленно паштет опустился на дно, подплыла, вырыла ямку и закопала в песок бурый ком. Трофимов виновато развел руками и с грохотом бросил пустую банку в мусорник.

Он сварил крепкий кофе, налил чашку, и аромат поп-

лыл по кухне, перебивая резкий запах паштета. Закурил: «Ну, что, Вовик, доигрался? От всей души поздравляю!»— иронично сказал он своему деформированному изображению на боку блестящей джезвы.

Вышел в коридор и позвонил приятелю Виталию, работавшему в НИИ Речного Профиля:

— Это я, Трофимов. Дела как сажа бела. Такая вот история,— он вкратце поведал последние события и предложил:— Ты ж специалист, возьми к себе — пусть будет в надежных руках, все спокойней!

Виталий долго отнекивался, нудно объясняя, в чем принципиальная разница болотного и речного профилей, Трофимову надоело и он бросил трубку.

Он названивал друзьям, знакомым, извинялся, убеждал:

— Ты пойми — это же чудо — поющая русалка! Не хочу кому попало, а зоопарк тоже не резиновый. Причем здесь по блату? Разве дождик бывает по блату? Как зачем? Жена не ужилась — очень просто!

Он пошел в комнату и выключил телевизор. Лида лежала, закрыв глаза и Трофимов неслышно распластался под одеялом. Долго лежал так, боясь шевельнуться и задеть Лиду. Спать не хотелось — действовал кофе.

Лида вздохнула.

— Тебе плохо?— спросил он.

— Скучно жить.

— Почему?

— Я голая. Мне нечего надеть и мы никуда не ходим. Уже давно.

— Ты хочешь что-нибудь купить?

— Шубу.

— У Зинки?

— Да.

— Наша?

— Французская.

— Дорогая?

— Семьсот пятьдесят пять рублей. Сейчас дешевле ничего не найдешь. Я имею в виду приличную вещь.

— А как же телик?— слукавил Трофимов.

— Пока что этот посмотрим. Зинка говорит, их скоро будут делать на транзисторах, легче, надежней...

— И дороже...

— Спокойной ночи,— сказала Лида, прячась в свою обиду, как улитка в раковину.

Она, конечно, права,— думал Трофимов,— но где взять деньги? Занять? Кто даст надолго такую сумму? И как ее возвращать без ущерба для семейного бюджета?

Его мысли теснились на фоне грустной мелодии: откатываясь, шумят волны, скулит ветер, ступая по колючим верхушкам сосен, а он ничтожно-маленький, хочется плакать, но почему? И не может вспомнить. Эхо гулко подхватывает звуки, он задыхается. В кромешной темноте широко раскрывает глаза и ничего не видит...

Утром Трофимов, стараясь ступать неслышно, достал из шкафа старый полиэтиленовый чехол от шубы, прошел на кухню. Русалка сидела на краю аквариума и, подперев голову кулачком, внимательно следила за воробьями в ветвях деревьев.

— Ты уж прости, так вышло,— пробормотал он, теребя чехол.

Русалка прикрыла глаза, не касаясь края, скользнула в него, и Трофимов почувствовал, что она совсем легкая.

Он торопливо нес ее перед собой, ощущая холодок тела и сладковатый запах тины. Без труда взял такси и пустынными улицами доехал до набережной. По ступенькам спустился к воде. Русалка ударила хвостом, чешуя вспыхнула на солнце, голубовато-красное в его лучах тело бесшумно вошло в воду и, уменьшаясь, вскоре растворилось в глубине.

Вызванивали первые трамваи. Неспешной трусцой группа «Здоровье» обгоняла ранних пешеходов. Выгуливали собак, и они, шалея от временной свободы, неистово взлаивали по пустякам.

Город просыпался. Тень моста лежала на темной воде. На небе одиноко гасла крупная звезда.

Трофимов подумал, что это самолет заходит на посадку.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АЛФЕРОВА Любовь Андреевна — родилась в г. Риге; окончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета им. Жданова; работала в редакциях периодических изданий на Дальнем Востоке и в Латвийской ССР; публиковалась в журналах «Дальний Восток», «Даугава» и других периодических изданиях; первая книга рассказов «Голубой гобелен» вышла в Риге в 1980 г. (издательство «Лиесма»); дебютировала в фантастике рассказом «Ночь в ином измерении» в первом сборнике фантастических произведений рижских писателей «Платиновый обруч» (Р.: Лиесма, 1982).

БААЛЬ Вольдемар Иванович — родился в Саратовской области в 1936 г.; детство провел в Красноярском крае; после окончания средней школы работал учителем в сельской школе, шахтером, слесарем, матросом и кочегаром на речном судне; после окончания инженерно-механического факультета Красноярского сельскохозяйственного института работал на различных инженерных должностях, от мастера до конструктора; в 1968 году окончил Литературный институт им. Горького; первая публикация (стихи) в 1956 году; первый сборник рассказов «Голоса» вышел в Риге в 1967 г. (из-во «Лиесма»); затем увидели свет еще три сборника рассказов и романы «Прекрасная Марианна», «День и ночь», «Золотая», «Из пункта А...», выпущенные в издательствах «Лиесма» и «Советский писатель»; публиковался в республиканской и всесоюзной периодике; роман «Прекрасная Марианна» и около двадцати рассказов были переведены на латышский язык; по рассказу «Илга-иволга» поставлен фильм; в фантастике дебютировал повестью «Платиновый обруч» (журнал «Даугава», 1981), которая потом дала название сборнику произведений рижских фантастов; член СП СССР.

ВИННИК Ирина Борисовна — родилась в Галле (ГДР), окончила биологический факультет ЛГУ им. П. Стучки; работала в НИИ защиты растений, на освобожденной комсомольской работе, литературным сотрудником в редакции газеты «Советская молодежь», с 1978 года — в Главной редакции информации Латвийского телевидения; литературный дебют в настоящем сборнике.

ГВИН Леон Михайлович — родился в г. Риге в 1941 г.; журналист; в соавторстве с З. Тренко написана книга «Меняю квартиру...» (Р.: Лиесма, 1978).

ГУДАНЕЦ Николай Леонардович — родился в г. Риге в 1957 г.; окончил филологический факультет ЛГУ им. П. Стучки; работал бетонщиком, кочегаром, контролером ОТК, учителем, редактором; публиковался в газете «Советская молодежь», в журналах «Даугава», «Наука и техника», «Спутник» (издание АПН), в коллективных сборниках «Вдохновение» (Москва), «Серебряная корзина» (Рига); авторские сборники: «Автобиография» (стихи, Р.: Лиесма, 1980), «Субботние поцелуи» (рассказы, Р.: Лиесма, 1984); дебютировал в фантастике в сборнике «Платиновый обруч»; рассказ «Ковчег», включенный в настоящий сборник, переведен на английский, немецкий, французский и другие основные языки мира; член литературной студии СП Латвии.

ГУДКОВ Валерий Алексеевич — родился в г. Смоленске в 1951 г.; окончил Лиепайскую школу рабочей молодежи, работал в воинской части, в настоящее время — в Лиепайской дистанции сигнализации и связи; литературный дебют состоялся в 1978 году — одновременно это был и дебют в фантастике; для его рассказов характерны богатство и оригинальность идей.

ЗАЙКАНОВ Павел Григорьевич — родился в г. Лиепае в 1953 г.; учился в Рижском политехническом институте по специальности автоматика и телемеханика; учится на отделении журналистики филологического факультета ЛГУ им. П. Стучки; аквалангист, много путешествовал по югу страны, бывал на Камчатке и на Дальнем Востоке; работал настройщиком АТС, инженером-электроником, грузчиком-экспедитором, лифт-механиком, слесарем по газу, корреспондентом газеты.

ИВАНОВ Сергей Григорьевич — родился в поселке Монино Московской области в 1952 г.; окончил Московский инженерно-физический институт; работает в Рижском НИИ микроприборов.

КАВСКИЙ Валентин Николаевич — родился в Калининской области в 1931 г.; с 1949 г. служил в Советской Армии; окончил военно-инженерную академию им. Дзержинского; с 1977 г., после увольнения в запас, живет и работает в Риге; дебютировал рассказом «Альтернатива» в журнале «Наука и техника» в 1980 г.; далее публиковался в том же журнале.

ЛЕВКИН Андрей Викторович — родился в г. Риге в 1954 г.; по образованию математик; окончил Московский университет им. Ломоносова; аспирант института электроники и вычислительной техники АН Латвийской ССР; член литературной студии СП Латвийской ССР; дебютирует в настоящем сборнике.

МИХАЙЛОВ Владимир Дмитриевич — родился в Москве в 1929 г.; окончил юридический факультет ЛГУ им. П. Стучки; работал (до 1950 года) народным следователем прокуратуры Елгавского уезда, затем — служил в Советской Армии, позже, став членом КПСС, работал инструктором Елгавского райкома КПЛ, с 1958 года — в журнале «Дадзис» (литсотрудник, заведующий отделом, ответственный секретарь, заместитель редактора), потом — работа главным редактором в газете «Литература ун Максла», литературным консультантом в СП Латвии, заведующим редакцией оригинальной литературы издательства «Лиесма», затем перешел на свободную литературную работу; его миниатюры и рассказы выходят в коллективных сборниках в Москве и Ленинграде, публикуются в республиканской и всесоюзной периодике; в 1966 году выходит его фантастическая повесть «Люди Приземелья», затем следуют четыре сборника рассказов, романы «Дверь с той стороны», дилогия

«Сторож брату моему» и «Тогда придите и рассудим»; в юбилейный сборник В. Михайлова вошли роман «Дверь с той стороны» и повесть «Исток» с предпосланным им обширным предисловием; публиковался также в центральных издательствах; выступает В. Михайлов и как драматург, и как поэт, и как переводчик; его произведения переводились на основные европейские языки, рассказ «Черные журавли» переведен и на японский; активно работает как критик и теоретик фантастики; член СП.

МОРОЧКО Вячеслав Петрович — родился в г. Москве в 1933 г.; окончил радиотехнический факультет Московского энергетического института; затем служил в Советской Армии: в Днепропетровске, Уссурийске, в ГДР, Прибалтике. На военной службе был военным инженером; все свои фантастические произведения создал во время службы в Риге, выйдя в запас, стал гражданским инженером, работает в Главном Управлении Капитального строительства; первая публикация — в еженедельнике «Неделя» (1962 г., стихотворение); дебют в фантастике — в 1969 г. в ежегоднике издательства «Молодая гвардия»; далее последовали публикации в периодике, в сборнике «Платиновый обруч»; переводился на эстонский язык.

ПЕТКОВ Валерий Васильевич — родился в г. Киеве в 1950 г.; инженер-экономист; окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации; служил механиком-водителем в Литовской ССР; в составе студенческих стройотрядов выезжал в Карелию, Казахстан, Народную республику Болгарию, на Рижскую ГЭС; работал на археологических раскопках, сторожем, грузчиком, лаборантом, вальщиком леса, железнодорожным рабочим, инженером, бухгалтером; в настоящее время — начальник отдела ОТиЗ жилищного управления г. Риги; публиковался в газетах «Магаданский комсомолец», «Магаданская правда», «Социалистическая Якутия», «Советская молодежь», «Инженер аэрофлота», «Одесский комсомолец»; в фантастике дебютировал рассказом «Случай без последствий» в журнале «Наука и техника» (1983 г.).

СЫЧЕНИКОВ Валентин Вячеславович — родился в г. Горловка Донецкой области в 1950 г.; учился в Рижском институте инженеров гражданской авиации; участвовал в строительстве каскада гидроэлектростанций на Даугаве; много путешествовал — по Саянам, Алтаю, Кавказу, Крыму и Карпатам, ходил в полярную геологоразведочную экспедицию к северному побережью Чукотки; с 1975 года сотрудничает в газетах; учится на заочном отделении журналистики филологического факультета ЛГУ; работает в газете «Железнодорожник Прибалтики»; удостоен бронзовой медали ВДНХ; пишет стихи, прозу; публиковался в республиканских и центральных периодических изданиях; лауреат зонального конкурса политической песни; дебютировал в фантастике рассказом «Ночная гостья Василия Н» в сборнике «Платиновый обруч».

ТРЕНКО Зигфрид Петрович — родился в г. Риге в 1931 г.; журналист; в соавторстве с Л. Гвином написана книга «Меняю квартиру... » (Р.: Лиесма, 1978).

ТРУСКИНОВСКАЯ Далия Мейеровна — родилась в г. Риге; окончила филологический факультет ЛГУ им. П. Стучки; с 1974 года сотрудничает в газете «Советская молодежь»; стихи и переводы публиковались в республиканской периодике; в 1983 году в журнале «Даугава» была напечатана ее повесть «Запах янтаря»; в 1984 году увидела свет первая ее книга — «Запах янтаря», куда вошла одноименная повесть и расска-

зы; в настоящем сборнике дебютирует в фантастике рассказом «Бессмертный Дим».

ТЫЩЕНКО Иван Евгеньевич — родился в г. Риге в 1961 г.; окончил факультет финансов и торговли ЛГУ им. П. Стучки; дебютировал в литературе рассказом «Встреча» (журнал «Наука и техника», 1984 г.), который включен в настоящий сборник.

ШУЛЦЕ Дзинтра Висвалдовна — родилась в г.Балдоне Рижского района, окончила 2-е техническое училище г. Риги; работает инженером-метрологом в Радиоастрофизической обсерватории АН Латвийской ССР; с 1981 года публиковалась в республиканской периодике; в 1982 году ее повесть «Школьные перемены» вышла в сборнике «Рассказы для молодежи» (издательство «Лиесма»), в том же году увидел свет сборник ее рассказов «Левша» (издательство «Лиесма»); дебютировала в фантастике рассказом «Робертик» (журнал «Наука и техника», 1982); член литературной студии СП Латвийской ССР.

ЮФРЯКОВ Владлен Иванович — родился в г. Москве в 1931 г.; окончил Латвийскую сельскохозяйственную академию; публиковался в периодике, журнале «Искатель», сборниках научной фантастики издательства «Молодая гвардия», в сборнике «Платиновый обруч»; рассказ «Тихая планета» переведен на чешский язык.

СОДЕРЖАНИЕ

Агава Супсова

Обмен

Ковчег

ИБ № 4393

ХРУСТАЛЬНАЯ МЕДУЗА

Редактор В. Семенова.
Художественный редактор М. Драгунс.
Технический редактор М. Яунземе.
Корректоры Л. Савельева, И. Грузнова.

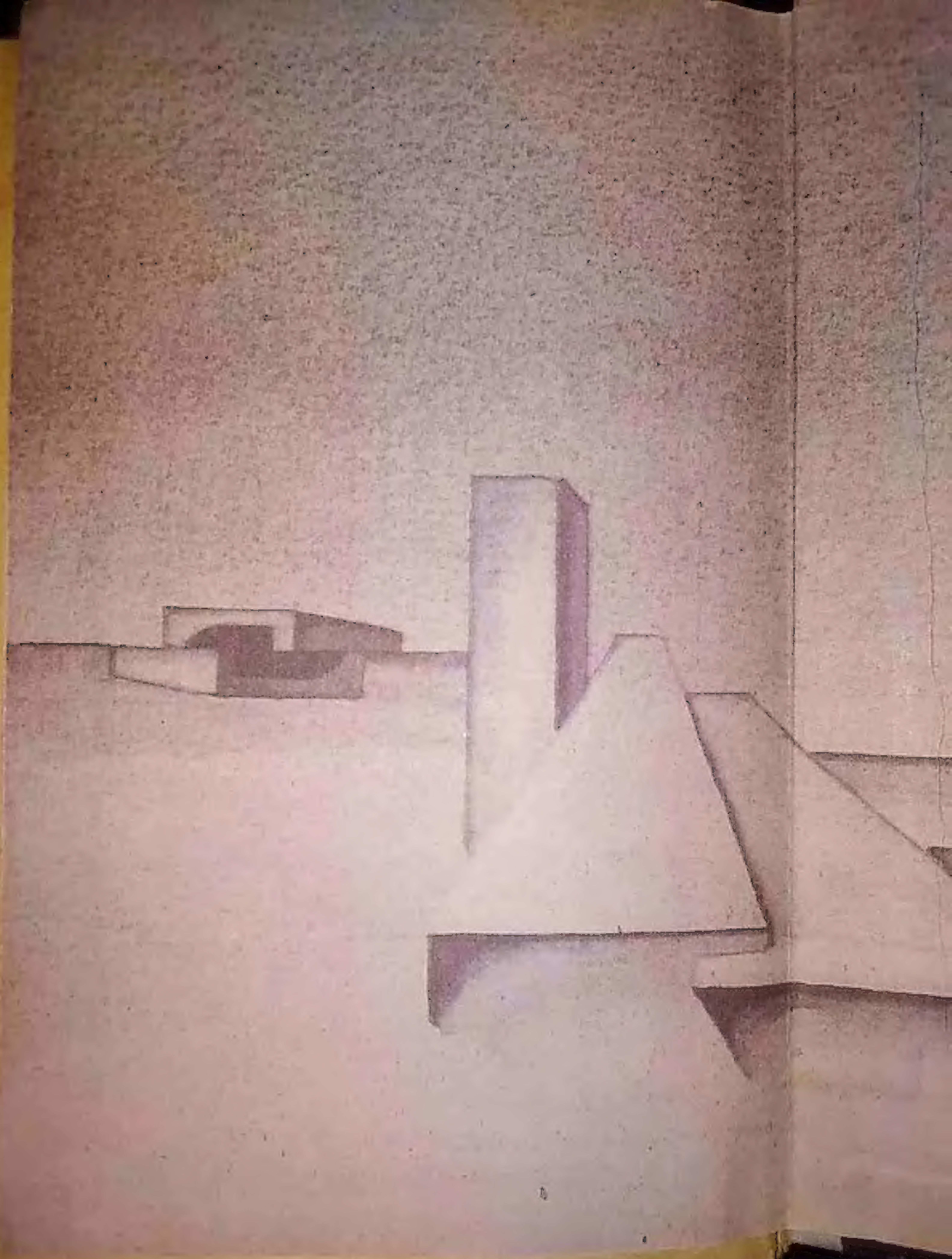
Сдано в набор 10.10.84. Подписано в печать 19.04.85. ЯТ 06017. Формат 84×108/32. Газетная бумага № 2. Гарнитура Балтика. Высокая печать. 22,68 усл. печ. л.; 23,42 усл. кр. отт.; 23,39 уч.-изд. л. Тираж 75000 экз. Заказ № 1591-5. Цена 1р. 60 коп. Издательство «Лиесма», 226047 Рига, бульвар Падомью, 24. Изд. № 13/31890/Р-79. Издание подготовлено с использованием диалоговой издательской системы ДИС при участии ОВЦКП. Отпечатано в типографии «Циня» Государственного комитета Латвийской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Рига, 226011, ул. Блауманя 38/40.

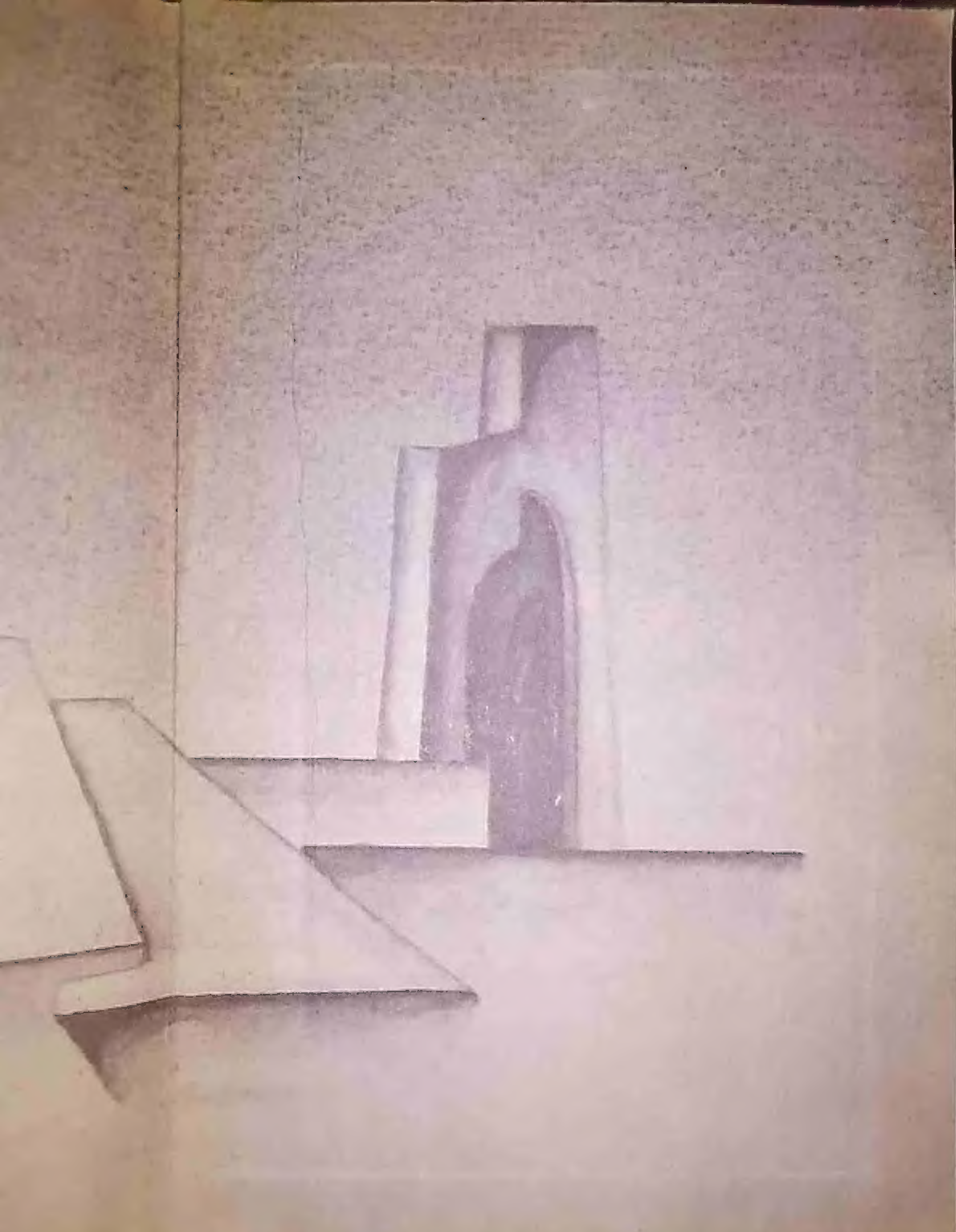
Х 955 Хрустальная медуза; Фантаст. произведения/ Сост., предисл. и свед. об авт. В. Семеновой; Худож. Г. Захарычев.— Р.: Лиесма, 1985.—430 с., ил.— (Приключения, фантаст., путешествия).

Второй сборник фантастических произведений писателей Латвии. В него входят повести и рассказы В. Михайлова, Л. Алферовой, Н. Гуданца, Д. Трускиновской, Дз. Шулце и других — всего девятнадцати авторов. Заостряя внимание читателей на перспективах развития науки и техники, предлагая наиболее вероятные модели грядущего, писатели основное внимание уделяют проблемам, волнующим современного человека, и его нравственности. Книга предваряется предисловием составителя и завершается краткими сведениями об авторах.

Х $\frac{4702010200-13}{М801(11)-85}$ 188-85

84К7





PHOTOS BY ANDREY G AKA DONUT190